



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года  
САРАТОВ

**7-8 (487)**

---

2020

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

<b>Альбина Борбат.</b> Сны майора петрова. <i>Стихи</i> .....	3
<b>Сергей Шикера.</b> Портулак. <i>Роман</i> .....	8
<b>Олег Дозморov.</b> «Прийти нужно было к семи утра...» и др. <i>стихи</i> .....	164
<b>Марина Бувайло.</b> Пил он с трудом. <i>Терапия. Рассказы</i> .....	171
<b>Лариса Йоонас.</b> «Проблемы со сном аритмия соловьи не дают уснуть...» и др. <i>стихи</i> .....	176
<b>Семён Безгинов.</b> Абсолютный отец. <i>Стихи</i> .....	180
<b>Владимир Панкратов.</b> Поедатель рисового супа. <i>Рассказ</i> .....	186
<b>Рафаэль Шустерович.</b> Части головоломки. <i>Стихи</i> .....	193
<b>Настя Запоева.</b> «нам недоступен возвышенный слог...» и др. <i>стихи</i> .....	196
<b>Борис Ильин.</b> Обитатели дома.....	200

### ПЕРЕВОД

<b>Изольда Баумгертнер / Isolde Baumgärtner (1961–2019).</b> Из книги «Рафаил». <i>Перевод с немецкого Ф. Чечика, Ю. Лариной</i> .....	210
---	-----

### ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

<b>Александр Шарыпов.</b> Охломоны и анахореты. Меланхолическая парафрения в двух частях с прологом, эпилогом и интермедией. <i>Публикация, вступление Владимира Орлова</i> .....	215
---	-----

### ВОСПОМИНАНИЯ

<b>Лада Белановская.</b> Другая жизнь. Из книги «Путешествия за грань».....	259
---	-----

### ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

<b>Ева Лисина:</b> Геннадий Айги и религия – воспоминания сестры. <i>Вступление Анжелики Шмитт</i> ...	272
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

<b>Сергей Боровиков.</b> Когда писатель рядом <i>О кн.: Михаил Бару. Мещанское гнездо</i> .....	285
<b>Ольга Бугославская.</b> Крупным и общим планом <i>О кн.: Владимир Сотников. Холочье. Чернобыльская сага</i> .....	287
<b>Нина Александрова.</b> Жизнь бежит впереди <i>О кн.: Евгения Риц. Она днём спит</i> .....	289
<b>Екатерина Храменкова.</b> Слепок чувств <i>О кн.: Анна Грувер, Демиурги в фальшивых найках</i> .....	290
<b>Наталья Черных.</b> Вулкан в царстве Протея <i>О кн.: Евгений Волков. колОкол</i> .....	293
<b>Борис Кутенков.</b> Дидакт на границе инобытия <i>О кн.: Александр Переверзин. Вы находитеcь здесь</i> .....	296
<b>Ася Аксёнова.</b> В туннель расставаний <i>О кн.: Михаил Фельдман. Еще одно имя Богу</i> .....	300

### ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

<b>Вячеслав Лопатин.</b> Ранее не опознаны.....	303
---	-----

Альбина БОРБАТ

СНЫ МАЙОРА ПЕТРОВА

майор внутренних войск петров  
борется с искушением выжечь болезненную роговицу  
затем прогоняет его сквозь строй  
ситчик оборонного легпрома  
погранично серенький как припой  
въедается и продолжает сниться  
петров искушен но тычется как слепой

увязающий в рыхлом деле  
кулак  
угловатый опыт годных и рядовых  
медвежьей соломки ему постелит  
ради бога и всех святых

в мутных корчах и до обеда  
и после  
эти силлабы и потроха –  
в отсутствие невозможных «зачем» или «победа» –  
только раздаваться и разбухать

\*\*\*

ведметь ест сальные свечи в метро  
под сибирью всё одно што профитроль  
снег лежит на боку с распахнутыми глазами  
круглогодичный и майор петров  
кратный голубю  
над привокзальной площадью нависает

если на что и годен лубок-патриотик –  
открыв глаза на глубине вменённой отчизны  
не захлебнуться  
затуманившись дó ветру отойти  
яблочко положить на голубое блюдце

---

Альбина Борбат родилась в 1973 году в Игарке. Училась на факультете искусствоведения и культурологии КГУ. Живет в Красноярске. Публиковалась на сайте «Сетевая словесность», сайте «Полутона», в интернет-журнале «Формаслов», в «Волге».

\*\*\*

сдвинутые пропорции  
большоголовой бусины  
трогательно  
завершают длительную работу  
нанизывания  
становятся единственным  
смыслом  
с распахнутыми глазами

пространство способности различать  
раздаётся как живое

(не более чем механическое  
с титановой пластиной  
мигрени  
припадочным смехом  
на строчке «эхо войны»)

\*\*\*

снег заживает наледь  
сшивает сую крестит рамы  
(говорит с докторами)  
скучно забывает смотреть в глаза  
скученная на последней простыни  
ссученная по соображениям жизнь  
по обочине льда топорщится кирза  
один неприкрытый взгляд –  
губка впитавшая сколько сумела взять  
нет места сухого места живого зазора  
роза упала на лапу позора

смерть можно посметь взгляда отнять нельзя  
майоры скользят скользят

\*\*\*

что немцу смерть то русскому – повесть  
открытка с видом упрятанная в конверт:  
увязший в снегах долгий цыганский поезд  
луна вечно глядящая холодно и поверх  
из сибиря с любовью в сибирь же с нею  
адресат немислим но зуммер неутолим  
ошибшийся этажом побиваем дверью  
и гасится молча сам от себя вдали

\*\*\*

солнце запечет под кожей стекло озноба  
и взгляды в тусклую линзу зимы:  
скучное тепло учебное – опыт  
тело – мысль страдания в сумерках головы  
куда просыпаться было (не было)  
до перемены (участи) не отменяющей ничего  
и в неподсвеченное серо-пепельное  
снега размолотое стекло

\*\*\*

едва задремлет колени-голену  
тени сдвигая фоновый шум  
стянутся туже чем буквы в акрониме  
и – по лезвию на весу  
покатят сумбурную отяжелевшую  
голову подданную с косым  
шрамом мысли как сугроб просевшей  
еле светящейся полосы

### **Крыса**

между тесными мятными тенями  
мокрым цветом палёной шерсти  
вергится уклоняется петляет  
в угол откатывается оттуда крестит  
морду оскаленную наледи над карнизом  
скрученные бинты целлофановые на рябой берёзе  
и блядская полечка марыська моя марыська  
вместе с зубами вываливается из дёсен

\*\*\*

где ещё не лёгкий не ковкий  
(дни турбин языка)  
расстояние до остановки  
увязая в песках  
глохнув в фоновом шуме  
и фонащем зерне  
и о целом и сумме  
примечая вчерне  
между кесарями и богами  
и дойти своими ногами

### **Патина или плесень**

ну что сегодня  
так или иначе:  
не смотри исподлобья  
губу закусывай  
чуть наклони голову  
улыбнись одними глазами  
теперь реши такое уравнение

и так и ждёт наморщив амальгаму

(становится собой проходит мимо  
и для неё то патина то плесень  
всегда всегда испорченный ребенок)

### **Румянец и портупея**

в сгущенном предвоенными песнями  
выжженном и оглошшем  
воздухе преимущественно ножевых  
свет распирается бледно-желтыми стенами  
переваливается на кровельную жесьть  
лежит пластом

намагниченная черным светилом  
вожделенная лейтенантская кожа  
гибельный трофей взглядов  
как яблоко разламывается по полам

хорошо если цвела  
хорошо если родила  
хорошо если умерла  
если успела  
прожевала на улице такой-то

\*\*\*

я хочу это птичье слово  
только господи я богомол  
натрави на меня птицелова  
пред святое твоё рождество  
или странного мы не желали  
или солнце не жидкий желток  
ах коробочка сердца жилия  
птичьа весточка дальний восток  
что твои простодырые гули

не советчики и не врачи  
мы ли хвойных мочал не мочили  
не трепали небесных овчин  
утоли как кессоново олово  
расплету как клубок нитяной  
я хочу это птичье слово  
или птичье слово за мной

### Режиссерская версия

кровеносная сетка в которой не осталось крови  
в сугробе просевшем тлеющие кружева  
листьев сообщение п е р е увеличенное втрое  
желанием выломиться прервать

вглядывание замкнувшееся  
неистоимостью беличьей на станке  
регистр звучания этот (в ужасе  
под лед проваливается лошадь закованная в доспех)

\*\*\*

скажешь «время» и вяжется «вещество» –  
щенячья несеть под пузо мостится  
всей своей немощью огневой  
но оно восходит – большая синица  
заваливая отдельностоящий ствол  
остальное укладывается под него  
под рыхлую мякоть кольца  
незрячи расходящиеся круги  
монотонны и в чёрный ящик  
слово прячется от других

\*\*\*

не выплеснуть рук и речь-младенца  
день беспмятный скудный как позывной  
жадного слуха ломаные коленца  
над плюсной свинцовой с прямой спиной

ой-ё-йой (пыточная) слуха тело  
испытывая «будет» задним своим «сейчас»  
испаряя йод (выдохнул – отлетело)  
уже не собирает нового «означать»

## Сергей ШИКЕРА

### ПОРТУЛАК

*Роман*

#### **Часть первая**

#### I

Несмотря на позднее время, расходиться и не думали. Помню, как сейчас, тот восхитительно теплый апрельский вечер с высокой луной над садом и неподвижной цветущей черешней за распахнутым окном. Кто-то предложил прогуляться к лиману, возражений не последовало, но все как сидели, так и продолжали сидеть. Тут-то и зашел разговор о редких, по преимуществу курьезных фамилиях, включая и говорящие. Почти у каждого из полутора десятка гостей нашлось что рассказать. Так Вяткин вспомнил парадоксальную парочку из своего далекого армейского прошлого: брутального, с пудовыми кулаками прапорщика Лилейного и похожего на поэта Блока анемичного лейтенанта Битюгова. У меня для такого случая был припасен пожарный инспектор Ужес. Как всегда, искрометной импровизацией повеселил публику наш штатный рассказчик фотограф Жарков. Следом за ним и как бы ему в тон, отчасти подражая, а отчасти соперничая, выступил сын нашего известного горожанина и, кстати, сам обладатель не совсем обычной фамилии, Кирилл Стряхнин-младший. Он только неделю назад женился, со дня на день собирался отправиться в свадебное путешествие и постоянно находился в некотором возбуждении.

– В конце девяностых годов, – начал он, – в число самых востребованных наемных убийц входила одна интересная особа. Профессионал высочайшей пробы. Прославилась, кроме всего, тем, что своих жертв поражала исключительно в сердце. Звали девицу – внимание! – Жизель. Фамилия: Катигроб. Жизель Катигроб – черный ангел девяностых.

Слушатели иронически переглянулись, а хозяин дома Чернецкий, чей день рождения мы в тот вечер праздновали, заметил, что до сих пор говорили о людях и фамилиях настоящих, а не вымышленных.

Выставив указательный палец, Стряхнин-младший весело продолжил:

– И это я еще не успел сказать, что мать её звали Джульеттой, а старшего брата – Гамлетом. Гамлет Катигроб. Как вам?

– Нам, – отвечал хозяин, – этот нехитрый прием известен: подкрепить одну небылицу другой, иногда еще большей.

– Извините, но тут вы ошибаетесь. Такие имена часто встречаются у представителей некоторых южных темпераментных народов. Мать Жизели, Джульетта, как раз и была одной из них, работала библиотекарем в детской библиотеке. А отец... Ну что отец – Тарас Катигроб, водитель.

---

*Сергей Шикера родился в 1957 году. С 1978 живет в Одессе. Публиковался в «Новом мире»; в «Волге» печатались рассказы (2010, 2012, 2017, 2018) и романы: «Стень» (2009, №№ 9-10, 11-12), «Выбор натуры» (2014, № 3-4), «Египетское метро» (2016, № 3-4).*



Одарив своей звучной фамилией жену, он предоставил ей право называть детей как она пожелает. Вот и всё объяснение.

– Гамлет Катигроб мне понравился, а вот Гамлет Тарасович уже меньше, – заметил из угла Жарков. – Отец, надеюсь, был водителем катафалка?

– Увы, всего лишь рейсового автобуса.

– Жаль. Но откуда такие подробности о семье?

– В наше время тайное становится явным с пугающей быстротой. Я вижу, вам мой рассказ тоже кажется выдумкой. Но попробуйте представить: вот тебе достается такая славная фамилия да еще в комплекте с именем, которое в переводе с древнегерманского означает «стрела». При таких исходных данных наверно трудно отмахнуться от мысли, что всё это неспроста и жизнь говорит с тобой почти открытым текстом. И вот для начала ты из всех видов спорта выбираешь стрельбу, как это сделала наша героиня, ну а дальше... Дальше – больше. Так или иначе, есть тут связь или нет, но факт остается фактом: жизнь Жизели Тарасовны Катигроб складывалась непросто. Непросто оказалось и с первой большой любовью, которая с ней приключилась аж на двадцать шестом году. Чтобы не отнимать время, не буду вдаваться в детали. Итак. Известная исполнительница Жизель Катигроб по кличке Катя однажды, возвращаясь из командировки, знакомится в аэропорту во время длительной задержки рейса с неким молодым человеком, одесситом, и этих нескольких часов ей хватает, чтобы влюбиться в него по уши. Разъехавшись, они продолжают общаться всеми доступными средствами и ждут не дождутся возможности увидеться вновь. Однако... Чутьем женщины, спортсменки и опытного ликвидатора Жизель чувствует присутствие третьей osoby. Да и было бы странно, если б у такого молодого человека никого не было. Ощущение это крепнет день ото дня, и вот уже та, что без промаха была в чужие сердца, сама оказывается жертвой серьезного сердечного недуга, который временами её как будто лишает разума, и если бы это был балет, какая-нибудь «Новая Жизель», здесь обязательно присутствовал бы танец со снайперской винтовкой, передающий все нюансы и градации любовного помешательства, от окрыляющих надежд и неземных восторгов до приступов черной ревности и адского отчаяния. Не в силах больше выносить жгучую неопределенность, она отправляется в Одессу, где начинает вести наблюдение за возлюбленным. Скоро выясняется, что у нее действительно есть соперница, некая Катя. И хотя Жизель Катей была только по прозвищу, в этом совпадении она видит какой-то особый вызов. К тому же ей хочется думать, что её избранник сам рвется из ловушки остывшей случайной связи к большому настоящему чувству, и нетрудно догадаться, к какому решению её подталкивают полная неопытность в любовных делах с одной стороны и специфический жизненный опыт с другой. Определившись, Жизель сообщает любимому, что находится в Одессе – она должна своими глазами увидеть его реакцию на потерю той Кати. Они встречаются, проводят у него бурную ночь, а днем молодой человек со всей решительностью объявляет одесской Кате, что между ним и ею всё кончено. Увы, Жизель этого так и не узнает. Для того чтобы всё выглядело как несчастный случай, а именно убийство в ходе ограбления, она вызывает брата. И вот уже проработавший полжизни шашлычником Гамлет Катигроб, прихватив свой рабочий топор, прибывает в Одессу, и через день-другой проникает в квартиру Кати. Как говорится, гул затих, он вышел на подмошки. Знаете, тут уж, пожалуй, и я разделю с вами ваше недоверие к моему рассказу. Потому что с появлением брата, благодаря одним лишь именам участников, история совсем скатывается в фантазмагорию, в дурной сон. При таком замесе возможны любые невероятные повороты и совпадения. Более того: здесь их не может не быть. Выбранный Гамлетом день выпадает на день рождения несчастной Кати. На работе её лучшая подруга крадет у нее ключи, чтобы вечером с друзьями напугать именинницу криком «Сюрприз!» и, прибыв чуть раньше других на место, падает сраженная топором незнакомца, обнаруженного ею в кухне. Едва Гамлет успевает удостовериться в ошибке и спрятать труп в кладовке, как через оставленную приоткрытой дверь весело вваливаются остальные сослуживцы. В заблаговременно обесточенной квартире на тот час уже почти темно, и пока молодые люди, бродя впотьмах, зажигают праздничные свечи, надевают на головы цветные колпачки и достают бутылки, никем не замеченный Гамлет пробирается к вход-

ной двери, запирает её на все замки, и в твердой уверенности, что одна из прибывших девиц уж точно Катя, берется за топор. Тем временем сама Катя, обнаружив по дороге домой пропажу ключей, использует её как повод встретиться с бывшим возлюбленным. Получив у него вторые ключи, она уговаривает его провести этот праздничный вечер вместе, распить прощальную бутылку шампанского, вспомнить прошлое и расстаться добрыми друзьями. Поколебавшись, тот соглашается, и... так уж выходит, что в устроенной Гамлетом кровавой бойне Катя оказывается заключительной жертвой. Вот, собственно, и всё. Ну а наша снайперша, спросите вы, Жизель? Что стало с нею? Увы, на этом заканчивается и её история: узнав о вероломном предательстве возлюбленного и его гибели, вполне им, впрочем, заслуженной, она впадает в тихое помешательство, в котором прозябает и по сей день. Спасибо за внимание, я кончил.

К сожалению, мой пересказ не может передать, насколько увлекательно да еще и с некоторым артистическим блеском это было рассказано. Помню общее одобрение и веселые возгласы. Побежденный Жарков, кажется, даже немного приревновал. Единственным недовольным оказался сидевший у дверей Витюша Ткач, в ту пору совсем юный. «Когда речь идет о смертях и крови, юмор неуместен!» – с вызовом произнес он и, смутившись, вышел.

Стоит также добавить, что в те дни много разговоров ходило о местном сочинителе и близком приятеле Кирилла Стряхнина Антоне Чоботове, чью оглушительно-кровавую повесть опубликовал один из толстых российских журналов. Так что рассказ Кирилла большинство слушателей расценило еще и как пародию на чоботовский дебют. «Чоботов кусает локти!», «Чоботов отдыхает!», слышал я тем вечером то от одного, то от другого.

## II

Любым делом я привык заниматься добросовестно, с полной отдачей и без суеты. И, как правило, остаюсь доволен результатом. Не должны были стать исключением и эти записки, посвященные событиям, потрясшим наш городок в августе 201... года, то есть спустя пять с лишним лет после вышеописанного вечера. Взявшись за перо более года назад, я с должной усидчивостью, в чинной манере педантичного хрониста исписал первые три десятка страниц. Это несколько, может быть, тяжеловесное, похожее на медленный разъезд театрального занавеса вступление включало в себя как подробное, снабженное обширными историко-географическими справками, описание городка с его знаменитой средневековой крепостью и с античным поселением у её подножия, так и очерк его нынешнего состояния с попутным представлением всех действующих лиц, вплоть до второ- и третьестепенных. Однако, подобравшись к пункту перехода на сами события и запнувшись раз, другой, третий, я в растерянности остановился и долгое время, сколько ни пытался, не мог двинуться дальше. Дело тут было вот в чем. При том непосредственном участии, которое я в этих событиях принимал, продолжать скрываться за маской бесстрастного хроникера или, претендуя на некую объективность, писать от третьего лица, как пишется большинство романов, становилось всё труднее, и то, что выходило из-под пера, казалось мне насквозь фальшивым. Я бросал, возвращался, опять бросал и опять возвращался – всё было тщетно. Переход не давался. В этом межеумочном состоянии – продолжать? не продолжать? – я пребывал довольно долго. Пока однажды (не знаю, не уловил, с чем был связан произошедший перелом), как бы очнувшись и мысленно оглядевшись, не задал себе простой вопрос: а что мешает мне выступить вольным, не стесненным рамками жанра рассказчиком? И сам себе ответил: да вот эта нелепая затея и мешает. К тому же, все мои занимавшие так много места исторические комментарии при свежем, после долгого перерыва, прочтении оказались лишь неуклюжим пересказом трудов нашего славного историка и краеведа Константина Чернецкого, написанных живым увлекательным языком. Так не проще ли отослать читателя напрямиком к первоисточнику, а себе оставить роль безыскусного повествователя? Словом, отодвинув в сторону прежние притязания, я решил начать с какого-нибудь яркого эпизода, чтобы сразу окунуть в гущу событий не только читателя,

но и себя самого, а там будь что будет. Тут-то и пришло свободное дыхание и как-то сама собой написалась приведенная выше сцена с выступлением Кирилла Стряхнина, почему-то так ярко отпечатавшаяся в моей памяти.

В процессе писания количество героев оказалось бóльшим, чем представлялось мне изначально, соответственно возросла и плотность повествования, а потому сразу хотелось бы предупредить: предлагаемые записки не менее чем на четверть состоят из описаний не совсем достоверных. Там, где я не был очевидцем событий, их пришлось восстанавливать по чужим, принятым на веру свидетельствам; в описании же сцен, где очевидцев быть не могло, а участников нет больше в живых, я не чужаюсь и прямых домислов. Тут же оговорюсь, что человек я литературы хоть и не чуждый, питающий к ней слабость, но в крупной прозе пробовал себя лишь однажды (и то неудачно) много-много лет назад, и потому рассчитываю на снисходительность читателя. Надеюсь, что он простит мне как шероховатости изложения, так и некоторую свойственную дилетантам наивную витиеватость.

Коротко о себе. Родился и живу в Одессе. Несмотря на университетское образование, а может быть и благодаря ему, начинал трудовую деятельность с мелкой коммерции, потом пробовал торговать недвижимостью (тогда-то и приобрел здесь дом), а последние двенадцать лет с подачи школьного друга, пригласившего меня в свое дело, и ныне, увы, покойного, занимаюсь установкой саун и бань. В городке я бывал в раннем детстве, пока тут жила подруга матери. С тех пор приезжал сюда редко, лишь по делу, и только обзаведаясь жильем и познакомившись с Константином Чернецким, стал здесь частым гостем. Дом с участком я купил по случаю для перепродажи. Используя его все эти годы как убежище от невзгод, а в определенные месяцы как дачу, иногда просиживая в нем подолгу, я постепенно к нему привык и начал подумывать о переезде. В мае четырнадцатого года я почти уже переехал, но вскоре дела опять позвали в Одессу, и окончательный переезд пришлось отложить.

Находясь в городке или приезжая сюда на выходные, я по субботам обязательно посещал дом Чернецкого, который издавна был одним из очагов культурной жизни городка. Возникший там литературный кружок просуществовал с переменным успехом и с некоторыми перерывами почти четверть века и со временем превратился в своего рода клуб. Традиция этих собраний уже совсем было захирела, когда вдруг несколько лет назад появился благотворитель и вдохнул в них новую жизнь. В двухэтажном кирпичном особнячке румынской постройки, в правой его половине (левую занимали вдовья мать и старшая сестра Чернецкого, обе учительницы) вновь стали по субботам собираться гости. После бокала-другого вина с легкими закусками поднимались в уютный кабинет хозяйина, а в большие холода оставались в не менее уютной столовой. Играли в буриме, делились новостями и говорили обо всем на свете, кроме политики. Неизменными участниками суббот были: я, фотограф Александр Жарков, пенсионер Иван Михайлович Вяткин, Витюша Ткач, диктор местного телевидения Глеб Глебов с женой, редактор городской газеты Андрей Изотов, сестра Чернецкого Анна и наш благодетель Виталий Кучер. Обязательно приходил кто-то еще, так что меньше десяти человек редко когда собиралось. А тем летом, о котором речь, так и поболее, в иные дни доходило и до двух десятков.

За исключением Чернецкого, готовившего к изданию уже четвертую книгу, никто из нас давно ничего не писал, если не считать каких-то выплесков в виде случайных зарисовок или стихов к юбилеям. Фотограф Жарков взялся было за пьесу о пророке Ионе, начало получилось многообещающим, мы шумно отметили написание первого действия, но дальше дело застопорилось. Больше других судьбой сочинения интересовался Вяткин. Запомнилась одна из их с Жарковым тогдашних пикировок:

- Как там твой шедевр, Саша? Двигается?
- С трудом, дядя Ваня, с трудом. Ты же знаешь, великие вещи рождаются в муках.
- Ты уж постарайся, Саша, помучайся ради всех нас, не подведи. Вот, послушай, недавно попало на глаза: «Ввергнутый в сущую нищету тьмы лукавых страстей» – как звучит, а?
- Это о ком?

– Неважно. О всех нас. Вот как надо писать! Чтобы воздух гудел от напряжения. А не эти ваши почёсывания в затылке или еще где.

– Да куда уж нам!

### III

Неожиданной особенностью того лета явилось невиданное доселе нашествие приезжих. Помню, в какой-то момент меня вдруг поразило количество подростков – сколько же их! Уткнувшись облупленными носами в телефоны, таскали за родителями кошёлки по рынку долговязые юнцы; под уличными шелковицами, звонко перекрикиваясь и отбиваясь от комаров, стайками пахлись смешливые трюковицы; на закате и те и другие сходились на пустырях для игры в бадминтон или мяч, отсюда шли в крепость, на лиман, потом возвращались в город, и до позднего вечера слышались отовсюду их ломающиеся голоса, визг и смех.

С начала июня в городе перегостили, кажется, все покинувшие его в разное время, включая и тех, кто прежде не приезжал. У меня от того лета осталось общее впечатление пестрой сутолоки, безостановочного мелькания загорелых беззаботных лиц, среди которых то и дело попадались знакомые, давно забытые. В связи с небывалым наплывом ощущался какой-то особый подъем, какая-то веселая нервозность – все радовались, обнимались, приглашали друг друга в гости, обильно выпивали. Пик пришелся на середину августа – время, когда семейные отпускники еще не разъехались, а вольные ценители красот и щедрот угасающего лета как раз подтянулись, что, впрочем, происходило каждый год, пусть и в масштабах пос скромнее.

И вот что интересно: многие из них, включая тех, кто отгостился раньше, то есть до начала событий, на следующий год говорили, что будто бы еще тогда, сквозь тот подъем, почувствовали приближение какой-то беды. Якобы что-то такое, не только веселящее, но и тревожащее, витало в воздухе. И вроде бы имели место кое-какие знаки. Не могу с этим согласиться. Конечно, с ощущениями, как и с рассказами о них, спорить глупо, но признайтесь: кто из нас задним числом не обнаруживал в себе способность прозревать будущее? Все мы, как потом выясняется, что-то такое чувствовали. Обычная в таких случаях присказка. То же касается и упреждающих знаков – задним числом их можно отыскать в любой истории, было бы желание. А уж при буйной фантазии нашего народа и его неистребимой склонности к вольным, ничем не стесненным интерпретациям даже самых твердых непреложных фактов знаки можно соорудить из чего угодно. Примером тому история с «мертвым монахом». Судите сами. Одним апрельским утром пронесся слух, что накануне вечером в городе убили и ограбили монаха. С разбитой головой его нашли на остановке возле ж.-д. вокзала. Рядом с убитым лежал пустой фанерный ящик для сбора пожертвований. Случилось это за неделю до пасхи, так что шум поднялся большой, и из Одессы прислали следователя. Не помню на какой день, но довольно скоро стали известны результаты экспертизы: найденный молодой человек умер от передозировки, а голову ушиб при падении. Дальше одна за другой начали открываться подробности. Так стало известно, что ни в одной из обителей области никто из монахов не пропал, а вот у насельника Н-ского монастыря, собиравшего пожертвования на восстановление храма, во время купания в море исчезли подрясник и ящик. Затем выяснили и личность покойного – им оказался 22-летний житель поселка О., наркоман со стажем. Однако это, похоже, никого уже не интересовало. Несмотря на очевидность, все упорно продолжали твердить про монаха-наркомана, толкуя его смерть от передозировки как некое предзнаменование. Уже самым детальнейшим образом и не один раз эту историю осветили в уголовных сводках, уже и отец Иннокентий, наш соборный протоиерей, и по телевизору, и в местной газете опроверг «монашескую» версию – всё было напрасно. Всем нужен был монах. Спросите: зачем? Думаю: на всякий случай, как знак – вдруг что-то произойдет, мало ли. Рано или поздно что-то же произойдет? А какой из мертвого торчка знак? Так и превратился наркоман, переодетый монахом, в монаха-наркомана и остался в памяти народной дурным предвестьем всего, что бы

ни случалось после. Помню, у меня тогда машина была не на ходу, и я в электричке разговорился с попутчиком – немолодым, с виду разумным человеком, дачником. Коснулись и этой истории. Внимательно выслушав мой рассказ, получив подробные ответы на все вопросы, он тем не менее в конце сказал: «А что, среди монахов нет наркоманов? Я слышал, что полно!». Ну вот как разговаривать с такими людьми! Добавлю только, что высосанный из пальца монах стал-таки частью городского фольклора наряду с убитым молнией гимназистом, чья неприкаянная тень вот уже второе столетие смущает покой наших обывателей.

С середины августа я, как обычно, стал потихоньку готовиться к бархатному сезону, то есть подбивать дела так, чтобы провести его весь, сколько бы он ни продлился, безвылазно в городке. Не передать словами, как я люблю эту череду погожих безветренных дней, уже с утра напоминающих долгие летние вечера в преддверии сумерек, с тем же невысоким, но еще жгучим солнцем, бесчисленными лучами которого как бы во все стороны сразу пронизан неподвижный воздух улиц и дворов! Такого благодатного покоя вы не найдете ни в какую другую пору года. Вся округа, словно засмотревшись в саму себя, пребывает в какой-то отрешенной задумчивости, и всюду, куда ни пойдешь – та же чуткая тишина, те же пятна света, день-деньской мерцающие драгоценными россыпями по затененным углам и закоулкам, то же грустное, сладко-назойливое звяцанье насекомых в полинявшей за лето, прибитой пылью листве... У одного местного стихотворца это недурно описано:

Тишь кругом, только скорбные лязги  
престарелых сентябрьских цикад  
да сверчков бесконечные дрязги  
вместо прежних весёлых рулад.

Впрочем, с наступлением темноты, когда строения и деревья сходятся потеснее, а из садов начинает ползти вечерняя прохлада, доходит дело и до рулад, вгоняющих слушателя в ту же мечтательную негу, что и месяцем раньше, хотя и уже с хорошо различимой ноткой печали – лето-то тью-тью. Вот еще стихи того же автора, несколько, правда, фривольные и не совсем по теме, ну да ладно, пусть будут:

Я хитёр, я зажгу ночничок  
и поставлю его на окно –  
пусть летящий во тьму огонёк  
из неё тебя выманит, но  
торопись, пока кровь горячит  
топография впадин и полушарий,  
пока ворожит  
мой сверчок с погонялом Ли Бо.

#### IV

Эту общую, сродни перелетному инстинкту (а с чем еще сравнить сие явление?) тягу посетить родные места, охватившую вдруг всех и сразу, видимо почувствовал тем летом у себя в далекой Москве и Кирилл Стряхнин, один из тех, кто, казалось бы, канул в чужих краях навсегда. Уехав в свадебное путешествие чуть ли не на следующий день после выступления у Чернецкого, он больше в городе не появлялся. Его молодая жена Алиса Тягарь в середине осени вернулась домой сама. Еще через месяц-полтора она родила мальчика, и по приглашению свёкра перебралась в дом Стряхниных, поскольку семья, где она жила – бабка, мать и её очередной сожитель – была, скажем так, из непростых. Что у них с Кириллом произошло, никто точно не знал, говорили, что

причиной раздора стало появление там, в Москве, в поле зрения молодых, бывшей возлюбленной Кирилла Ники С., и Москву Алиса покинула после громкого скандала в расчёте на то, что Кирилл бросится за ней. Расчёт, как видим, не оправдался.

О Кирилле же слухи все эти пять почти с половиной лет доходили самые разные. Говорили, что он то ли учился, но не доучился, то ли всё-таки доучился и выучился на художника кино. Ещё рассказывали, что жизнь ведёт праздную и беспутную... ну, и еще всякое. Единственным документально подтвержденным слухом оказался тот, что Кирилл стал автором комиксов, которые при желании (у меня его так и не возникло) можно и сейчас найти в сети. Интересно, что главными героями картинок были – кто б вы думали? – да-да, они самые: Жизель Катигроб и её братец Гамлет. По словам Жаркова, рисунки в жанре фэнтези рассказывали историю их лютой вражды. У каждого из них за плечами стояло по грозному воинству, у сестры – с огнестрельным, у брата – с холодным оружием, и время от времени они сходились выяснять отношения в разных точках планеты, преимущественно в столицах: в Риме, Лондоне, Ашхабаде, Лхасе и проч. По сведениям того же Жаркова, по мотивам комиксов появилась и компьютерная игра «Катигробы». Всё это была какая-то, на мой взгляд, несусветнейшая чушь, недостойная тех ожиданий, которые мы с Чернецким возлагали на Кирилла. Когда-то его среди прочих своих учеников выделила и представила нам сестра Чернецкого. Тогда же мне через знакомых удалось опубликовать подборку его стихов в одной из одесских газет, после чего он стал публиковаться самостоятельно. Дело известное: нам приятны люди, которым мы оказали помощь или поддержку, и этим, наверное, во многом и объяснялась наша симпатия. Да и Кирилл отвечал нам тем же. Перед Чернецким он немного тушевался, а вот со мной чувствовал себя куда свободней. Стихами он, правда, увлекался недолго и скоро их, к сожалению, забросил.

Пока Стряхнин-младший покорял столицу, жизнь в нашем городке тоже не стояла на месте. Шла своим чередом она и в доме Стряхнина-старшего. Поселившаяся там сразу после родов Алиса Тягарь расцвела еще больше. Крупная, яркая, с полными загорелыми плечами и высокой грудью – она всегда умела себя подать, а тут еще вид женьщины, живущей в холе и достатке, стал прямо-таки бросаться в глаза. Наряды один дороже другого, украшения, своя машина, да и поведение полноправной хозяйки дома не оставляли сомнений в том, что Стряхнину-старшему она уже далеко не невестка. И несмотря на то, что попала она в дом по приглашению хозяина, очевидно пожелавшего иметь на склоне лет рядом родную душу, некоторые сочли её переселение расчетливой местью загулявшему в Москве Кириллу. Впрочем, большинство полагало, что месть тут была не при чем. Чистый практицизм и ничего больше.

Отец Кирилла, Кирилл Юрьевич Стряхнин, уроженец нашего, до недавнего времени уютного городка, был из тех редких бывших военных, что смогли удачно вписаться в новую жизнь. Вернувшись домой еще молодым майором, он принимать новую присягу отказался и, некоторое время победовав, ушел с головой в предпринимательство. Немногословный, суровый, хваткий, неумолимый, он, говорят, какое-то время, пока не встал крепко на ноги, даже бандитствовал, но вроде бы недолго и вынужденно, без тяжелых последствий, но и не без опасных приключений. К вышеперечисленным характеристикам следует добавить его взрывную непредсказуемость. Примеров тому много. Так, с Чернецким он раз и навсегда рассорился после того, как тот отказался организовывать с ним совместное предприятие по поиску и подъему амфор и прочих древностей со дна нашего лимана. Вот просто наорал на него, едва не бросившись с кулаками, и перестал с того дня замечать. Тем не менее за прошедшие годы он приобрел большой авторитет, стал почетным гражданином и дважды выдвигался в мэры.

Нельзя, однако, было не заметить, что на фоне буйного цветения Алисы некогда браваый майор начал сдавать на глазах. Поговаривали о вампиризме молодой хозяйки, высасывающей соки из несчастного, мучившей его постоянными капризами и непомерными тратами. Насчет капризов не знаю, а относительно трат позволю себе не согласиться. Во-первых, Кирилл Юрьевич был далеко не беден, так что разорительными эти траты я бы не назвал. А во-вторых, не



будучи скупым, он был человеком привычки, при этом крайне неприхотливым – годами ходил в одной и той же одежде, ездил на одной и той же машине и жил в полуразвалившемся родительском доме, ни разу за все годы не сделав в нем нормального ремонта. На что же ему еще было тратить под конец жизни деньги, как не на молодую сожительницу? Мне кажется, что Кирилл Юрьевич попросту устал, и при появлении в его доме волевой оборотистой Алисы всего лишь позволил себе стареть. Нет, там было еще далеко до старческой беспомощности, он продолжал садиться за руль, по-прежнему любил пострелять из своих многочисленных пистолетов, но делал это все реже и реже. Последние год-два появлялся на людях считанные разы, полубил уединение и увлекся цветоводством. Тут, видимо, армейская страсть к порядку взяла свое, и цветы у него в саду росли четкими кругами, квадратами, ромбами и треугольниками – каждому сорту своя фигура.

И уже никого не удивило, когда на исходе этих пяти лет в доме Стряхниных к одному детскому голосу прибавился еще один. Мальчика назвали Юрием. И вот вскоре после его рождения и незадолго до приезда младшего Стряхнина по городу прошел слух, а следом разразился скандал, которые всю эту и без того запутанную семейную историю низводили уж совсем до какого-то последнего непотребства. Суть навета заключалась в том, что Алиса якобы была родной дочерью Стряхнина-старшего! А основывался он на том, что майор когда-то пытался закрутить роман с Зоей Тягарь, матерью Алисы. (Учитывая, что Кирилл Юрьевич в то время не пропускал ни одной юбки, вариант не такой уж невероятный.) Все говорили, что авторами слуха были мать и бабка Алисы. Видя некоторое одряхление Кирилла Юрьевича, они собирались тянуть потихоньку из него деньги за молчание, но слух вырвался на волю (а у пьющих людей по-другому быть не могло), и они пошли в открытое наступление. Рассказывали, был какой-то ужасный шум у Стряхниных чуть ли не в день рождения ребенка, когда Алиса еще находилась в роддоме. Её мать, не получив от Кирилла Юрьевича денег, рыдая, кричала ему из-за ворот, что она его предупреждала. На вопрос домработницы, почему она не предупреждала об этом, когда её дочь выходила за младшего Стряхнина, а значит как бы за единокровного брата, она сказала, что и тогда предупреждала, и уж это точно было неправдой – все помнили, как весело праздновали свадьбу. Кто знает, сколько бы это продолжалось, если бы не вмешательство самой Алисы Тягарь (по выражению Жаркова: «дважды Стряхниной»). Вернувшись из роддома, она в тот же день отправилась к матери и там попавшейся ей под руку шваброй так отходила и матушку и её совсем непричастного хахалю, что те остались едва живы и с неделю не могли выйти на улицу, а после долго еще ходили, прихрамывая, держась друг за дружку. Сразу же прекратилась помощь, которую Алиса оказывала матери, да и вообще все отношения между ними. Их пример оказался для всех наукой, и слухи утихли. Но осадок остался. Многие задавались вопросом: почему отмалчивался сам Стряхнин? Может, что-то всё-таки было? И вот сюда еще добавился приезд из Москвы Кирилла, с момента которого Стряхнина-старшего больше на людях не видели. Та же домработница Стряхниных рассказывала, что за полгода до этого какая-то цыганка в Затокке среди бела дня из всей толпы схватила за руку Кирилла Юрьевича, и пока тот шел к машине, наговорила ему такого, что он несколько дней ходил как в воду опущенный. Предсказание касалось сына и предостерегало Кирилла Юрьевича от встречи с ним.

В связи с вышесказанным известие о приезде младшего Стряхнина было встречено нами с некоторой тревогой. При этом и мне, и Чернецкому, и его сестре было интересно спустя годы увидеть нашего, в некотором роде, воспитанника, и мы, не говоря об этом вслух, рассчитывали, что он почтит нас своим вниманием (чего так и не произошло). Видимую озабоченность вызвала новость у Вяткина, у которого на то имелась особая причина: с Кириллом в городок вернулась его крестница Ника С., та самая разлучница. А вот фотограф Жарков (признаюсь, он меня начинал уже тогда раздражать), наоборот, не скрывал веселого праздного любопытства.

– Да что ж вы все так разволновались, панове? – восклицал он. – Ну подумаешь, ну забурлит слегка наша застоявшаяся жизнь, заиграет иными красками – ей это не противопоказано, давно пора.

В те дни я по поручению Чернецкого занялся делом, касавшимся одного молодого участника наших собраний, Витюши Ткача, с которым тогда начало происходить нечто странное. Надо заметить, что этот физически необычайно крепкий, атлетически сложенный смуглый брюнет, с напряженным, чаще всего исподлобья, взглядом, был и без того достаточно странен, если не сказать больше. Хотя гостем был смиренным – сидел весь вечер где-то в углу и редко когда обращал на себя внимание краткими косноязычными замечаниями, вроде того неодобрительного пятилетней давности отклика на выступление Кирилла Стряхнина. В речах же подлиннее поражала удивительная чересполосица его сознания, и мне как-то пришло на ум такое сравнение: слушая Витюшу Ткача, ты словно бы шел анфиладой комнат, где светлые жилые помещения чередовались с палатами для душевнобольных, из темных глубин которых на тебя в любой момент могло Бог знает что выскочить.

Не пропускавший прежде ни одной субботы, он вот уже больше месяца не появлялся у Чернецкого, да к тому же стал избегать всех нас – чуть завидев, сворачивал в проулок или переходил улицу – на что, если сказать по правде, кабы не тот же Чернецкий (говорили, что в Витюше он находил некоторое сходство с покойным братом), никто бы и внимания особого не обратил.

Столкнувшись с ним в начале августа возле заброшенных казарм буквально лицом к лицу, я естественно поинтересовался, почему он перестал посещать субботы. Он поначалу не ответил. Набывчившись, точно упершись большим круглым лбом в невидимую стену, стоял и молчал.

– Что-то случилось, Витюша? – спросил я.

– Я вам не Витюша, – проговорил он и, взмахнув иссиня-черными ресницами, отвел глаза, – а вы давно уже мне никто. И, может быть, даже уже не люди. Пришло время очищения.

Кажется, в этот раз я попал в буйную палату, едва перешагнув порог. На смуглом лице Витюши, когда он вступал с кем-нибудь в разговор, неизменно появлялся румянец, в тот день он горел ярче обычного.

Пока я обдумывал услышанное, Витюша твердо повторил:

– Очищение началось!

И пошел прочь.

– А всё-таки что с ним, как думаете? – спросил я на следующий день Чернецкого, когда мы – он, я и фотограф Жарков – собрались под вечер в его кабинете. Как я уже говорил, поскольку из-за наплыва гостей мы то и дело встречались у общих знакомых, график встреч тем летом у нас был свободным. Продолжали собираться и по субботам.

Чернецкий, пожимая плечами, тяжело вздохнул.

– Представить не могу, – ответил он. – Но хорошо, что ты напомнил. Пора им заняться. Тихая вода плотины рвет.

Куривший у окна Жарков, называвший Витюшу тихим бессарабским психопатом (у него для каждого имелось в запасе «доброе слово»), стряхивая пепел, сказал:

– Поздновато вы спохватились, господа. Витюше нужен теперь или опытный экзорцист, или длительный курс лечения. А до тех пор поговорить с ним вам уже не удастся, только с его голосами. Я так и знал, что это запойное чтение до добра не доведет. Не стоило его поощрять.

Последние слова были адресованы Чернецкому – у него да еще у Вяткина Витюша время от времени брал книги, хотя в основном пользовался нашей весьма приличной городской библиотекой. Читал он действительно много и все подряд. При этом постоянно что-то писал. Проходя мимо дома, где он жил с сестрой, часто можно было слышать громкий, с подзвоном, стук разболтанной пишущей машинки, разносившийся теплыми ночами при открытых окнах чуть ли не на всю улицу. Ничего из написанного Витюша никогда и никому не показывал.

– Что значит «поощрять»? – сдержанно возразил Жаркову Чернецкий. – Он не ребенок, взрослый человек. И о каких голосах ты говоришь?



– О тех самых. «Очищение началось!», «Вы не люди» – это как раз оно и есть. Страшная вещь, если серьезно. Или делай, что тебе велят, или от бесконечного прослушивания рехнешься и все равно сделаешь. И это еще не самый худший вариант. У одного моего питерского знакомого как-то после затяжной пьянки тревожные женские голоса числом не менее трех вдруг запели: «Не слушай нас! не слушай нас! не слушай нас!» И пели так день и ночь без остановки несколько суток. Ну и как это выполнить? Чего только не делал несчастный – всё без толку. Хоть разбегайся и головой об стену. А потом так же внезапно – раз! – и замолкли. Правда, еще с месяц в ушах была не тишина, а как будто напряженное молчание в эфире, как если бы они в любую минуту готовы были снова запеть. Говорил, что ничего ужаснее с ним отродясь не случилось.

– Ну причем здесь это, – досадливо отмахнулся Чернецкий. – Я вот думаю, не угодил ли Витюша куда. Сектантов вон опять расплодилось, шагу не ступить. Да и общее состояние вокруг ничего хорошего не обещает.

– Это правда, – согласился Жарков. – Как недавно выразился наш златоуст Кучер: «сейчас всё общество немножечко живет в небольшом хаосе».

Замечание Чернецкого об «общем состоянии» идет, конечно, вразрез с моим утверждением, что никто тогда ничего не предчувствовал, но: то – Чернецкий. Впрочем, получается (хм... сейчас пришло в голову – вот она, польза от записок), что и Витюша оказался достаточно чуток. Вот только его реакцией на приближающийся разлад стало странное поведение, которое неизвестно куда могло его завести, чего мы и опасались.

Видя озабоченное лицо Чернецкого, я осторожно поинтересовался:

– Думаете, не попахивает ли здесь какой-нибудь политикой?

– Упаси Господь! – испуганно отозвался он.

## VI

Сколько я помню Чернецкого – терпеливый, участливый, снисходительный ко многому, он на дух не выносил политики и оберегал наши собрания от этой напасти, как только мог. С началом известных событий в Киеве, а потом на востоке он и вовсе ввел строжайший запрет на любые политические разговоры и обрывал на полуслове всякого, кто выказывал хоть малейшее поползновение, объявляя дальнейшее развитие темы нежелательным. Впрочем, те, в чьих интересах начинала преобладать политика, сами оставляли наш клуб, как это сделали двое наших знакомых. Назову их Икс и Игрек. Не совсем уж юные, но еще горячие, они встретили киевский майдан с энтузиазмом и решили его поддержать на местном уровне. Больше мы их у Чернецкого не видели. Вскоре и тот, и другой уехали в Киев, откуда вернулись в начале весны лютейшими врагами и принялись рассказывать друг о друге Бог знает что. Их взаимные инсинуации не лишены были остроумия, да и правдоподобия. Так Икс рассказывал об Игреке, что тот в разгар Революции Достоинства прибил к палатке депутатов польского сейма, стоявшей одно время на майдане, где в порядке братской помощи и за небольшое вознаграждение готовил по утрам панам депутатам кофе и чистил им обувь. И даже получил письменную благодарность от одного из них, фамилию которого если и вспомнишь, то, как говорится, не облизнувшись, не выговоришь. В ответ на эту сплетню Игрек сардонически хохотал и рассказывал, что польская палатка была сооружением чисто символическим, ни жить, ни ночевать в ней поляки не собирались, а потому и видеть его за чистой панских штиблет никто не мог. Зато всем известно, что Икс подрабатывал велорикшей у немецкого посольства, и в те славные дни, когда центр матери городов русских был перекрыт баррикадами, возил работников упомянутого посольства на велосипеде с коляской. Днём – по их служебным нуждам, в том числе на майдан и обратно, а вечерами еще и по разным веселым заведениям. И каждый мог наблюдать воочию и не раз, как по ночному революционному Киеву, налегая всем телом на педали и тараша глаза сквозь дымы пожарищ, тянет Икс из последних сил свою таратайку с пьяными, поющими во все горло дипломатами. Посидев тут и наговорив друг

про друга еще много чего интересного, оба вскоре, как и прочие наши активисты, перебрались бузить и гонять ватников в хлебосольную Одессу, а их место здесь заняли молодые люди из близлежащих сел. К желанию и тех, и этих хотя бы таким образом отсидеться подальше от пуль и сырых окопов большинство наших обывателей, надо сказать, относилось с пониманием.

И все же, несмотря на все меры предосторожности и неусыпную бдительность хозяина дома, бьющаяся за окнами жизнь время от времени вторгалась и в наш тесный круг. Как-то наш благодетель Кучер, думая нас развлечь, привез к Чернецкому подобранный на трассе, побитого да еще и общищенного актера из популярного телесериала, который никто из собравшихся, кроме самого Кучера, разумеется не видел. Встреча оказалось недолгой: словоохотливого, но жадного до спиртного гостя хватило минут на сорок, и под занавес он буквально оглушил нас трагическим монологом. Это был рассказ о том, как во время гастролей его театра в России (города я уже не помню) сколько-то лет назад они всей труппой устроили для принимавшей стороны фуршет и выложили из бутербродов с салом карту Украины.

– О, если б вы видели... Если-б-только-вы-видели! Как они толкались и хватали! Хватали и жрали! Своими грязными лапищами – вот так! прямо вот так!.. – ревел он в финале рыдающим басом, ныряя пятерней в большой белоснежный торт, который по такому случаю выставил Кучер. – И первым, между прочим, сожрали Крым!

Горестно мотая запрокинутым, перемазанным кремом лицом, глотая слезы, он наконец бесильно опустил на стул, выложил на столешницу ладонь в комьях бисквита и меньше чем через минуту уронил кудлатую голову на грудь. Оставив его на Кучера, мы тихо поднялись в кабинет.

Да вот еще помнится, тогда же, в одну из суббот того лета имело место происшествие, довольно мелкое, но иначе как вторжением его не назовешь – в кабинет Чернецкого ворвался некто взъерошенный с горящими глазами, кажется не из местных, и с порога закричал:

– Вы обязаны меня выслушать! У меня за плечами девяносто два дня майдана!

В ту же секунду Жарков и Кучер, не сговариваясь, но так слаженно и ловко, словно проделывали подобное уже много раз, взяли гостя под руки, развернули и быстренько выпроводили вон. «Не будьте кацапами!» – этот его отчаянный прощальный крик донесся до нас уже из-за ворот.

Кое-что, правда, случилось и раньше.

## VII

Заглядывая к нам на субботний огонек уже упоминавшийся вскользь в самом начале Глеб Глебов – человек по большей части тихий, но вспыльчивый и не без претензий. В нашем клубе он как бы составлял пару угрюмому молчуну Витюше, хотя был совсем иного склада, и наверняка оскорбился бы таким сближением. Проработав долгое время на местном радио и телевидении, он с той же дикторской чопорностью, не снимая костюма и очков в тонкой золотой оправе, держался в повседневной жизни. Аккуратно зачесанные назад и чуть набок напомаженные волосы, большой рот с узкими плотно сомкнутыми губами, широкий нос и чуть оттопыренные уши придавали его наружности что-то лягушачье. В нашей компании его всегда называли по имени и фамилии очевидно потому, что Глебом звали покойного брата Чернецкого. Мнения о себе он держался весьма высокого, и единственным беспрекословным авторитетом для него была его жена, одно время тоже захаживавшая в наш клуб. Год назад она, бросив мужа и девятилетнего сына, сбежала в Одессу с одним из тех «шлемоблещущих» рыцарей, что приезжают биться на турнирах во время средневековых фестивалей, ежегодно проходящих в стенах нашей древней крепости. С потерей супруги Глеб Глебов и сам как будто потерялся, стал выпивать, и примерно с того же времени его грубые и всегда неожиданные попытки свернуть разговор на политику, которые всякий раз резко пресекал Чернецкий, стали особенно назойливыми.

В одну из суббот Вяткин делился впечатлениями от последней статьи одного нашего именитого горожанина, писателя Цвиркуна (главного недоброжелателя Чернецкого да и всей нашей

компании, скажу о нем чуть позже). Собеседником Вяткин, естественно, выбрал Изотова – молодого редактора нашей городской газеты, в которой статья была опубликована. Называлась она «Прощание с русским» и, несмотря на то что была написана на русском, вся дышала надеждой на скорейшее и полное избавление от этого имперского наследия. В ней Цвиркун среди прочего утверждал, что судьба русского языка еще со времен Пушкина всегда в большей степени зависела от чиновников и военных, чем от писателей и поэтов. Тем же самым, по мнению автора, грешила в свое время фашистская Германия, и он с горечью вспоминал, что первыми словами на немецком, которыми овладевали дети его поколения, были «хенде хох», «шнель», «цурюк» и прочие в том же роде. А вот таких слов как «Химмель», «Эвигкайт» и «Вельтшмерц» ему, увы, слышать не приходилось.

Изложив вкратце для непосвященных эту свежую цвиркуновскую отсебятину, Вяткин с приторной озабоченностью вздохнул:

– Нет, ну в чем-то он прав, конечно. Я тоже из послевоенных, и могу подтвердить: ни немецкая вечность, ни мировая немецкая скорбь моего слуха так ни разу и не коснулись. Товарищи мои по играм вполне себе обходились «ахтунгами» да «хендехомами».

Тут, видимо желая увести разговор подальше от политики, слово взял стоявший у раскрытого окна Чернецкий:

– Я хоть и значительно младше вас с Цвиркуном, но чувствую себя таким же послевоенным ребенком – те же игры, те же увлечения... Да что там игры – взять, например, разговор на пададь. В детстве, сами знаете, где только не лазишь, и на такое натыкаешься часто: собаки, кошки, птицы, грызуны... И вот я, родившийся почти через двадцать лет после окончания войны, увидев что-нибудь из этого, скороговоркой выпаливал: «Тьфу-тьфу-тьфу, три раза, не моя зараза, не папина, не мамина, не брата, не сестры, а Гитлера жены!» Хорошо помню, как уже сам по себе энергичный ритм перечисления домочадцев с финальным переходом на Еву Браун вмиг прогонял страх. И, кстати, до сих пор гадаю: а как заговаривали, например, те, у кого не было никого, кроме матери? Или были только мать и брат? Как это звучало? Наверняка тот, кто научил меня (я, к сожалению, не запомнил кто это был), знал варианты для любых комбинаций, и в случаях с неполными семьями та же бодрящая бойкость заговора, вероятно, достигалась добавлением каких-нибудь вставок. Но каких? Может быть, кто-то слышал что-то подобное?

Ответить никто из присутствовавших не успел – из угла, громыхнув стулом, выскочил Глеб Глебов и отрывисто прокричал следующее (записано мною как услышано):

– Талипше цийваш! Хайбы, хайбы! вашу цюю! взагаликбису!..

Запнувшись, он судорожно втянул воздух и беспокойным взглядом обвел наши заинтересованные лица. Неудивительно, что услышанное принято было нами за некое заклинание, которое Глеб Глебов с подачи Чернецкого вдруг вспомнил и, чтобы не забыть, тут же поспешил произнести вслух. Все ждали продолжения или комментариев. И только когда он закричал: «Да лучше бы вообще забыть к черту этот ваш проклятый русский язык и никогда больше не вспоминать! Пусть бы он вообще исчез! К черту его, к черту, к черту!», стало понятно, что перед этим была неудачная попытка сказать то же самое по-украински. Дружным молчанием мы встретили и этот его крик, только на смену любопытству и ожиданию пришло известное ощущение неловкости, какое возникает обычно, когда тихий нескладный человек громко и невпопад заявляет о себе.

– Знаете какой-то другой? – спросил наконец Чернецкий.

– Вот из-за таких, как вы, и не знаю! – так и бросился на него, окончательно позабыв о приличиях, Глеб Глебов.

– Что тут скажешь... – Чернецкий пожал плечами, – да и надо ли...

Он отвернулся к окну, а Глеб Глебов схватил свою сумку и выбежал вон.

Проследив за тем, как он покинул дом и вышел за калитку, Чернецкий повернулся к нам и сказал:

– Простим ему.

Этой негромкой фразой он сразу напомнил нам о пережитых Глебом Глебовым потрясениях, и больше мы к нему в тот вечер не возвращались.

Дело, однако, этим не кончилось.

### VIII

По субботам Глеб Глебов больше не появлялся, но не прошло месяца, как он позвонил Чернецкому и, ссылаясь на нездоровье и обещая сообщить нечто важное, попросил срочно его навестить. На подходе к дому Чернецкий заметил, как в окне дернулась занавеска и мелькнула тень, но на стук в приоткрытую дверь никто не ответил. Постучав еще раз и не услышав ответа, Чернецкий вошел, с порога громко спросил, есть ли кто в доме, и тут же услышал какой-то шум и следом сдавленный крик из комнаты. Он бросился туда. Там с пунцовым лицом, выкатив, то ли от ужаса, то ли от напряжения, глаза, вцепившись руками в петлю на горле и бешено дергая ногами, висел под потолком хозяин. К счастью, рядом на столе лежал остро наточенный кухонный нож, и в один миг веревка была перерезана. Усадив Глеба Глебова на стул, Чернецкий открыл окно. Раскидывая по сторонам взметнувшиеся занавески, он краем глаза заметил, как Глеб Глебов прихлопнул запрыгавшую на столе записку и прижал её ножом, а когда Чернецкий попытался снять с его шеи петлю, ловко увернулся. Так и встретил скорую, молниеносное прибытие которой стало еще одной странностью – во время вызова Чернецкий не успел договорить адрес, как ему ответили: «бригада уже выехала», а карета появилась, едва он дал отбой. Заслышав шум в прихожей, Глеб Глебов вручил ему свой телефон и велел снимать все происходящее. Чернецкий в некоторой растерянности послушно принялся исполнять волю самоубийцы и прекратил, лишь заметив недобрый взгляд начальника бригады. После чего откланялся. Узнавать, чем таким важным с ним собирался поделиться Глеб Глебов, он не стал, полагая, что тот всё, что хотел, сообщил в записке: «Стыдно быть русским».

Репутация Чернецкого как человека доброжелательного и великодушного, склонного снисходить к людским слабостям, была известна всем в городе, и потому даже после скандала, устроенного у него в доме, даже ставя его в дурацкое положение участием в своей комедии, Глеб Глебов был уверен, что тот отнесется к вышеописанной выходке серьезно, и не ошибся.

– До какого же отчаяния должен дойти человек, чтобы решиться на столь прозрачную инсценировку, – говорил Чернецкий. – Вот что достойно сочувствия, разве нет?

Кто б еще мог так сказать? При этом он не понимал некоторых очевидных вещей, и Жаркову пришлось объяснять, например, что скорая помощь, вызванная самим Глебом Глебовым перед тем как залезть в петлю, нужна была тому вовсе не для подстраховки, как предполагал Чернецкий, а исключительно для фиксации и огласки. Чтобы сей факт можно было при необходимости предъявить.

– Предъявить? – удивлялся Чернецкий. – Но кому? И зачем?

– Мало ли. Каждый делает карьеру как умеет. Я слышал, он собирается перебираться в Киев, вот и...

– В Москву, – уточнил кто-то.

– Ах, в Москву? Ну тогда тем более понятно. Если в Москву. Там такие герои – устыдившиеся себя русские – возможно, еще востребованы. В Киеве-то, да и в Одессе, этого добра с избытком, очереди стоят.

– Но как это? – продолжал недоумевать Чернецкий. – Придет на телевидение, покажет видео, записку и попросится в какое-нибудь шоу?

– Конечно! Именно так он и сделает.

И похоже, именно так Глеб Глебов и сделал, и раза два таки мелькнул на киевских каналах. После первого он заявился к Чернецкому. Пришел воодушевленный, светясь готовностью отвечать на вопросы. Не встретив с нашей стороны интереса и, кажется, приняв его отсутствие за

зависть, он больше у Чернецкого не появлялся, зато, возможно и в отместку, стал ходить к его лютому недоброжелателю, упомянутому выше автору статьи о языке, Цвиркуну. (Я считаю, что втайне от нас ходить туда он начал гораздо раньше, сразу после бегства жены, и именно этим объяснялось его несносное поведение у Чернецкого.) Тут не помешало бы сказать несколько слов об этом колоритном персонаже, Цвиркуне, которого наверняка помнят многие из гостей нашего города. С аккуратной седой бородой, в белой вязаной шапочке и в неизменной вышиванке – он стал своеобразной местной достопримечательностью. Писательствовать Цвиркун (я вот до сих пор не знаю, фамилия это или псевдоним) начал еще Бог знает когда и был одно время самым молодым в стране членом союза писателей. При смене эпох возглавил местную писательскую ячейку и, открыв в себе диссидентскую жилку, припомнил уже валившейся набок державе все её грехи, настоящие и мнимые. Справедливости ради надо сказать, что клеймя проклятое прошлое лишь в общем, Цвиркун ни от чего в своей биографии, в отличие от некоторых, не отказывался, и гордился каждым поворотом извилистого жизненного пути. Фигурально выражаясь: одерж никогда не менял и надевал каждую новую поверх предыдущих, за что пользовался у наших сограждан полнейшим уважением, ничуть не меньшим, чем постоянный в своих взглядах Константин Чернецкий. Известен был также тем, что многие годы увлекался буддизмом и отметился на обоих майданах.

– Объясните мне кто-нибудь, – удивлялся последнему Жарков. – Вот ведь, давно не молодой человек, а по меркам минувших поколений уже и старец. Светлые одежды, шапочка, мудрая усмешка во взгляде, при встрече ладошки складывает. Поговоришь с ним, и как в Ганге ополоснулся. А чуть какой майдан – он уже тут как тут, брусчатку разбирает и шины подтягивает. Причем что в пятьдесят пять, что в шестьдесят пять, без разницы. Вяткин, давай, растолкуй нам сверстника.

Последним поприщем Цвиркуна стало руководство местным отделением общества анонимных алкоголиков. По выражению того же Жаркова, зорко следившего за городскими событиями, этому детищу Цвиркун отдал всего себя без остатка, вложившись в него опытом всех прежних воплощений и нынешних ипостасей – главы большого семейства, патриота, члена союза писателей, теле- и радиоведущего, буддиста, коммуниста, националиста, духовного целителя, историка, диссидента, осведомителя (были и такие слухи) и запойного алкоголика.

– Программа собраний там примерно такая. Штудирование буддистских текстов и общие медитации (сам слышал, как они всем ульем гудели «оммммм») чередуются с историей Руси-Украины. Начинают и заканчивают гимном. На дом Цвиркун иногда задает писать сочинения. Не выполнил задание – штраф. Пропустил занятие – штраф. Небольшой, но все же. Можно и по морде схлопотать – народ там покладистый, чтобы не сказать затюканный, возражать не привык. Ну и не без трудотерапии конечно – своих орлов Цвиркун сдает внаём. Собираются они теперь под пушкинским дубом.

Имелся в виду дуб возле Торговой пристани, входивший в добрый десяток разбросанных по всему югу области легендарных дубов, в тени которых, кочуя с цыганами по Бессарабии, любил отдыхать наш великий поэт.

После собраний, в сумерках, а то и позже, эти анонимные разве что для приезжих подопечные Цвиркуна поднимались в город и мимо моих окон; не сводя глаз с телефонов, они молча брели по улице, и в белых вышиванках, с лицами, омытыми голубым экраным свечением, больше походили на захмелевших от избытка кислорода, заглядевшихся в свои волшебные зеркальца утопленников, с наступлением темноты вышедших из лимана.

## IX

Но вернемся к Витюше Ткачу. Несмотря на то, что его слова об «очищении» и переключались с призывами Цвиркуна хорошенько почистить город, на собраниях у последнего он ни разу за-

мечен не был (хотя с Глебом Глебовым его уже видели), и источник его воззрений находился явно где-то в другом месте.

Решив, что откладывать дальше некуда, Чернецкий тем же вечером, после нашего тревожного обмена мнениями, отправился к его сестре за брынзой. (А брынзу она, надо сказать, делала отменную. Такая, знаете, на вид совсем невзрачная, сероватого и даже как будто землистого оттенка, к тому же плотная и тяжелая, как глина, но с удивительно богатым вкусом и еле заметной приятной горчинкой. С нашими степными величиной с ладонь помидорами в грубых трещинах от напора сладкой мякоти да с домашним прохладным вином – чудо как хороша!) Когда мы дошли до перекрестка, я и себе заказал кружок овечьей, после чего мы с Чернецким попрощались.

Всё детство Витюша провел в интернате, но сразу же после смерти матери был забран оттуда старшей сестрой. Выучив и поставив брата на ноги, она до сих пор занималась всеми его делами. Работал он на тяжелых строительных работах, и сестра сама встречалась и договаривалась с работодателями.

Чернецкий проговорил с Людмилой Ткач около часа в летней кухне. Девушка простодушная, но не глупая, она и сама стала замечать за братом некоторые странности поверх тех, что за ним водились. И без того нелюдимый, он замкнулся еще сильнее. Не так давно решительно отобрал у сестры топор и впервые сам отрубил курице голову. А еще ей показалось, что он стал выпивать, если не что похуже. Последнее Людмилу беспокоило больше всего – она опасалась, что брат падет к Цвиркуну. Эти изменения начались месяца два назад, сразу после того как у них переночевал некий актер одесского театра, приезжавшего к нам на день города. Заплутавшего гастролера (отбившиеся от коллективов артисты были, видимо, бедой того лета) Витюша подобрал где-то на окраине во время сильной грозы. Небольшого роста, бойкий, со свисающей на глаз длинной прядью – больше ничего о нем Людмила сказать не могла. Имя: Игорь. То, что актер, поняла, услышав утром разговор по телефону, – тот собирался встретиться с кем-то в Одессе сразу после того, как «отыграет спектакль». Витюша проговорил с ним всю ночь и выходил на кухню за чаем один раз вроде как заплаканным. Когда она спросила, что с ним, загадочно ответил: «Это он». И больше ни слова.

Закончив с сестрой, Чернецкий заглянул к брату, и тут, разговорив его, услышал много для себя нового и удивительного.

Если коротко, узнать ему удалось следующее: всё последнее время Витюша, оказывается, жил в предчувствии и в ожидании откровения, и вот, наконец дождался. Что уже само по себе чудо, поскольку откровения теперь в мир посылаются совсем иначе, чем прежде. Зная гнусную привычку людей убивать его пророков, Господь решил: хватит, и с некоторых пор стал их скрывать. Суть маскировки в том, что чем меньше пророк знает о себе и послании, которое принес в мир, чем меньше он походит на пророка, тем лучше. Многие так и остаются в полном неведении о своем предназначении. Бросив, или лучше сказать: выронив пророческое слово, пророк, не подозревая о сделанном, идет дальше. Узнать их, разосланных по городам и весям, тоже дано не каждому, а лишь тем, в кого Господь также заронил крупицу пророческого дара. По этой крупице, отражаясь в ней как в зеркале, пророк бессознательно определяет, что перед ним тот, с кем следует поделиться пророчеством. И под видом разговора, дружеской приятной беседы делится сокровенным, чаще всего и не подозревая об этом. То есть, строго говоря, пророк рождается в тот момент, когда он, говорящий, сливается с внимающим. И перестает им быть до следующей подобной встречи. Ну а внявшим отводится роль исполнителей. Такая вот конспирация. О самом пророчестве, о том, в чем оно заключалось, говорить Витюша отказался. Покружив вокруг этой темы и ничего не добившись, Чернецкий спросил:

– А что значит очищение, о котором ты говоришь? Очищение от чего?

– От мерзости.

– Ну и какая такая мерзость у нас, здесь?

– Страхнины, – ответил Витюша и демонстративно поморщился. Очевидно, он был знаком с недавним гнусным слухом.



– Оба?

– Все.

– Хм.

– Чоботов, – добавил Витюша, и вдруг, судорожно вскинув лицо, словно вынырнув – обычное его движение, – требовательно спросил: – Где ответственность художника? Где она? В чем?

– Ты о ком сейчас?

Но Витюша уже опять опустил голову и замкнулся.

– Можно поподробней?

Витюша отвечать не стал, и тогда Чернецкий спросил:

– И какова, по-твоему, их судьба? Что с ними должно произойти?

– Они исчезнут. Когда придет время. Как тени. Когда начнется движение.

– Какое движение, чего?

Витюша отвернулся к окну.

Итак, Витюша Ткач действительно находился во власти какой-то еще до конца не перебродившей в нем идеи, и в этом смысле мы, кажется, вовремя спохватились. По-видимому, заблудившийся актер был принят Витюшей за одного из тех пророков, о которых он говорил. Романтическая обстановка впрямую: ночь, гроза, наверняка яркая речь пришельца – всё это могло поразить его воображение.

Закончил рассказ Чернецкий желанием непременно актера найти и с его помощью попробовать Витюшу расколдовать, чтобы не кусать потом локти.

– Не чужой же он нам, а значит, мы за него в ответе, – сказал он (его отсылка к Экзюпери, как еще увидим, оказалась пророческой).

Расходы Чернецкий брал на себя. Мне затея, не говоря уже о весьма призрачной возможности её исполнения, казалось зряшной тратой времени и сил, но я доверился его чутью и согласился.

А еще в нашем распоряжении оказалась рукопись, оставленная Витюшей по рассеянности в кухне; сестра её сунула Чернецкому перед уходом. Назывался сей утомительный графоманский опус: «Глубокий ум сна». Диалоги с Шекспиром, Данте, Ньютоном и прочими великими, спешившими поделиться своими мыслями с автором, перемежались с его собственными рассуждениями. Некоторое впечатление на меня произвела вскользь упомянутая лужа пролитой Лермонтовым на дуэли крови, время от времени появлявшаяся по ночам в комнате Витюши, но что это: навязчивое видение или поэтический образ, понять было трудно – однажды мелькнув, она больше в тексте не встречалась. Из забавного: наш городок в полсотни тысяч душ у Витюши, нигде дальше Одессы не бывавшего, превратился в многомиллионный мегаполис и выглядел так: «Многолюден, многоязык, многоглазый, многоликий, многоногий, упрямый и коварный, горбатый, полусырой, ядовитый, символический, угрожающий». И люди в нем «ищут, бегают, хватают, рычат, жалуются, кричат и бесятся... будто я сам разрешил это все, будто я высший из высших и все это через меня, будто сам я током их всех зарядил и пошло и поехало и побежало и помчалось перед моим невозмутимым спокойствием а я на все это смотрю и ничего не говорю». И как же трудно живется в нем автору: «вроде толпы людей а не с кем поговорить, что-то посоветовать, на что-то обратить внимание... Но как тяжело здесь дышать: смрад, грязь, помои, тухлое мясо, мусор, над всем этим стоит спертый непристойный воздух... И главное никто на это не обращает внимание, будто ничего этого нет, будто все чисто, будто их это не касается, будто это не у них, будто это не с ними, будто это не в ихнем городе, будто это не тут! Но дышать тяжело и надобно обратить на все это внимание и устранить все то что мешает дышать и передвигаться горожанам!.. Что вы понимаете! Все то что у меня здесь под сердцем, нельзя высказать, нельзя передать, нельзя другому почувствовать, сам все чувствую, сам все переживаю, сам все воспринимаю с болью и самому придется под бременем и тяжестью этого бремени нести эту ношу и (если надо) гибнуть». Единственная отрада Витюши в этом жестоком мире – «пшеничноволосяя зеленоглазка» – загадочная сущность, перед которой склоняли головы Великие Мужы, Природа

и сама Истина. Являясь по ночам, «она игривась надо мною как дикая какая-то вакханка». Противостоял Витюше довольно невразумительный, безликий, сгустившийся из миазмов страшного города предводитель темных сил, с которым ему предстояло сразиться и победить. Возможно ценой жизни. При благоприятном исходе его ждала награда – зеленоглазка.

Весь текст был напечатан прописными буквами, почти без знаков препинания и часто без пробелов между словами, что делало его похожим на древние письмена с их сплошными строками, а также свидетельствовало о том нешуточном накале страсти, с каким он писался, когда не до пробелов и переключений регистров.

X

Не обошелся без сюрпризов тот вечер и у меня. Едва мы расстались с Чернецким, как я встретил Кирилла Стряхнина, понуро бредущего с сыном со стороны крепости. Вид у обоих был усталый, и в глаза сразу бросалось, что они чужие друг другу.

Как было сказано, услышав о приезде Кирилла, я ждал, что он вот-вот зайдет ко мне или поживится у Чернецкого. Однако поразмыслив, что пять с лишком лет немалый срок для молодого человека, да еще пожившего в гуще столичной жизни, набравшегося ярких впечатлений, приготовился к тому, что Кирилл не проявит к нам особого интереса. Так оно и оказалось.

Не зная с чего начать, я напомнил последний вечер, когда мы с ним виделись:

– Ваш кровавый гиньоль о Катигробах произвел тогда большое впечатление.

Он, улыбаясь, замялся, пожал плечами.

Я подумал, что он, должно быть, уже забыл о том далеком выступлении и мог отнести мою фразу к своим комиксам с теми же персонажами, но уточнять не стал.

Далее я стал задавать ему подходящие случаю вопросы: надолго ли он приехал, какие у него планы, как ему живется в Москве, и на все он отвечал скупыми общими фразами: как получится, пока не знаю, спасибо, ничего. За это время у меня возникло и стало крепнуть ощущение, что передо мной не совсем тот Кирилл Стряхин, которого я знал. Да, прошло время, люди с годами меняются, а молодые тем более, и все же... При этом внешне, насколько я успел разглядеть в сгустившихся сумерках, он почти не изменился. Вот, правда, голоса его (приобретенный им за эти годы московский выговор не в счет) я не узнавал. Но и помимо голоса было в моем собеседнике какое-то общее несоответствие тому, что я готов был увидеть в Кирилле даже с поправками на все изменения, какие только могли с ним произойти. Усомнившись, а он ли это, я впал в тягостное недоумение, и сам себе напоминал в те минуты моего покойного пса, когда тот полугодовалым щенком не мог вспомнить меня после двухнедельной разлуки и боялся приблизиться, смущенно оглядываясь на стыдившую его мою первую жену. Кстати, мне с самого начала показалось, что и Кирилл меня не узнал, но не подал вида. Могло ли такое быть? И как же мальчик? Так и не сообразив, в чем тут дело, я попрощался, но еще некоторое время продолжал теряться в догадках.

На следующий день, была как раз суббота, я еще не закончил рассказывать об этой странной встрече, как Жарков сказал:

– То был не Кирилл, а его двойник.

– Кто?

– Двойник. Парень, который с ним приехал.

– Не морочь голову, какой еще двойник? Как я мог спутать с кем-то Кирилла, которого знал столько лет?

– Но вот ведь спутал. Говорят, в интернете была акция «Найди близнеца». Жаль только, что двойник приехал не сам по себе, получилось бы куда занятней. А если нужен оригинал, приходи в крепость, там он прогуливается в крепких раздумьях каждое утро. Ох, уж мне эти принцы датские...



Слова Жаркова подтвердила сестра Чернецкого, Анна.

– А как же ребенок? – спросил я.

– А какая ему разница, с кем гулять? Отца-то он никогда не знал.

Самого Кирилла никто из наших, кроме Жаркова, еще не видел. Как рассказала та же Анна, в родной дом его не пустили. О том, что видеть его не хотят, ему сообщил водитель Стряхнинных. Говорили, что причиной столь категоричных отказов стало предсказание цыганки, предостерегшей Кирилла Юрьевича от встречи с сыном. Но кем введены были столь жесткие меры относительно Кирилла, его отцом или Алисой, так и осталось неизвестным. Позже Алиса позвонила Кириллу и разрешила повидаться с мальчиком, но только при условии, чтобы он сам за ним не приходил. (Ребенок, к сожалению, был всего лишь поводом для Кирилла попасть в дом, на деле он проявил к сыну редкое равнодушие: посмотрел на него, когда его привели, и отправил гулять.)

Что ж. Долгий перерыв, сумерки, мальчик – всё вместе сбило меня с толку. Вспомнив свои «собачьи» ощущения, я сказал, что Кирилла мне, конечно, жаль, но затея с двойником абсолютно дурацкая и для знающих его людей оскорбительная. Жаркова мой рассказ развеселил. Посмеиваясь, он добавил, что меня ждут еще кое-какие приятные сюрпризы.

Как обычно у нас водилось, моя история дала повод поделиться похожими всем остальным. А я вспомнил еще и случай совершенно противоположный. Как-то вечером, дело было в Одессе, рядом со мной резко затормозила машина, и выскочивший из нее подвыпивший человек бросился меня обнимать. При этом он сыпал незнакомыми именами, фамилиями, кличками, упрекал меня в том, что я куда-то исчез, а машина за ним нетерпеливо сигналила и рвалась с места. «Давай больше не теряться! Звони утром!» – крикнул он напоследок и уехал. Помню, мне пришлось в голову, что это карманник, промышляющий столь дерзким способом, и я бросился проверять карманы, но там всё, слава Богу, оказалось на месте. Больше я его не встречал.

В конце вечера, когда мы уже перебрали несколько других тем, со своим рассказом выступил фотограф Жарков. Историю, когда-то якобы происходившую с его каким-то дальним родственником, он назвал «О блудном коте и его верном хозяине».

– Кот был рыжий, короткошерстный, обыкновенный. Он подобрал его на улице котенком. Когда кот подрос и пропал в первый раз, он, выждав неделю, дав коту нагуляться, стал методично обходить двор за двором и вернул его домой то ли на третий, то ли на четвертый день. Не прошло и полгода, как кот ушел опять. И он опять после недельной паузы искал его дни напролет, пока не нашел. С тех пор так у них и повелось: кот периодически исчезал, а он его рано или поздно возвращал. Иногда поиски затягивались на недели, а то и на месяцы, но в итоге, пусть и на другом конце города, пусть и на самой дальней окраине, он неизменно находил своего рыжего. За это время у кота могли появиться новые хозяева, не желавшие расставаться с любимцем, и тогда в ход шли уговоры, деньги, а если это не помогало, то угрозы и кулаки. В связи с последним его хорошо знали в полиции. Бывало, что его появление не радовало и кота – тот не давался, шипел, отбивался, но в конце концов все равно оказывался дома. Бывало и так, что кот сбежал в тот же день или на следующий, и тогда он снова брал переноску, корм и отправлялся на поиски. Всякое бывало. Но он всегда добивался своего – кот возвращался домой. Так происходило все сорок с лишним лет, вплоть до самой его мирной и естественной кончины. И в ту последнюю минуту его кот, молодой и здоровый, был рядом с ним.

## XI

В Одессе на след актера, которого мы подозревали в дурном воздействии на Витюшу, я вышел быстро. Оказалось, что в День города в городке выступали кукольники, и я отправился к ним. Тихий, моложавый, совершенно седой директор, настороженно встретивший меня в маленьком прохладном фойе, сразу же сказал:

– Кажется, я догадываюсь о ком вы говорите. Игорь Свистунов.

Тут, правда, след и обрывался. Месяц назад Свистунова уволили, в штате он не состоял, поэтому никаких его координат, кроме телефона, который не отвечал, не было. Как бы извиняясь, директор поведal мне следующее:

– Театр у нас новый, коллектив еще не сложился, был трудный период, вот и взяли по рекомендации. Так-то он человек очень талантливый, с фантазией. Самородок. Я уже не говорю, каких он кукол делает. А по жизни, конечно, человек совсем неприкаянный. Живет где придется. Ну и выпить любит. Что еще? Ходок. Просто сумасшедший успех у женщин. Не у всех, у определенного, так скажем, психотипа, но все равно удивительно. Не знаю, чем он их берет, если увидите, сами убедитесь – посмотреть не на что. Что касается его последней выходки. Он всегда любил импровизации, и мы многое ему спускали на взрослых спектаклях. Но когда он перепутал с пьяных глаз утро с вечером и на детском спектакле начал муссировать тему связи... – даже не знаю какое этому подобрать определение – Емели со щукой, а потом и с печью, и не то чтобы намекать, а демонстрировать...ну, тут уж знаете... пришлось расстаться.

– Мне бы его фотографию, – попросил я.

– Чего нет, того нет, – грустно ответил директор, – но вы можете зайти к Виолетте, его знакомой, может у нее? Тут, через дорогу.

Дома Виолетты не было. Я переночевал в Одессе, как того требовали мои основные дела, и в середине дня повторил попытку. Меня встретила высокая женщина лет тридцати пяти и проводила в темную тесную гостиную.

Все время пока я рассказывал о цели визита и пытался узнать, как мне найти Свистунова (невозможно было понять, какие их связывают отношения), она вела себя так, будто в квартире находился и, возможно, наблюдал за нами еще кто-то. Невольно ожидая, что этот кто-то, которым мог оказаться и сам Свистунов, вот-вот войдет, я то и дело терял нить разговора. А эта мастерица саспенса и дальше продолжала таинственно улыбаться, к чему-то прислушиваться и бросать взгляды по сторонам. На повторный вопрос (первый раз я ответа не дождался), где бы сейчас мог быть её знакомый, Виолетта мечтательно произнесла:

– Влад – он как ветер...

Но где гулял этот ветер, так и не сообщила, а отвечая на мои уточняющие вопросы, напустила опять такого туману, что оставалось лишь гадать: она не знает, где он, или же не желает сообщать? И стоит ли мне надеяться? «Какая душная женщина, однако», – подумал я и спохватился:

– Пойдите! Его разве не Игорем зовут?

– Он предпочитает, чтобы близкие называли его Владом.

«Не говорим ли мы вообще о разных людях?» – усомнился я.

– Он и мне хотел имя поменять, хитрец, – она сладко улыбнулась. И наконец сообщила: – Сказал, будет в понедельник.

Я спросил насчет фотографий. Фотографий не было. Я поднялся.

– Но есть кукла.

– Кукла?

– Да, кукла. Его кукла.

– Спасибо, но зачем мне кукла?

– Это не просто кукла. Это *его* кукла. Автопортрет.

Виолетта вышла в другую комнату, и спустя минуту оттуда донесся тихий перестук и глухой перезвон елочных игрушек в картонной коробке – кто ж из людей моего возраста не помнит этот звук?

– Когда мы были еще троим (хм, что бы это значило?), он сделал на Новый год под елку нас троих: меня, мужа и себя, – сказала она, появившись. – Вот.

И протянула мне тряпичную с деревянной головой куклу сантиметров в тридцать.

– То есть вот это – он?

– Да.

– И насколько он здесь похож?

– Очень. Даже вот, видите, родимое пятнышко у виска. Ему тут тридцать четыре. У него как раз день рождения в январе.

Я повертел в руках машущую руками куклу, которая чуть что складывалась в пояс, и то была земные поклоны, то так же легко откидывалась назад. Кукла и кукла; с обычным кукольным личиком. Узнать по ней живого человека можно было разве что по свисавшей на правый глаз челке из конского волоса, бакенбардам и шляпе на затылке. На предложение её продать Виолетта ответила категорическим «нет». Давать под какой-нибудь залог также отказалась. Тогда я попросил разрешения сфотографировать.

– Сфотографировать можно. Пожалуйста, фотографируйте.

Я встал, поместил куклу в освободившееся кресло и сделал телефоном несколько снимков разной крупности и в разных поворотах.

С этим уловом я на следующий день пришел к Чернецкому и, надо сказать, чувствовал себя глуповато, пока показывал фотографии. Попутно рассказал о том, что удалось узнать, и поинтересовался, стоит ли нам связываться со столь веселым персонажем. Чернецкий усмотрел в этом, наоборот, плюс: вот, дескать, пусть Витюша и разглядит спокойно, при дневном свете, того, с кем провел ночь в обстановке романтической бури. Что ж, мне оставалось только согласиться, и мы отправились к сестре Витюши, которую нашли на заброшенной железнодорожной ветке в окружении пасущихся коз и овец.

Держась левой рукой за рог одной из питомиц, а правой вытягивая из её шерсти репей, она выслушала мои объяснения, после чего я предъявил фото. Приблизив лицо к телефону, сестра сказала:

– Похож.

Я облегченно вздохнул, совершенно выпустив из виду, что теперь мне придется этого человека отыскать и привезти.

Неожиданно Людмила Ткач предложила показать нам комнату брата, который, подрядившись на какую-то авральную работу, собирался заночевать в Затоке, и мы, конечно же, согласились. По дороге я позвонил директору театра и Виолетте и оставил им для Игоря Свистунова сообщение с просьбой выйти на связь.

В темной из-за закрытых ставен комнате Витюши сестра включила свет и, постояв на пороге, пошла доить коз.

Перед нами было скудно обставленное холостяцкое жилище: койка, шкаф, стол. На столе – древняя разболтанная машинка «Москва» с круглыми фарфоровыми в медных ободках клавишами (её, оставленную в моей одесской квартире прежними хозяевами, подарил Витюше я), стопки бумаги и книги, книги, книги. На стене над столом красовалась размашистая, малярной кистью по голой штукатурке надпись: «Победа Победителю».

– Ника – Виктору? – пробормотал, глядя на нее, Чернецкий.

– Так вот, значит, кто она – «пшеничноволодая зеленоглазка», – отозвался я.

И еще одно. Но это скорее из области курьезных совпадений: как только сестра включила свет, мне в глаза бросился темное пятно на полу между столом и окном. Я молча указал на него Чернецкому. Тот не понял, и я отложил объяснение до выхода на улицу.

Находились мы в комнате совсем недолго: всё в ней настолько дышало горькой тщетой безнадежно одинокого человека, что наше любопытство – осторожное и вполне уважительное – нам самим показалось неуместным.

– Да, но когда он успел... как бы это сказать... так сильно увлечься Никой? – задумчиво проговорил Чернецкий, когда мы уже шли по улице.

А в самом деле? Её не было в городе около пяти лет. Неужели она тогда настолько поразила его воображение, что и спустя годы...

– Портрет, – вспомнил я. – Её портрет у Вяткина – вот где он её видит. Когда приходит за книгами.

## XII

Витюшин опус, кроме двух последних страниц, где упоминалась зеленоглазка, Чернецкий дал почитать Вяткину и Жаркову, чтобы услышать их мнение. Вяткин нашел текст непосредственным и поэтичным. Жаркову не хватило в нем безумия.

Кстати, и тот, и другой нашей с Чернецким затее не одобрили, что, однако, не помешало им схлестнуться. Бывший в тот день в ударе Жарков сказал:

– Мне нравится эта история. Похоже, что приبلудившийся актер уловил и перевел на человеческий язык запрос Витюши, оформил то, что тот представлял лишь размыто. Ну и добавил кое-что от себя. К тому же, в его лице Витюша нашел наконец того, кого искал. А может, и не искал, но после встречи с ним оказалось, что искал. Я только боюсь, что вы всё испортите. А мне хотелось бы дожидаться от Витюши чего-то фундаментального, какого-нибудь Откровения Кукольника или Книги пророка Свистуна. Я в него верю. Хочется какого-то движения, новых имен, событий. А то как-то сухоовато у нас в новейшей истории.

– Да что ж ты такой неугомонный, Саша, – усмехнулся на сетования фотографа Вяткин, – всё б тебе шутить да ёрничать.

– А тебе брюзжать, – не поворачиваясь, весело отозвался тот.

– У меня вот знакомый недавно помер, – продолжил Вяткин в той же неторопливой, несколько ворчливой манере. – Стали мы с его вдовой искать какую-нибудь фотографию поприличней, выставить с траурной лентой, и что ты думаешь? Не оказалось ни одной, где бы он не гримасничал. Какую ни возьмешь – везде он с вытаращенными глазами и с перекошенной физиономией. Так и не нашли, представляешь? Мораль: шути, да знай меру, а то так и останешься в памяти народной шутом гороховым.

На что Жарков возразил:

– Я, дядя Ваня, сапожник без сапог, потому никаких моих фотографий ты у меня не найдешь, хоть обыщись. Надеюсь, у тебя с этим всё в порядке. Если нет, ты только свистни – подготовим скорбную серию на случай. Это во-первых. Во-вторых, мне совершенно наплевать, что там и у кого останется обо мне в памяти. И в-третьих, для меня жизнь пестрое цветение, а не затхлое прокисшее болото.

Дав отповедь оппоненту (и я позже, если не забуду, объясню, что значило брошенное им «хоть обыщись»), Жарков повернулся к нам.

– Я вот тоже кое-что расскажу. Про подгорельцев не слышали? О, это дивная история! В стиле ренессансных новелл. Я такие собираю. Представьте: небольшой, вроде нашего, городок, только где-то на севере, а в нем недавно образованная община. Во главе общины заезжий пастор, молодой человек с характерными заокеанскими интонациями, большой импровизатор и любитель завести публику. Одно слово: шоумен. И что не служба, то у него разборки с князем тьмы. «Сатана, мы тебя презираем! У нас нет к тебе никакого уважения! И знаешь почему? Потому что мы уже спасены, аллилуйя! А ты просто жалкий неудачник! Убирайся и забирай с собой свой страшный ад! Мы его не боимся! Нам он – не страшен!» И всё в том же духе. Однажды, будучи в ударе и пропаяничав так всю службу, он выдал под занавес залихватскую речёвку: «Страшный ад, иди в зад!». Её подхватили все остальные участники собрания, и дальше это перешло в продолжительное хоровое скандирование с хлопаньем в ладоши, топаньем и улюлюканьем, под бурный аккомпанемент электрооргана. Наскакавшись и накричавшись вволю, усталые и довольные разошлись по домам. Вечер провели в тихом приятном отдохновении, как всегда после собраний. Поужинали, посидели у телевизоров и легли спать. Сон однако оказался недолгим, и ровно в полночь все, как один, были разбужены грубым вторжением в их, скажем так, телесные пределы чего-то постороннего, от раскаленного присутствия которого уже очень скоро глаза полезли на лоб. Как говорится: звали? Встречайте! Метавшиеся в ту ночь по городу врачи неотложек только растерянно разводили руками: там, куда их от вызова к вызову умоляли заглянуть, всё было в порядке.

Я бы сказал, ничего лишнего. Не получив помощи от медиков и не в состоянии больше терпеть адскую боль, несчастные, не дожидаясь утра, подпрыгивая и приплясывая, потянулись к моленной дому. Вскоре туда прибыл и их не менее измученный пастор. В коллективе жжение, войдя, видимо, в некий инферальный резонанс, усилилось до невыносимого, так что обсуждение срочных мер то и дело оглашалось истошными криками. Подгоняемые этой пыткой, они в считанные минуты (дольше всего, секунд сорок, занял выбор обращения: «добрый» или «милый») сошлись на решении, которое, впрочем, напрашивалось само: так же, всем миром, как они приглашали в себя ад, попросить его их оставить. За исключением некоторых особо страждущих, оставшихся сидеть на снегу, все прошли в моленный дом. Стали просить. Сначала глухо, с некоторым смущением, продолжая стенать, вскрикивать и подвывать, но постепенно приладились друг к другу, разошлись, распелись, и что вы думаете? Дрогнула геенна огненная. Отступила. Сошла на нет, точно её и не было. Не веря своему счастью, они еще долго, чтобы как следует закрепить результат, оглашали округу дружным: «Милый ад, покинь зад!», а расчувствовавшийся проповедник, терзая на радостях орган, всё повторял и повторял рефреном: «По-жа-луй-ста!» И только с первыми лучами солнца совершенно обессиленные, но вразумленные, они разбрелись по домам. С тех пор их стали называть «подгорельцами».

– Тебе *таких* историй у нас не хватает? – удивленно спросил Чернецкий Жаркова, когда тот закончил.

– И таких тоже.

Чернецкий пожал плечами.

– По-моему, у нас есть кому компенсировать их нехватку. И он с этим вполне справляется.

Всем было понятно, что Чернецкий имел в виду Антона Чоботова. Вспомнить о нем в тот вечер пришлось еще раз, когда заглянувший Изотов поделился с нами последними городскими новостями. Сначала он рассказал о появившихся на доме Страхнинных с приездом Кирилла двух черных крестах (с месяц назад там кем-то уже был намалеван один, его стерли), а следом сообщил, что шумная московская компания младшего Страхнина за считанные дни успела накуролесить здесь так – с голыми плясками, битьем окон и драками с соседями, – что уже два раза меняла жильё и, не найдя его в третий, почти в полном составе укатила в Одессу, а Кирилл с двойником перебрались – куда бы вы думали? К Чоботову.

– К Чоботову?! – вырвалось у меня.

### XIII

Что ж, пришло, пожалуй, время сказать несколько слов и о нем, нашем известном писателе. С отвращением приступаю.

Как и Кирилл Страхнин, родился Антон Чоботов в семье военного. Но если отец первого был отставным офицером-десантником, то отец второго всю жизнь тянул лямку старшины в строительном батальоне. Эта разница – цвет армии, белая кость и «чумазый», чернопогонник – как мне кажется, сразу задала тон их отношениям. А кроме того, Кирилл был ярко и разнообразно одарен, Чоботов же только тужился. Первый не знал счета деньгам, второй был гол как сокол (я, например, с самого начала видел в нем бесстыжего прилипалу). Не удивительно, что верховодил в их паре Кирилл, хотя Чоботов был года на два, а то и на три старше.

В ту пору, когда Кирилл учился в Одессе и приезжал сюда только на выходные, Чоботов продолжал посещать литературные посиделки у Чернецкого. Его искусственные вирши, как он ни старался их разукрасить и оживить, всегда оставляли впечатление блеклых вымученных переводов. Узнав о том, что я определил стихи Страхнина в газету, он предложил мне свои, я отказал, хотя мог бы, наверное, опубликовать и их. К тому же, каюсь, ясно дал ему это понять. Так что, как видите, хорошим отношениям между нами неоткуда было взяться. С годами наша взаимная неприязнь лишь усиливалась.

Успех Чоботову принесла его кровавая, напичканная всяческими гадостями и ужасами проза, но в городке он сначала прославился совсем не ею. Произошло это спустя несколько месяцев после женитьбы и отъезда Кирилла. Мне бы совсем не хотелось углубляться в личную жизнь последнего, но тут, видимо, без этого не обойтись, так что я остановлюсь на ней вкратце.

Шесть лет назад Кирилл метался между двумя нашими первыми красавицами, Алисой Тягарь и Никой С. И та, и другая готовы были ответить, да и отвечали ему взаимностью. Пикантная подробность: Ника была на четыре года младше Кирилла, а Алиса на столько же его старше, и успела поработать в школе, где наводила ужас на старшекласниц. Что-то в ней и тогда уже было от большой красивой змеи, и именно так, змеей её и прозвали: ужалить она умела, как никто другой, а данные ею клички приставали к несчастным намертво. Её соперничество с Никой закончилось в тот день, когда она сообщила Кириллу, что беременна.

За всеми этими перипетиями очень внимательно наблюдал из своего угла Чоботов, влюбленный по уши в Нику, и как только Кирилл остановил выбор на Алисе, открылся своей избраннице. То ли от отчаяния, то ли рассчитывая вернуть таким образом внимание Кирилла, Ника благоклонно ответила на ухаживания Чоботова, так что во всем произошедшем далее есть и её вина. Их отношения ограничились несколькими встречами, и в день свадьбы Кирилла и Алисы были Никой грубо, без объяснений разорваны. После безуспешных попыток их возобновить Чоботов вернулся к своей прежней девице и скоро на ней женился. И вот, когда страсти вроде бы улеглись, Чоботов отомстил Нике самым гнусным способом. Он написал и издал роман, в котором, как говорят, описал историю их непродолжительных отношений.

Назывался он «Сороконожка», предварялся посвящением: *Памяти Ники С.*, и с первой же страницы, да что там – с первых же строк! – бил наповал. Чем бы вы думали? Именем главной героини. Я, например, ничего подобного прежде не встречал. Кстати, только это имя и стало непреодолимым препятствием для публикации в известных издательствах, углядевших в чоботовской прозе некоторые художественные достоинства, но поменять его на другое или хотя бы сократить Чоботов ни в какую не соглашался, и в конце концов выпустил книгу небольшим тиражом за свой счет.

Вот оно, полное имя главной героини:

Бессердечная Глухая Стерва Никогда Не Знаящая Ни Любви Ни Жалости Ни Сострадания Грязная Тупая Гадина Почему-то Вдруг Решившая Что Весь Мир Должен Крутиться Исключительно Вокруг Её Вертялых Бедер Жадная Ненасытная Паучиха Готовая Высосать Досуха Любого Попавшего В Её Липкую Паутину Запредельная Конченная Триждыпроклятая Триждытварь.

Каково? Надеюсь, вам уже не кажется, что я чересчур пристрастен к нашему сочинителю? И еще. Знаете, может быть, я слишком прямолинеен, но подобные вещи я обычно невольно примериваю на себя и своих близких: что если бы на месте Ники оказалась моя сестра или любимая женщина? Я бы его убил, ей-богу.

В романе выглядело это так:

«Тут зазвонил телефон, и Бессердечная Глухая Стерва Никогда Не Знаящая Ни Любви Ни Жалости Ни Сострадания Грязная Тупая Гадина Почему-то Вдруг Решившая Что Весь Мир Должен Крутиться Исключительно Вокруг Её Вертялых Бедер Жадная Ненасытная Паучиха Готовая Высосать Досуха Любого Попавшего В Её Липкую Паутину Запредельная Конченная Триждыпроклятая Триждытварь, извинившись перед собеседницей, полезла за ним в сумочку».

Или:

«Пряча цветы за спиной, Владимир неслышно подкрался к Бессердечной Глухой Стерве Никогда Не Знаящей Ни Любви Ни Жалости Ни Сострадания Грязной Тупой Гадине Почему-то Вдруг Решившей Что Весь Мир Должен Крутиться Исключительно Вокруг Её Вертялых Бедер Жадной Ненасытной Паучихе Готовой Высосать Досуха Любого Попавшего В Её Липкую Паутину Запредельной Конченной Триждыпроклятой Триждытвари и, за секунду до того как та обернулась, беззвучно, одними губами произнес:

– Любовь моя, счастье мое...»

Эта злобная долгая, числом в сорок четыре слова, тирада, так и бившая в глаза, кричавшая по несколько раз с каждой страницы, встречается в тексте больше тысячи раз (что, между прочим, автоматически увеличило его объем примерно на полсотни тысяч слов). А весь – небольшой, если брать его в чистом виде – роман, естественно, был развернутым комментарием и иллюстрацией к приведенному списку имен. Так говорили. Впрочем, и те, кто говорили, роман не читали. Да и кто бы мог его в таком виде прочитать? Не для того он был написан.

На плохонькой, чуть ли не газетной бумаге отпечатанная, неряшливо сброшюрованная, пухлая «Сороконожка» стараниями автора появилась сразу в двух книжных магазинах городка, а также в магазинах и на книжном базаре Одессы. То, что в больших городах и не заметили бы, или заметили бы лишь краем глаза, в небольших производит эффект упавшего метеорита. Это было что-то настолько и до такой степени ни с чем не сообразное, неслыханное, невозможное, что мы в городке были буквально ошарашены чудовищной выходкой Чоботова. Многие, включая меня, перестали с ним здороваться, ну и дом Чернецкого был, конечно, с того дня для него закрыт.

За честь Ники, которая, говорят, чуть не свихнулась от горя, вступился её брат, пообещавший Чоботова убить. Чоботов бежал в Одессу и там нанял каких-то лихих ребят, которые приезжали сюда по голову брата. Скрывшись от них в той же Одессе, тот стал искать Чоботова там, попал в какую-то поножовщину, с Чоботовым не связанную, и угодил за решетку, а сама Ника уехала от позора в Москву. В общем, творилось черт-те что. Кстати, вернулся брат Ники законченным негодяем – и это тоже на совести Чоботова. Впрочем, сам сиделец, почувствовавший вкус к тюремной жизни, зла на него не держал, тем более что непосредственной вины Чоботова в том не было.

#### XIV

Помню, как на следующий день после появления книги на заборе чоботовского дома появилась неоконченная – судя по брошенным в траве банке с краской и кисти, вандала спугнули – надпись аршинными белыми буквами: «ЧОБOTOB – ДО». Шутник Жарков тогда предположил, что загадочное «ДО» было началом неоконченной фразы «ДОСТОЕВСКИЙ НАШИХ ДНЕЙ» и часто потом называл писателя: Чоботов До. А насчет романа он как-то сказал:

– Это самое многословное признание в любви из известных мне. В этом есть что-то религиозное.

– Согласен, – поддержал его Чернецкий.

– Что-то от страстных горячих молитв, бесконечного их повторения или шаманских заклинаний.

– Согласен, – повторил Чернецкий.

Соглашусь и я: какой еще огонь мог так яростно жечь автора, выводившего эти тысячи слов, но... Ревность тоже, знаете ли, есть некая искаженная форма любви, однако же за убийство или нанесение увечий из ревности судят и сажают в тюрьму.

Среди защитников Ники неожиданно оказался Стряхнин-старший, известный, кроме всего, привычкой чуть что хвататься за оружие; исчислявшееся десятками стволов, оно к тому же везде, где бы он не находился, было у него под рукой – в бардачке машины, под подушкой, в ящике письменного стола. Крепко выпивший, он однажды возле центрального рынка выскочил из машины, поймал проходившего мимо Чоботова за воротник, развернул к себе и ткнул ему стволом в лоб. А дальше произошла странная заминка: Кирилл Юрьевич, по всей видимости, забыл, о чем собирался говорить, и они простояли так довольно долго, собирая вокруг себя на некотором отдалении осторожную толпу зевак. Это молчаливое стояние с приставленным к голове пистолетом, которое в ту минуту неизвестно чем могло закончиться, побелевшему, как скатерть, Чоботову наверняка обошлось не в один десяток седых волос. Наконец, вспомнив, Стряхнин потребовал, чтобы книга немедленно исчезла с прилавков нашего городка. Что и было в считанные часы исполнено. (И это, увы, всё наказание, которое Чоботов понес. В той же Одессе, да и, надо полагать,



не только, книга продолжала продаваться.) Кончил Стряхнин тем, что, крутанув писателя за ворот, повалил его, безвольного, на четвереньки и с возгласом «Пошел вон!» отвесил ногой по задку. (Здесь мне бы хотелось кое-что добавить. Помните тот кровосмесительный скандал? Так вот, незадолго перед ним в гостях у Тягарей, в их круглосуточно гудящем притоне не один раз видели Чоботова. Доказать, что это он сочинил тот отвратительный слух в отместку Кириллу Юрьевичу за унижение, сейчас уже невозможно, но я почти уверен: докрутить и без того малопристойную историю с девицей, понесшей сначала от сына, а потом от отца, еще и до такого кровосмесительного абсурда, способен был только Чоботов.)

Кстати, поговаривали, что Алиса Стряхнина, наоборот, книгой очень заинтересовалась и во время тайной встречи с Чоботовым предлагала, и весьма настойчиво, переиздать «Сороконожку» в более удобочитаемом виде, выбрав из списка имен главной героини какие-нибудь два, например заключительную пару. Чоботов отказался. Говорили еще, что у них тогда же завязалось было, но быстро заглох роман – верилось в это с трудом, но слухи красавицу Алису никогда не щадили. Спустя какое-то время «Сороконожка» была-таки пиратски издана в отредактированном виде, но судя по тому, что издатели не нашли ничего лучшего, как назвать героиню Никой, обошлось это без участия Алисы.

Что представлял собой Чоботов-писатель в августе 201... года? Я не слишком пристально слежу за новинками литературы, но краем глаза все-таки наблюдаю, что в ней происходит, и скажу, что такого рода сочинителей, соревнующихся между собой в писании мерзостей, сейчас хватает. Только в Одессе я знаю двух. Думаю, такие есть в каждом городе. И ведь сколько уже подобного написано, и вроде бы уже и границ-то таких, которые бы не были перейдены, не осталось, и все какие ни есть табу уже кажутся порушены, а они всё не могут успокоиться, всё пишут и пишут, и пишут, всё кого-то поразить хотят. Удивительные люди. Чем же тогда выделялся наш Чоботов, чья известность к тому времени уже, как говорят в таких случаях, шагнула за пределы городка? Знающие толк в литературе люди, Жарков например, утверждали, что Чоботов, в отличие от многих, умел лихо закручивать сюжеты, а кроме того щедро приправлял свои истории всякого рода мистической дребеденью, и часто наравне с живыми героями в его творениях бесчинствовали всевозможные призраки, эфирные двойники, восставшие из мертвых, и прочая нежить. Не читал, не знаю. Знаю зато, что по части абстрактного мышления народ в провинции все-таки еще отстаёт от столиц и больших городов. (Всегда было загадкой, почему Чоботов сидит в городке.) И когда, к примеру, герои романа (уж простите мне такие подробности) подкрепляются экскрементами, провинциальные читатели по простоте душевной воспринимают автора как человека не чуждого опыта подобных застолий. Я и сам из таких наивных читателей. Так что в городе Чоботова не очень привечали. Тот же неистовый Цвиркун клеймил его порнографом и дерьмоедом и требовал изгнать из города вместе с Чернецким и Стряхниним. И только беспробудно пьющие Тягари, к которым Чоботов иногда захаживал, видимо развеяться и набраться свежих впечатлений, встречали его как дорогого гостя, поскольку приходил он не с пустыми руками, а с известного рода гостинцами.

Что еще сказать о нем? С виду скромный благообразный отец семейства: жена и трое, мал мала меньше, белобрысеньких детишек. В быту рачительный хозяин. Подруга его жены говорила, что скуп необычайно и до маниакальности подозрителен. Правда, рассказывать она это стала после того, как Чоботов, по слухам, поймал её на воровстве. Словом, снаружи всё как у людей. Но: расчлененные тела, каннибализм, инцест, некрофилия, вампиризм, травматическая содомия, копрофагия, свальный грех... – этот далеко не полный перечень невольно приходил мне на память каждый раз, когда я видел его идущим со всем семейством в церковь или выходящим из нее. Человек я от религии хоть и далекий, однако понимаю, что церковные врата открыты для всех, и для грешников, может быть, в первую очередь. Вон, известный городской воришка Холодок не проходил мимо собора или армянской церкви не перекрестившись. Но в его набожность я мог поверить, а вот в чоботовскую не получалось.



XV

В один из дней позвонил директор театра кукол и сказал, что разыскиваемый мной Игорь Свистунов пришел забрать вещи, и я, если хочу, могу с ним поговорить.

– Да-да? – деловито осведомился новый голос в трубке и, когда я предложил встретиться, строго спросил: – Это по работе?

– Не исключено, – ответил я.

– Прекрасно! – вскричал мой собеседник. – Уверен, мы договоримся!

Эти преждевременные и слишком уж радостные восклицания Влада-Игоря Свистунова явно предназначались не мне, а стоявшему рядом с ним директору.

В назначенный для встречи день в Одессу ехал по делам Кучер, и я отправился с ним. В восемь утра он уже стоял у моего дома и встретил меня бодрым: «Отличные погодные условия сегодня!» Жара немного спала, но синоптики обещали её скорое возвращение.

Кукольника Свистунова я узнал сразу: лет сорока, с телосложением мелкого подростка, шляпа с узкими полями, туфли на толстой подошве, ну и, разумеется, чёлка. Мы познакомились, и на мое предложение съездить поговорить и, возможно, кое-что заработать он махнул рукой.

– А поехали!

В его развинченной подвижности было что-то от куклы, которую я недавно держал в руках, и, казалось, ему ничего не стоит подобно ей сложиться вдвое хоть в ту, хоть в другую сторону. А когда, открывая дверь машины, он галантно посторонился перед проходившей мимо девицей и проводил её веселым взглядом, вспомнился отзыв о нем директора театра, назвавшего его ходяком.

Поездка оказалась нескудной. Кукольник и минуты не мог усидеть на одном месте, вертелся волчком и болтал без устали. У детей такое поведение называется синдромом повышенной активности.

– Какая красотень! – воскликнул он, когда мы выбрались за город и по обе стороны от дороги до самого горизонта потянулись поля кукурузы в желтых лохмотьях. – Сейчас бы мольберт на плечо и – на пленэр!

– Вы еще и живописец? – спросил я.

– Было дело. Посещал училище вольнослушателем.

Убаюканный шумом машины и его рассказами, я было заснул, но очнулся в холодном поту от оглушительного рёва над ухом. Оказывается, за это время Свистунов успел созвониться с режиссером, в анимационном фильме которого собирался озвучивать осла, и продемонстрировал ему свои способности.

Выбившись, наконец, из сил, он и сам задремал, но тоже как-то на скорую руку – затих на полуслове минут на десять, дернулся и проснулся.

Когда мы подъезжали к мосту, справа от которого открывался грязновато-зеленый лиман, а слева – уже по-осеннему синее море, с головокружительно четкой, словно прочерченной острым грифелем линией горизонта, позвонил Чернецкий узнать, где мы находимся. Вероятно, вспомнив подобранного Кучером актера, осторожно поинтересовался, нет ли признаков политической озабоченности у нашего гостя, и получил ответ, что на сей счет он может быть совершенно спокоен. И действительно: за всю поездку кукольник о чем только не говорил, но вот политики не коснулся ни разу.

Кучер подвез нас к моему дому. Я на всякий случай указал гостю ориентир – кирпичную водонапорную башню, переоделся (мне предстояла еще одна важная и, как я предполагал, деликатная встреча), и мы пешком отправились к Чернецкому, где нас уже ждал накрытый стол.

XVI

О встрече с Витюшей, когда, поговорив о том о сем, перешли на нее, Свистунов сообщил немного. Познакомились они, когда кукольник отправился искать ушедшего за вином товарища и оказался в незнакомом месте. По нашей просьбе он стал рассказывать в подробностях о тогдашней гастрولي, начиная с самого приезда.

– «Маленького принца»? – вмешался в его монолог Чернецкий. – Вы сказали, что в тот день показывали «Маленького принца»?

– Да.

– Очень хорошо. Там ведь должен быть эпизод, где речь идет об уборке планеты? То есть меня интересует, в вашем спектакле он был?

– А как же! Это ж воспитательный момент. У нас там пылесос, швабра, все дела, моющие средства...

– А не могли вы развить какую-нибудь импровизацию на эту тему?

– Сейчас, здесь?

– Нет. Тогда, там. У Витюши. В тот вечер.

Свистунов понимающе шурясь, запрокинул голову.

– То есть вы спрашиваете, мог ли я под этим делом, – он звонко шлепнул себя тыльной стороной ладони по горлу, – что-то наплести на тему уборки?

– Именно.

– Хм. Дайте подумать. Я вообще-то много чего могу. И тому есть масса свидетелей. Но здесь вот сомневаюсь. Человек в гости пригласил, а я буду его по его же углам тыкать? Да и вообще, не моё это – морали читать, извините.

Чернецкий стал объяснять, какого рода импровизации имел в виду.

– А! – обрадовался кукольник, – в широком смысле! Как бы в философском, да? Несовершенство мира, всё такое... Я понял, понял. Нет, ну такое мог бы, конечно. Тут меня хлебом не корми. А что? Кто ж, выпив, не любит поговорить? Но вот всё-таки насчет этого конкретного случая – чего не помню, того не помню. Зело был пьян, извините. Прямо до какого-то беспамьятства. Долго потом так не укушивался. А что стряслось-то?

– Дело в том, что у парня, о котором мы говорим, и так мозги набекрень, так вы, похоже, ему еще и добавили, совсем их на сторону свернули, – сказал я напрямую.

Дальше Чернецкий взялся описывать, как встреча с кукольником (утверждать наверняка мы не могли, но скорее всего она), отразилась на Витюшиных образе мыслей и поведении. Иногда слово-другое вставлял и я. То и дело отводя падающую на глаз чёлку, гость с готовностью поворачивался то к Чернецкому, то ко мне.

– Вот это может быть! Спорить не буду! Но такая у меня профессия – не оставлять зрителя равнодушным! – горячо согласился он, когда мы закончили. – Я же вас вижу – нормальные люди, я вам верю. А за собой давно знаю: такое иногда начинаю плести! Потом рассказывают – сам в шоке. Я этим закидонам и название придумал – творческий вечер. Хотя тоже, знаете... Не всё так однозначно. Иногда думаю: а вдруг в самом деле что-то через меня идет? А что? Почему нет? Пограничное состояние, то сё... верхние чакры пооткрывались и что-то там из астрала тянут, сосут из космоса напрямую...

План действий у нас был самый немудреный – снабдив Свистунова некоторой суммой командировочных, поселить его у Витюши с сестрой. Чернецкий все-таки полагал, что главную роль тогда сыграли обстоятельства встречи, и нынешнее, не в пример прошлому, прозаическое появление кукольника отрезвит Витюшу. Легенда была выбрана такая: решившему немного отдохнуть от шумной Одессы артисту захотелось остановиться у людей, уже однажды оказавших гостеприимство. С сестрой всё заранее было обговорено. Не пришлось уговаривать и услышавшего о вознаграждении нашего гостя.

– А давайте! – залихватски махнул он рукой. – Работы у меня на ближайшее время все равно нет. Пусть поищут, побегаят, если приспичит. Будут знать, как...

– У меня настоящая просьба, – сказал Чернецкий. – Только не вздумайте заводить с Ви-тюшей разговор на эту тему. Просто живите, отдыхайте. Ну и, если можно, с некоторыми развлечениями поаккуратнее бы...

– Вы про это? – Гость опять хлестнул себя по горлу ставшей сразу неживой, свободно болтавшей кистью. – Сухой закон!

Еще в машине я обратил внимание на его выразительные, подвижные руки. Даже когда, замолкая, он укладывал их на колени, они не успокаивались и, вероятно в дополнение к сказанному, продолжали дергаться, ёрзать, сходиться-расходиться и выбрасывать пальцы. «Да он одними этими руками, без всяких кукол, мог бы сыграть что угодно», – подумал я и поднялся. В тот день, как я уже сказал, меня ждала еще одна очень любопытная встреча.

На центральной улице, как только я на нее свернул, ко мне бросился двойник Кирилла.

Странь – так в старину называли чужаков и заодно странных непонятных людей. Это слово как нельзя лучше подходило данному персонажу. Я и имени-то его не знал, а между тем ситуация складывалась абсурдная: Кирилла я еще не видел, но уже во второй раз вынужден был разговаривать с его двойником! Из дальнейшего безумного разговора я понял, что он как раз ко мне и направлялся (мой адрес узнать было нетрудно).

Бросившись со всех ног на мою сторону улицы, он запричитал:

– Послушайте, помогите, эта сволочь Чоботов отравляет мне жизнь! Дышать не дает! Унижает! Кидается на меня! Бьет!

Был он, кажется, не совсем трезв. Алкоголь, наркотики – черт их знает, чем они там развлекались.

– Можно пожить у вас?

Я аж задохнулся. Это было что-то уже совсем немыслимое.

– Вы в своем уме?!

– А вы представьте, что с вами сейчас говорит Кирилл. Это я, Кирилл Стряхнин, говорю с вами. Помогите! Вы живете один, и мы бы постарались вам не мешать. Я могу помогать по хозяйству. У вас есть хозяйство?

Я промолчал и прибавил шаг.

– Вы отказываетесь помочь? Ну, почему? Неужели вам всё равно? – крикнул он вслед с надрывом. – Это может плохо кончиться!

Я – человек нормы. И, в отличие от того же Жаркова, терпеть не могу ничего необычного, «остренького». Всё выходящее за рамки меня не то чтобы пугает – я в конце концов пожил и повидал всякое, – но всегда заставляет сторониться. Так было и тогда. Но вот что я успел заметить и, поостыв, припомнил: этот парень действительно выглядел растерянным и не на шутку встревоженным. И что значило его «кидается, унижает, бьет»? Если только он не врал. Это что ж получается – Чоботов в его лице бьет Кирилла? С него, конечно, станется, но – Кирилл? Как он, получая в лице двойника по шее, относится к столь недвусмысленным знакам внимания? Что там у них вообще происходит?

## XVII

Гибкая, свежая, загорелая, в сиреновом платье, похожем покроем на тунику, она весело подошла к моему столу и протянула руку. Передо мной была Ника С. Я много о ней слышал, о чем рассказал выше, и, встречаясь в городе, здоровался, но никогда прежде так близко не видел и ни разу с ней не говорил. Когда-то, еще в пору всех тех страстей вокруг чоботовского романа, я заинтересовался мнением о ней Чернецкого, и он в ответ негромко продекламировал:

Мечтанья девушек красивы,  
Полузакрытые цветы,  
Но есть мучительные срывы  
И цепкий зов из темноты.

Вблизи, с первого взгляда она показалась мне, знавшему об её успехе у мужчин, на удивление невзрачной. Но чем дольше длилась наша беседа, тем больше я проникался её обаянием. Впрочем, к делу это не относится. Её звонок с просьбой встретиться показался мне странным, но она была крестницей Вяткина, а это для меня кое-что значило. Я и представить не мог, о чем она собирается со мной говорить.

У нее были зеленые глаза с чуть припухшими и при этом очень подвижными нижними веками, что придавало её лицу выражение постоянной летучей иронии, которая, когда она улыбалась, вместе с необычным, плачущим изгибом губ выглядела неожиданно горькой. При том, что девицей она была скорее смешливой, чем грустной.

Я сразу сказал, что встретил только что и уже во второй раз двойника, а Кирилл до сих пор так и не видел. Пересказывать подробности встречи с двойником не стал.

– Это Козлик. Он милый. Наш друг, поэт. Они познакомились, когда была акция «найди двойника». Кирилл в последнее время вон как изменился, а Козлик ни капельки, такой же как был.

– Кирилл и Чоботов опять нашли общий язык? – осторожно спросил я. Мне все-таки, хоть убей, непонятно было, как мог Кирилл поселиться у автора такой книги о женщине, с которой он жил.

Пожимая плечами, Ника уклончиво ответила:

– Его иногда трудно понять, Кирилл. И вы, наверное, слышали, в какой ситуации он оказался. Всё-таки они когда-то были близкими друзьями, и... Вы простите, что я вас побеспокоила. Она смущенно замолкла.

Я заверил ее, что она несколько меня не побеспокоила, и если ей нужна какая-нибудь помощь, я с удовольствием помогу.

– Совет, – сказала она. – Мне нужен совет. Или, может быть, несколько советов.

– Всё, что могу.

Она попросила не рассказывать о нашей встрече Вяткину и сообщила, что Кирилл ищет оружие, о чем ей сообщил Козлик, и ей очень от этого тревожно.

– Боюсь думать, зачем оно ему. Он так мечется, смотреть больно. Кажется, уже сам не рад, что приехал. Я вам скажу по секрету, у него там всё очень плохо. Идет туда с добрыми намерениями, но... И вот теперь еще оружие. Он и так в последнее время немного не в себе. А если человек не в себе, куда ему еще оружие? Собирался в Одессу переехать на время, я только за, но что-то его задержало... не знаю, что делать... Он вас часто вспоминал, говорил, что кроме вас никого здесь и видеть не рад, поэтому я к вам и обратилась.

Что скрывать, мне всегда льстило, что такой известный в городе молодой человек относился ко мне с интересом и уважением, приятно было слышать это и теперь. Я предположил, что Кириллу, может быть, и в самом деле надо попробовать пережить и обдумать всё, что на него навалилось, в некотором отдалении от дома, и на случай, если ему здесь станет совсем невмоготу и он опять соберется в Одессу, предложил свою квартиру.

– Правда? – воскликнула Ника. – Как здорово! Конечно, ему надо сменить обстановку, посидеть одному, спокойно подумать...

На минуту оживившись, она опять погрустнела и о чем-то задумалась.

Поражало её удивительное сходство с братом, известным в городе пьяницей и наркоманом по кличке Зять. У меня чесались руки при одном только взгляде на этого негодяя. Справедливости ради скажу, что та шумная история с «Сороконожкой» прошла по нему, как ни по кому другому. Когда-то пылкий непосредственный юноша, бросившийся защищать честь сестры, попав в тюрьму, изменился там до неузнаваемости. О нем я еще скажу чуть позже. Тогда же, глядя на Нику, от-

мечая их сходство – те же зеленые глаза, та же печальная, плачущая складка губ, – я думал о том, как один и тот же набор черт может быть и прекрасным, и отвратительным.

Я уже решил было, что ради Кирилла Ника со мной и встретилась, когда она вдруг спросила:

– А вы знаете, что Чоботов мне звонит и просит о встрече?

Странный вопрос. Разумеется, я не знал. Однако она ждала ответа, и мне тогда показалось, что я ей понадобился в роли случайного оракула. Есть такая штука: обратиться в сложной ситуации за советом чуть не к первому встречному в надежде, что тот по какому-нибудь наитию выдаст единственно верное решение. Может быть, она не знала, насколько я посвящен в её дела? Но раз уж она сама пришла за советом, что было скрывать мне?

– И это после всего? – спросил я, имея в виду ту гнусную книгу.

– Вот и я его так спросила, а он сказал, что всё еще поправимо, представляете?

Не рассчитывавший на такую откровенность, я растерялся я, несколько потеряв самообладание, воскликнул:

– Поправимо?! Но как?! Не мне, конечно, судить, но раз уж вы сами обратились... Она, эта жуткая книга, она же уже есть, разошлась по свету – каким образом такое можно поправить?! Этого он вам не сказал?

Кажется, я вышел за рамки. Она, улыбаясь, пожала плечами и сказала:

– В общем, мне придется, наверное, с ним встретиться.

– «Придется»? Он вам угрожает?

– Нет, что вы! Нет. – Она, усмехнувшись, покачала головой. – Он нет.

– А кто?

Ника пожала плечами, достала из сумки листок бумаги и протянула мне.

– Получила на днях.

На листке было набрано прописными буквами: «НЕ СПЕШИ КОЗА, ВСЕ ВОЛКИ ТВОИ БУДУТ».

– От кого это и что значит – не знаю, – грустно промолвила она. – Только, пожалуйста, не говорите дяде Ване.

– Не буду.

– Ему лучше не нервничать. Да, и вот еще... не знаю, может, это мои фантазии, но какой-то странный человек меня иногда преследует.

Я попросил его описать, и когда она закончила, поспешил её успокоить:

– Это Витюша.

Стараясь не принижать нашего рыцаря печального образа, я рассказал немного о нем, его фантазиях, портрете у Вяткина и постарался её заверить в том, что Витюша совсем не тот, кого ей следует опасаться. А про себя подумал: может и хорошо, что есть Витюша, с такими-то записками.

– Спасибо, – сказала Ника. – А насчет встречи с Чоботовым, это я неправильно выразилась. Я уже сама решила. Я ведь перед ним тоже виновата. В общем, я согласилась. Надо людей прощать, может тогда и нам тоже простят. И хотела вот о чем вас попросить. Не могли бы вы меня подстраховать во время встречи? Побывать, на всякий случай, рядом.

– Скажите: где, когда.

– Еще не знаю. Только, пожалуйста, никому...

– Разумеется!

Я смотрел на нее и диву давался, как всё это умещалось у нее в голове: страх перед Чоботовым с желанием с ним встретиться и со спокойным отношением к тому, что Кирилл живет у её обидчика?

Будто угадав ход моих мыслей, она растерянно потерла указательным и средним пальцами наморщенный лоб и сказала:

– Надо было отговорить Кирилла от поездки. А я уж точно напрасно приехала.

И я еле удержался от вопроса: а в самом деле, зачем она приехала? А впрочем, тут же осадил я себя, почему было ей было и не приехать сюда, к себе домой, с любимым человеком?

Тут произошло невероятное. Сам не знаю, как получилось, но, видимо замороженный её плачущей улыбкой и каким-то изяществом по-детски виноватых жестов, я не удержался и накрыл ладонь Ники своєю. Правда, уже в следующую секунду я ладонь убрал и, слава Богу, у меня это получилось так же непринужденно. Она, кажется, и не заметила.

Перед тем как разойтись, мы договорились, что они с Кириллом в ближайшие дни придут ко мне в гости, а кроме того она должна была сообщить мне место и время встречи с Чоботовым.

У выхода я столкнулся с Чернецким, возвращавшимся от Ткачей после вселения к ним Сви-  
стунова и заставшего мое прощание с Никой.

– С кем это ты разговаривал? – спросил он, близоруко щурясь ей вслед.

– Ох... у нее длинное имя, – сам не знаю, как у меня это вырвалось, и я поспешил добавить: – С Никой. С несчастной Никой С., крестницей Вяткина, подругой Кирилла и возлюбленной негодяя Чоботова.

## XVIII

Тремя днями позже я играл в нарды у Вяткина.

Живя в городке урывками (при том, что дней, проведенных здесь за месяц, могло набраться больше, чем прожитых в Одессе), я как-то не мог в нем укорениться, наладить нормальную размеренную жизнь. Особенно это ощущалось в конце дня. В Одессе по вечерам я и бездельничая был чем-то занят, здесь же часто чувствовал себя так, как если б мне еще предстояло возвращаться домой. Тогда я одевался и шел к Вяткину играть в нарды. (Кстати, у Чоботова есть рассказ «Триктрак» про двух немолодых игроков. Прочитав его, Вяткин только пожал плечами, а я... В общем, причин не любить нашего писателя у меня стало на одну больше.)

Иван Михайлович Вяткин всю жизнь проработал в школе учителем труда, причем таким, что мог заменить при необходимости чуть ли не любого из преподавателей, от немецкого до физики, и долгие годы вел театральную студию. Внешне он всегда был человеком простым, скромным, но с выходом на пенсию почувствовал вкус к некоторой экстравагантности – так появились жилетки, бабочки и трость. Примерно тогда же он, к большой радости Чернецкого, сделался завсегдатаем его суббот, и там составил достойную пару первой скрипке Жаркову, с которым его связывали непростые отношения – достаточно сказать, что вне кабинета Чернецкого они старались друг друга не замечать (и об этом я расскажу чуть позднее). Перед выходом на пенсию, овдовев, Вяткин продал свой дом с обширным участком и купил маленький уютный домик о двух комнатах с небольшим садиком, которым он с удовольствием занимался.

Мне нравилось бывать у Вяткина, глядя на которого, я знал, как хотел бы выглядеть в старости, и нарды были тут отличным поводом.

Время от времени к нам присоединялся третий игрок, редактор Изотов, бывший ученик и студент Вяткина, большой, до фанатизма, любитель и пропагандист классического кино, страсть к которому он унаследовал от давно живших врозь родителей, когда-то довольно известных в городке активистов киноклубного движения. С ним у нас сложилась занятная конфигурация: я неизменно проигрывал Вяткину, который в половине случаев уступал Изотову, а тому редко когда удавалось обыграть меня.

В тот раз Вяткин сам пригласил меня прийти поиграть. Это было явно неспроста. Заподозрив, что ему стало известно о моей встрече с Никой, и помня её просьбу сохранить наше свидание втайне, я думал о том, как буду выкручиваться, когда начнутся расспросы. Но оказалось другое. Дело касалось не Ники, а её уже упомянутого выше отвратительного братца, год назад вернувшегося из тюрьмы.

Десять лет назад, уезжая на заработки в Португалию, мать Ники оставила двух своих детей на попечение сестры, а Нику еще и на Вяткина. Взявший Нику под свою опеку, Вяткин совершенно

не собирался распространять её и на брата (упорно называвшего Вяткина крестным). У того же было свое мнение на этот счет, и нервов он Вяткину с тех пор попортил порядочно.

Я уже выше вскользь упомянул о происшедшей с ним в тюрьме неожиданной метаморфозе. В городок Зять вернулся насквозь пропитанный всей этой блатной и воровской романтикой. В их когда-то общем с Никой доме он устроил настоящий притон, в котором собиралось все наше, впрочем не столь уж и многочисленное городское отребье. Дом уже два раза горел, и Зять предпочитал жить у сожительницы. Часто можно было видеть его сидящим на корточках возле своего черного мотороллера (черная душа, он и одевался во все черное) в окружении такой же шпаны. Всё это я рассказываю к тому, чтобы было понятно, с кем Вяткину приходилось иметь дело. И раз уж речь опять зашла об этом персонаже, добавлю, пользуясь случаем, что по возвращению после отсидки в городок он быстро сошелся с некой Лерой Холодок, которая была лет на пятнадцать его старше.

За этой примечательной во всех отношениях женщиной тянулся целый шлейф слухов. По одному из них, уйдя из дому в тринадцатилетнем возрасте, она добралась до Одессы и жила там некоторое время с воров, который научил её в совершенстве своему ремеслу. Рассказывали о наборе необыкновенных отмычек, которые достались ей после его смерти. Так или иначе, но воровством Лера Холодок действительно промышляла с ранней юности и до тех пор, пока однажды в самом конце девяностых с ней не случилась беда. Тогда при повальном обнищании каждый оберегал свое добро как мог: кто-то укреплял замки, кто-то оставлял на видном месте бутылку с отравленной водкой, а кто-то ставил и охотничьи капканы. Вот в один из них в подвале дома Стряхнина Лера и попала. Угодив в капкан рукой (вероятно, находясь в подпитии, споткнулась и упала), она от болевого шока потеряла сознание, потом долго ждала пока придет помощь и в результате осталась без левой кисти. Рассказывали, что восторжествовавший сначала майор (к тому времени уже вдовец) сменил постепенно гнев на милость и даже решил помочь несчастной, но, как-то зайдя проведать, будучи пьяным, воспользовался её увечным положением и над ней надругался. В результате чего якобы и появился на свет единственный сын Леры. Сам Кирилл Юрьевич своего отцовства так никогда и не признал, да и вообще не любил вспоминать ту историю. Когда Холодок (так, по фамилии, его все называли) немного подрос, Лера научила его всему, что когда-то хорошо умела сама, и уже к подростковому возрасту тот превзошел наставницу. Ходили слухи, что когда в мэрии пропали ключи от какого-то важного сейфа, туда ночью привезли Холодка, и он тот сейф открыл. (Мне эта история кажется такой же легендой, как Лерин любовник-вор и его волшебные отмычки.) Известно также, что занятие это Холодок так и не полюбил, и брался за любую нехитрую работу, какую только можно найти в маленьком городе – копал, красил, собирал свеклу и орехи, сдавал металлолом, и проч. Воровать шел, когда уж совсем приходилось туго, но в дома никогда не лез, только в подсобные помещения, в погреба, кладовки, летние кухни, где можно было пожить чем-нибудь съестным. В последнее время его часто видели в церкви, в связи с чем Жарков назвал его «святым воришкой». Робкий, неряшливо одетый, молчаливый (не помню, слышал ли я когда-нибудь от него хоть слово), он до последнего времени всем другим предпочитал общество матери, которая, несмотря на свое увечье, образ жизни и возраст, подбиравшийся к сорока, всё еще оставалась привлекательной женщиной. Этого несчастного юношу прибывший из тюрьмы Зять взял в оборот сразу же, как только сошелся с Лерой. Пользуясь её странным попустительством и, видимо, полагая, что опыт отсидки дает ему на то полное право, он стал безраздельно распоряжаться Холодком. Говорили, что несколько краж они совершили вместе.

При этом, как я уже говорил, не оставлял своим вниманием брат Ники и Вяткина, и как-то я и Изотов стали свидетелями вопиющего случая, когда на веранду, где мы играли в нарды, вдруг вышел из комнат нетрезвый Зять, забравшийся в дом через окно. С приездом сестры этот, как уже было сказано, постоянно пребывавший пьяным или под какой-то дурью мерзавец совсем распоясался, очевидно решив, что Вяткину в её присутствии будет труднее ему отказать, и, кажется, это было одной из причин подавленного состояния Вяткина. Так что когда он в конце того вечера решил отдать мне на хранение все свои немногочисленные ценности (золотое обручальное кольцо,



золотой же самородок размером с фалангу большого пальца, подаренный ему сыном, две золотые цепочки, брошь с изумрудом), я не удивился и счел эту предосторожность нелишней. Составив на двух листках опись принятого, я оставил листок с моей подписью ему, а другой, с его, взял себе. Всё вышеперечисленное Вяткин положил в футляр для очков из мягкой кожи и отдал его мне.

Я уже стоял в дверях, когда позвонила Ника. Наскоро попрощавшись с Вяткиным, я быстро вышел и только за калиткой продолжил разговор, в ходе которого Ника сообщила мне время и место её встречи с Чоботовым. Встреча была назначена на завтра.

## XIX

На следующее утро я обнаружил, что в доме хоть шаром покати, и отправился завтракать в заведение, которое неподалеку держали два брата-кавказца и где я часто, когда было лень готовить, обедал. В тот день было слишком уж ветрено, чтобы сидеть на летней веранде, и я спустился в подвал. Там за единственным занятым столиком сидели сожитель Зои Тягарь, матери Алисы, Петя с приятелем. Петю я знал по субботам у Чернецкого, на которые он повадился одно время ходить, прослышав, что там наливают. Все три или четыре раза, которые он там побывал, Петя упивался до потери сознания, так что Чернецкому пришлось ему отказать. Если не считать этой страсти, был он человеком мягким, застенчивым, с глазами на мокром месте. Когда-то успешно вёл дела, но разорился. Причиной неудач отчасти стала неразделенная любовь к Алисе Тягарь. И так же, как Алиса, расставшись с Кириллом, сошлась с его отцом, отвергнутый Алисой Петя стал жить с её матерью, поселившись у нее в доме. Опускаясь с каждым годом все ниже, он обычно целыми днями слонялся по городку, предлагая услуги собутыльника то одному, то другому.

Едва я сел, как грузный приятель Пети, коротко с ним пошептавшись, поднялся и направился в мою сторону. Оплывшим лицом в скобках свисающих по обе стороны волос и небольшой бородкой он напоминал забросившего учебу семинариста. Улыбаясь, незнакомец поздоровался со мной, назвав по имени-отчеству, и спросил:

– Вы меня совсем не узнаете?

Тут-то, услышав знакомый голос, я и обмер. Передо мной стоял Кирилл Стряхнин. Посмеиваясь над моим изумлением, он отступил назад, выдвинул из-за их с Петей стола свободный стул, сделал пригласительный жест и почтительно стоял, пока я не принял приглашение.

Еще в разговоре с Никой я отчитил её фразу, что Козлик в отличие от Кирилла совсем не изменился, но такого представить не мог. Встретив где-нибудь на улице, я бы его не узнал, и история с так называемым двойником теперь и вовсе выглядела абсурдной. Утешало только то, что я был такой не один. Оказывается, половина города – поскольку сам Кирилл выбрался на люди лишь в третий раз – так и продолжала раскланиваться с незнакомым юношей. Если верить Кириллу, он не думал никого разыгрывать, так само вышло.

– Только ваш фотограф – Жарков, да? – сразу узнал. Глаз алмаз.

Понемногу разговорившись, я постепенно привык к его новому обличению, однако удивительное ощущение первых минут, когда он был похож на себя меньше, чем привезенный им Козлик, мне крепко запомнилось.

Кирилл стал говорить о том, как часто вспоминал меня в Москве и как уже здесь собирался со дня на день ко мне зайти. Ох уж эта не совсем понятная провинциалу готовность столичных гостей любую случайную встречу обставлять как давно и горячо чаемую – они эту готовность как будто постоянно носят с собой, как иные еду для бездомных собак. Ты у них всегда лёгок на помине, и тебя только вчера, или даже сегодня утром, или вот минуту назад вспоминали. Впрочем, и такая, московская, радость Кирилла мне была приятна.

Он был чуть навеселе, тянул слова, отвечал с некоторым запозданием и с не совсем точной, чуть поддуливающей интонацией; похоже было, что ему мешает сосредоточиться какая-то мысль. На мой вопрос, надолго ли он приехал, пожал плечами:



– Да как вам сказать... – Улыбаясь, он завел правой ладонью левую прядь за ухо. – Как получится. Попробуем подправить, подрихтовать нашу помятую реальность, а там как Бог даст, да, Петя?

«Тепленький» Петя был, как говорится, на своей волне и в ответ размеренно закивал.

Что имел в виду Кирилл, мне узнать не довелось. У него зазвонил телефон и, коротко по нему поговорив, он стал рассказывать по карманам вещи. При этом торопливо, в туманных тезисах, выкладывал видимо то, во что собирался меня посвящать:

– Надо идти. Но я надеюсь, что мы скоро увидимся и поговорим. У меня к вам долгий разговор. Анонс: человеку иногда позарез нужна абсолютно новая логика минувшего, которая бы его с этим минувшим примирила. В ней, единственное наше, конечных людей, спасение. Вы верите в молниеносные прозрения? Я верю. Но куда девать весь груз прошлого, если ты не собрался в монастырь или в петлю? Вопросы, вопросы... Такая вот у нас сейчас веселенькая повестка дня, и я бы хотел услышать ваше мнение. Петя, допивай. Всего доброго.

Заглядывая мне в глаза, Кирилл схватил через стол меня за руку. Он ведь прежде был остроумным молодым человеком, подумал я, откуда эта нарочитая горечь самого дурного пошиба? Что-то в нем, не только в словах, но и во всем его новом облике было жалкое, и за короткое время встречи я успел проникнуться некоторым сочувствием к нему, как если бы его неожиданная, неприятно поразившая меня заматерелость была следствием каких-то перенесенных невзгод.

Уже на лестнице он обернулся ко мне и весело спросил:

– А вы знаете, как можно поправить непоправимое?

– Как?

– Вот и я об этом. А никак. Да! и спасибо огромное за предложение приютить меня. Как видите, родной город не слишком рад моему приезду.

Позавтракав, я решил ненадолго заглянуть к Чернецкому. Там кипела работа. Одно из зарубежных издательств, с которыми Чернецкий сотрудничал, запросило его фотографию, и теперь Жарков трудился над портретом. Воодушевленный настоящим делом, он с нескрываемым удовольствием распоряжался Чернецким. Тот неохотно подчинялся: опираясь поясницей о подоконник, послушно складывал на груди руки и глядел через плечо в сад. При этом ворчал: «Где-то я такое видел...» Жарков то и дело крадучись подходил к нему, подносил к лицу экспонометр и тут же, посекающе озираясь, чтобы не задеть стойку с осветительным зонтиком или штатив с камерой, отступал назад. В последнюю ходку он убрал с подоконника стопку книг и оставил одну, открытую.

С моим приходом они решили сделать перерыв, и я рассказал о встрече с Кириллом.

– Да, нелегко ему, – вздохнул Чернецкий, – На расстоянии все было умозрительно, а теперь оно перед глазами. И, боюсь, бездна для него только-только начинает открываться. Сил бы ему.

– Кстати – всё хотел узнать – что вы сейчас думаете о ней, об Алисе? – спросил я.

Помолчав, Чернецкий негромко продекламировал:

Мечтанья девушек красивы...

И смущенно замолк, видимо вспомнив, что уже однажды зачитывал эти бальмонтовские строки в связи с Никой. Надо сказать, Чернецкий, хоть и прожил всю жизнь рядом с матерью и сестрой, и был когда-то женат, в женщинах разбирался слабо. Впрочем, не мне с моими неудачными двумя браками об этом говорить.

– Если верить недавним слухам, – сказал Жарков, – то как тут не вспомнить веселую семейку папы Александра Шестого Борджиа, дочь которого делила ложе как с родным братом, так и с ним самим, с папой.

– А давай лучше не будем верить слухам, – предложил Чернецкий.

Ни ему, ни мне не хотелось мусолить «горяченькую» тему, и мы перешли на нашего подопечного, кукольника. Прожив у Ткачей три дня, тот бесследно исчез. Телефон его не отвечал, и

мы решили, что он вернулся в Одессу. Витюша же на людях по-прежнему не появлялся, и чем закончилась их встреча, пока оставалось неизвестным.

XX

Моим приглашением Кирилл воспользовался буквально через два дня: позвонил рано утром и попросился пожить у меня в Одессе. Я сказал, что машина моя в ремонте, но я могу договориться, чтобы его захватил с собой как раз собиравшийся в Одессу Кучер. В восемь утра помятый и невыспавшийся Кирилл подошел к его дому. Если бы я знал тогда, что за сцена предшествовала его отъезду, я не то что ключей – руки бы ему не подал. Но подробности того вечера дошли до меня несколько позже. Отправляя его в Одессу, я только знал, что после нашей встречи в подвале он предпринял еще одну попытку прорваться в дом отца, закончившуюся большим скандалом. Происходило это примерно в то же время, что и свидание Чоботова с Никой, при котором с не совсем ясной на тот момент целью присутствовал и ваш покорный слуга.

Дом для встречи находился недалеко от центра (я потратил десять минут), но стоял как бы на отшибе. Ника ждала меня у нижней калитки, и мы поднялись через огород. Удивляло, что для свидания с человеком, которого она явно побаивалась, ею было выбрано столь диковатое место – неухоженный двор, ветхий полузаброшенный домишко... Видимо, заметив мое недоумение, Ника смущенно пожала плечами. В доме она провела меня через комнату, где собиралась разговаривать с Чоботовым, и ввела в смежную с ней небольшую кухню.

– У меня к вам большая просьба, – сказала она. – Что бы не происходило, не вмешивайтесь, пожалуйста. Только-только если я попрошу. Хорошо?

Ника вышла, и я осмотрелся: печь-груба, на стене лохань, большая деревянная пила без полотна, какие-то сети, клеёнка... – всё старое, грязное, пыльное. Я поставил у двери в комнату табурет, протер его, проверил не скрипит ли, нашел у печи и положил рядом коротенькую кочегру.

Чоботов пришел минута в минуту.

– Может, сядем вот здесь на диванчике? – предложил он, входя за Никой в комнату.

– Нет, давай лучше за столом, – сказала Ника.

– Ну, за столом так за столом, – согласился он и выдвинул стул.

Серая от пыли занавеска по ту сторону двери висела таким образом, что я в прореху справа, да и то под острым углом, мог видеть только Чоботова, а в прореху слева – Нику. На приготовленный табурет я ни разу не присел, и всё время провёл в полусогнутом положении перед низенькой дверью, заглядывая в комнату то с одного края, то с другого. Зато слышно через незастекленную ячейку было хорошо.

Разводя руками от себя, Чоботов погладил плюшевую скатерть и вдруг, вцепившись в нее и сгребая в кулаки, громко зашептал:

– Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю. – Закончив, вытер ладонью рот, разгладил смятую скатерть и откинулся на спинку. – Вот так бы начал эту встречу какой-нибудь Витюша или Жарков. Но у нас с тобой этот этап уже далеко позади, поэтому: хочу, хочу, хочу. Здравствуй!

– Антон, веди себя прилично, – попросила Ника.

– А то что?

– А то я уйду. (Скрипнул стул.)

Чоботов, выставив ладонь, сказал:

– Хорошо-хорошо, сиди. Уж и пошутить нельзя... Да и разве я сказал что-то новое? – Он откинулся на спинку. – «Уйду». Сразу угрозы. Господи, да ты знаешь, что бы я сейчас мог тебе на этот твой жалкий писк возразить? Ты вспомни, что за книгу я о тебе написал! И ты, согласившись со мной – со мной! – на встречу в какой-то заброшенной хибаре, требуешь от меня хорошего поведения?! Ты в своем уме?! Всё-всё-всё. Это была свободная импровизация на предложенную тему. Всё. Надеваю строгий ошейник. Может, пересядем на диванчик?

После повторного отказа Ники Чоботов замолчал и на некоторое время, свесив голову набок, устался в пол. Ника сидела на стуле бочком и тоже глядела под ноги.

– Так на чем я остановился? Поэтому. Поэтому – почему? – он вскинул улыбающееся лицо.

– Почему – что?

– Сама знаешь что. Ладно, это потом. Чего так долго не приезжала? Обещала еще год назад. Или полтора?

– Ты о чем? Когда это я тебе обещала?

– Было дело.

– Ты что, пьяный?

– Я рядом с тобой всегда как пьяный. (Это «как» было лишним, он явно был навеселе и от него даже мне пахивало.) Ты, наверное, думала, я тебя просил прийти, чтобы извиниться? Ничуть. И давай уже с самого начала, как старые любовники, будем откровенны...

– Какие любовники? Ты бредишь, что ли?

– Есть разные виды любовных соитий. В измененных состояниях, во сне... да и в том же бреду. Не помню точно, но в каком-то из них ты мне и обещала приехать.

– Антон, у меня не так много времени. Если тебе просто хочется со мной поговорить, расскажи лучше, как Варя, дети. Раз уж я здесь, послушаю. У меня есть несколько минут.

– А что – Варя? Варю я у себя в кабинете ставлю иногда лицом к окну, и она стоит, изображает тебя со спины. Я ведь её под тебя выбирал. (Ника и Варя действительно были примерно одного телосложения.) Сам живу вполсилы, дышу в полдыхания, и её мучаю – её непростая жизнь и на твоей совести.

Помолчав, продолжил:

– Глава вторая: дети. Ну, что сказать. Они отчасти твои, потому что когда я их делал, то думал о тебе.

– Фу, какой бред ты несешь! Вот я так и знала, что будет что-то такое.

– Тебе нравятся мои дети?

– Кому они могут не понравиться?

– А знаешь, как их зовут?

– Девочку – Нина, среднего мальчика – Илья? Младшего – еще не знаю.

Чоботов усмехнулся.

– Нина, Илья, Клим. И будет еще один: Александр. Или Александра.

– Красивые имена.

– И всё? Еще раз для не шибко понятливых барышень: Нина. Илья. Клим. И Александр. Повтори.

Подняв брови, он выжидательно глядел на нее. Увидев появившееся на её лице изумление, удовлетворенно хмыкнул и развел руками.

– Так что они все – твои.

– Ты ненормальный.

– Это случайно вышло, клянусь, сам поразился. Ну, может подсознание подшутило. В конце концов Ника – это победа по-гречески. Ну, хорошо-хорошо, если ты против, следующего назову Олегом или Ольгой. А потом сделаю еще троих и будет Николай, в честь Гоголя. Нина, Илья, Клим, Ольга, Лариса, Александр... Вот только с кратким «И» как быть? Не очень-то и придумаешь. «И» – нельзя, получится какая-то глупость во множественном числе: Николаи. О! Есть такое веселое имя Йошка. Его и возьму. Йошка Чоботов – звучит? С этим решили, теперь переходим к главному. И это уже серьезно. Только внимательно вдумайся в то, что я сейчас скажу, хорошо?

– Знаешь, если вдумываться во всё, что ты говоришь и что пишешь...

Чоботов оборвал её, хлопнув ладонью по столу.

– Слушай внимательно, я сказал. – Он подергал в её сторону выставленным указательным пальцем. – И заведи волосики за уши, чтобы лучше слышать. Или нет! давай лучше я сам... ну, пожалуйста!..

Он подошел и нежно завел совершенно неподвижной Нике волосы за одно, потом за другое ухо; отошел полюбоваться, взял свой стул и переставил ближе к ней. С этой минуты я его больше не видел, только слышал.

XXI

– Итак. Что касается книги... – Чоботов некоторое время молчал. – Пойми такую вещь. Это не только твой ужас. Но и мой.

– Да что ты говоришь? Неужели? Мне, правда, от этого не легче.

– Сейчас будет легче, потерпи. Итак: это ужас. Да. Но. К счастью, всё поправимо. Спросишь: как? Ведь спросишь же? Вот спроси: как?

– Как?

– Видишь, тебе интересно. А значит, не все потеряно. Как? А очень просто. Нам нужно сойтись. И как только мы оказываемся вместе, это сразу – понимаешь? сразу! – всё перечеркивает. Сразу и жирно, вот так! – Над верхним краем занавески мелькнула ладонь Чоботова с опять же выставленным указательным пальцем и скрипнул невидимый стул. – Ты только представь. Сразу же меняется освещение, смысл – всё! Мало того, из ужаса и гадости «Сороконожка» превратится в драгоценное свидетельство того, какой сложный путь нам пришлось преодолеть. Памятником тому, через какие испытания проходит настоящая любовь. Наши дети передадут её своим. Ну и все в таком духе. Подумай... То есть. Что значит: подумай! Тут не о чем думать. И если ты не хочешь с этим жить, никакого другого пути свести это на нет, извини за тавтологию, нет. Давай сделаем это прямо сейчас.

Ника слушала, не шелохнувшись, глядя в сторону и вниз.

– Время идет, а ты не меняешься, – вздохнув, произнесла она, когда Чоботов умолк.

– Что?!

– Я хотела сказать, что за эти годы столько произошло, а здесь всё остается как было. В большом городе ты бы уже давно забыл про меня. Нет, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но, послушай, Антон. Давай откровенно. Во-первых, я пришла сюда только потому, что перед тобой виновата. Только поэтому и больше ни по чему. А во-вторых... Это не любовь, Антон. В тебе сейчас говорит твое упрямство, уязвленное самолюбие. Единственное, чем мы с тобой связаны, так это взаимной виной. И я бы очень хотела...

Под молчавшим Чоботовым не переставая скрипел стул.

– Ты что-то ищешь? – прервавшись, спросила Ника.

– Да вот смотрю чем бы таким не слишком тяжелым тебя уе\*ать, чтобы ты перестала молоть черню.

Ника опять вздохнула и, не ответив, опустила лицо. Видимо, она действительно чувствовала себя не на шутку виноватой, если терпела всё это, подумал я.

– И назидательный свой тон лучше брось, – продолжил Чоботов. – Или оставь для Кирилла. Не с твоим умишком меня поучать. «Упрямство». Совсем дура? Извини-извини. Вот сейчас вырвалось. Извини. Извини, но знай: мне всё в тебе дорого, до последней косточки, и смотрю я на это всё как на мое, пока мне не принадлежащее. И умишко твой станет умом, только когда ты перестанешь где-то шляться. Но до тех пор пока всё это не стало моим – так и будет. И если бы у меня не было надежды, я бы всю тебя искромсал к чертовой матери. Так что помолчи пока, хорошо? Я тебе пытаюсь сказать о самом важном, а ты меня какой-то ерундой отвлекаешь. Не можешь жить без тарелочек? Будут тебе тарелочки. Что еще, ну что? Почему так, объясни! Ответь уже наконец на эти простые вопросы: что? что? что? И: почему? почему? почему?..

Под Чоботовым надсадно крикнул стул, и тут же вскочила и исчезла за занавеской Ника. Через секунду у нее зазвонил телефон (это звонил я), который в следующее мгновение вылетел на стол и, проехавшись по нему, шлепнулся на пол.

– Я тебя отсюда не выпущу... – слышал я голос Чоботова, – я тебя... Раздевайся!

Спрятав телефон, я схватил кочергу и взялся за дверную ручку, готовый по первому же зову Ники кинуться ей на помощь, но пока только слышал, как она горячо, задыхаясь, говорила:

– Искромсать, говоришь?! А ты хорошо подумал? Тогда, давай, я начну, а ты продолжишь! Только смотри, не отворачивайся! Смотри внимательно! что же ты?..

С минуту стояла полная тишина. А потом с грохотом подпрыгнул и сдвинулся край стола, и тут уже я ринулся в комнату. Там я увидел такую картину: бледная Ника с ножом в правой руке и залитой кровью левой кистью стояла над лежащим на полу Чоботовым. Судя по её лицу, она, похоже, забыла, что я здесь.

– Я сама себя, всё в порядке, – тяжело дыша, произнесла Ника. – Это обморок, уходите, лучше ему вас не видеть! Уходите, уходите, пожалуйста! Я вам позвоню, уходите... – и она повернулась к поверженному Чоботову.

Я вышел, но еще некоторое время постоял за дверью и слышал, как пришедший в себя Чоботов слабым голосом рассеянно произнес:

– Не надо, отойди... Вяткин, сволочь... ничего, я ему это вспомню. Уйди, пожалуйста. Договорим в другой раз... ты еще не готова, уйди...

Разгадка этой, показавшейся мне загадочной, сцены оказалась проста. Правда, узнал я об этом много позже. Дело было еще в школьные годы Чоботова, когда он, помогая Вяткину разбирать декорации в их театральной студии, порезался и от вида крови потерял сознание. Очнувшись, Чоботов попросил Вяткина поклясться, что всё останется между ними. Вяткин поклялся. И нарушил клятву, только когда Ника пять лет назад стала с Чоботовым встречаться. Видимо, не очень веря в её увлечение, Вяткин рассказал ей о том случае и посоветовал, если вдруг что, ударить ухажера со всей силы в нос или полоснуть его чем-нибудь острым по руке, словом пучить кровь.

Надо ли рассказывать, в каком состоянии Чоботов вернулся тем вечером домой. А там, после очередной безуспешной попытки проникнуть в отчий дом, уже выпивал в кругу знакомых Кирилл. Кроме него и двойника за столом во дворе сидели парочка заехавших из Одессы москвичей и некий приехавший с ними одесский гитарист с подругой. Под бурные звуки фламенко Чоботов в доме швырял всё, что попадалось под руку, бросался на детей и жену, и всякий раз, когда он повышал голос, чтобы перекричать гитару, музыкант во дворе еще больше налегал на инструмент, стараясь, видимо, заглушить яростными переборами эту неприглядную сторону семейной жизни. Наконец Чоботов вышел во двор и заявил Кириллу, что видеть каждый вечер перед сном посторонние пьяные лица его детям не полезно. А ты им на ночь что-нибудь из Чоботова почитай, посоветовал Стряхин, вот и будет польза. На это Чоботов ответил, что к советам опытного воспитателя грех не прислушаться, но хотелось бы знать, когда и где тот успел набраться столь бесценного опыта? Неужели перенял у своего придурка папаши, ставшего недавно опять молодым отцом?

– Придурок, говоришь? – усмехнулся Кирилл. – Что ж ты ему это в лицо не сказал, когда он стучал тебе стволом по лбу? Ползал перед ним на карачках...

– Ну, по моему лбу хоть стволом, – ответил Чоботов. – А вот чем надо было настучать по твоему, чтобы на нем вымахали такие рога? В двери-то еще проходишь?

Кирилл отвечать не стал, а тщательно смёл в ладонь мелкий мусор со стола и швырнул им в Чоботова. Подруга гитариста так и покатилась со смеху, увидев влажное от пота чоботовское лицо, облепленное шелухой и крошками. Кирилл поднялся и пошел со двора. Ночь он провел в доме матери Алисы, и на следующий вечер пришел к Чоботову за вещами. И вот тогда произошла сцена настолько дикая, что я еще подумаю, стоит ли её рассказывать. А наутро Кирилл уехал в Одессу.

## XXII

Дня через два или три Кучер отвез в Одессу меня. Позвонила сестра и попросила приехать, навестить мать. Она уже давно себя неважно чувствовала, а тут резко стало хуже.

Посидев с матерью, которая, слава Богу, еще меня узнавала и ни с кем не путала, как это случилось с её внуками, моими племянниками, я отправился к себе, где застал Кирилла в самом мрачном расположении духа. Я ждал, что он воспользуется случаем и продолжит начатый в подвале разговор, но неудовольствие его моим приходом было столь явным, что я даже растерялся. Только перед моим уходом он соблаговолил уделить мне внимание. Лучше бы он этого не делал.

– Если б вы только знали какое у меня отвращение к нашему городку, – вдруг сказал он. – И больше всего знаете к чему? Да вот как раз ко всему этому: к тёплым вечерам на лимане, ко всей этой гладкой живописи с оперной луной, к тихим улочкам, к раздавленным абрикосам на тротуарах со слетевшимися осами... Вся эта ядовитая благодать больше всего и морочит, водит за нос. Снести бы всё на хер, чтобы и следов не осталось, весь этот ваш чертов портулак! Ненавижу.

Не слишком ли много страсти для человека, покинувшего городок больше пяти лет назад, подумал я. Кроме того, мне показалось, что он, зная о моем намерении переехать туда, завел этот разговор, чтобы меня поддеть, да побольнее. Что это с ним, подумал я. Что-то вроде аскетичности после разгульной жизни в городке? Или же та мысль, которая во время нашей встречи в подвале мешала ему сосредоточиться, здесь, в одиночестве, крепко взяла в его оборот? Чувствуя себя предельно глупо – нежеланным гостем в собственном доме, – я попрощался. По-видимому, сообразив, как выглядит мой уход после такой встречи, Кирилл кинулся провожать. Молча спустившись, мы вышли на оживающую после дневной жары улицу с её городским веселым шумом, многолюдьем, орущими взмокшими детьми, куда-то бегущими со своими счастливыми собаками... Тротуары и нижние этажи уже накрывало вечерней тенью, но еще в полную силу горели глядевшие на закат торцы домов, верхушки массивных акаций и натертые за день резиной до блеска булыжники поперечной мостовой. Что-то промычав, Кирилл пожал мне руку и отправился по своим делам; мне идти было некуда, надо было ждать Кучера. Провожая взглядом своего негостеприимного постояльца, я вспомнил, как неприятно меня кольнуло в его монологе словечко «портулак».

Об удовольствии проводить в городке начало осени, наслаждаясь чередой ласковых дней с их берущим за душу особым прощальным светом, я уже говорил. Но был еще и апрель, когда я старался бывать там подольше и почаще. Набирающая силу весна на степном раздолье в окружении открытых неоглядных пространств, продуваемых тугим, теплеющим день ото дня ветром – разве можно такое пропускать? В эти дни и появляется вместе с прочей зеленью, разбегается по всем дворам городка моя любимая травка с гладкими мясистыми листочками. Её можно встретить и кое-где в Одессе, чаще на окраинах, но в городке она сплошь и везде. А до чего же она хороша в пору цветенья, когда вся покрывается микроскопическими цветами! (И какую мировую закуску к водке из нее умеет готовить Кучер!) От самого её названия, в котором мне всегда слышался перелоп парусов, веет солнечным Средиземноморьем, Атлантикой, бесконечными морскими просторами, и это имя я дал городку, в котором развивалось действие моего юношеского неоконченного романа. Из резкой реплики Кирилла я заключил, что он порылся в моих вещах и бумагах, там, где и не следовало бы. Ну, что скажешь: Москва.

Я позвонил Кучеру, и тот сообщил, что заедет за мной через полчаса. Неподалеку был винный подвал, где я решил его подождать. В прохладном, насквозь прокуренном помещении былолюдно, и оказалось, что в своем захоluste я несколько заскучал по большой гордодской жизни, по всему этому многоголосию, пестроте, непредсказуемости, обилию свежих (с поправкой на профиль заведения) лиц.

Звенели кружки, гремела музыка, какой-то сонный нечесаный молодой человек у стойки, переминаясь и тяжело вздыхая, делился воспоминаниями с продавщицей:

– Краков я знаю хорошо, у меня первая жена была словачка, поэтому я часто бывал в Словении...

Свободных столов не было, и я с кружкой пива присоседился к двум приятелям возле выхода, которые были настолько заняты разговором, что не обратили на мое появление никакого внимания. Один из них – с костистым сухим лицом, в очках, – играя желваками, раздраженно и с

некоторым снисходительным презрением выговаривал пьяному и на вид совсем простодушному товарищу:

– Я могу и Песталоцци вспомнить, и Фребеля, и еще много кого и чего. Но, что я хочу сказать. Потому это и называется переходным возрастом. И если ты, как баран, уперся в детские обиды и продолжаешь вспоминать своих мучителей, то никуда ты, считай, не перешел. Потому что, если ты разумный человек, ты должен уже к тринадцати-четырнадцати годам, а то и раньше, понимать, что вокруг тебя дефективные дети, так и не ставшие взрослыми. Какие еще травмы? Забудь! Ты мужчина, а вокруг дети. Всё. Ты можешь их наказать, да. Причем наказать так жестоко, как только считаешь нужным. Пусть небу станет жарко. Тут ты в своем праве. Но – обижаться? страдать?.. пффф! Еще чего.

### XXIII

В те дни состоялось еще одна странная и загадочная встреча, и пока Кучер везет меня из Одессы в Портулак, коротко расскажу о ней.

Брошенный Кириллом на произвол судьбы двойник, помыкавший по городку, поселился у его дяди, Степана Стряхнина. Вечером они крепко отметили новоселье, на следующий день продолжили, а на третий Козлик обнаружил пропажу паспорта. Да и то когда бросился искать куда-то запропастившийся телефон.

Жил Степан Стряхнин в районе начатых, но скоро заброшенных новостроек среди разваленных и полуразваленных домов и одичавших, кое-где частично выкорчеванных садов. С наступлением тепла он натягивал между крышей своего небольшого дома и столбами перед входом маскировочную сеть и перебирался жить на эту временную веранду. Днем шлялся по округе, высматривая где что плохо лежит, а вечером усаживался на диван, ставил на пол между ногами литровую банку с вином и включал телевизор.

– Слетелись уже, проститутки! А ну, геть! – время от времени обращался он к ночным бабочкам, норовившим влететь в его банку.

Летом, когда удавалось, с удовольствием и за небольшие деньги сдавал комнату молодым парам.

– Люблю, когда они там за стеной возятся, – рассказывал Степан двойнику, отпив из банки и бережно ставя её на пол. – Иногда такие спортсмены попадают, дом всю ночь ходуном ходит. Прямо как я в лучшие годы. Ты вот, почему один? Давай, приведи кого-нибудь.

На возражение двойника, что ему скоро уезжать, Степан махнул рукой и, гася шелчком окурок, то ли в шутку, то ли всерьез добавил:

– Какое «ехать», куда? Вот, груши-яблоки-виноград соберем... Орехи. Потом картошки накапаем. Тогда и езжай себе. Всё, вопрос закрыт.

«Человек крайне похотливый и поползновенный. А если по-простому, на редкость отвратительное животное», – так охарактеризовал Степана Жарков, не жаловавший никого из Стряхнинных. Даже Чернецкий не мог удержаться, морщился при одном только упоминании о нем.

Похабник, пьяница, вор и дебошир. Хотя и не без способностей: он неплохо рисовал, и голос у него был такой, что как запоет – заслушаешься. В его доме когда-то целыми днями пропадал предоставленный с малых лет сам себе Кирилл Стряхнин. Добрым влиянием этого человека вряд ли можно назвать, однако именно он Кирилла пристрастил к рисованию и чтению. Впрочем, не совсем уж бескорыстно – обделенный отцовским вниманием (а мать его умерла, когда ему не было и десяти), Кирилл был всегда при деньгах, так что перепало кое-что и дяде. Их родственная дружба продолжалась до тех пор, пока дядя не стал настраивать Кирилла против отца и перестарался настолько, что тот перестал к нему ходить. У Кирилла были непростые отношения с отцом, но регулярно выслушивать от вора и забуддыги, как его отец превратился из офицера в



торгаша и бандита, ему в конце концов надоело. С какой целью Степан это делал, так и осталось неясным. Выгоды от этого ему не было никакой.

Поскольку почти всю сознательную жизнь Степан Юрьевич и Кирилл Юрьевич провели врозь, братских чувств друг к другу они не испытывали, да и слишком разными были. Хотя встретились после долгой разлуки тепло. Но уже через полгода Кирилл Юрьевич с легкостью отбил у брата его новую подругу, будущую мать Кирилла. Тот не долго оставался один, уже через неделю нашел ей замену, но после предпочитал вспоминать об этом как о некоей драме. Больше же всего сокрушался, что не успел ей, по его же выражению, впендюрить, и попытался наверстать упущенное, уже будучи деверем, на чем их с братом отношения и закончились.

Вот эту историю и решила вытащить на свет Божий Алиса Тягарь (только не спрашивайте зачем, я сам этого не знаю). Также весьма вероятно, что на мысль запустить новую версию тех событий Алису могло натолкнуть внешнее сходство с дядей, которое приобрел заматеревший за эти пять лет Кирилл.

В первый раз она пришла, чтобы присмотреться к Степану Стряхнину, с которым была почти не знакома, и, поговорив ни о чем, быстро ушла. В присутствии Козлика явилась опять. Это было на следующий день после скандала, который затеял Кирилл перед отцовским домом.

Завидев её серебристый джип, Степан приказал квартиранту лечь на кушетку в комнате под раскрытым на веранду окном и внимательно слушать и запоминать.

Как и в первый визит, гостя выставила на стол бутылку хорошей водки.

Итак, суть предложения заключалась в следующем. Алисой предполагалось, что со дня на день кто-то может прийти к Степану Стряхнину и поинтересоваться: а не сошлась ли мать Кирилла с Кириллом Юрьевичем, уже будучи Кириллом беременной? В таком случае Степан должен был уклоняться от ответа.

Несколько тушевавшийся во время их первой встречи, Степан на этот раз, хоть и не понимал, куда клонит гостя, вел себя поразвязней.

– А кто будет спрашивать?

– Не знаю. Кто-то. Увидим. Может и я. Но кто бы не спрашивал, хотелось бы, чтобы ваша реакция была вот такой. Вам и делать ничего не надо. Видели по телевизору, как известные люди говорят: без комментариев. Разве это так трудно?

– Ну, допустим. И как же об этом узнали?

– Мало ли. Это не ваша забота. Ваше дело не отвечать. Без комментариев.

Она ни разу не сказала, что кто-то может предположить, что Кирилл его сын, а твердо настаивала на этой формулировке – мать Кирилла могла уйти от него беременной. То есть была уверена, что будут спрашивать именно так.

– У меня в молодости была подруга Жужа, – сказал Степан. – Точь-в-точь ты. Видно у нас, у Стряхниных, у всех общий вкус.

– Ну, так что? – нетерпеливо спросила Алиса.

– Так сейчас же это все проверить легко, Жуженька.

– Легко, но не каждый захочет.

Степан похлопал себя по колену и сказал:

– Иди, посиди здесь.

– Мне ехать пора.

– Сядь, говорю, ну. Одну минуту. Чисто символически.

– Я тяжелая, – сказала Алиса, усаживаясь.

– Вот и хорошо. «Тяжелая». Всё настоящее и должно быть тяжелым. Есть тяжесть шёлка, а есть – женского зада. Всему своя тяжесть, и всякой тяжести своё место. Тяжести шёлка на гибком девичьем стане, а тяжести гибкого девичьего стана на мужских коленях.

Она почувствовала его ладонь у себя за поясом и, безразлично поморщившись, встала.

– Да вы философ!

- Х\*ёсоф. Ты куда?
- Не материтесь, я дама, мне неприятно.
- Сюда иди, говорю. Дама. Хорошо ж сидели...
- Хорошего понемножку. Я вам девочку пришло. Она здесь уберет, а то смотреть страшно.

Если надо, и на коленях посидит.

– А если надо, и постоит, да? Я когда-то песню сочинил, когда в Одессе жил: «Красотки с окружной, пришли ко мне домой». Хочешь спою? – он протянул руку к гитаре, которая всегда стояла рядом.

- Вот ей и споете. Короче. Справитесь?
- А зачем тебе?
- А зачем вам это знать? Надо. Так что?
- И что мне с этого? Какой мой профит?
- Профит, – усмехнулась Алиса. – Надо же. И слово такое нашли.
- Ну а ты думала.
- Профит будет. Как-нибудь договоримся.
- Девку-то когда пришлешь?
- Потерпите.

Он видел, что она идет на ощупь, сама толком не представляя, как задуманное ею устроится. Пока ничем не рисковавший (осторожность, впрочем, не помешает), он в её неуверенности прозревал будущую уязвимость, и предчувствие, что Алиса здесь каким-то образом крупно подставляется, его приятно волновало. Словом, при удачном повороте он её на колени, в хорошем смысле, поставит. Заодно и с братцем наконец поквитается.

Забегая вперед, скажу: вторая встреча Алисы со Степаном стала последней и продолжения история не имела. И что это было, так и осталось неизвестным.

#### XIV

...Дорога меня развеяла и успокоила. О Кирилле я больше не думал, а одесских впечатлений вполне хватило на то, чтобы порадоваться возвращению в городок и обновленным взглядом увидеть свое тихое милое захолустье.

Разнежился я, как оказалась, преждевременно. Не успел я переодеться и умыться, как хлопнула калитка и во дворе появился Витюша, с которым мы не виделись после встречи у заброшенных казарм, когда он объявил о грядущем очищении. Был он, как и тогда, предельно серьезен, от чая отказался, на предложенный стул не присел, стоял набычившись, поглядывая по сторонам. У меня Витюша был лишь однажды, когда я привел его забрать пишущую машинку, ту самую, на которой он теперь печатал свои опусы. С тех пор здесь мало что изменилось, и смотреть по-прежнему было не на что – голые стены, минимум мебели. Я заметил, что одет он был не по-домашнему, и, видимо, то ли собирался куда-то, то ли откуда-то вернулся. Наконец, проигнорировав все мои скромные знаки внимания, он поинтересовался, правда ли, что Кирилл Страхнин живет у меня в Одессе. Я спросил, откуда ему это известно, он не ответил. (Позже я узнал, что услышал он об этом от Жаркова, а тому сказал Кучер, которого я забыл предупредить.)

- Он там надолго?
- Мы с ним еще не оговаривали, но... Он тебе нужен?

Эти люди были настолько далеки друг от друга, что сама фамилия моего квартиранта из уст Витюши звучала странно. Но не успел я толком удивиться, как следующей фразой Витюша оголошил еще больше:

- Да. Я хочу вызвать его на дуэль.
- Что?!

– Я вызываю его на дуэль. Хочу, чтоб вы ему передали.

Я даже сел от неожиданности. Уж не пьян ли он, подумал я, вспоминая, что Людмила Ткач жаловалась Чернецкому на появившуюся у брата в последнее время тягу к спиртному.

– Э-эээ... постой... А как это?.. И – за что?

– Он знает.

– Он тебя оскорбил? Как? Когда?

– Не меня. Он знает кого.

Я догадался, что речь идет о Нике, и хотел было сказать об этом напрямую и заодно попросить его не пугать её своими преследованиями, но не решился – в конце концов, кто я ему?

– Ладно, допустим, – сказал я. – И как ты собираешься с ним драться? У тебя уже готово оружие на этот случай?

– Оружие он может взять у отца.

– Витюша, извини, но это просто абсурд какой-то. Ты хоть знаешь, что Кирилл даже домой не пускают? Да и если бы пускали – что за бред ты несешь?!

Я поднялся. Витюша зарумянился и горячо проговорил:

– Пусть помирится с отцом и возьмет! Это в его интересах!

– В каких еще интересах?! С чего ты взял, что он вообще будет с тобой разговаривать?

– Это в его интересах! – упрямо повторил Витюша и вдруг, разгорячившись, зачистил: – Я буду унижать его каждый раз, когда увижу! Буду давать ему пощечины, пока он не согласится! Вот это ему передайте. Если он хочет вернуться, то должен драться. Такое не прощается!

Отвернувшись, он искоса стрельнул в меня глазами и отвернул лицо еще больше.

Ох. Ну и вот как с ним было разговаривать?

– Кстати об отце, – сказал я. – Не исключено, что он учил Кирилл стрелять. Он же тебя убьет в таком случае.

– Я готов, – произнес Витюша в сторону и вниз.

– Хорошо, готов так готов. Но, насколько я знаю, это никогда не делалось с бухты-баракты. Сначала пытались примирить противников...

– Примирения не будет.

– А если бы он попросил прощения?

– Нет.

– Может все-таки объяснишь, что произошло?

– Он знает. Все знают. Время отвечать пришло.

И тут меня эта всегдашняя Витюшина чересполосица – здесь жилые покои, а здесь уже палата помешанных, – признаюсь, вывела из себя. К тому же я устал и очень хотел есть и спать.

– Я так понимаю, что я теперь у тебя вроде секунданта. Ничего не знаю об их правах и обязанностях, никогда этим не интересовался, но полагаю, что они были посвящены хотя бы в причины дуэли. Ты говоришь: «он знает». А если нет? Если он ни сном ни духом? Что я должен буду тогда говорить, если мне ничего не известно?

– Вы пока передайте. Пусть готовится. А насчет секундантов еще рано.

Я достал из кармана телефон и предложил:

– Тогда почему бы тебе самому это ему не сказать? Я звоню – будешь говорить?

Витюша пошел к выходу.

«Очищение началось?» – подумал я, но не стал его останавливать.

Мне стало неловко за свой срыв и досадно от того, что я не смог толком разговорить гостя. Первое, что я сделал, проводив его, позвонил Чернецкому. Мы пришли к выводу, что в мозгу Витюши что-то в конце концов замкнулось, и он ухватился за первый попавшийся повод. Но что это был за повод? Чернецкий сказал, что догадывается, о чем речь, и обещал при встрече рассказать, а до этого еще раз уточнить, верна ли его догадка.

## Часть вторая

## I

Дни еще стояли по-летнему жаркие, но вечера и ночи уже радовали прохладой. И тишиной. Особой, ни с чем не сравнимой провинциальной тишиной. В той же Одессе она и на самых глухих окраинах как бы пронизана расходящимися токами большого, ни на минуту не засыпающего города, и в любое мгновение готова оборваться воем сирен, визгом тормозов или пьяными криками. Здесь же, в окружении бескрайней спящей степи, она такая, что, как говорили в старину, хоть мак сей. Об этой разнице между городом и городком мне еще раз напомнил вечерний звонок Кирилла, внезапно решившего извиниться за свое негостеприимное поведение. Помимо его виноватого голоса до меня долетали звуки и общий гул того самого большого города, к которым еще присоединился, в какой-то момент совершенно их заглушив, близкий грохот трамвая. Переждав его, Кирилл повторно извинился, и мы пожелали друг другу спокойной ночи.

Моя машина со вчерашнего дня была на ходу, и утром мне предстоял ранний выезд и дальняя дорога, однако управиться с запущенными бухгалтерскими делами мне удалось только ближе к полуночи. Сидя на расстеленной постели, я стал было раздеваться, как тут...

Доводилось ли вам без каких-либо на то причин вдруг нырять в самую отчаянную смертную тоску? Нет, перепадам настроения я был подвержен всю жизнь, сколько себя помню, и к тому, что ходивший внутри меня маятник в последнее время всё чаще зависал в состоянии тоски и качнуться в обратную сторону не спешил, я тоже почти привык. Но тут было что-то другое – будто подо мной открывали люк и я летел в бездну.

Из мрачных раздумий меня вывел шорох в саду, но стоило мне повернуться к раскрытому окну, завешанному гибкими побегам дикого винограда, как шорох затих. Решив, что это ежи пришли проверить где-то там стоявшее мусорное ведро, я потянулся погасить лампу, но тут шум возобновился с новой силой и стал быстро приближаться, делаясь шире и напористей. Подступив к окну, он оборвался, и между виноградными листьями в комнату просунулось лицо в зеленой маске и с воспаленными докрасна белками.

– Это я, – представилось оно. – Здравствуйте.

Приглядевшись, я увидел, что лицо было не в маске, а скорее в краске.

– Можно войти? – спросил пришелец и наконец сообщил: – Это я, Игорь. Свистунов.

Надевая халат, я открыл дверь, он вошел в комнату. Его волосы, лицо, шея были вымазаны зеленой. В зеленых пятнах была и бордовая рубашка с единственным надорванным рукавом, второй лежал на плече.

– Где вас так угораздило? – спросил я, проводив его к умывальнику и собираясь идти в дом за рубашкой. – А мы уж думали, вы уехали...

Когда я вернулся, гость продолжал вертеться перед зеркалом над умывальником.

– По всей морде размазали, – пожаловался он моему отражению. – Как я завтра таким фантомасом пойду? Ну, народ! И сидели ж караулили, собаки бешеные...

Я дал ему рубашку. Застегиваясь, он с трудом попадал пуговицами в петли; на склоненной макушке виднелась небольшая, выпачканная зеленой плешь.

Оказалось, что на подходе к Витюшиному дому на него набросились четверо – три женщины и пожилой мужчина. Две женщины повисли на руках, мужчина, зайдя сзади, ударил несколько раз по голове, а третья женщина облила зеленой (о чем он узнал по крику: «Давай зеленку, Таня!»). Тут, видимо боясь испачкаться, они ослабили хватку и он вырвался и побежал. Оказавшись на незнакомой улице, он уже не мог определить, в какой стороне находится дом Ткачей. Адски щипало глаза, и в темноте невозможно было понять, что это растеклось по лицу и груди, зеленка или кровь из разбитой головы. Он собирался спуститься к лиману, но, услышав рядом журчание воды, перебрался через забор и оказался в саду с фонтанчиком. Но и там не нашел покоя. Не успел он толком отдышаться, как в доме на первом этаже загорелся свет. «Только-только глаза промыл, напился, как там в вдруг ка-ак что-то хлопнуло, потом шум, крики! Женщина

какая-то выбежала, за ней еще кто-то. Да что ж ты будешь делать! Сiju ни жив ни мертв, ну, думаю, сейчас еще эти обнаружат, и тогда мне прямая дорога в реанимацию». Как только стихли шаги, перемахнул обратно через забор. Тут ему открылся вид на водонапорную башню, и таким образом он вышел к моему дому.

Слушая его, я достал вино, брынзу, нарезал помидоры и хлеб. Лицо Свистунова, сколько он его не тер, так и осталось зеленоватого зловещего цвета. Кто и почему на него напал, кукольник не знал, но мне показалось, что он лукавит. Помня характеристику, данную ему директором театра («ходок» и всё такое), я не стал допытываться.

Выпив вина, мой неожиданный гость несколько развлекся, и мы перешли на разговоры о разном. В числе прочего я услышал историю его изгнания из театра после спектакля «По щучьему велению», где его Емеля домогался печи.

– Да вот так всё сошлось просто. Утром забежал в мастерскую к знакомому, там день рождения отмечают. Посидел, выпил – и на спектакль. А июнь, помните, какой был? Грозы, дни темные. И Боккаччо еще, видно, сверху лег, я его в те дни штудировал... В общем, спутал утро с вечером, детский спектакль со взрослым, ну и... Ребятишкам, кстати, понравилось.

Больше всего кукольник сокрушался, что так и не успел выступить в качестве режиссера, хотя всё к тому шло. Впрочем, судя по бодрому тону, надежд на это он не терял до сих пор. На вопрос, что он собирался ставить, ответил, что на примете были «Декамерон» и «Мир как воля и представление».

– Шопенгауэра? – удивился я.

– Ага. Очень его люблю. Первое лекарство во всех жизненных катаклизмах. Когда уже и вода не берет, открываешь томик и просто отдыхаешь душой. Прямо сознание прочищается.

Перед сном, пока я готовил нам постели в доме, кукольник вышел во двор. Закончив стелить, я пошел за ним и услышал, как он хлопочет у небольшого пруда под окном кухни.

– Что это вы там делаете?

– Да так, – ответил он, выходя навстречу, – цветы принес, положил в водичку, чтоб не завяли. Завтра важная встреча, не с пустыми же руками идти.

Уже лежа мы завели разговор о Витюше. О нем Свистунов отозвался уважительно, назвал интересным толковым парнем. И похвалил его теорию о блуждающих пророках.

На последней фразе я подскочил и зажег свет.

– Стоп! Вас же Чернецкий просил не заговаривать с Витюшей на эти темы...

– А я и не заговариваю. Но что ж мне, как чурбан молчать, когда он мне что-то рассказывает? Ни да ни нет не говорить? А теория интересная.

– Да это же вы ему эту теорию и втолковали! Мы для чего вас вызвали? Чтобы вы её как раз своим присутствием дезавуировали...

Приподняв голову, Свистунов посмотрел на меня с удивлением.

– Нет, – твердо сказал он, – это вы что-то путаете. Не мог я такого придумать. Я вообще по этой части ноль. Что-то чужое пересказать, симпровизировать на тему – пожалуйста, сколько угодно. Но придумщик из меня никакой. А то бы сидел книжки писал. Что-то вы напутали.

Ну, не спорить же с ним было среди ночи. Погасив свет и отвернувшись к стене, я признал, что наша с Чернецким затея закончилась крахом. Да еще отметил, что после Вяткина кукольник уже второй, кто не отказывает Витюше в уме.

Утром, а проснулся я рано, моего гостя уже не было. Должно быть, он, как и собирался, отправился чуть свет искать шляпу, о потере которой больше всего сокрушался.

...Я уже был в дороге, когда позвонил Чернецкий и сообщил, что ночью убили старшего Страхнина.

– Слава Богу! – вырвалось у меня.

Сворачивая на обочину, я зазевался и вкатился под самые деревья. Попросив паузу у озадаченно молчавшего Чернецкого, дал отбой и заглушил мотор; некоторое время посидев в тишине, вышел, снял с лобового стекла желтый лист, вернулся и возобновил прерванный разговор.

II

Чернецкий слушал меня терпеливо, не перебивая. Подробный рассказ о тайном переезде Кирилла в Одессу и о вчерашнем его звонке с извинениями объяснял заодно мою мгновенную, неожиданную и для меня самую реакцию.

– Да, удачно вышло, – согласился он. И добавил: – Вот еще бы знать наверняка, что это и не Витюша.

– А вот об этом я совсем не подумал.

Впрочем, у нас и в мыслях не было всерьез подозревать Витюшу.

Об убийстве Чернецкому было известно пока только то, что Страхнина-старшего застрелили на пороге его кабинета. Видимо, услышав какой-то шум, он часов в одиннадцать (а ложились у Страхниных, встававших не позже шести утра, всегда очень рано) спустился туда, и нарвался там на пулю.

Неловко признаваться, но мысль о том, что благодаря мне у Кирилла есть твердое алиби, наполняла мое сердце прямо-таки праздничным ликованием, с которым я, понимая его неуместность, ничего не мог поделать. Давно у меня не было такого прекрасного настроения.

Вернувшись вечером в городок, я, не заезжая домой, выехал на центральную улицу, свернул за собором к лиману и бесшумно подкатил к дому Чернецкого. Притворив за собой тяжелую калитку, сделал несколько шагов и остановился возле невысокой айвы, листья которой вблизи выглядели тряпичными, а плоды казались вылепленными из глины. Кабинет Чернецкого был освещен, но сам он сидел в саду за столом с гостем, лица которого я не видел, однако по белой рубашке и светлым штанам – его неизменному летнему наряду – сразу узнал Вяткина. В гуще виноградной ливы над их головами, разметав по столу и вокруг него неподвижные широкие тени, ярко горела лампочка. Где-то на соседних участках и верандах тоже шла своя вечерняя жизнь: негромко играла музыка, слышался женский смех, звенела посуда. С этими летними вечерними посиделками в садах под переносными лампами были связаны мои самые теплые детские воспоминания. Я даже представил, как вот прямо сейчас в одном из этих домов, в освещенной огнями из сада комнате просыпается мальчик лет пяти-шести и с радостным удивлением обнаруживает, что вчерашний вечер каким-то чудом до сих пор продолжается. Один за другим он узнаёт голоса родителей и гостей, улыбается их непонятным взрослым шуткам и смеху, и вскоре, убаюканный негромкой беседой, с ощущением абсолютной защищенности, включающим в себя и некоторое еще совсем смутное предчувствие будущих тревог и невзгод, сладко засыпает опять.

Мимо калитки, шурша и похрустывая мелким мусором, медленно прокатилась под уклон машина с тихой музыкой в салоне и сигаретным огоньком в открытом окне; пугающим низким гудом толкнулся в мое ухо мотылек, и пройдясь теплой струей по щеке, ткнулся было в лицо, но в последний миг ринулся в сторону и вниз, а я все стоял и стоял. Может быть, причиной тому была навалившаяся усталость, но что-то произошло со мной в тот вечер, в ту минуту, и, подняв глаза к ясному звездному небу, напрочь позабыв и о большой матери, и о Страхнине, убитом совсем неподалеку меньше суток назад, я горячо попросил: «Господи, мне бы только жить и знать, что вот так, как сейчас, когда я стою и смотрю из темноты на своих друзей, перед тем как подойти и сесть рядом, будет еще не раз в моей жизни... и ничего больше мне не надо».

Наконец, по выложенной кирпичом дорожке я прошел к столу и к немалому своему удивлению вместо старины Вяткина увидел Цвиркуна в вышиванке. Вот уж невероятное явление: самый ярый недоброжелатель Чернецкого сидел с ним за столом как ни в чем не бывало! А ведь еще недели не прошло со дня его последнего печатного выступления, где он призывал окончательно очистить город от сепаратистской скверны, в лице двух агентов русского мира – оккупанта Страхнина-старшего и фальсификатора истории Чернецкого. Если наскоки на дряхлеющего Страхнина (чье семейство Цвиркун, коверкая известным образом фамилию, называл ядом, отравлявшим всё вокруг) в его речах появились недавно, то история их вражды с Чернецким тянулась еще с тех

времен, когда последний отказался поддержать теорию Цвиркуна о каких-то козацких поселениях, положивших основание нашему городку чуть ли не на заре человечества.

Я сдержанно поздоровался и, садясь, заметил, как Цвиркун мягким движением подобрал со стола и спрятал в карман несколько купюр. Чернецкий пошел в дом за чашкой для меня. Пока его не было, Цвиркун, размеренно кивая, поглаживал ухоженную, волосок к волоску, бороду. По всему саду громко, словно радуясь присутствию однофамильца, распевали сверчки. Дождавшись хозяина, Цвиркун поднялся ему навстречу.

– Ладно, ребятки, – сказал он, поправляя на голове белую нитяную шапочку, – время уже позднее, пойду я отдыхать. Завтра трудный день.

Спокойный приятный баритон Цвиркуна совсем не вязался у меня с теми истерично-кровожадными статьями, которые сей буддист публиковал в местных газетах. На память пришел эпизод застолья с его участием, когда он, следуя стихийному течению беседы, с той же бесстрастной обстоятельностью, с какой минуту назад излагал содержание «Сутры престола шестого патриарха», принялся вспоминать, как на майдане черенком от лопаты бил по головам молоденьких милиционеров из оцепления, приговаривая: «Хиба ж для того вас мамка на свет народжувала, падлюки?» «И при этом такая чистая, ничем не замутненная шуньята сквозила в его глазах!» – добавлял к своему рассказу Жарков. Взгляд голубых глаз Цвиркуна был действительно пустоват.

Чернецкий поставил передо мной принесенную чашку и пошел провожать гостя. Вернувшись, долил себе чаю и стал рассказывать. Виновником визита Цвиркуна был наш кукольник. Оказалось, что несколько дней назад, когда Цвиркун уезжал из города, а замещал его Глеб Глебов, Игорь Свистунов явился на заседание цвиркуновского клуба и произнес там страстную речь о свободе выбора, после чего все, кто там присутствовали, двинулись в ближайшее заведение и потом еще пили всю ночь. Большинство после этого ушло в запой, троих пришлось класть под капельницу. Цвиркун пришел с жалобой и с намеком на денежное возмещение. Начал он вообще с того, что Свистунова специально подослали.

– Так вот кто облил его зеленкой – Цвиркун и жены тех троих, угодивших под капельницы, – вслух подумал я, и в свой черед рассказал о вчерашнем нападении на кукольника.

– Однако, – промолвил Чернецкий. – Хотя не думаю, что для него это что-то из ряда вон. Жизнь его, как я понимаю, из подобных приключений и состоит.

– Но какой же выжига этот Цвиркун! – возмутился я. – Вчера нападение с побоями и зеленкой, а сегодня еще и деньги – по-моему, это чересчур! И причем здесь вы? Кукольник вам ни сват ни брат. Пусть с него и требует. И откуда он знает, что кукольник связан с вами?

– Да, мне тоже это интересно. Но так или иначе, идея привезти его сюда была моя, мне и расплачиваться. Будет наука. У тебя-то он хоть денег не просил?

– Нет. А Цвиркуна вам надо было черными крестами на доме Стряхнина припугнуть. Это же их работа, как пить дать. Сегодня это как раз бы прозвучало... Постойте! А что значит «хоть у меня»? Свистунов что, приходил к вам за деньгами?!

– Да, забежал днем, пришлось дать немного.

– Ну, знаете!..

Чернецкий отмахнулся.

– Да Бог с ними совсем. Успокойся. Пей чай. Или, может, вина принести?

Он был на удивление благодушно настроен в тот вечер, ходил вокруг стола и посмеивался про себя. Только когда коснулись убийства, слегка погрузнел.

– Кто убил и за что, гадать не хочу. Надеюсь, найдут, – сказал он. И, как будто объясняя свое беспечальное настроение, добавил: – А что касается гибели Кирилла Юрьевича Стряхнина, то полагаю, для бывшего боевого и бравого офицера смерть от пули в такой крайне запутанной ситуации, в какой он оказался, да еще на пороге старческого бессилия – не самый худший вариант. Земля пухом.

Еще сообщил, что из Одессы приехал следователь, тот, который занимался делом наркомана в апреле.



– Сестра встретила вечером в центре, сказала, красавчик, похож на Жерара Филиппа, если помню такого. Я его тогда, в апреле, видел по телевизору, действительно, что-то есть.

На мой вопрос, здесь ли уже младший Стряхнин, Чернецкий ответил:

– Не знаю. Кстати, я, кажется, выяснил почему Витюша хочет с ним драться.

Я приготовился слушать, но он попросил:

– Давай завтра, а то как-то слишком много для одного дня. Потерпи.

Я и сам валился с ног. Он еще собирался о чем-то со мной завтра посоветоваться, и мы договорились, что я зайду к нему во второй половине дня.

### III

К полудню из сарая была вывезена на свалку последняя порция хлама.

Подметая дорожку мусора по пути следования тачки, я гадал, что мне делать с сараем теперь, не снести ли его. Помывшись в летнем душе, я снова в раздумьях встал перед ним. Уродливый, покосившийся, с дырявой крышей, он портил всю картину и перекрывал вид на участок, хотя и неухоженный, но дающий простор взгляду. С другой стороны, я собирался продолжить когда-то начатый ремонт и сарай мог бы еще пригодиться для хранения всякой всячины.

Тут-то и появился следователь. Увидев за калиткой молодого человека в светлых брюках и цветастой рубашке с короткими рукавами, я, помню, порадовался: наконец-то ребятам-коммувожерам, что носили по дворам наборы кухонных ножей и металлической посуды, позволили снять их строгие костюмы с галстуками и одеться по погоде – сбила с толку черная сумка на боку гостя.

Он представился, и мы прошли в дом. Следователь сел в предложенное кресло у журнального столика, снял и положил перед собой темные очки, сумку поставил у ног. Пока я готовил стол к чаепитию, мы поговорили о погоде, о здешних ценах на жилье и вспомнили майскую историю. Я, кстати, поделился с ним возмущением по поводу того, что умершего наркомана у нас до сих пор считают монахом. Он выслушал меня с интересом, сказал, что и среди монахов, увы, встречаются наркоманы, потом спросил, где я живу в Одессе, и дальше речь пошла о моем квартиранте. Как я понял, тот уже был в городке, но находился в состоянии, непригодном для ведения следственных действий. Я был готов к тому, что придется рассказать о нашем телефонном разговоре буквально за полтора-два часа до убийства, но не мог и предположить, насколько алиби Кирилла окажется востребованным. У меня даже началось сердцебиение, когда следователь сказал, что младшего Стряхнина видели той ночью в городке. Тут-то я поведал о звонке в одиннадцатом часу, особо налегая на то, что судя по трамвайному грохоту и звону, которые я отчетливо слышал в трубке, Кирилл находился в тот момент рядом с моим домом, а может и на балконе, и вряд ли бы успел ко времени, когда всё произошло, оказаться здесь. Рассказывая, я отыскал в телефоне дату и время звонка и показал следователю. Он покивал и перевел было разговор на Стряхнина-старшего, но я вернул его к младшему, поинтересовавшись: уж не Чоботов ли тот человек, что якобы видел здесь Кирилла той ночью.

– То есть вы считаете, что Чоботов мог его оговорить? – спросил следователь.

Я пожал плечами. Если быть честным, я так не считал и жалел о том, что сказал. Даже подумал, что мое отношение к Чоботову уже отдает паранойей и надо бы с этим что-то делать.

– А Чоботов это кто? – спросил следователь.

– Писатель. Не слышали? Ну, раз не слышали, значит не Чоботов.

Следователь смотрел на меня, очевидно ожидая продолжения, но так и не дождавшись, сказал (я не сразу понял, о чем речь):

– Он мог звонить с дороги. Дайте подумать. Где проходит самая крайняя трамвайная линия в этом направлении? Дальние Мельницы? По пути сюда остановил там машину, вышел, дождался

трамвая и – вуаля. Через час с небольшим, мог быть уже здесь. Ночью трасса свободна – гони не хочу. Я о вашем постояльце.

Я молчал. Возразить было нечего. А кроме того...

– У вас есть какая-нибудь своя версия убийства? – спросил следователь.

Я покачал головой. Версий у меня не было, но какая-то важная мысль, с которой он меня сбил вопросом, крутилась в голове, просто чесалась в мозгу, и я всё не мог её ухватить. И тут произошло удивительное.

Я уже говорил, что с постоянными отлучками в Одессу здесь еще толком не обустроился, а обстановкой решил заняться после ремонта. Пока же жил среди голых стен и довольствовался разрозненной мебелью, частью оставшейся от прежних хозяев, частью натащенной откуда придется. Среди прочего был и треугольный, на трех тонких, широко расставленных ногах, журнальный столик, за которым мы чаевничали и вели беседу. Уродливый и бесполезный предмет Бог знает каких еще времен, найденный мной в одной из одесских подворотен. На столике стояли чашки, заварной чайник, сахарница и пепельница.

И вот в тот момент, когда я, досадуя на то, как зашаталось мое, вернее Кирилла, алиби, и одновременно преследуя ускользающую мысль, бездумно уставился на задавшего вопрос гостя, он вдруг быстро закрыл ладонями лицо и, запрокинув голову, чихнул с такой отдачей, что всем телом упал на несчастный столик, и вместе с ним – с треском, грохотом и звоном, усиленными гулкостью пустого помещения – рухнул на пол.

Я вскочил и бросился к нему.

– Прошу прощения, – сказал следователь, поднимаясь с моей помощью. – Ко мне тут какая-то аллергия прицепилась. Только не знаю на что.

Одна из ножек стола почти по всей длине раскололась на опасно заостренные половины, две другие вылетели. Об цементный пол вдребезги разбилось всё, что было на столе, кроме очков следователя. Да и сам он чудесным образом не получил ни царапины. Стоя рядом со мной над развалинами стола, мой неловкий гость после некоторой паузы промолвил следующее:

– Похоже на подставу. Как если бы вы специально усадили меня за этот стол, а перед этим с ним поработали.

Я не нашелся что сказать. Будь наша встреча хотя бы не первой, я обязательно поинтересовался бы, не слишком ли сильно он ударился головой, но тут только спросил:

– И для чего мне это могло понадобиться?

Он пожал плечами.

– Мало ли. Стать свидетелем моего падения. Понести от меня ущерб ради какой-то будущей выгоды.

– Вы, чихая, обычно падаете на журнальные столики? – уже с некоторой язвительностью осведомился я.

Подняв на меня задумчивый взгляд, он ответил:

– Теперь могу сказать: бывает. – И добавил: – Иногда то, что выглядит как подстава, ею не является – я, собственно, об этом. – Помолчав, еще добавил: – Всё это мысли вслух, не обращайтесь внимания.

Мне и сразу показалось, что он немного не в себе, а тут с этим падением, а теперь со странными рассуждениями... – может быть, жара на него так действовала? а может и что-то другое. С той минуты, как он подверг сомнению алиби, я, честно говоря, был не в духе, и потому, не скрывая раздражения, побросал ножки под стену, туда же оттянул столешницу и пошел за веником и совком. (Только намного позже, уже после всего-всего, я понял, что он на самом деле мог иметь в виду, говоря о кажимости подстав, а тогда это замечание отнес к убийству Страхинина.) Когда я вернулся, следователь, продолжая стоять посреди зала, разглядывал ладони.

– Как я могу это возместить? – спросил он, кивнув на останки столика.

Я сказал, что никак, поскольку никакой ценности ни столик, ни посуда для меня не представляли.

После того как я подмел и выбросил осколки, мы опять было сели друг против друга, но теперь, без столика, это было как-то совсем неловко, и я предложил перейти за стол под навесом возле летней кухни.

У выхода следователь остановился перед большим овальным зеркалом. И вот тут, когда я, обойдя его, уже вышел во двор и прошел его до середины, меня осенило. Крутившаяся под спудом мысль наконец выскочила на поверхность.

– Ну конечно, его видели! – закричал я, направляясь обратно в дом. – Конечно! Это был Козлик! Двойник!

Щурясь от солнца и надевая очки, следователь вышел мне навстречу.

– Вы о ком?

Тут у меня в мозгу стало аж тесно от мыслей, одно потянуло другое, и я рассказал о двойнике, о том, как сам принял его за Кирилла, а заодно вернулся-таки к Чоботову, чтобы объяснить, откуда взялась у меня мысль, что он мог оговорить Кирилла, то есть рассказал о затрещинах, на которые жаловался Козлик, как о свидетельстве истинного отношения Чоботова к Кириллу, ну и, заговорив о Чоботове, рассказал о нем самом, о Нике, о «Сороконожке», не забыл и про сцену у рынка со Страхниным-старшим. В подробности старался не вдаваться, но в интересах дела выложил всё, что считал важным.

Из сказанного мною следователя больше всего заинтересовала история двойничества.

– А у себя, в Одессе, вы точно поселили Кирилла, а не двойника? – спросил он.

– Вы шутите? Странный вопрос!

В моем негодовании была некоторая доля смущения – рассказом о конфузе с двойником я сам дал повод сомневаться.

– То есть уверенность полная, и кто кому двойник, вы точно знаете, – проговорил следователь.

– Как: кто кому? Это же Козлик представлялся Страхниным, а не наоборот.

– Что значит: наоборот?

Я, по правде, и сам не сразу понял, что имел в виду этим «наоборот» – настолько он меня выбил из колеи.

– Я хотел сказать, что приехали они сюда, к Кириллу. И странным было бы, если б Кирилл выдавал себя здесь за Козлика. Тем более...

– Что тем более? – спросил следователь.

– Тем более, как я уже сказал: Козлик представлялся Кириллом, – повторил я.

– Так, может, он и есть Кирилл?

– Нет, он не есть Кирилл. Тем более, что потом я встретился с настоящим.

– Уверены?

От его следующих один за другим вопросов у меня слегка поплыла голова и некоторая слабость разлилась по телу. А вдруг меня и в этот раз обвели вокруг пальца, подумал я. Не могла ли затея Кирилла оказаться еще сложнее? Двойников у него не один, а два, и в городе я поселил второго из них, а сам Кирилл сидит сейчас где-то, радуясь своей дурацкой затее...

– Уверен, – твердо ответил я на последний вопрос, решительно отогнав морок. – Тем более... – тут я запнулся, заметив, что повторяю это «тем более» уже в который раз, и наконец выговорил то, что вертелось на языке с самого начала: – Тем более – я совсем забыл сказать! – они абсолютно не похожи.

– Кто не похож? – не понял следователь.

– Кирилл и его двойник.

– Не похожи?

– Абсолютно.

– Это как?

– А вот так.

Когда я в общих чертах, широкими, как говорится, мазками (а подробности тут и не были нужны) описал того и другого, следователь еще раз уточнил:

– То есть никакого сходства?

– Именно. Когда-то оно, может быть, было, но сейчас его нет. Во всяком случае они уже приехали непохожими. Поэтому легко проверить, кого на самом деле видели той ночью.

– Пойдите. Я что-то не пойму. При том, что они абсолютно, как вы говорите, не похожи, это парня принимают все-таки за Кирилла? – спросил следователь. – Может, у вас тут все болеют чем-то?

Я как-то упустил и постоянно упустил из виду, что следователь не знает ничего из того, что уже известно всем (а впрочем, и не так уж всем, если Козлика в городе многие до сих пор действительно продолжали принимать за Кирилла), и потому вынужден был постоянно возвращаться к тому, с чего должен был начать. Теперь мне пришлось рассказывать, что приехавший парень похож на Кирилла больше самого Кирилла. Чем привел следователя в еще большее изумление. Принимаясь растолковывать подоплеку столь странного явления, я про себя на чем свет стоит ругал младшего Стряхнина, по милости которого оказался в этой слишком уж затянувшейся роли косноязычного недотепы.

– Хм. Извините, но почему вы тогда его называете двойником, если видели и того, и другого?

– Так повелось.

– Кем?

Я задумался и насилу вспомнил, что впервые двойником Козлика назвал Жарков. А кто еще? Сам Козлик? Называл ли так его Кирилл, я не помнил. Ника? Да, кажется, и она называла... Следователю сказал, что точно уже не помню.

Следователь хмыкнул.

– Это юмор что ли такой – привезти совершенно непохожего на себя человека и убеждать всех вокруг, что это двойник? Я смотрю, ваш Кирилл большой оригинал. Или, может быть, сумасшедший?

– Он человек творческий...

– А-аа, творческий, вот оно что. Тогда понятно. Прямо не терпится с ним побеседовать. Послушайте, а что если этот жирный, обрюзгший тип (ни одного из этих слов я к Кириллу не применил, это следователь сам домыслил) как раз и есть самозванец, выдающий себя за постаревшего раньше времени Кирилла Стряхнина? Вы вот ему поверили, а писатель нет, потому и лупит настоящего Кирилла по шее. Что скажете?

– Скажу, что это бред.

Откровенно говоря, я уже порядком одурел от нашего странного разговора и обрадовался, увидев, что гость собирается уходить.

– А жаль, – сказал следователь, поднявшись. – Впрочем, всё и так довольно нетривиально. Ладно, разберемся. Всего доброго. Как вы сказали – сколопендра?

– Что?

– Книга этого писателя.

– Сороконожка.

Я открыл перед ним калитку.

На обочине под начинавшей уже кое-где желтеть акацией стоял черный и долгий, как катафалк, джип с тонированными стеклами. Я подумал, что машина ждет следователя, но тот пешком направился вверх по переулку и исчез за первым поворотом. Спустя минуту джип завелся, развернулся и укатил в том же направлении.

Провожая его взглядом, я вспомнил, как в детстве здесь, в городке, незнакомые авто, так же как и незнакомые люди, тотчас привлекали наше внимание. Не знаю, как это у нас получалось, но и не видя номеров, мы сходу определяли чужаков. Сразу била в глаза некая, как бы поточнее сказать, нездешняя выразительность, что ли, всех этих знакомых, но как будто заново увиденных

вещей – решеток радиаторов, фар, крыльев, колёс, узоров протекторов, отпечатавшихся на влажном после дождя песке обочины. И каждый такой незнакомец своей яркой выпуклой новизной свидетельствовал об огромной многообразной жизни за пределами городка.

V

На улицах было и солнечно, и в то же время тускло. Над исхоженным следователем вдоль и поперек еще в апреле городком стояла едва заметная дымка, и всё вокруг было словно прибито неразличимой для глаза пылью. И состояние раздражающей рассеянности, унылой неприкаянности было как-то связано с этим скучным, просеянным сквозь дымку светом. Тут еще, наверное, дело было в слабости: он только дня три как выпутался из простуды с температурой под сорок.

На обратном пути в гостиницу за ним увязался средних лет попрошайка, принявший его за какого-то начальника или депутата, и, не переставая, на одной ноте ныл: «жытло видибралы, майно видибралы, всэ видибралы... кума увязынылы...». Следователь свернул на рынок, чтобы сократить путь, и, проходя между рядами, купил себе и попрошайке по стакану вина. Когда выходили с рынка, к ним еще прибилась рыжая в густой базарной пыли собака. До гостиницы оставалось два или три квартала, но ему настолько всё вокруг обрыдло, что он взял такси. Под нагретой крышей дребезжащей на всех ухабах и на все лады машины было нестерпимо душно. Пот так и лил с него.

«Душ-но», – прошептал он и подумал: вот еще испытание – они теперь ходят всей толпой, всем бесчисленным однокоренным семейством, и стóит только случайно окликнуть одно, как уже зароились вокруг назойливой мошкаррой все остальные: душ-душ-душ-душ-душ... вплоть до подушки, кадушки и ладушек (и даже дворовый пес Душман из его одесского детства ухитрился сюда пролезть). А подумалось-то всего лишь о душе, крепком прохладном душе. Правда, в гостинице может не быть света, как вчера, а генератор до сих пор не починили, значит, насос не работает и потому душа не будет; хорошо еще если заботливая горничная – как её: Снежана? Беяна? (она еще в прошлый его приезд оказывала ему особое внимание; надо будет её как-нибудь приголубить, что ли) – набрала заранее воды в ванну. Но вот что делать, если действительно – душно, с ума сойти как. И тошнит. Душа просится наружу. Напрасно он пил вино.

Во дворике гостиницы его ждал редактор местной газеты Изотов – бледнокожий молодой человек с густой отливающей медью шевелюрой. В серой рубашке мешком, в широких штанах и в тяжелой не по сезону обуви, он испуганно замер при появлении следователя и кинулся здороваться, только когда тот ему кивнул. Они познакомились в апреле, когда следователь приезжал сюда по делу монаха, оказавшегося переодетым наркоманом. Во многом благодаря Изотову дело было раскрыто в считанные дни. Опередив местных неповоротливых и ленивых полицейских, редактор сам быстро нашел знакомых покойника и через них отыскал его семью. Этот застенчиво улыбающийся юноша (ему было около двадцати пяти, а выглядел он еще моложе), время от времени внезапно сбивавшийся на пафосные речи, вроде бы имел кое-какие планы на их знакомство и, кажется, рассчитывал на помощь с переездом в Одессу, но вот сейчас следователь уже не помнил – ему тогда удалось уклониться или Изотов так и не решился на прямую просьбу?

Они прошли в номер. Слава Богу, свет был.

– Мы как: на ты или на вы? Ну, давай на ты. Садись где-нибудь, – сказал следователь, снимая рубашку и бросая её на спинку дивана. Из холодильника достал две бутылки пива.

Большой любитель кино, фанатик – вспомнил еще следователь. Вспомнил, как редактор взахлеб рассказывал о своем увлечении накануне его отъезда, а он только кивал, и уже не мог дожидаться, когда тот закончит. Славный малый, но нудноватый; когда выпьет – просто нудный.

Изотов, помявшись, сел на диван и уставился на хозяина настороженным взглядом. Простились они нормально, но мало ли... Следователь выглядел усталым и раздражительным, а Изотов еще в прошлый раз научился ловить малейшие намеки и удалялся при первом же подозрении, что наскучил. Поэтому, заметив тень на лице следователя, он, не просидев и минуты, поднялся.

– Может, я зайду в следующий раз?

– Что? – Стоявший посреди комнаты следователь вдруг растерянно крутанулся на месте, словно засомневавшись, его ли это номер. – А, ну, давай лучше завтра... извини... – согласился он. Однако уже взявшись за ручку, начал расспрашивать, и с полчаса они проговорили у приоткрытой двери.

Договорились встретиться завтра после похорон.

– Я помню, ты где-то рядом живешь? – спросил следователь.

– За углом, метров двести.

– Отлично.

Следователь вышел в другую комнату, через минуту вернулся с небольшим пакетом.

– Пусть побудет пока у тебя.

...В остальном, да, всё было как и в прошлый раз, думал Изотов, спускаясь по лестнице, а может быть и ярче. Легло на те еще дрожжи?

Во двореке гостиницы он сел на лавочку. Вот здесь еще это излучение чувствуется. Посидев, вышел на улицу и перешел небольшую площадь – а здесь? Сложив в рамку большие и указательные пальцы Изотов навел её на окно номера, из которого только что вышел.

Там, в номере, следователь, обернувшись полотенцем, вышел из душа и задернул балконную занавеску. Потом допил пиво, лег на диван и вытянулся, заложив руки за голову.

Было половина седьмого – солнце лупило в балконные дверь и окна. Время от времени свещающаяся, как плафон, оливковую ткань занавески пулей перечеркивала тень мухи или медленно снизу вверх пересекал неряшливый силуэт грузно взлетающего голубя, чье потомство весь день неумолчно пищало под крышей.

Укладываясь поудобнее, следователь угодил локтем в телефон в углу дивана и вновь пересмотрел видео, уже однажды, с месяц назад, ему приходившее. Сегодняшнее повторное его получение очевидно обещало скорую встречу с отправителем, и следователь невольно связал это со вчерашним отъездом из Одессы – как если бы сообщение с видео, на манер почтового письма или, скорее, телеграммы, нашло его здесь, в городке, и отправитель тем самым давал понять: я в курсе всех твоих передвижений, дружище.

Легкое дыхание паранойи?

Его несколько раз снимали для телевидения и в Одессе и здесь, в апреле, когда была история с монахом, и всегда это получалось из рук вон плохо. То он на себя не похож и говорит чужим деревянным голосом, то из-за паршивого освещения его совсем не видно, одно бледное пятно вместо лица, а то как-то оператор ухитрился снять так, что он глядел в камеру как из погреба, затравленным взглядом пойманного на горячем селяка. Здесь же, в полученном сообщении, он был совсем неплох. Как будто снимал не посторонний, которого он видел впервые в жизни, а кто-то свой, к нему по-дружески расположенный. Вот он, чуть усмехаясь, проводит по столешнице перед собой раскрытой ладонью и, вскинув ее, уверенно произносит: «С условиями согласен!» Ну, хорошо же, хорошо! На этом всё хорошее в этой истории заканчивалось.

## VI

А началась она в феврале, когда в Одессу из Киева заехал на денёк его младший двоюродный брат по отцовской линии. В детстве их не один раз пытались свести, но разница в четыре года делала все попытки напрасными. Последний раз они виделись на похоронах отца много лет назад. И вот вдруг он позвонил и попросил встретиться. На тот момент уже давно киевлянин – чистенький, мордастенький, весь как на пружинах – он, судя по всему, приезжал по каким-то делам, которые быстро утром же и закончил, и решил таким образом убить время до вечернего поезда. Первым делом он похвастался недавней женитьбой и скорым отбытием в Англию на работу в какой-то торговой миссии. Следователь только расстался с любимой балериной, с которой про-

жил два года и собирался жить дальше, так что эта возможность отвлечься за чужой счет оказалась кстати.

Говорить им с братом особенно было не о чем, общих воспоминаний не хватило бы и на четверть часа, и отчасти поэтому они носились в тот день по всему городу: там перекусили, там попили коньяку, после чего отправились курить сигары, и там выпили еще коньяку, оттуда заехали на открытие какой-то выставки, потом поехали ужинать. От быстрых поездов, смены мест, приветливых улыбок кружилась голова, и было как-то весело и приятно выскакивать из очередного заведения под летящий тяжелыми хлопьями снег и нырять в теплую машину, чтобы через несколько минут, опять выскочить на мокрый тротуар и бежать в гостеприимно отворяемые на встречу двери.

Метания по городу закончились у Клычка за картами. Попали они туда уже крепко выпившими.

Прежде он только слышал об этом заведении. Бывшая коммунальная квартира на Екатерининской с сохраненной планировкой, с поверхностным ремонтом и со своей игрой в каждой комнате. Играли здесь исключительно на наличные. С первого же шага у него появилось ощущение, что подростком он здесь, в одной из этих комнат, бывал, и возможно, как раз по тогдашним карточным делам. А может быть, она ему когда-то снилась? С тех пор как он, едва не оставив их с матерью без крыши над головой, поклялся никогда больше не брать в руки карты, ему так часто снилась игра в самых разных декорациях, что среди них наверняка были и похожие на эти.

Он ни за что бы не сел за стол в тот вечер, если бы, походив по комнатам, не попал в ту, где играли – он глазам не поверил – в сечку! Игра на три карты (второе название «сыкуха»), совершенно дикая, с корявыми правилами, полная несурзностей. Наличие в колоде двух джокеров делало возможным две одинаковые комбинации карт, и тогда приходилось переигрывать, к тому же джокер был самой крупной картой – одиннадцать с половиной «очей», что вносило дополнительную путаницу. Так, например, две десятки с джокером били трех королей, не говоря о картинках помельче, и проч. Но именно этой непредсказуемостью она ему когда-то и нравилась. Очко и вот она, сечка – две любимые игры. Но – всегда казавшаяся ему самопальной, чуть ли не придуманной в их подростковом кругу – откуда она взялась здесь, да еще со всеми теми же правилами? Правда, здесь она называлась «пуншем».

Брата он потерял сразу, как только они вошли, и тот позвонил часа через два из поезда, когда следователь был уже с головой в игре. За стол он садился с тем же ощущением, что раньше здесь бывал и теперь всё вокруг узнаёт его и радуется ему. Такое тепло объяло – ну, просто домой вернулся! Словом, коньяк, будь он неладен, пить в баре, переделанном из общей кухни, было ошибкой. Впрочем, сначала, пока их за столом сидело трое, всё складывалось для него совсем неплохо: карта шла с обнадеживающей периодичностью, наметился хороший бодрый ритм игры, крепло предчувствие приятного финала. И тут появился четвертый.

Дергая смуглым лицом так, будто он только что, за порогом, его надел и теперь торопливо в нем осваивался, новый игрок привычно, завсегдаем, вошел в комнату и сел напротив следователя. Загорелый, широкоплечий, с накачанным торсом, он отвел на затылок козырек бейсболки и выложил на стол телефон и портмоне. Сложные продолжительные тики ходили у него парами, и когда он, положив деньги в банк и взяв карты, задергался вновь, это уже походило на то, как если бы наспех надетое лицо вдруг вздумало сползти, а он принялся его удерживать и возвращать на место. Глядя на него поверх карт, следователь не мог не вспомнить известную игрушку, гуттаперчевую рожницу, отвечавшую гримасами на малейшее движение вставленных в нее с тыльной стороны пальцев.

Новый игрок сразу оттянул часть удачи на себя, и некоторое время им везло попеременно. До тех пор, пока они не остались за столом вдвоем. В первой же игре с глазу на глаз гуттаперчевый сначала задрал ставку, а потом прозвучало роковое «банк». Тут следователь дал маху: прозевал момент, когда в банке собралась сумма, на которую он уже не мог ответить. И не хватало-то



какой-то четверти. Он вытянул все деньги из бумажника, демонстративно пересчитал, положил рядом, потом еще раз глянул в карты, сложил и постучал ими по столу. Своих денег, с которыми он сел играть, у него было немного, так что проигрыш был бы невелик, но где это видано, уходить в пас с тремя дамами! К тому же было ощущение, что гуттаперчевый блефует. Следователь оглянулся в наивной надежде выловить в дверном проеме чье-нибудь, все равно чье, знакомое лицо. Его соперник курил, пуская дым в пятиметровый потолок, ждал. Следователь снова раскрыл и закрыл карты. Опять постучал ими по столу. Так прошло минут пять. Из ступора его вывело выразительное покашливание.

– Сейчас-сейчас, – отозвался он. Трудно было смириться с этим безумием. Господи, за что?! Дурной сон. – Сейчас.

Что – «сейчас»? почему – «сейчас»? Дурной сон.

Опять-таки оглядываясь на распахнутую дверь, следователь полез по карманам, в которых, естественно, было пусто. Двадцать лет с плеч долой – в последний раз он так тянул время, будучи подростком, начинающим игроком.

– Если нет за душой ни гроша, – вдруг произнес его визави, – в счет оплаты уходит... душа.

И едва он успел выговорить с произвольным ударением последнее слово, как по его лицу опять пошли судороги. Дождавшись, когда буря уляжется, и цепляясь и за эту возможность хоть чуть-чуть потянуть время, следователь спросил:

– Чьи стихи?

– Не знаю. Где-то слышал, а где не помню. Так что? Не подходит? Как вариант.

– Вы о чем?

– Как о чем? Я же только что предложил. Еще и в стихах. Нет так нет. Тогда что, пас?

Они некоторое время молча взирали друг на друга. После частых мелких дерганий, лицо гуттаперчевого выглядело абсолютно неподвижным, и в этой застылости сквозило что-то рептилье.

– Вы их коллекционируете? – спросил следователь.

– Вам какая разница? Можете считать это чудачеством. Только решайте быстрее.

«Это что еще за хитросделанный черт на мою голову?» – подумал следователь и спросил:

– Мне вас что сейчас, на слове поймать?

– Попробуйте.

Тут, конечно, всё было как на ладони: одинокое детство, горькая юность, девочки, испуганно шарахавшиеся при первых же конвульсиях, с малых лет какое-нибудь карате или бокс, чтобы любого усмехнувшегося или, не дай Бог, подшутившего валить с ног одним ударом...

– Тогда ловлю.

– Отлично.

– И что теперь?

– Ставьте её на кон, и играем дальше.

– Смешно.

– Ну и прекрасно.

– Да я пожалуйста, но здесь вроде бы играют на наличные.

– А она сейчас не при вас?

«Ты смотри, какой непростой фучин. Ладно». Он еще показался следователю не совсем трезвым: какое-то постороннее масло плавало в его насмешливом взгляде. Тем лучше. Да и раздумывать особенно было не над чем.

– То есть я соглашаюсь и мы вскрываемся? Тогда ловлю на слове: согласен! Открываемся!

– Ша, ша! Вы серьезно?

– Абсолютно.

Пауза. «Какая неожиданность, да? Картина называется: куда заводят...».

– Хорошо. Принимается. Сделаем так. Чтобы сейчас с этим не возиться, просто пообещайте, а оформим потом. Если проиграете.

– И как это потом будет выглядеть? – поинтересовался следователь. – К нотариусу пойдем?

Его собеседник опять вступил в схватку с уползающей кожей, и следователь сцепил челюсти – так захотелось передразнить. Проморгавшись и успокоившись, тот продолжил:

– Зачем? Просто сами напишете. «Я такой-то передаю в полное и безусловное владение...»

– Кровью конечно?

– Куда столько. Достаточно будет и отпечатка пальца. Причем любого. И подпись. Подходит?

– Вполне, – ответил следователь.

Гуттаперчевый навел на него свой телефон.

– Тогда скажите: с условиями согласен.

– С условиями согласен! – усмехаясь в объектив телефона и отводя раскрытую ладонь, объявил следователь. – Открываемся? Три дамы.

Его соперник отложил телефон, взял карты и без тени иронии произнес:

– Мои соболезнования.

На стол перед следователем легла четвертая дама и два джокера, слева и справа.

О-хре-неть. Нет, даже так. О! Хре! Неть!

## VII

Через пару дней он получил с незнакомого номера видео, на котором соглашался с условиями. Никаких комментариев к нему не было. К тому времени он уже кое-что узнал. Результат оказался неутешительным. Фамилия известная, хотя и не на слуху, все представители сидят в тени, но при таких капиталах, делах и с такими связями, что сразу стало понятно, этот странный человек ни ему, ни кому бы то ни было из тех, кого он знал, не по зубам. Приятель журналист, помогавший наводить справки, сказал:

– Он такой: карточный долг – долг чести и всё такое. Шутить с ним не советую. Много проиграл?

– Ну, так...

И все же нельзя было сказать, что случившееся его как-то особенно расстроило. По сравнению с недавним расставанием с Марусей это была мелкая неприятность. Такая, видно, пошла полоса, бывает. В конце концов всё так или иначе улаживается, уладится и это. В предмете проигрыша он не усматривал ничего сверхнеобычного. За карточными столами чего только не бывало и о каких только ставках он не слышал: от невинности сестры до места на таможне. Это во-первых. Во-вторых: пресыщенных придурков со съехавшими на сторону мозгами вроде этого мутного гуттаперчевого чертилы он на своем веку, слава Богу, повидал достаточно, чтобы перестать чему-либо удивляться. И в-третьих: если его что-то и беспокоило в случившемся, так это унижительная нелепость ситуации, в которую его втянули: взятое обещание, съемка и маячивший впереди балаган с распиской. Плюс вероятность огласки. О том, что произошло за игорным столом, он ничуть не жалел, и доведись ему опять попасть в ту же ситуацию, повел бы себя точно так же. И еще вот что: даже если бы на кону в тот вечер стояло что-то существенное – машина или квартира – его бы и тогда сразили наповал карты гуттаперчевого. Потрясение от того, как его трех прекрасных дам положила лицами в стол компашка из их сестры-потаскушки и её двух развеселых хахалей (а хорошо сформулировал!), стало самым сильным впечатлением того вечера.

Ну, и вот еще, пожалуй, на десерт: проиграть душу в сыкуху – это звучит. Хорошо не в мандавошку – есть и такая милая игра. А мог бы и в очко спустить.

...Прошло полгода, он уже стал забывать об этой истории, и вот неделю назад гуттаперчевый позвонил. Сказал, что был в отъезде, но теперь готов встретиться. Спрашивал, где и когда ему будет удобно. Затем, не проронив ни слова, слушал долгое витиеватое вступление следователя («понимаете ли, тут такое дело...»). И лишь когда тот предложил выплатить для начала треть суммы, возразил:

– Извините, но меня интересует только то, что я выиграл.

- Сразу целиком? – спросил следователь.
  - Сразу. Целиком, – с нарочитой монотонностью повторил за ним собеседник. И с нажимом добавил: – И только то, что я выиграл.
  - В смысле?
  - Вы не помните на что играли?
  - Я вообще-то думал, что это шутка...
  - Чья?
  - Наша. Вы пошутили, я подыграл.
  - А как же: «С условиями согласен»?
  - Я же говорю: пошутил. Мало ли.
  - И продолжаете шутить?
  - Я – нет. А вы?
- Собеседник молчал. Не дождавшись ответа, следователь раздраженно спросил:
- Что не так?
  - Всё. Вашу ставку приняли. Игру вы продолжили. Какие тут могут быть шутки?
  - Да, действительно шутки затянулись. Давайте серьезно. Вы же видели, у меня тогда не было чем ответить, и я вам очень благодарен, что вы согласились, хотя бы под таким предлогом, играть со мной дальше. Спасибо. Если считаете, что сумма за это время подросла – скажите.
- Гаже всего был тон, на который он сбился. Детский лепет. И ему, как ребенку, объяснили:
- При чем тут деньги? О них вообще речь не шла. И сейчас не идет. Вы должны отдать то, что поставили и проиграли. Я же сразу оговорил, оформим потом. Имея в виду, без свидетелей. Или вам хотелось, чтобы всё происходило там же, за столом? В общем, могу подождать неделю, чтобы вы привыкли к мысли. Привыкайте.
- «Черт подери, что это?» – подумал следователь, откладывая телефон. Откуда на его голову свалился этот гуттаперчевый тролль, и что с ним делать?

## VIII

Чернецкий был занят – помогал в саду матери и сестре разливать по банкам абрикосовое варенье – и предложил мне подождать его наверху.

В кабинете я воспользовался редкой возможностью посидеть в хозяйском кресле. На письменном столе передо мной лежала взятая в раму и стекло и очевидно готовая занять свое место на стене старинная фотография. Набережная приморского, скорее всего итальянского, города была запечатлена на отливающем серебром снимке во время какого-то праздника. Ватные клубы дыма перед палящими пушками перекликались с пышными облаками на горизонте, а залив между теми и другими был густо усеян комариной россыпью лодок и суденышек, будто увязших в его мутной глади. Похожий серебристый, с легкой дымкой и нежным ветерком, день стоял и за раскрытыми настезь окнами кабинета; на стопке книг рядом с фотографией лежали очки, и в их чистых, чище воздуха, линзах мелкое плетение то и дело раздувавшейся и набегавшей на стол тюлевой занавески укрупнялось до размеров ячеек рыболовной сети.

Посидев, я с тем же удовольствием прошелся по просторному кабинету. Сам я этого не застал, но тот же Жарков рассказывал, что когда-то здесь трудно было найти свободный пятачок. В молодости Чернецкий был удачливым, как мало кто, «черным археологом», уже к тридцати годам накопившим себе разного добра на целое состояние. Все изменилось с гибелью его младшего брата, которого он пристрастил к тому же. После того как Глеба Чернецкого здесь, под крепостью, на раскопках античного поселения завалило полутораметровым слоем земли, всё добро было роздано Константином по музеям – основная часть в наш краеведческий, остальное в два одесских. С тех пор кабинет принял свой нынешний вид. Книжные шкафы, круглый дубовый стол с книгами и журналами, в основном привезенными гостями (любимое место Вяткина),

еще один, низенький, столик для напитков и закусок, кожаный диван и несколько стульев и кресел. В простенках между окнами висели барометр, карта города, черно-белые фотографии, а над креслом Чернецкого – широкая плоская ветка красного коралла. Если сад я собирался разбивать по примеру вяткинского, то образцом кабинета служил мне вот этот. Вернувшись в хозяйское кресло, я подумал о том, что уют кабинета, кроме всего, нажит долгими и постоянными, изо дня в день, трудами. Каждый из нас, кто больше, кто меньше, в свое время помотался по свету, и только Чернецкий никогда надолго отсюда не уезжал. И мне хочется верить, нет, я даже уверен, что если и была у моего дорогого друга какая-то вина перед нашим городом, он её давно и сполна этими трудами искупил.

Дело, о котором со мной хотел поговорить Чернецкий, касалось Жаркова и Кучера – молодого, лет тридцати с небольшим, местного предпринимателя.

Несколько лет назад, прочитав книги Чернецкого, он был совершенно ими покорен и вызвался снабжать наши субботы доброй закуской и вином с собственных виноградников. (Позже я узнал, что он много помогал и некоторым нашим обывателям из совсем обездоленных.) Благоговетший перед Чернецким, он, сойдясь с ним поближе, поначалу нередко ставил его в тупик странными вопросами или замечаниями, и Чернецкому пришлось к нему долго привыкать.

Помню, однажды Чернецкий, к которому в постель забралось какое-то насекомое из крупных многоножек, рассказывал, как неприятно проснуться среди ночи от того, что по тебе что-то ползает, и Кучер вдруг, подмигнув, вставил:

– Особенно если это первая брачная ночь!

– Скажи пожалуйста, причем тут брачная ночь? – не выдержал Чернецкий.

Кучер, глупо улыбаясь, пожал плечами.

А когда мы остались одни, Чернецкий пожаловался:

– Бог знает, что у него иногда в голове. Он меня как-то спросил, что было бы, если бы всё липкое перестало смываться?

– Это как?

– Вот и я его спросил. А он говорит, ну, вот допустим, попала на руку капля меда, и всё: это место теперь всегда липкое. Я говорю, как это: слизывает каплю, а она остается? Он говорит, нет, капля слизывается, а липкость остается. Или как-то спросил, читал ли я когда-нибудь газету Чикаго трибюн. Вот к чему это? Какой-то он всё-таки с придурью, притом с крепкой.

Кроме того, Кучер как будто специально собирал весь, какой только был на тот момент в ходу, словесный мусор, и речь его так и пестрела «контактными телефонами», «цветовыми решениями» и «финансовыми составляющими». Уже не говоря о бесконечных «режимах» – телефонном, скоростном, ценовом, вплоть до «режима живого общения», а однажды прозвучало чудовищное: «в режиме взаимной дружбы». Вместо того чтобы сказать «я увидел», он мог выдать: «визуальный осмотр показал», и т.д., и т.п.

– Это он с вами так разговаривает, потому что вы шибко вумные. Хочет вам понравиться, – объяснял нам Вяткин, симпатизировавший Кучеру, да и вообще всегда готовый встать на защиту любого, кто почему-либо не нравился Жаркову. – Слышали бы вы как замечательно, с какой нежностью он рассказывал мне о рыбалке: «Водичка бархатная, но уже с осенней прохладцей, ветерок мягкий, барашки мелкие, аккуратные...» И никаких режимов.

Отчасти с подачи Вяткина приглядевшись к Кучеру, я его полюбил. Хлопотливый, но без суеты, всегда готовый прийти на помощь, он никогда не унывал, всегда был сдержанно бодр, и от него неизменно веяло покоем и надежностью. Притерпелся постепенно к нему и Чернецкий, и вот сегодня он был крайне огорчен тем, что в последнее время безотказного Кучера стал бесцеремонно эксплуатировать Жарков.

– Заказывает уже ему на субботу какие-то блюда и относится как к нашему общему, и в том числе своему слуге, заставляет возить по своим делам, там они попадают в какие-то передраги, ты же знаешь Сашу. Кучер молчит, но это ведь никуда не годится. У него и так забот хватает, бедняге, бывает, выспаться некогда. Я намекнул Жаркову, но он только отшутился, дескать, сама фамилия

Кучера к тому обязывает. Неприятно это еще и тем, что Кучера он не любит. И меня в дурацкое положение ставит. Что я могу? Всерьез пенять или что-то требовать – это как предъясвлять какие-то особые права на Кучера. Надо бы это прекратить, а как – не знаю.

Ничего не придумав, мы пошли прогуляться. Спустившись к лиману, дошли до маленького, в сотню метров, пляжа под заброшенными казармами и остановились у самой кромки. Деликатным вечерним прибоем на песчаный берег намывало мелкий мусор и камышовую труху. Здесь я рассказал о визите следователя и о том, как он меня запутал с двойниками. После чего Чернецкий наконец поведал о том, что побудило Витюшу вызвать Кирилла на дуэль. А именно о скандале, учиненном Кириллом у Чоботова.

## IX

Как я уже говорил, произошло это накануне его отъезда в Одессу. В тот вечер во дворе у Чоботова за накрытым столом собрались домочадцы и гости; по политым из шланга плитам бегали чоботовские и соседские дети. Тут-то и появился Кирилл с группой наших местных бездельников. Надо отметить, что вся компания, включая девиц, среди которых оказалась и Ника, была навеселе. С их появлением все, кто сидел за столом, вместе с женой Чоботова Варей потихоньку перебрались в дом, остался только Чоботов.

Едва сев за стол, Кирилл потребовал у хозяина вина (тот делал свое, говорят, весьма недурное), и когда Чоботов сказал, что вино закончилось, достал из рюкзака бутылку местного самогона и махнул сразу же чуть ли не стакан. Заставил выпить и Нику.

Начал Кирилл с насмешливого обращения к Чоботову:

– А кто это тут такой, стелился травой, лился тихой водой и вился мелким бесом совсем недавно, а теперь смотрит на нас волком?

Не дождавшись ответа, он выложил на стол телефон и включил запись, на которой Чоботов разговаривал с Никой во время их свидания. При этом продолжил говорить:

– Мы ведь чего пришли. Ознакомились мы тут с записью вашей встречи. И твоим предложением. И знаешь, что *нам* не понравилось? Остроумие. Вот всем бы остроумие понравилось, а нам категорически нет. Мы-то думали, пять лет назад был порыв, священное безумие, а оказался подлый расчет? Только не говори сейчас, как ты это умеешь, что ты и сам путаешься в вариантах...

– О, да! Я и сам путаюсь в вариантах! – со злой улыбкой подхватил Чоботов. – У меня их еще несколько, и они все мне нравятся.

– Кто б сомневался, – сказал Кирилл. – Но морочить голову безответным девицам я не позволю. – Он откинулся на спинку стула и показал на Чоботова ладонью. – Нет, вы только посмотрите на этого жирного кота! Он уверен, что словом «любовь» оправдает всё. Так вот, предлагаю новый вариант. Вне расчета. Можешь прямо сейчас делать с ней всё, что захочешь. Хочешь сам. Хочешь, подари её на часок кому-нибудь, да хоть первому встречному на улице. А можем все по очереди её отодрать. Ты же писатель, придумай что-нибудь. Трактовку потом сочинишь. Я со своей стороны гарантирую её полное послушание. Смотри, другого случая не будет.

Попытавшюся было возразить Нику, Кирилл шлепнул по губам, и та обмякла, потеряв сознание. Но ему и этого показалось мало – он залез Нике за пазуху, выставил наружу грудь и, чуть подкидывая её на ладони, словно взвешивая, продолжил; Ника при этом пришла в себя, но тут же опять лишилась чувств.

– На, пощупай, пока думаешь, – предложил Кирилл Чоботову. – Ты ведь до этого так и не добрался. А если у тебя руки чешутся меня ударить – Козлик, как всегда, в твоём распоряжении.

На этом Чоботов поднялся. Кирилл схватил его через стол за руку, но тот вырвался и ушел.

– Нда, – протянул я, воспользовавшись паузой в рассказе, который меня, признаться, ошаршил. – И как мне с ним после такого встречаться, не представляю. У него мои одесские ключи остались.

Чернецкий заканчивал:

– Вся соль, как я понимаю, была в записи, но её перекрывал монолог Кирилла, и о какой хитрости Чоботова шла в ней речь, никто так и не понял. На записи был и твой голос, – добавил он, взглянув на меня с нескрываемым интересом, – может, объяснишь, что там происходило, если, конечно, ты не связан какими-нибудь обязательствами.

Чернецкий не умел врать и потому не любил, чтобы его посвящали в тайны и делились с ним секретами. Помня это, я и не стал ему тогда рассказывать об участии во встрече Ники с Чоботовым. Теперь же, объяснив причину своего молчания, рассказал всё, чему был свидетелем.

Выслушав, Чернецкий спросил:

– И тебя не удивило, что Нике понадобилось твое присутствие, хотя с тем же успехом в соседней комнате мог сидеть Кирилл?

– Я думал, она встречается с Чоботовым втайне от него.

– Понятно. Привлечь тебя, зная, в каких вы отношениях с Чоботовым, для пущего его унижения – явно идея Кирилла. Какой, однако же, сумасшедший дом.

– Да уж, – согласился я.

Мы развернулись и пошли обратно.

– Я тут, сам понимаешь, ни на чьей стороне. С такими-то подробностями, – сказал Чернецкий. – Но не могу не отметить как раз остроумие Чоботова. А Кирилл с обвинениями в преднамеренности выглядит глупо. Кого он хочет пристыдить? Одержимого? Впрочем, представляю, каково ему. Его-то ситуацию уже никаким остроумием не исправить. Хотя бы потому, что он не единственный её творец, в отличие от Чоботова. Тревожно всё это.

Комплименты в адрес Чоботова мне непонятны и неприятны, а его достижения как минимум не интересны. Как и неудачи Кирилла. Для меня теперь они были два сапога пара. Я только попросил Чернецкого разъяснить одну странность, с самого начала беспокоившую меня в его рассказе: откуда ему в таких деталях известна эта история, неужели её в таком виде рассказала его сестре Варина подруга?

Чернецкий пожевал губами и сказал:

– Там же, за тем же столом сидел Жарков. Когда я узнал об этом, позвонил ему, и он подробно и красочно, как он умеет, все описал.

– И он не попытался вмешаться?! – воскликнул я, перед этим на секунду-другую задохнувшись от возмущения. – Сидел и спокойно смотрел?!

Как ни странно, Чернецкий взял сторону Жаркова.

– Во-первых, Жарков фотограф, то есть циник по определению, хотя мне и не нравятся такие определения. Не вмешиваться – часть его профессии, а возможно и привычка. Он только на съемках своих свадеб такого насмотрелся, вплоть до убийств, что его уже ничем не проймешь. А во-вторых – поскольку Ника и Кирилл живут как муж и жена, всякому третьему лучше не лезть.

Мало того, Чернецкий попросил разрешения пересказать Жаркову содержание записи – Жарков попросил его об этом в обмен на свои откровения. Я с большой неохотой разрешил.

Мы вернулись к Чернецкому. Пока он внизу собирал нам поесть, я в кабинете плыл по течению невеселых мыслей. Встреча с Никой представляла теперь в новом свете. Получалось, что она встречалась со мной ради этой записи? Но зачем тогда были просьбы советов и помощи, рассказы о желании прощать, чтобы быть прощенной – ведь она могла просто попросить? Так, может быть, она сама не всё знала? Хотя догадываться могла. Впрочем, негодовал я на нее недолго. То, как с ней вёл себя Кирилл, не оставляло сомнений – она человек подневольный и делает то, что он скажет.

Конец дня мы встретили за ужином. Жареная кефаль с оливками, домашним хлебом и двумя бутылками вина от Кучера немного поправили мне настроение. На стене под угасающим, загустевшим до чайного цвета закатным лучом сдержанно засветилась ветка красного коралла и напомнила мне о кровавом пятне в опусе Витюши, а следом и о нем самом. Он-то откуда узнал о выходе Кирилла? и как поведет себя теперь, после убийства?

– Насчет первого: не знаю, – ответил Чернецкий, когда те же вопросы я задал ему. – А насчет второго – думаю, переждет какое-то время и вернется к этому.

Заговорив о Витюше, мы вспомнили вековой давности городскую легенду о гимназисте Батумцеве. Вызвавший на дуэль сына городского головы за оскорбление какой-то девицы, он был убит молнией на месте, выбранном для поединка. Валун под стеной крепости, возле которого Батумцев с фуражкой, полной черешни, ждал обидчика, входил у некоторых экскурсоводов в перечень достопримечательностей. На гладкой, точно стесанной стороне камня, если хорошо присмотреться, якобы можно было разглядеть тень сраженного молнией юноши. По легенде дуэль была назначена на утро после маскарада, и видимо поэтому лицо выходявшего по ночам из камня гимназиста хранило следы животного, которое он накануне изображал. Одним в нем виделось что-то кошачье, другим обезьянье. История гимназиста описана в каком-то из сочинений Чоботова (не читал, не знаю). И то ли в двенадцатом, то ли в тринадцатом году Жарков изготовил к столетнему юбилею поединка (который сам, кажется, и придумал) серию карточек, стилизованных под фотопродукцию начала прошлого века. В помещении, как бы затянутом едва заметной дымкой, на фоне складчатого занавеса и фрагмента классической колонны был запечатлен стоящим, сидящим и даже лежащим юноша в форме гимназиста, повернутый в четверть оборота к зрителю. Было также несколько снимков возле упомянутого камня. В роли модели выступил Изотов. Внизу декоративной рамки значилось «Фотоателье Александра Жаркова». На обороте карточек коротко излагалась история гимназиста с его посмертной легендой. Жарков пытался продавать фотографии через сувенирные киоски в крепости, но желающих их купить оказалось немного.

В тот вечер мы с Чернецким гадали, не явилась ли эта легенда толчком для Витюшиной затеи. Кстати, звали гимназиста Виктор.

## X

Хоронили Страхнина на третий день. Кирилл на похоронах не появился, при том что был в городе. Утром у них со следователем состоялась встреча, на которой Кирилл сообщил, что специально поисками оружия не занимался. Так, высказался как-то в застольной беседе, что неплохо бы приобрести, вот, собственно, и всё. Его отсутствие на похоронах можно было понять: идти за гробом рука об руку с бывшей женой и одновременно вдовой отца, матью твоих сына и брата – это, знаете ли, для любого стало бы испытанием из непростых.

Похороны были многоялюдными. Опять-таки и за счет приезжих – Страхнина знали многие. Кто-то из прежних сослуживцев Кирилла Юрьевича организовал почетный караул с прощальными залпами. На отпевании в соборе мелькнул следователь. В храм не входил, постоял в притворе и скоро ушел. Но потом еще появился на кладбище. Из наших были все, кроме Жаркова. Прошло всё чинно, в меру торжественно; погода была чудесная. Раза три возникал шум возле скорбящей вдовы – это брат покойного, Степан, пытался подойти к ней, но его всякий раз останавливали.

Изотов и следователь встретились после погребения, сойдясь на центральной аллее кладбища. На этот раз следователь приветствовал его как старого знакомого, словно за прошедшие сутки наконец вспомнил и признал. Голодный и веселый, он повел Изотова в ресторан. Пока ждали заказ, Изотов выложил на стол запрошенную следователем накануне «Сороконожку» и стал рассказывать историю появления книги и всего, что тому сопутствовало. Слушая его, следователь с интересом листал пухлый том.

– Ты смотри, действительно... – удивлялся он, открывая книгу в разных местах.

По дороге в гостиницу и еще некоторое время в номере они развлекались придумыванием подобных имен общим знакомым, благо сразу после похорон было кого вспомнить из наших горожан. Занятие оказалось сколь веселым, столь и непростым: полдесятка, ну десяток имен – всё, дальше фантазия глохла. С могучим воображением Чоботова нечего было и тягаться.

В ходе игры хмельного Изотова охватил восторг.



– Если б я мог рассказать... – пробормотал он, когда они уже сидели в номере, но тотчас осекся.

Перемешивая в ладони растертый в мелкую крошку гашиш с табаком, следователь поднял на него вопросительно-рассеянный взгляд.

– Нет, ничего, – испуганно ответил Изотов.

Еще в апреле, неверно истолковав повышенное внимание к нему Изотова, следователь твердо дал понять, что взаимности не будет. Объясниться тогда же Изотов не решился. Сначала побоялся, что его объяснения еще больше насторожат следователя, а после сообразил, что некоторая непроясненность в их отношениях добавляет им объема и глубины, сообщает естественную многозначительность, словом, идет только на пользу. Однако желание выговориться с тех пор никуда не делось, да и того, что хотелось бы сказать прибавилось. Ну и должно же быть в этой истории где-то место для его взволнованного монолога на камеру! Для начала хотя бы такого:

«Длится ощущение несколько минут. Никогда не приходило в голову подсчитать, сколько именно. Да и до подсчетов разве тогда? Так вот: ты выходишь после фильма на улицу и попадаешь в мир, туго натянутый на координаты, в которых ты провел два волшебных часа. В этом преображенном мире “послефильмия” первыми в своем новом качестве (они же и последними с ним расстанутся) тебя встречают его неодушевленные обитатели – облака, деревья, тротуары, здания, машины – мало отличающиеся от тех, что ты видел на экране. Заждавшись тебя здесь, истомившись твоим отсутствием, они в одно мгновение распространяют это состояние сладкой, тревожной и осмысленной нарочитости на всё вокруг, заполняют им весь объем видимого мира. И вот в этом измененном пространстве ты наконец обнаруживаешь себя. Каждый твой жест, каждый шаг, каждый взгляд и каждое слово в эти минуты неслучайны и освящены самым пристальным зрительским интересом. Объяснить это так же сложно, как описать словами состояние влюбленности. Которой есть два вида: влюбленность – и влюбленность, на которую ответили взаимностью. Так вот мы имеем дело со второй. Причем взаимностью отвечаем мы».

Направляясь в душ, следователь пересыпал готовую смесь из своей ладони в ладонь Изотова, стер туда же пальцем прилипшую пыльцу и вручил бумагу для самокруток.

– На-ка, сделай пока, у тебя хорошо получается.

Оставшись один, Изотов, отложив на время бумагу и, зажав табак в кулаке, стал лихорадочно листать тетрадь. Фрагмент, который он искал, как назло не находился, а времени было немного. Наконец, переломив тетрадь на найденной странице, быстро свернул самокрутку и положил её на столик у дивана. После чего взял тетрадь, встал, прошелся по комнате, вышел на балкон и, возвращаясь в комнату, приостановился в дверях.

– Что касается его, – вполголоса произнес Изотов и показал пальцем в сторону ванной. – Всё произошло вдруг, в один миг. Я тогда подошел к остановке возле вокзала, где накануне нашли убитого монаха, а он уже был там, стоял в каменной коробке, как в кадре. – Изотов переступил порог, прошелся по номеру до входной двери, там развернулся. – И когда я к нему присоединился, случилось чудо. Оно остается им и по сей день. Поскольку я не знаю, как объяснить накрывшее меня тогда и длящееся до сих пор состояние. Прежде фильмичность окружающего была продолжением просмотра, инерцией впечатления, теперь же – достаточно одного его присутствия.

Шипение душа в ванной оборвалось. Прислушавшись, Изотов приложил палец к губам и быстрым шепотом стал читать по тетради:

– Вот откуда ощущение, что всё происходящее тотчас схватывается драматургией, смыслом. Отсюда же и мурашки, бегущие по спине, когда мы вдвоем отражаемся в зеркале или витрине, где зритель – он же герой, он же зритель. И всё это время, за ним (а когда я рядом – за нами) повсюду и неотступно следует влюбленная в него (а когда я рядом – в нас) камера, и это нельзя сравнить ни с чем. И только одно желание: быть рядом, быть рядом, быть рядом. С некоторых пор это и означает быть.

Изотов захлопнул тетрадь и сел на пол, спиной к дивану, приготовившись встретить следователя. Но пока тот одевался, еще успел торопливо подумать вот о чем. Эта полная неосведом-

ленность и странная (издержки профессии?) глухота следователя к кино (сунувшись в прошлый приезд с ним поговорить, он столкнулся с чем-то настолько непроходимо дремучим, что решил больше и не пытаться), так сильно его огорчившие, – разве ему не на руку? Ведь это его счастье, что он не двинулся тогда в своих рассуждениях дальше. Странно: как он не понимал простой вещи – не то что со-участника, но даже со-зерцателя в таком деле быть не может. Это только для одного.

Следовательно, никаких больше разговоров на эти темы.

Да и вообще: разговорам о кино нечего делать в кино.

И если уж искать собеседника, то где-то на стороне.

Всё.

– А в картишки тут у вас никто по вечерам не играет? – спросил следователь, появляясь в комнате.

## XI

Через день после похорон была суббота, где мы обсуждали некоторые подробности случившегося. К этому моменту уже было известно, что Стряхнин был убит выстрелом в грудь из пистолета ТТ, всегда лежавшего в ящике письменного стола в кабинете. Пистолет исчез. Больше ничего в доме не пропало. Что это значило – пришли воровать и успели взять только пистолет? Или же пришли убивать хозяина... но как? Без оружия? В расчете на этот ТТ? Были и еще странности. Сестра Чернецкого Анна рассказала, что той же ночью в саду кто-то собрал целую охапку цветов – когда успел, неизвестно, но, по словам Алисы, еще вечером они были, покойник их поливал, а утром уже нет.

– Может быть, какое-нибудь эхо девяностых? – вернулся к убийству Чернецкий.

– Точно, – подтвердил Кучер, подавшись вперед. – Могли остаться старые счеты. Сейчас как раз многие из тюрем выходили, срокá закончились.

– А что если это кто-то из цвиркуновских анонимных орлов? – предположил Жарков. – Решили сделать учителю приятное. Мы вот их за каких-то унылых недотеп в вышиванках держим, а если это всё маскировка, и на самом деле у нас под боком хорошо законспирированная организация безжалостных ассасинов? Так и вижу, как в час икс они берутся за ножи и идут нас резать.

– Спешу тебя успокоить, – сказал Чернецкий, – их, слава Богу, пока хватает только на зеленку. И, ссылаясь на меня, он рассказал вкратце историю с кукольником.

– И вы молчали?! – воскликнул Жарков. – Хотели скрыть от нас такой бриллиант, первое побиение пророка Кукольника?! Да вы с ума сошли!

– Вообще-то его побили за другое, – заметила сестра Чернецкого, Анна.

– Какая разница! Через месяц о причинах никто и не вспомнит, а факт останется фактом.

За весь вечер только Вяткин не произнес ни слова. Насколько мне было известно, Зять по-прежнему не оставлял его в покое и, как я узнал позже, несчастный Вяткин даже пожаловался на него его однорукой любовнице, Лере. С таким же успехом он мог пожаловаться на Зятя её сыну, Холодку. Предполагаю также, что до него дошли слухи о последних безобразиях Кирилла. Пытаясь расшевелить старика, я в присутствии Кучера предложил ему съездить втроем на рыбалку, но он отказался.

Весь день сильно парило, а к началу девятого вдруг быстро стемнело. Мы все сидели в саду, когда Анна позвала нас на второй этаж.

– На это стоит посмотреть, – сказала она.

Мы поднялись в кабинет, а она пошла накрывать стол.

То была легендарная, редкая по размаху и красоте августовская гроза 201... года. Те, кто её видели, вряд ли когда забудут. Вся она, с начала до конца, прошла по ту сторону лимана, так до нас и не добравшись. Молнии вспыхивали одна за другою, и в хаотическом нагромождении туч над гладким зеркалом воды ежесекундно то там, то сям разворачивались грандиозные ландшафты,

открывались многоярусные сказочные пещеры и гроты, разбегались во все стороны извилистые ходы и галереи... Это было похоже на продольный срез некой гигантской горы со всеми её внутренними таинственными пустотами, то и дело озаряемыми блуждающими вспышками. Зрелище завораживало еще тем, что до нас не долетало ни звука, и, выстроившись вдоль отворенных настежь окон, мы наблюдали его в полной тишине под сухое цоканье маятника напольных часов в углу кабинета.

Тишину нарушил неугомонный, подвыпивший Жарков.

– А что если я сейчас, чтобы подстегнуть наслаждение и сделать его еще острее, по совету опытных сладострастников, заведу какой-нибудь самый прозаический бытовой разговор? – предложил он. – Например, о том как я вчера выбирал на базаре веник? Веники давно никто не покупал? Цены видели? Какой веник? Обыкновенный, для подметания пола...

– Ради Бога, – взмолился Чернецкий, – не надо! Помолчи.

Не знаю, о чем думали мои приятели, глядя на развернувшееся перед ними действие, мне же чудилось, что там, в самой глубине беспрестанных всплеск низким тяжелым гулом разом за разом прокатывается неслышимое нам здесь, грозное: «Мне отпущение, и Аз воздам».

Видимо, задавшись целью испортить вечер, Жарков его таки испортил. Когда, насмотревшись на чудеса за лиманом, мы спустились в сад, он, уже сидевший там, капризным голосом произнес:

– А скажет кто-нибудь: ждать нам дуэли Витюши с Кириллом или как?

Для меня это прозвучало как гром среди ясного неба. Я почему-то считал, что кроме нас с Чернецким никто о Витюшиных намерениях не знал. Хотя логичным было бы допустить, что не нашедший у меня поддержки Витюша мог обратиться к кому-то еще, к тому же Жаркову. Но это мне пришло в голову потом. А в ту минуту я и понять не успел, что произошло, как подскочивший Чернецкий крепко схватил за руку Вяткина, который быстро подойдя к Жаркову, уже занес над его головой трость. Остановленный Чернецким, он громко и горячо выговорил:

– Это всё твоя работа! Потому что ты подлец и провокатор!

Жарков на это лишь усмехнулся. Стоявший рядом и ничего, как и я, не понимавший Кучер растерянно вертел головой, переводя взгляд с одного на другого. Вяткин опустил трость, одернул задрывшийся рукав сорочки, и, сколько его не уговаривали, отмахнувшись, ушел. Переглянувшись с растерянным Чернецким, я вышел за Вяткиным, почти догнал его, но он, увидев меня, опять же только отмахнулся и пошел дальше. Я не стал возвращаться к Чернецкому и отправился домой, по дороге гадая: что бы это значило? Впервые постоянно тлевший и, казалось бы, уже вот-вот готовый окончательно погаснуть конфликт Жаркова и Вяткина вырвался наружу (я, например, ничего подобного не видел). Догадаться, что так разозлило Вяткина, было нетрудно. Он всегда близко к сердцу принимал всё, что происходило с его крестницей, а теперь, вероятно, опасаясь, что в связи с Витюшиным демаршем о ней снова заговорит весь город. Но что значили его странные слова: «это твоя работа»? Станным было также то, что о намерении Витюши драться знали уже все.

Дома меня ждало интересное открытие.

## XII

Готовясь пить чай в летней кухне, я вновь погрузился в раздумья о ссоре Вяткина с Жарковым. От них меня отвлек шорох за открытым окном. Уж не пробирается ли ко мне опять кукольник, подумал я и, выключив засвистевший чайник, вышел к небольшому пруду за кустами крыжовника. Там возле мусорного ведра, опрокинутого, должно быть, котами или не однажды замеченной лисой, меня встретила семья ежей. Я поставил ведро на место, вернул в него мусор, и тут мой взгляд упал на освещенный светом из окна прудик: в нем и вокруг него лежали оранжевые лепестки, вероятно из того еще букета, который пристраивал здесь кукольник, поскольку

таких цветов, да и вообще никаких, кроме самих по себе растущих лилий, тюльпанов, нарциссов и фиалок, на моем участке не было. И вот только тогда что-то у меня в голове стало связываться.

Я позвонил Чернецкому и, напомнив о похищенных из сада Стряхнина цветах, о которых нам рассказывала Анна, спросил, не знает ли он, что это были за цветы? Он не знал и попросил подождать. Через четверть часа перезвонил и сказал: оранжевые георгины. Они были высажены равнобедренным треугольником, и кто-то той ночью оставил его без одного угла. Следующий мой звонок был к кукольнику, у которого я спросил, где он взял цветы, с которыми пришел ко мне. На вопрос, зачем мне это, я прямо высказал подозрение, что цветы он нарвал в саду Стряхниных в ночь убийства, когда прятался там от погони, и что об этом, а также обо всём, что он тогда видел и слышал, обязательно надо сообщить следователю, и предложил сделать это сейчас же. Кукольник стал меня отговаривать, уверяя, что все это мои фантазии и всё было совсем не так. На мой вопрос: «а как?» он лишь повторил: «не так», и изъявил готовность прийти ко мне домой. Я же настаивал встретиться у гостиницы и сказал, что одет и уже выхожу. С явным неудовольствием он согласился и встретил меня через полчаса на подходе к гостинице у центрального перекрестка. Здесь он опять принялся горячо меня отговаривать, и идти в гостиницу наотрез отказался. Я настаивал, и он даже топнул ногой от досады.

– Вы сейчас делаете огромную ошибку! Ничего толком не зная... Ну, вот откуда вы взяли, что я попал в сад этого Кряхтилова, ну откуда?

– Стряхнина, вы хотели сказать? Я вам уже объяснял: слишком много совпадений. Совпадает время. Дом Стряхниных находится недалеко от места, где на вас напали. Шум в доме, который вы слышали. И главное – уж извините – цветы. Те же цветы.

– Опять цветы. Какие цветы?

– Те же.

– Какие те же? Вы же совсем не разбираетесь в цветах. А знаете, сколько я их на своем веку перевидал! Какими охапками меня заваливали! Бывало, зимой, в лютой мороз спишь с открытыми окнами, потому что боишься задохнуться...

– Причем здесь это?

– При том, что вы не знаете, о чем говорите. «Те же». Вы их видели? Как они называются?

– Георгины. Оранжевые георгины.

– А я принес астры! Белые!

– Вы лжете! И мы можем сейчас пойти ко мне и посмотреть, лепестки каких цветов плавают в моем пруду после того, как вы там возились. Идемте?

– Ну хорошо, черт с вами! – воскликнул он. – Говорю вам, как всё было, и закрываю на этом тему. Цветы, с которыми я к вам пришел, мне подарила женщина. Так вам понятно? И я уверен, что её букет с вашей историей не связан. Просто совпадение. Но! У этой женщины очень ревнивый муж, к тому же большой человек, сердечник. Если он узнает, это его убьет. Так что имя её я оставлю в тайне и ни при каких условиях не назову. Сами, если хотите, разыскивайте и берите грех на душу. Всё. Ни слова больше.

– Вы сейчас опять говорите неправду, – возразил я. – В тот вечер вы сказали, что у вас завтра встреча и вы собираетесь с этими цветами к кому-то идти. Я это хорошо помню. Какой смысл вилить?

– Вот как раз тогда я говорил неправду. А на самом деле всё было именно так. – Он несколько секунд не сводил с меня взгляда и, не дождавшись участия, закатил глаза и со стоном протянул:

– Ну что вы душу из меня тянете? Ладно, каюсь. Да, я собирался с тем же букетом идти к другой женщине. И пошел, да! Ну, такой вот я человек. Подарок одной передарил другой. Подлец? Может быть. Но не вор. А вы, порядочный человек, понимаете, что вы со мной делаете? В какое чудовищное положение ставите?! Что вы еще хотите знать?

– А с чего вдруг эта ваша таинственная женщина подарила вам цветы? Обычно бывает наоборот. Или вы при встрече обмениваетесь букетами?

– Захотела подарить и подарила. Что за вопросы вы задаете? Я актер. Нам принято преподносить цветы. Я же только что об этом говорил.

– Всё равно странно. Я понимаю: после спектакля...

– Для нас каждая встреча уже маленький спектакль. Хороший актер может устроить его и на пустом месте.

– Это я уже понял. Значит, она вам их дарит на каждом свидании?

– Не знаю, время покажет. Это было первое. Можно сказать, ознакомительное. Это что, допрос? Да, она подарила мне цветы, мы с ней погуляли, я её проводил, сорвал, как говорится, несколько поцелуев на прощание, а дальше вы знаете.

– Вас ждали с зеленкой?

– Вот именно.

– Угу. То есть вы хотите сказать, что в драке потеряли шляпу, вам оторвали рукав рубашки, облили вас зеленкой, но и тогда вы не расстались с цветами?

Тут кукольник аж задохнулся. Хотел что-то возразить, запнулся и, наконец, дрогнувшим голосом выговорил:

– Они были мне очень дороги.

– Нет, – твердо возразил я. – Они были сорваны вами в саду у Стряхнина уже после всего этого. Идемте к следователю.

– Никуда я не пойду! – снова взвился он. – Вы сидели в кухне и не видели, какой это был жалкий изломанный пучок – всё, что осталось от её роскошного букета...

– Пять минут назад вы сказали, что собирались их дарить еще кому-то. Дарить «жалкий, изломанный пучок»? Вы совсем заврались.

– Кому-то и такое внимание может быть приятно. Жизнь не так проста, как вам кажется. Шопенгауэр...

– Не морочьте мне голову. Вы выстрел слышали?

– Выстрел?

– Я помню, вы говорили, что когда прятались в том саду, слышали, как что-то громко хлопнуло.

– Ну, может, дверь стукнула. Не помню.

– Дверь? Ладно, всё. Дальше уже не мое дело. Хотя я помню, что вы говорили не про дверь. Одного, честно говоря, не пойму – побитый, облитый зеленкой – как вам еще в голову пришло собирать какие-то цветы?

– Смешно, да? – зло спросил кукольник.

– Скорее удивительно.

– Стойте!

В нетерпеливом возбуждении он быстро отошел, почти отбежал к единственному на весь городок светофору, мигавшему желтым светом, и там, в отдалении, закурил. Мне понятно было его нежелание идти, да и, судя по тому, что он слышал и краем глаза видел, его свидетельства вряд ли помогли бы делу, однако я считал необходимым рассказать всё следователю.

Наспех покурив, кукольник так же, почти бегом, вернулся.

– То есть вы таки решили меня уничтожить, да? Вы хотите, чтобы завтра повсюду пестрели заголовки: «Известный актер обокрал покойника! Влад Свистунов – мародер! Влад Свистунов – вор!»? – восклицал он, дергая вскинутыми руками, словно рассовывая по воздуху заголовки. – Вы этого добиваетесь? Ну да. Вам ведь лишь бы втоптать в грязь. Произошло трагическое совпадение, а вы уже ищите, чем бы поживиться!

– Поживиться?! Что за чушь? Вы сами расскажете то, что сочтёте нужным. Идёмте.

Я развернулся и направился к гостинице. Двинувшись за мной, кукольник продолжил нести ту же высокопарную околесицу.

– Давайте! Топчите! – не унимался он. – А что? Актер ведь не человек! Разве у него может быть самолюбие, достоинство, честь? У лицедея?! У паяца?! Откуда! Это издревле у вас повелось!

Давайте, унижайте нас и дальше, гоните смейтесь, плюйте нам в души! Хотя о чем я – какие души у актеров? Они давно уже загублены-перезагублены. Потому вы и хороните нас за вашими церковными оградами, как несчастных самоубийц! А мы же и есть самоубийцы, сжигающие себя на медленном огне вашего скучающего равнодушия, в бессмысленной попытке растопить вечную мерзлоту ваших сердец в этой глубокой вселенской ночи...

Я бы не удивился, если б это оказалось монологом из какой-нибудь пьесы. Увы, я не театрал. Только у самого входа, видимо выбившись из сил, кукольник смолк. Когда же я, рванув на себя дверь, посторонился, чтобы дать ему войти первым, его за моей спиной не оказалось. Он исчез.

### XIII

...Следователь задремал еще до того, как солнце зашло и погасла оливковая ткань занавески. В сон он входил медленно, будто нехотя, через воспоминания, всё больше мешавшиеся с фантазиями. Маршрут – он шел к Марусе, в Оперный – был ему хорошо знаком. Кроме возникшего в самом конце небольшого изменения: требовалось пройти почему-то через душевую, в которой он ни разу не был, а потому её заменила душевая стадиона «Спартак». После некоторых скитаний и невнятной, не поддающейся определению сумятицы в её темных резиновых недрах, в которых... Опомнился он только в танцклассе, в большой молчаливой толпе молодых людей – в шелковых шальварах, одинаково загорелые, под одну гребенку постриженные, похожие, как братья, они стояли на слегка наклонном полу перед зеркальной стеной. Должно быть, все они, как и он, затерявшийся где-то между ними, только что оказались в новых телах, и теперь каждый искал свое новое отражение. То редкое секундное замешательство, когда, оказавшись перед зеркалом в группе людей, не сразу себя находишь, здесь длилось и длилось, превращаясь в нешуточную проблему, в изматывающий морок, сопровождавшийся исподволь растущим многоголосым высокочастотным стрекотанием. Судя по тому, что он видел всех, но не обнаруживал среди них себя, его новое зрение было еще неотделимо от общего зрения стаи. А чтобы обрести свой взгляд, надо было отыскать свое отражение. Замкнутый круг. Он мог бы резко выбросить руку или подпрыгнуть, но было неловко выказывать беспокойство на виду у всех, а кроме того он боялся, что тот же фокус одновременно с ним проделают и все остальные, и что тогда? В подтверждение этому опасению где-то слева раздался громкий стук в пол, и все, как один, и он в их числе, повернули головы. И вот в момент поворота, когда боковым зрением он наконец-то выхватил в зеркале то самое, неповторимое, только с ним связанное... – в этот момент погас свет.

Понадобилось некоторое время, чтобы сообразить, что досадовать уже не на что, поскольку погасший в танцклассе свет означал пробуждение: он лежал в темном номере, уткнувшись лицом в спинку дивана. Где-то в комнате кричал со всей дури сверчок; в дверь тихо стучали. Перевернувшись на спину, он наощупь включил лампу в изголовье и сказал:

– Войдите.

Я нажал мягко скрипнувшую ручку, толкнул дверь и вошел в номер. Следователь полулежал на кровати, подобрав ноги, опершись на локоть, и подслеповато глядел на меня.

– Я вас разбудил?

– Есть такое. Вы по делу или как?

Странный вопрос.

– А, ну да, – спохватился хозяин, поднимаясь. – Тогда о деле чуть позже. Приду в себя. Присаживайтесь.

Я сел в кресло возле дивана, а следователь откинул занавеску перед раскрытой дверью на балкон, вышел, постоял там некоторое время и прошел в ванную. Вернувшись после умывания, достал из холодильника две бутылки пива, одну предложил мне. Я отказался. Он отпил с треть бутылки, закурил, пригладил влажные волосы и сказал:

– Я здесь лето проводил у бабки года два или три подряд. Дом возле самой крепости. Катера еще через лиман ходили. Кое-кого до сих пор помню.

Усаживаясь на диван напротив меня, он задел ногой лежавшую на полу книгу, поднял её и показал аляповатую обложку. Это была «Сороконожка» Чоботова.

– Читали? – спросил он и положил её рядом.

– И не думал.

– Я вот тоже пока не осилил. Трудное чтение. Каждую секунду спотыкаешься об имя героини, а это ужасно утомляет. Почему бы не называть её покороче, ну той же Сороконожкой, например? Хотя пару веселых моментов мне попало. Например, когда она получает приглашение на какой-то праздник, и в нем её полное имя, которое еще и начинается со слов «дорогая наша». Дорогая наша Бессердечная Глухая Стерва Никогда Не Знаящая...», ну и так далее. Смешно. Нет?

Я хотел было сказать, что ничего смешного в этом не вижу и содержанием романа не интересовался вовсе не из-за его неудобочитаемости, но не стал, сразу перешел к делу. Едва я начал, как он со смехом меня оборвал:

– Вот еще вспомнил смешной момент. Когда лучшая подруга героини, узнав, что беременна, обещает назвать дочь её именем. И еще когда к ней обращаются по имени-отчеству и перечисляют все сорок четыре имени, тра-та-та-та-та, а в конце прибавляют «Александровна» – тоже смешно. Хм. Извините.

Он сделал серьезное лицо, но только я продолжил, как он, прыснув и одновременно легонько хлопнув меня по колену, произнес:

– Триждыпроклятая Триждытварь Александровна – по-моему это прекрасно, нет? – Он прижал к сердцу ладонь. – Всё-всё-всё. Слушаю.

Я продолжил рассказ о цветах и кукольнике. Следовательно, кивая, докурил, погасил сигарету и опять лег. Когда я закончил, он спросил:

– Актер кукольного театра из Одессы? А что он здесь делает?

– Отдыхает. Наверное.

– Как зовут?

– Свистунов. Игорь. Или Влад.

– Двойное имя?

– Нет. Так-то он Игорь. Для женщин – Влад.

– Ишь ты.

– Да, он такой.

– Какой?

– Пользуется большим успехом.

– Хорошо, буду знать. Так вы его привели, что ли? Пусть заходит.

– Он в последний момент передумал. Но вам обязательно надо с ним поговорить.

– Как он выглядит? Я тут уже столько народу перевидал, может, и он попался.

Я начал было описывать, но, запнувшись, полез за телефоном.

– У меня есть фото. Это, правда, не совсем он...

– Не совсем – это как? Кто-то очень похожий? Или опять двойник?

Я достал телефон, нашел в нем фотографии кукольного кукольника и протянул следователю.

– Эта кукла – его автопортрет. То есть его работа.

Следователь перевел взгляд с фотографии на меня и снова на фотографию.

– Ну, по такому чубу я бы его точно запомнил. Козак?

– Не думаю.

– Если понадобится для ориентировки, я к вам обращусь, – пошутил он, возвращая телефон, и внезапно спросил: – А, скажите, Кирилл Стряхнин не интересовался у вас по поводу оружия? – Не дожидаясь ответа, добавил: – Что за дурацкая манера называть детей своим именем? Гадай каждый раз, когда слышишь. Младший, конечно. Может, спрашивал, где достать?



Вопрос застал меня врасплох. По какому-то странному заблуждению я считал, что о поисках Кириллом оружия знали только мы с Никой да Чернецкий, которому я подробно отчитался о встрече с ней. Хотя естественно было допустить, что если Кирилл действительно искал оружие, то об этом могли знать многие.

– Нет, – ответил я, – об оружии он со мной не говорил.

– Ну, нет так нет. А вообще занятая ситуация: у папаши дома целый арсенал, чего только нет, а сын бегаёт ищет ствол.

– А что он сам говорит?

– Он сам говорит, что страшновато у нас здесь, после Москвы. Опасно по вечерам ходить. Ну, с этим не поспоришь. Еще говорит, что не очень-то и искал. Вот я и спрашиваю.

– Вы его подозреваете?

– Да нет пока. С чего бы? Просто, как часто бывает, некоторые факты начинают перекликаться друг с другом. Сразу не всегда поймешь: они действительно связаны между собой или только перекликаются. Вот как здесь: ищет человек оружие, а тут его отца убивают из ТТ, который постоянно лежал у него в ящике стола, и этот ТТ исчезает.

Я к его примеру мысленно прибавил историю с Витюшиной дуэлью.

– Кстати, вы были правы, – сказал следователь. – Той ночью действительно видели приехавшего со Страхниным парня, Козлика. Бегал за вином. Что, впрочем, не исключает того, что и Страхнин мог быть здесь.

Встретив на следующий день Чернецкого, я сказал, что наш следователь не совсем здоровый душевно человек, если ему понравилась «Сороконожка», и, после некоторых колебаний, поведал о том, что происходило у меня с кукольником прошлым вечером. И, как не было мне неловко, попросил никого об этом не рассказывать, в особенности Жаркову.

#### XIV

После короткого перерыва телефон вновь загудел и пополз по тумбочке. Номер был тот же. Следователь накрыл телефон ладонью; подумав, поднес к уху.

– Пора бы встретиться.

– Я сейчас не в Одессе.

– Я тоже. Черный джип у вас под окном. Выходите.

– Я сказал, что занят.

«Да пошел ты...» – прошептал он про себя. И выключил телефон.

Когда через полчаса он вышел, никакого черного джипа перед гостиницей не было. На улице опять парило, было душно, как в прачечной. Он собирался идти к Константину Чернецкому, и когда подходил к его дому, увидел джип за спиной, в конце улицы. Сестра Чернецкого сказала, что брат проводит экскурсию по крепости. Следователь направился туда же, и через несколько улиц опять увидел позади себя джип.

Он остановился. «Что за кино этот козел тут устраивает...» Громко прочистив горло, следователь решительным шагом направился к машине, задняя дверь джипа раскрылась ему навстречу, и он с той же решительностью в него нырнул. Его обдало искусственной прохладой и негромкой музыкой, которую он узнал с первой же ноты, но не успел отчитаться перед собой названием группы, потому как сразу же, рывком закрыв за собой дверь, бросился в бой.

– Слушай, ты, Чичиков, блядь!.. – начал следователь, угрожающе резко подавшись вперед, и тут же получил удар в лицо. Закрыв ладонью ушибленный нос, он запрокинул голову и, подкидываясь, торопливо полез в задний карман за платком.

– Не надо так разговаривать, – услышал он. – Давайте закончим и разойдемся.

Глядя в потолок, следователь сунул вытянутый платок в прикрывающую нос мокрую от крови ладонь, облизнул губы и сглотнул соленую слюну. Он и сам не знал, что это на него нашло, какая

муха укусила. Было в этом мужике что-то такое, что в третий уже раз заставляло его терять самообладание, и делать и говорить не то. Сначала идиотская ставка, потом жалкий лепет по телефону, и вот теперь этот глупый наезд. Сквозь выступившие слезы он видел, как хозяин джипа, сотрясаемый тиком, разворачивает сложенный лист бумаги и укладывает на сидение возле него. Не отнимая платка, следователь приложил к мокрой ноздре большой палец и выставил его наружу.

– Так подойдет?

– Думаю, да. Какая разница.

Смоченной кровью подушечкой он оставил отпечаток под каким-то текстом, потом, вытерев палец о платок, взял предложенную ручку и расписался. Возвращая ручку, спросил:

– Теперь всё?

– Теперь всё, – вполне добродушно подтвердил гуттаперчевый. – Может ознакомитесь?

– Я вам верю.

– Смешно. Могу зачитать.

– Не надо.

– Как хотите.

– Зачем вам это?

Гуттаперчевый ловко и аккуратно сложил лист вчетверо и отдал водителю. Сев поудобнее, ответил:

– Сам еще плохо представляю. Пришла как-то мысль в голову, и показалось, что набрел на что-то интересное. Оно у меня сразу связалось с современными технологиями. Кто знает, куда их завтра вынесет? Уверен только, что доберутся и до этого. Может быть, это будущая валюта? Или что-то еще, чего мы сейчас не в состоянии представить? Толкового объяснения пока нет. Одни предчувствия.

«Явно что-то с головой, – подумал следователь, промаргивая слезы. – Это хорошо».

– И много их у вас? – спросил он.

– Пока нет. Только начал. Да и дело еще такое... – собеседник покачал в воздухе раскрытой, выставленной ладонью. – Товар-то странный. Мягко говоря. А с объяснениями у меня не очень. Раздражаюсь быстро, срываюсь иногда. Да и какие тут могут быть объяснения? А возиться, как с вами – жизни не хватит. Палец еще этот пугает, некоторых аж до усрачки. Но при всем при этом даже интересно. Сам не ожидал. Какой-то азарт появился, к людям потянуло... Причем ко всяким. Смотришь и уже гадаешь: а этот? а вот этот? Забавные бывают встречи. – Он усмехнулся. – И тут всякие вопросы интересные возникают по ходу. Для меня, во всяком случае. Например – вопрос цены. Чтобы знать от чего плясать. Сами по себе, изначально, они все равноценны или всё-таки нет? Об уме можно сказать – развитый, ограниченный, большой, небольшой, средний... изворотливый. Пять минут с человеком поговоришь – и ясно. А здесь что? Вот я за вами гонялся. Так уж получилось, что уезжать надо, а все мы под Богом ходим, да и дела здесь рядом были. Но если без этого – а стоило ли? Такое ли уж ценное приобретение? Я к тому, что могу без всякой мороки купить с десяток ничем не хуже да еще и почище вашей. Тоже вопрос, кстати: грязная, чистая – имеет значение? Один свою грязенькую ни за какие миллионы не отдаст, а другой наичистейшую уступит за копейки, но какова цена настоящая? И в каком-то смысле будущая. Вся надежда, что рано или поздно найдут какой-то способ определять. По тому же отпечатку, например, по составу крови. А пока так, только на ощупь. – Он опять усмехнулся. – Между прочим, неплохой материал для психологов. Кое-какая статистика уже наметилась. Вот, допустим, с женщинами дело иметь проще: да-да, нет-нет. А мужики большинство на измене, к тому же сентиментальные. Или мне попадались такие. Один недавно просто достал вопросами. «А как с воспоминаниями? Воспоминания останутся? У меня очень хорошие воспоминания». Я говорю: «Не знаю. Мне они не нужны. Но ты запиши, на всякий случай, пока помнишь». А с глазами, говорит, как? Они же зеркало души. Что с ними будет? Я говорю: в покер играешь? Иди учись быстрее, на блефах состояние сделаешь. Что-то еще такое ныл, уже не помню. Я его спрашиваю: ты меня за кого принимаешь? Я это делаю на свой страх и риск, для меня твоя душа потемки, кот в мешке,

не больше, успокойся. Нашел Мефистофеля. Я понимаю, что такое хобби наводит на мысль, но... Вы вот сказали: Чичиков. Грубить только не надо. А так... Может быть и Чичиков. Ну а что? Современный вариант. Во всяком случае, где-то рядом или около, – в воздухе опять закачалась раскрытая пятерня. – Как-то так.

XV

По тому, с какой охотой гуттаперчевый рассказывал, следователь заключил, что он один из первых, кто это слышит. Собираясь выходить, он отнял платок, осмотрел, сложил кровью внутрь, и только взялся за дверную ручку, как из носу часто-часто закапало, и он, запрокинув голову, вновь приложил платок.

– А вас не смущает, что я таких бумаг сколько угодно могу наклепать? – спросил он.

– Пока можете. Только кому они сейчас нужны? Что-то особого ажиотажа я пока не вижу. А вот когда станут нужны и это приобретет определенный размах, сразу же появятся и регистрация, и базы данных, и уголовное ответственность и всё прочее. Вы же вот какую-то вещь, квартиру например, не можете продать в разные руки. Так и с этим будет. Всё будет, не беспокойтесь. А пока еще ничего этого нет – так и заготовливаться впрок самое время. Тем более здесь и сейчас всё этому благоприятствует – только давай.

Отвечая на вопрос не без некоторого удовольствия, собеседник постепенно опять вошел в раж и принялся рассказывать о том, что кровь, она же душа, не только источник какой-то пока еще неведомой энергии, но и самый большой носитель информации, и придет время, когда по её капле можно будет воссоздать всю жизнь до мельчайших подробностей, а уж узнать по отпечатку пальца, единственный он или нет, будет раз плюнуть.

«Больной. Больной на всю голову», – удовлетворенно думал следователь, слушая его равномерно-бодрую речь и чувствуя такую слабость, будто его не по носу стукнули, а хорошо полоснули ножом.

– Кровь знает ответы на все вопросы, – веско произнес рассказчик и наконец умолк.

Следователь глянул на него из-под прикрытых век: тот сидел, задумавшись, опустив лицо. Кожа у него была смуглая, с некоторой желтизной, местами как потертая или мелко побитая.

– Вас подвезти? – спросил он, поворачиваясь к следователю.

– А вы куда?

– В Херсон, – то ли в шутку, то ли всерьез ответил гуттаперчевый. – Нет? Тогда всё. Давайте прощаться.

Следователь нащупал ручку и вывалился из прохладного салона на жаркую мостовую.

Джип, мягко и глухо зарывчав, сорвался с места и исчез.

За время, проведенное в машине, следователь успел мысленно переместиться в Одессу и теперь растерянно глядел по сторонам. Оказавшись на незнакомой улице после столь странной процедуры, он себе... кого же он себе напоминал?... вот эти: растерянность, недоумение, верченье головой... и тоже: то ли прогнали, то ли вытолкали... кого?... выбросили! Точно: выбросили. Только вот кого, где и ког... Да! Ох, нет-нет-нет, не надо! Но было уже поздно: белая немецкая курица, громко хлопая крыльями, неуклюже плюхнулась на солнечную середину распахнутого настежь сарая. Твою-ж-мать! Мотнув головой, он застонал от досады. Курица, приземлившись, на секунду замерла, а затем стала отряхиваться и поочередно укладывать на место крылья. Дергаясь и озираясь вокруг, она словно спрашивала: что это было?

Это было немецкое порно. Лет двадцать назад он видел его у своего давно уже покойного дружка Чюни. Приключения молодых людей на ферме или что-то в этом роде. Фильмец из тех, которые Чюня крутил у себя, когда садились играть в карты, с расчетом отвлечь внимание игроков. Вспомнил даже, что в тот момент сдавал карты, и юноша напротив, глядя на экран, произнес: «Фашист мучает птицу». Сдав карты и бросив деньги в банк, он повернулся к телевизору в тот

момент, когда одетый по моде семидесятых (расклеванные джинсы, туфли на платформе) парень с гримасой изнеможения сорвал с чресл белую курицу и отшвырнул на середину сарая.

Следователь опять огляделся, пытаясь определить, где находится. На тротуаре в тени шелковицы стоял одинокий прохожий и смотрел на него. Это был завершивший экскурсию по крепости и античному городу Чернецкий. В молодом человеке посреди мостовой он узнал следователя, которого видел по местному телевидению во время дела о «монахе».

– Вы следователь? – спросил Чернецкий.

– Я-я, – ответил тот и оглядел, наконец, себя: не запачкался ли где кровью.

– Сестра звонила, сказала, что вы приходили.

Чернецкий назвал свою фамилию.

– Потом, – сказал следователь, отмахивая ладонью, – завтра. Центр – это куда?

Чернецкий показал. Ему было в ту же сторону и, пропустив молодого человека вперед, он двинулся за ним.

На пороге гостиницы, взявшись за ручку, следователь замер и простоял некоторое время, опустив голову. Что-то в джипе смутило его сразу, как только он в него влез, и теперь оно же саднило как упущенная возможность. Что-то тоже оттуда, откуда прилетела немецкая курица. Вспомнил: музыка, ну да. Одна из любимейших его песен тех лет. Ложилась на их с матерью тогдашнюю жизнь, как родная. «Папа наш был редкий скот. Где налили ему, там и дом. И – всё путё-ом! Да, мама?..» Отличный ведь был повод завести разговор, сказать: о, давненько не слышал, тоже обожаю этих черных ребят! Ну а что? Мало ли. Вдруг оказались бы родственными душами. Там, глядишь, слово за слово, может и поладили бы... жаль, профукал... Так. Стоп. Что за дурь лезет ему в голову? Держать себя в руках, ни о чём не жалеть, искушениям не поддаваться.

Он решительно дернул на себя дверь – но: чертова курица!.. – и скрылся в гостинице.

## XVI

Проводив взглядом скрывшегося в гостинице следователя, Чернецкий продолжил путь к дому Вяткина. Он не очень верил в возможность помирить его с Жарковым, тем более что не знал настоящих причин их столкновения, но и оставаться безучастным не мог. До этого он побывал у фотографа. Тот сам не понимал, что в его словах возмутило Вяткина, или же искусно делал вид, что не понимает.

Кстати, примирение, которого добивался Чернецкий, означало лишь то, что эти двое по-прежнему будут появляться на его субботах, на большее он и не рассчитывал. Однажды, когда я удивился тому, что оба они столько лет входят в самый ближний его круг, а встречаясь на улице, не желают замечать друг друга, он сказал:

– Они хорошие люди. А я делаю что могу.

Насколько я знал, Вяткин вне суббот интересовал Жаркова постольку-поскольку. Для Вяткина же фотографа за пределами дома Чернецкого как бы и вовсе не существовало. (Сразу скажу, был еще один человек, имени которого я никогда от него не слышал – младший Стряхнин.) В разговорах со мной Вяткин упомянул Жаркова лишь однажды, да и то когда речь зашла о нашем благотворителе Кучере.

– За то фотограф его и не любит, – сказал тогда Вяткин. – За то, что Кучеру хорошо. А хорошо ему потому, что он так повернут к жизни, к людям, да и вообще ко всему на свете, что ничто и никто об него не спотыкается. Поэтому всё у него так ладно выходит, всё получается. Ну, а фотографу как раз весь мир что кость в горле.

Жарков родился и провел здесь молодость. Еще до гибели брата Чернецкого, с которым он дружил с детства, уехал, много ездил, последнее время жил попеременно здесь и в Одессе, где мы с ним познакомились. Был не один раз женат, и я шапочко знал одну из его жён, мулатку с Привоза. Трудно сказать, что стало тому причиной – обвальное, как сейчас говорят, развитие технологий,

когда каждый стал сам себе фотографом, или же его собственная исчерпанность, но от творчества он в последнее время совсем отошел. Может быть, в связи с этим злая нервозность в нем (учитывая то, что добряком он никогда не был) год от году только росла. Он еще и немного играл, интересничал, и получалось это у него почти естественно. В последнее время на жизнь Жарков зарабатывал в основном съемками свадебных фильмов, для которых сам же писал сценарии.

Об истории их с Вяткиным ссоры.

Лет десять назад Ника, как и многие девочки в её возрасте, решила идти в модели, и через Вяткина попросила Жаркова, появившегося в городке после долгого перерыва, её поснимать. И вот после сеанса у него она вернулась домой пьяной да еще с ссадиной на щеке. Увидевшая это тетка позвала Вяткина, а тот отправился со скандалом к Жаркову. (Запах алкоголя и ссадину он истолковал известно как, а Ника на его вопросы не отвечала.) Фотограф же ничего объяснять разъяренному Вяткину не стал и послал его подальше. История быстро разлетелась по городку. Случилось это в первые недели после отъезда матери Ники и, возможно, еще поэтому вызвало такой шум – как если бы Жарков воспользовался моментом.

Надо сказать, девиц Жарков фотографировал много и охотно, попутно крутил с ними романы, как же без этого, но репутацией своей очень дорожил. Опытный ловелас, он обладал к тому же замечательной, но для многих, увы, недостижимой способностью выходить из любовных отношений безболезненно, ценой разве что некоторых финансовых потерь. Случай с Никой, конечно, совсем из другой оперы, тут и отношений-то никаких не было, но я рассказываю это для того, чтобы было понятно, почему ни я, ни Чернецкий не поверили в версию Вяткина, и к положению, в которое попал Жарков, отнеслись сочувственно, поскольку обвинить в таком легко, а вот обвиненному отпиться потом почти невозможно.

В откровенном разговоре с Чернецким Жарков поклялся, что ничего между ним и Никой не было. По его словам, Ника у него дома, пока он выходил по какой-то надобности, основательно, очевидно, для храбрости, приложила к бутылке рома и полностью утратила вменяемость. Жарков сначала попытался уложить её спать, но не сумев уговорить, сунул головой под кран. Она вырвалась и убежала. Насчет небольшого синяка с царапиной на её лице он сказать ничего не мог: возможно, это сделал он, когда пытался её привести в чувство, а возможно и нет, потому как где она бродила и успела побывать в те несколько часов, после того как от него ушла, никто, включая, кажется, её саму, не знал. Ситуацию усугублял еще и вздорный характер всегда готового на конфликт Жаркова, который раз объяснив всё Чернецкому, не собирался больше ни перед кем оправдываться. А добрый по натуре Вяткин, хотя на словах доверял мнению Чернецкого, но совсем отбросить подозрения так и не смог.

Позже Жарков через Чернецкого и по инициативе последнего передал Вяткину с надеждой на примирение прекрасный портрет юной Ники, сделанный в тот злосчастный день еще до того, как она успела хлебнуть из бутылки. Вяткин портрет принял (тот до сих пор висел у него в комнате на стене, и именно его видел заходивший к Вяткину за книгами Витюша), но, увы, примирения так и не последовало. Мало того, Вяткин, как оказалось, вбил себе в голову, что фотограф, воспользовавшись состоянием Ники, наделал тогда компрометирующих её снимков, и два года спустя Жарков поймал у себя в доме её брата, который признался, что его послал Вяткин выкрасть негативы с Никой. Об этом случае Жарков Вяткину нет-нет да и напоминал.

За эти годы некоторые перемены произошли с обоими – Вяткин приобрел, как уже было сказано, милую чудаковатость, Жарков, наоборот, стал еще жестче, неизменным лишь осталось их отношение друг к другу. И в дополнение к сказанному: говорят – не знаю, насколько слух этот был верен, я его услышал от Чернецкого, а ему рассказала сестра, которой тоже кто-то рассказал – говорят, что в самый трудный для Ники момент во время истории с «Сороконожкой» Жарков пытался поддержать её и даже завести с ней отношения, но взаимности так и не дождался.

...В тот же день, ближе к вечеру, заглянул к Вяткину и я, и мы втроем славно посидели у него в саду. Здесь, в тесноте да не в обиде, росли лиственница, туя, самшит, лещина, хурма, боярышник и прочие кусты и деревца, названий которых я не знал. «Мои зеленые наслаждения», – любил

говаривать Вяткин. Мне с моим домом достался участок, запущенный настолько, что когда я, чтобы сократить путь, решил спуститься к лиману через нижнюю калитку, мне сквозь его заросли приходилось буквально продирается, и, глядя на аккуратный, радующий глаз садик Вяткина, я мечтал, как с окончательным переездом устройю и себе такой же.

Когда Чернецкий ушел, мы с Вяткиным долго сумерничали молча, пока он, вздохнув, не произнес:

– Знаешь, мне всегда казалось, что нет ничего лучше, чем путешествовать по свету. Переезжать с места на место и знакомиться с людьми. Но не заводить с ними отношений, а узнавать их только шапочно, с внешней, приятной стороны. Жаль, что так и не удалось.

## XVII

Большой проигрыш, как и большой выигрыш, нормальные люди отмечают большой пьянкой – таким было объяснение его жгучему желанию выпить. Очевидная мысль, что тем самым признаётся значительность случившегося, чему он пытался сопротивляться, не заставила себя долго ждать. Споткнувшись об нее повторно, еще и вспомнил, что в своей картежной жизни гульнул по настоящему, громко и широко, лишь однажды, после того как проиграл и в ту же ночь отыграл, да еще с лихвой, их с матерью квартиру. К счастью, к тому времени, когда эти досадные неувязки и параллели стали напоминать о себе, он уже достаточно набрал обороты, чтобы не ломать над ними голову, и просто послал их подальше. «Раз уж пошла жара, пусть будет полная Африка», – решил следователь. Вечер, кстати, был душным. Настроение – обреченно-приподнятым. Да, некоторый надрыв присутствовал, спорить не станем. Ну так, извините, не каждый же день и с душой прощаешься! В мозгу то и дело сам собой запускался ролик на её исход из тела: выпорхнувшая из джипа гуттаперчевая, она медленно уходила ввысь, печально обозревая уплывающий вниз и расходящийся вширь окоём. Впрочем, сентиментальное видео, едва начавшись, обрывалось грубым окриком и лаконичным напоминанием: какая еще, к чертям собачьим, высь?! Кровь из носа, отпечаток, бардачок – всё. Да и вообще: какой исход, какое тело, о чем он? И тем не менее тем не менее, как любил говорить его старшой.

– Душа поет! А чего бы ей, обретшей бессмертие денежного знака, который теперь год за годом будет крутиться в безостановочном хороводе торгов и операций, меняя смертных владельцев, – чего бы ей, спрашивается, не петь, люди добрые? – витийствовал следователь. – Выпьём!

Вызванный по такому случаю и пришедший после нескольких рюмок в полную негодность Изотов ничего не понимал, улыбался и сползал со стула. Следователь довел его до дома, отправил спать и продолжил. Уже за полночь, в баре напротив гостиницы он познакомился с матерью и дочкой, догуливавшими после предсвадебного девичника. Долговязая дочь-невеста курила одну за другой и время от времени, отвернувшись, что-то шептала в телефон, а пышечка мать оказалась отличной собеседницей и редкой рассказчицей, водку при этом пила как воду. Дальше, вооружившись шампанским, по бутылке каждый, пошли к нему в номер. Поднимались шумно, в коридоре познакомились с парой командировочных из соседнего номера, позвали к себе. Однако те так резко, с порога, взялись выяснять отношения между собой, едва не затеяв драку, что следователю пришлось их тут же выпроводить. В номере мамаша упала на диван и посадила следователя рядом. Ей всё еще было что ему рассказать.

– Золотая Маска, знаешь? Самый известный одесский стриптизер. Золотая Маска. Лица его никто не видел. Кроме матери. Настоящего имени тоже никто не знает. Полное инкогнито.

В слове «инкогнито» она поставила ударение на предпоследний слог. «Инкогнито Золотая Маска. Прелестно», – улыбнулся про себя следователь. Далее шел рассказ о том, как Золотая Маска был за большие деньги через племянника заказан на девичник дочери. Тут она немного отвлеклась на мать племянника, свою сестру, и прошлась по их трудному детству. После чего вернулась к Золотой Маске, вернее к тому, кто себя за него выдавал.



– Мышцы никакие, грудь впалая, танцы тоже никуда. Думали сначала, юмор такой, перед тем как Маска выйдет. Я ж его на видео видела. А так, как этот, только алкаши конченные возле магазинов танцуют, когда нажрут. В общем, потанцевал он, одежду собрал и ушел. Всё. Сидим ждем Маску. Музыка играет, одна, другая, никто не выходит. Иду узнать, в чем дело, а мне говорят – уехали. Как уехали? Так, на белой тойоте. Звоню, племяннику, телефон не отвечает. Бабы наши пьяные дурные: мол, да ладно. Я говорю, как это «ладно»? Нас кинули! А тут еще кто-то догадался, узнали по телефону, что Золотая Маска прямо сейчас выступает в Одессе. Возмущению не было предела. Там у нас такая Илонка – бой-баба – кричит: поехали! Как дали газу! С дороги опять звоню племяннику, не отвечает. Самое обидное, что ведь родственник, и денег сколько запросил, столько и дала: и по таксе, и чтобы очередь перебить, и ему самому за беспокойство, всё без второго слова... Эх, Лёшенька-Лёшенька, как же ты дальше будешь жить с таким отношением к людям?..

Горестно покачав головой и обозначив ситуацию с племянником как «полный беспредел», рассказчица жадно, прямо из бутылки отпила шампанского и продолжила. Свою руку в кольцах она постоянно держала в руке следователя, и всё это напоминало горячую, а местами и горячечную исповедь отходящего.

– ...А джипяра у Илонки такой, раздавит и не заметит. Догоняем на трассе их белую тойоту, подрезаем, выскакиваем, Илонка с пистолетом – ох, она боевая! Смотрим, в той тойоте четверо, то ли прикинулись молдаванами, то ли на самом деле. По-русски якобы не понимают. А я вспомнила, у Лешки молдаване как раз недавно работали. Ну, думаю, он их и приспособил сюда. Но точно как узнать – они не они? Танцор был в маске, остальных не видели. Как быть? Решили белее проверить. Это Илонка догадалась. На танцоре стринги были вот такой расцветки, – рассказчица постукала накладным ногтем по коленке в леопардовых лосинах. – Думаем, может еще переодеться не успел. Заставили всех выйти. Вежливо, по-хорошему просим снять штаны. А темно, степь же, попробуй там разгляди что-нибудь. А водитель всё время к багажнику тянет и что-то лопочет по-своему. Ну, думаем, может танцора в багажнике спрятали. Илонка ему, давай открывай, тот открывает, и вдруг достает оттуда калашников и как заорет благим матом, как давай из него палить вокруг – мать моя женщина! Те, со спущенными штанами, как зайцы, куда-то в темноту поскакали. Мы – руки в ноги, бегом к машине... А теперь самое интересное. – Она опять жадно припала пересохшими губами шампанскому и, оторвавшись, попросила: – Будь другом, достань мне сигарету. – И когда он поднялся, схватила его за руку. – Только, я тебя прошу, поймай того афериста, умоляю. Поймай и закрой падлу. Такой день испортит! А Лёшку я сама накажу, гадёныша.

В коридоре он вспомнил, по какому поводу у него веселье, и внутри него заиграл, запросился наружу возмущенный подросток, а на языке завертелось что-то такое, из картежной юности: «эй, алё, уважаемый, так не делают, а отыграться?..» Спускаясь по лестнице развязно-ленивой походкой тех бесшабашных лет, кивая в такт доносившейся снизу музыке, он вытянул из кармана телефон и отправил сообщение: «Как насчет реванша?»

На обратном пути, проходя мимо приоткрытой двери соседнего номера, следователь краем глаза выхватил странное: часть стула с фрагментом чьей-то согбенной спины и сверху сноп искр как бы от бесшумной сварки. Он шагнул назад и ладонью отвел дверь. Искры оказались брызгами, и, судя по тугой струе, с легким шипением бившей в лысину спавшего за столом на сложенных руках командировочного, он застал самое начало процесса. Зрелище при всей немислимой брутальности было завораживающим. Стоявший на стуле по другую сторону стола командировочный № 2 заметил следователя, только когда закончил и, отряхнувшись, стал застегиваться.

– Это ему за Конотоп, – загадочно произнес он, сходя со стула.

Звякнул телефон: пришел ответ на отправленное сообщение.

– Святое дело, – прочитал вслух следователь.

На радостях он подошел, обнял мстителя за плечи и повел к себе в номер.

– Не могу обещать твердо, но... – следователь приостановился, подбирая слова, – но, возможно, некий смутный образ ни на что не похожего только что пережитого во сне блаженства и



надежда на встречу с ним еще при этой жизни будут теперь время от времени сладко тревожить душу вашего товарища. Отдаленно похожий опыт был и у меня, как-нибудь расскажу...

– Выпить еще есть?

– О да! Разумеется. Много.

У него в номере его собеседница лежала на спине, запрокинув голову, попукивая губами. Он её растолкал, вручил сигареты, подсадил к ней на свое место приведенного соседа, соединил их руки – «есть контакт!» – и она продолжила рассказ.

Он же в другой комнате взялся за дочурку, а часом позже и за её появившегося вдруг не менее пьяного жениха, и к утру, проведив их, еле стоял на ногах. Сон, несмотря на усталость, взял его не сразу, еще долго тянулись вереницей странные видения. Одно из них рассказывало об открытой недавно внеземной цивилизации. Для её представителей планета их обитания была одновременно и плантацией, и печатным двором, на котором вызревала естественным путем их валюта, то есть они сами. В моменты кризисов ими устраивались войны или эпидемии для увеличения денежной массы за счет покидающих тела душ. Потом оказалось, что никакая это не внеземная цивилизация, а наша, земная, только в будущем, а все его видения, и это в том числе, были ожившими иллюстрациями того, что сообщал ему гуттаперчевый, с которым они сидели за стойкой в баре напротив гостиницы. То была длинная, вся заполненная монотонными беседами ночь. Хотя какая там ночь? Всего лишь предрассветные час-полтора, тянувшиеся так долго, что они успели посидеть за это время не только в баре, но и на берегу лимана, и еще не пойми где, и только в самые жаркие минуты их собеседований следователь открывал глаза и обнаруживал себя лежащим на кровати в номере. Ровный-ровный серый свет. Полное, до какой-то ненатуральности, безветрие за открытой балконной дверью. И в плотном влажном воздухе – ни звука. Так долго в его жизни еще никогда не рассветало.

## XVIII

В субботу у всех на уме было одно: придет ли Вяткин? Обычно он появлялся ровно в восемь. Не пришел. Чувствовавший себя по этой причине «именинником» Жарков выпил больше обычного и раздражал меня, как никогда. В том числе и из-за того, что по его вине отсутствовал Вяткин. Глядя на фотографа, я про себя злорадно отмечал, как часто в последнее время в его полных иронии и сарказма монологах стали сквозить надрыв и многозначительная горечь.

В тот день у Чернецкого гостили две молодые супружеские пары из приезжих. Вечер протекал спокойно, в негромких разговорах. У всех была уже некоторая усталость от затянувшегося лета.

– Работал тут недавно на свадьбе в селе, – рассказывал, посмеиваясь, Жарков, – и наблюдал один из новых свадебных обрядов: жених моет теще ноги водкой. Впечатлило. Да и все присутствующие были в восторге, а кто-то предложил водку из тазика разлить по рюмкам. Я пытался узнать у ведущего, что значит этот новый обычай и в чем его сакральный смысл, но к нему как раз со спины подошли два крепких пейзажника, шлепнули по лысине и куда-то увели, больше я его не видел. А вы что скажете? Какие будут версии?

Это мгновение стеклянная дверь хлопнула так, что едва не посыпались стекла, а гости все как один подскочили, и в кабинет ворвался возбужденный до крайности (я его таким не видел) Витюша. Глаза его, что называется, метали молнии.

– Я всё знаю, вы за мной следили! – закричал он с порога. – Вы подослали ко мне человека шпионить, я знаю! Точка! Вы все в этом участвовали, все были в сговоре! Я требую, требую, чтобы меня оставили в покое! Я свободный человек! Точка!

Дальше он кричал, что мы все чего-то боимся и поэтому изо всех сил пытаемся препятствовать тому, что неминуемо приближается и чего остановить никто не в силах, и таким образом сами становимся на сторону тьмы, её вольными или невольными союзниками, приближая её власть... Одним словом, все присутствующие неслись вслед за Витюшей по тем самым череду-

ющимся помещениям – жилая комната-буйная палата, – о которых я как-то говорил, описывая особенности Витюшиной манеры. Еще и я добавил хаоса, пытаясь его перебить, чтобы выяснить, когда и где он видел в последний раз кукольника.

– Витюша! – наконец возопил Чернецкий. – Успокойся! Никто за тобой следить не собирался!

И вдруг всех огорошил Жарков, в наступившей тишине внятно возразивший Чернецкому:

– А врать-то зачем?

Все, как один, усталились на фотографа. А собиравшийся сказать что-то еще Витюша смутился, развернулся и вышел.

– Объяснись, пожалуйста, – обратился к фотографу Чернецкий в наступившей тишине. – Где это ты слышал, что мы наняли Свистунова следить за Витюшей?

– Извините, просто вырвалось, – ответил Жарков. – Сам не знаю как.

Тут уже возмутился я:

– Всё ты знаешь! И врешь! И никогда у тебя ничего просто так не вырывается. Небось, в тот отвратительный вечер, когда Кирилл издевался над Никой, у тебя почему-то ничего не вырвалось – сидел ниже травы и молчал. А сейчас вдруг вырвалось. Не знаю, за что именно Вяткин назвал тебя провокатором, но, думаю, у него были на то все основания!

– Дурак, – ответил Жарков.

– А с Витюшей – это кукольник. Мстит за цветы, – объяснил я Чернецкому. – Морду бы ему набить за такое!

Вечер для меня был испорчен. За свой сумбурный выпад мне уже через минуту стало стыдно (хотя, забегая вперед, скажу, и вы в этом позже убедитесь: некоторое предчувствие меня не обмануло). Я еще выпил пару рюмок принесенного гостями коньяку в надежде успокоиться, но только больше себя взвинтил, и, чтобы не наговорить лишнего сверх уже сказанного, решил идти домой.

## XIX

Я уже вышел за калитку, когда меня окликнул Жарков. Уж не драться ли он собрался на пьяную голову, подумалось мне, но он, приблизившись, предложил:

– Может, продолжим у меня?

Мы стояли под единственным на весь переулок горящим фонарем; слышно было, как в стеклянный плафон и жестяной козырек бились насекомые. На мой отказ Жарков сказал:

– Ну, раз так, давай здесь рассказывай, чего ты на меня весь вечер глазами сверкал?

И тогда я высказал ему всё, о чем в тот вечер думал, а именно об его неумении взглянуть на себя со стороны и увидеть, насколько он иногда нелепо выглядит. Не лучше Кирилла Страхнина, который, по его словам, ходит в крепость пострадать в красивых декорациях. Закончил я словами:

– Так что не обольщайся – есть и у тебя слабое место. Ты, такой зоркий и наблюдательный с другими, сам себя не видишь.

– Спорить не буду, – ответил Жарков. – На всякого мудреца довольно простоты. Вот ты, например, думаешь, что никто не догадывается, с какой целью ты эти дни возле старика Вяткина трешься?

– И с какой же? – спросил я, искренне недоумевая.

Жарков подошел ближе. Опустив голову и как бы удерживаясь от улыбки, он взялся двумя пальцами за полу моей легкой куртки, которую я уже надевал вечерами.

– Наша Никочка, чтоб она была здорова, – ласково произнес фотограф и поднял на меня глаза, – в тот отвратительный, как ты его назвал, вечер спокойно могла подняться и уйти. Однако не ушла. Предпочла закатывать один за другим обмороки. Свидетельствую как очевидец. Странная она девица, не находишь? Но актриса из нее не очень – исполнение было так себе.

– Это-то здесь причем? И позволь мне тебе не поверить. Насчет обмороков.

Жарков усмехнулся.

– Вот смотри. – Он привычным движением снял с плеча и поставил на асфальт между ногами выдавший виды, весь в ржавых пятнах кофр; достал сигареты, зажигалку и закурил. – Каждый раз, когда я встречаю Алису Тягарь, мне помимо воли приходят на память стихи Лорки о неверной жене. «И лучшей в мире дорогой до первой утренней птицы меня этой ночью мчала атласная кобылица». Ничего не могу с собой поделать – вспоминаются и всё. Или оттуда же: «А бедра её метались как пойманные форели». Аппетитнейшая ведь баба, согласись. Кстати, надо бы Кучеру заказать. Форель, я имею в виду. А вот наша нежная Ника, раз уж мы о ней заговорили, у меня теперь на веки вечные связана с тарелочками. Вот так. И знаешь, форели меня волнуют больше. А тебя?

Я вспомнил, что слово «тарелочки» в связи с Никой уже слышал однажды от Чоботова во время их тайной встречи. Мне бы промолчать и на том с Жарковым расстаться, но я сказал:

– Ждешь, когда я тебя спрошу про тарелочки? Перебьешься.

– Про тарелочки? А что тут... Постой-постой. – Жарков изобразил крайнюю степень удивления. – Ты хочешь сказать, что ничего не слышал о тарелочках?! Скажи: клянусь. Ну, ты даешь! Об этом давно знают все, включая Вяткина, – он хлопнул меня по плечу. – Так слушай же! Рассказывают, что наш Кирюшенька однажды веселил московскую публику следующим номером. Где-то он прочел или услышал, как дореволюционные студенты развлекались с барышнями легкого поведения – ставили их четырьмя точками в тарелки и пинком в пятаку пускали скользить по натертым полам. Соревнования вроде бы даже устраивали. Вот и он в каком-то подмосковном доме у богатых знакомых проделал такое с Никой, раздев её до бельишка. Каждый, конечно, разнобразит свой досуг как может, только, согласись, это как-то по-новому освещает и самих участников, и их непростые отношения.

– Это неправда! – горячо воскликнул я.

Прикуривая новую сигарету от только что выкуренной, Жарков поднял на меня глаза.

– А что именно тебе здесь кажется неправдой? – поинтересовался он, отбрасывая окурочек. – То, что на такое способен Кирилл? Или что такое могла позволить делать с собой Ника?

Это был сильный вопрос. После того, что я узнал о них за последние дни, ответить мне было нечего.

– Это всё тебе Чоботов рассказал?

– Чоботов здесь, Чоботов там... Береги себя.

Протянув ладонь и не дождавись рукопожатия, Жарков подхватил и повесил на плечо кофр. Уже сделав несколько шагов в темноту, почти исчезнув в ней, он выкрикнул: «Да, чуть не забыл!», и вернулся.

– Хочу оказать тебе одну дружескую услугу. Чтобы ты не изводился почему зря. У тебя теперь в голове Ника тоже будет до конца дней кататься на тарелочках. Шлёп!

И он вдруг несильно стукнул меня по лбу основанием ладони. Я перехватил его за запястье и пока думал, что мне дальше делать, он стряхнул мою руку и пошел прочь. Но и на этот раз, не пройдя десятка метров, развернулся и, помахая поднятой над головой ладонью с горячей сигаретой, пошел обратно.

– Главное-то забыл!

Я сжал правую руку в кулак и выставил ему навстречу.

Поглядев на кулак, Жарков сказал:

– Тут ведь что еще интересно с этими тарелочками. Представь. Вот наше милое небесное создание получает любящей и, очень бы хотелось надеяться, необутой ногой по прекрасной, а я знаю, о чем говорю, попке и отправляется в путь, – пригнувшись и чуть присев, он качнулся и едва не упал на меня. Выровнявшись, опять присел и повел пальцами с сигаретой вдоль темной улицы. – Представил? А теперь замедлим, как это делают в кино, её стремительное движение, а то и остановим стоп-кадром, и присмотримся к лицу нашей ботичеллиевской красавицы. Что с ним? Какое оно? Трагически-обреченное? Исполненное попрадного достоинства? Готовности и далее

стойко нести груз нескончаемых унижений? Может быть, прекрасные её глаза застилают слезы обиды и боли? Ты что видишь? Я вот ничего из перечисленного. А что если наша девочка визжит от восторга так, что у зрителей уши закладывает? Что скажешь? Я всё это, собственно, к чему. А что можем предложить ей мы с тобой – жалкие, скучные и уже немолодые обыватели? Что поставим рядом с тарелочками Стряхнина и романом Чоботова? Аж ничего. У чокнутого Витюши и то больше шансов. Теперь всё. Так что оставь надежду и не кручинься. А если что, вспомни о моей печати.

Должен признаться, в моем воображении именно так – с визгом, с развевающимися волосами – Ника и неслась через комнаты уже после первого упоминания Жаркова об этой дикой забаве. Теперь же там, в конце анфилады, замаячила еще и тень Витюши.

– Чушь! – воскликнул я, отмахиваясь и словно бы отгоняя прочь видение, которое Жарков мог каким-то чудом подсмотреть.

Он схватил меня, развернувшегося уходить, за рукав, и я опять сжал кулаки.

– Да убери ты свой кулак. Девочке скучно, понимаешь? У нее фантазии. Хлопая прекрасными глазами, она запросто рушит, ссорит, сводит с ума... и ей всё это нравится. А теперь скажи: что в имени, которым её наградил наш проницательный Чоботов, неправда?

– И тебе её совсем не жаль? – спросил я.

Он задумался, опустил голову и, помолчав, сказал:

– А знаешь, каким прозвищем Кирилл недавно наградил свою атласную Алису? Многоходовка. Тебе тоже слышится в нем что-то неприличное? Умеет парень приложить, чего уж. Многоходовка против Сороконожки – звучит, по-моему, интригующе. Ну, так что, может, все-таки продолжим у меня?

Я не ответил.

– Не хочешь. – Жарков вздохнул и, развернувшись, пошел прочь. – Что ж, камин затоплю, буду пить... хорошо бы Феррари купить.

По пути домой я поймал себя на том, что, крепко натирая лоб, пытаюсь стереть с него полученную печать. Сукин сын! Но откуда он мог взять историю с тарелочками? Чоботов? Разумеется, Чоботов. А откуда мог узнать Чоботов? Вероятно, от кого-то из московских друзей Кирилла во время их пьяных застолий первых дней. (Замечу еще в скобках, что с того вечера меня так и подмывало спросить у Чернецкого: действительно ли мои отношения с Вяткиным наводила на мысли, высказанные Жарковым? Однако, так и не решился. Что касается Кирилла Стряхнина – я уже имени этого не мог слышать.)

## XX

Слышишь шум съезжающих в безвозвратную бездну масс памяти? Оказывается, за каждой секундой прожитого стоял такой чудовищный объем, такой объем! И как теперь узнать, сколько потеряно и что потеряно, если, куда ни брось взгляд, всё вроде бы на месте, потерь нет. Плотный тяжелый шорох есть, а потерь нет. Нет и ощущения, что что-то потерял. Вот разве легкий сквознячок, то есть всего лишь предположение, догадка... Главное, не забыть воробыху! Может, записать?

Он шевельнулся, чтобы взять ручку, и, открыв глаза, обнаружил, что сидит во дворике гостиницы. Сон длился не больше минуты, и его содержание явно было навеяно рассказом гуттаперчевого о докучливом вопрошателе, обеспокоившимся после подписания бумаги выражением своих глаз и сохранностью воспоминаний.

Передернув вытянутыми ногами, следователь выпрямил спину и огляделся. Кресло стояло под виноградным навесом. По дорожке, ведущей в небольшой сад с бассейном, степенно прохаживалась пара горлиц. Пошумев в верхах деревьев, ветер пошел по низу, и размеренно мерцавшая мозаика из теней и солнечных пятен, встретившись, сделала еще одну попытку убежать из-под ног.

Он допил пиво, встал, надел на плечо сумку и вышел. За воротами гостиницы рабочие зачерпывали совковыми лопатами гравий и выкладывали вдоль забора между кустами самшита.

Ночка выдалась не из легких. От вчерашней беготни по гостинице ныло тело.

После того как мать-рассказчица переключилась на соседа (чуть позже она заснула, в ногах у нее заснул и сосед), следователь взялся за дочурку. Она была уже совсем пьяненькая: пустые спящие глаза, плетями повисшие руки. И как же грубо он метался от темы к теме, подверстывая вопросы и направляя разговор так, чтобы загнать ее, ничего уже не соображавшую, в западню, поставить перед выбором. Они сидели в темноте, во второй комнатке, и он гнул свое, пока она, наконец, не сдалась и не сказала:

– Душу – могу, пожалуйста. А тело всё. Оно неприкосновенно.

И она качнувшись, прикрыла ладонью пах.

– Душу пожалуйста? – тут же ухватился он. – А давай проверим.

Она тупо смотрела, как он роется в её сумочке, достает паспорт и что-то пишет. Он тогда еще замешкался, пожалев о том, что не прочитал бумагу, которую подписывал в джипе. Как там еще в Одессе у Клычка гуттаперчевый говорил: «в полное и безусловное владение», кажется? Он добавил еще от себя «бессрочное». После недолгих раздумий выбрал формулировку «в полное, бессрочное и безусловное владение предьявителю сего» – очевидно как-то так, чтобы избежать волокиты с передачей прав, был составлен и его договор. Хотя, конечно, слова «в трезвом уме и здравой памяти» выглядели тем еще издевательством. Чтобы девица не засыпала, он похлопывал её по бедру пока писал, наконец дописал, хлопнул еще раз, по сильнее, и повторил:

– А давай проверим.

Она, вздохнув, молча пожала плечами, и только когда он уколол ей палец, с сонной обидой произнесла:

– Что ты делаешь?

Подписав, повалилась набок.

Тут подоспел её крепко пьяный жених, перед которым следователь выступил ревнивым хранителем традиций: никаких встреч между молодыми накануне свадьбы. Тот не мог понять, кто он такой, рвался к невесте и почему-то заподозрил присутствие скрытой камеры. Продолжая наседать и попутно поить молодого, следователь рассказывал, на какие жертвы согласилась его возлюбленная, чтобы сберечь себя, и строго требовал ответа: готов ли он ради нее на такое? «А давай проверим, докажи!»

Это была грубая грязная работа, фу, вспоминать противно. Развел пьяных детишек. (Как это он еще не догадался спавшую мамашу задействовать, поводить её безжизненной рукой по бумаге). Интересно, гуттаперчевый такое одобрил бы? Утром, когда он постепенно стал приходить в себя, полученные бумаги, видимо, так жгли руки, что он сунул их в морозильную камеру, от глаз подальше. Но – разве не для этого он напивался? Порой, чтобы дать толчок делу, приходится самому создавать тягу, а это как бензин переливать шлангом – бывает, что и отхлебнешь, не считая, хорошую порцию.

...Дуэлянта Виктора Ткача он уже раз не застал дома, промахнулся и теперь. Сестра сказала, что брат вышел за чем-то в центр, и попросила подождать на скамейке.

По двору, густо заросшему портулаком между плитами, гулял ветер, разносил запахи шерсти, молока, овечьего и козьего помета, в который он успел вступить. И опять бежала и бежала из-под ног тень от листвы, ставшая в последние дни как бы символом, зримым воплощением его бегущих и никуда не убегающих мыслей.

Понять бы еще теперь, ради чего он развел вчера такую суету.

Немецкая курица прилетела заслуженно. Неряшливо хлопая крыльями, она теперь так и будет пролетать через его голову и с одуревшим видом плюхаться посреди сарая. До тех пор, пока он будет уходить от ответа. Еще в феврале, у Клычка, соглашаясь продолжить игру на условиях гуттаперчевого, он ни на секунду не задумался над содержанием сделанной ставки. И уж точно не стал бы ломать голову, если бы выиграл. Даже когда его соперник поднялся из-за стола, вполне

удовлетворенный выигрышем, он не почувствовал ничего, кроме досады на внезапно изменившую удачу. Но если ни тогда, ни еще целых полгода после его это совсем не занимало, а не занимало, очевидно, потому, что ничего для него не значило (если он и лукавил, то самую малость, всего лишь выдавая почти полное бесчувствие за полное), то почему вдруг теперь ему так захотелось отыграться? Нет, дело было не только в курице и в потешной бумаге с его кровавым отпечатком. В чем-то еще.

В поисках ответа, подбираясь к теме со стороны, он спрашивал себя: имея сейчас две аналогичные бумажки в морозилке, согласился бы он выменять на них свою? И отвечал: похоже, что нет. Предпочтительней было бы её отыграть. Но почему? Не потому ли, что тогда все-таки на карту было поставлено что-то еще, что простым обменом вернуть уже нельзя, а можно только отыграть, рискуя потерять навсегда. И еще: если он не отыграет свою бумагу – только ли она останется у гуттаперчевого? Или скажем так: не останется ли там что-то большее, чем бумага? Из самих вопросов уже следовало, что было нечто еще, некий неуловимый излишек, которому он при своей абсолютной метафизической глухоте не мог подобрать внятного определения, и ради которого, получается, он и собирался встречаться с гуттаперчевым.

Задумавшись, он встал, вышел за калитку. В это время появился Витюша. Они познакомились, и следователь сказал, что зайдет в другой раз.

## XXI

В те же дни мне позвонил встревоженный Чернецкий.

– Сегодня опять был у Вяткина, – сказал он. – Скажи, ты ничего не слышал о странных отношениях между Жарковым и Витюшей?

– А у них есть отношения?

– Якобы Жарков под видом интереса к Витюшиным, скажем так, духовным исканиям, определенным образом его настраивает. Так говорит Вяткин. А ты сам понимаешь, его мнение может быть пристрастным. Но учитывая поведение Саши в последнее время, а также недавний скандал от Витюши...

– Хм. Нет, не слышал. Но зачем ему это?

– Жаркову? Ума не приложу. Попросил Вяткина рассказать поподробней – отказался.

Тут я должен признать: писатель, всё-таки, из меня не ахти. Сооружая здесь по мере сил не детектив, а какую-никакую (и как теперь вижу: не очень складную) хронику, я часто затрудняюсь определиться с некоторыми событиями: где им в ней место – там, где они происходили, или же там, где мне о них стало известно? Те же встречи Жаркова с Витюшей. Будь я поопытнее, я, как и подобает всеведущему автору, для начала где-нибудь вскользь о них намекнул бы, а затем равномерно и в развитии распределил по последующему тексту, и я такое не раз уже проделывал, но здесь сплеховал. И теперь мне приходится в нарушение и хронологии, и логики, и только потому что другого случая может не представиться, вываливать всё разом. Ну уж вот так. Но зато это не догадка, не вымысел, свидетельство самое верное, из первых уст, от самого Жаркова. Полученное мною, правда, уже по завершению описываемых событий.

Попал Жарков к Витюше между делом – зашел за брынзой к сестре, а заодно пофотографировать её коз. Затем приходил еще дважды.

Мне вчуже казалось, что Витюше Жарков был непонятен и неприятен. Он никогда не понимал шуток фотографа, над которыми смеялись другие, да и просто речей. Думаю, при таком отношении визит Жаркова он воспринял как появление очередного посланника свыше.

Жарков утверждал, что Витюше он ничего нового, по сравнению с тем, что вычитал в его опусе, не говорил, а повторял все то же иными словами. То есть пошел путем кукольника, облекая сумбур Витюшиных мыслей в понятные фразы. Разве что заговорил напрямую о Нике. Этим он сразу и охмурил несчастного влюбленного, которому уже одного её имени, произнесенного вслух,

было достаточно, чтобы довериться кому угодно. Призывая Витюшу бороться за внимание избранницы, Жарков приводил в пример Чоботова – вот, дескать, молодец, не оставляет надежды, не сдаётся, и теперь, несмотря ни на что, она с ним встречается, потому что женщинам такое упорство нравится. Пускался даже и на такие откровенности: «Она странная, да. С приветом. Может быть, и дурочка. Но ведь и ты странный, Витюша, согласишься. Чудной ты. Посмотри на себя. Кто же и защитит дурочку, как не дурачок». Рядом с зеленоглазкой Никой Витюша был готов быть кем угодно.

– Чем я мог ему навредить, – говорил Жарков, – если был всего лишь частью его мифа? При чем не самой худшей.

И тут же говорил, что охмурение Витюши доставляло ему странное, кружащее голову наслаждение, не меньшее чем то, что получал сам охмуряемый. И эта связь отравителя и жертвы очень его интересовала, прямо до маниакальности.

Вот его признание, записанное по свежим следам нашего с ним разговора, слово в слово.

– Отравитель? Ну, пусть будет отравитель. Но какая же это, скажу тебе, ни с чем не сравнимая сладкая сладость – быть отравителем! Чистая азиатская перезрелая хурма, мед, а не хурма, аж по подбородку течет! – И он потер подбородок пальцами. – А при этом еще и такая мысль постоянно присутствовала: я вот вроде как прикидываюсь, дурака валяю, а происходит-то всё всерьез. Интересная такая мысль. Всё собирался её додумать.

Слушать откровения фотографа мне было неприятно. В целом то была странная исповедь, в которой раскаянием не пахло, и я долго не мог понять, зачем он мне это всё рассказывает – на мое сочувствие он и раньше-то редко мог рассчитывать, а уж здесь... И только когда Жарков чуть ли не причмокивая заговорил о хурме, я понял, что откровенничая со мной об откровенности с Витюшей, он получает удвоенное удовольствие. То есть это было какое-то совсем уж непристойное, помноженное само на себя сладострастие!

Впрочем, как не раз я убеждался, имея дело с Жарковым, ни в чем нельзя быть уверенным. Вот и тут меня позже взяло сомнение: а не наговорил ли фотограф на себя лишнего? Для чего? Ну, может быть, для того чтобы скрыть настоящую цель визитов к Витюше. Так, например, он ни разу не вспомнил историю с вызовом на дуэль, которая последовала сразу за этими встречами. От кого, как не от него, Витюша мог узнать о скандальном вечере у Чоботова? И можно только догадываться, на что, в таком случае, рассчитывал Жарков, и не ради ли этого он зачастил к Ткачам?

Встречи закончилась, когда к Жаркову подошла заподозрившая неладное сестра Витюши и прямо попросила, чтобы он не обижал брата. На прощанье он тогда же рассказал Витюше про кукольника. Еще и добавил лишнего, сказав, что кукольника мы наняли следить.

О странной дружбе между Витюшей и Жарковым вероятно от той же сестры прознал Вяткин. Поэтому в тот грозовой вечер у Чернецкого назвал Жаркова подлецом и провокатором, хотя главной его заботой, повторюсь, была Ника и нежелание видеть её героиней еще одного скандала, на этот раз с дуэлью.

Как-то разговоровшись, мы с Чернецким пришли к выводу, что в Витюшином воображении каждый следующий визитер продолжал дело предыдущего. После Глеба Глебова, с которым они, как выяснилось позже, рисовали кресты на доме Страхнина, был кукольник, посвятивший Витюшу в тонкости ими же придуманного учения. Какую-то роль наверняка сыграл и приход Чернецкого, благодаря чему Витюша вслух проговорил и таким образом словесно оформил происходившее с ним. Появление кукольника во второй раз уже в качестве согладателя хотя и возмутило его, но зато полностью подтвердило теорию о безотчетном пророчестве. В целом, высшие силы ему благоволили, что подтвердилось приездом зеленоглазки. Ободряющие и направляющие беседы с фотографом укрепили его в правильности выбранного пути. Вот только молчаливый визит следователя пока не поддавался толкованиям. Тут Витюша так и остался в тревожном и тоскливом недоумении.



## XXII

К обшарпанному двухэтажному зданию общежития следователь вышел с тыльной стороны. Просторный пустырь с проржавевшими столбами для бельевых веревок был сплошь покрыт гигантскими лопухами. Оглядевшись и воспользовавшись безлюдьем, следователь присел на корточки и ушел головой под листья. Там был всё тот же таинственный бутылочный свет, что и тридцать лет назад.

Собиравшийся идти к пушкинскому дубу Глеб Глебов уже переоделся в красивую белую, вышитую белыми же нитками вышиванку, и перед выходом зашел в кухню взять сигареты и допить оставшийся глоток кофе. На краю зрения, совпадавшего с краем пустыря перед домом, что-то шевельнулось, и, увидев вынырнувшего из лопухов незнакомца, он почему-то сразу понял, что тот пришел по его душу. Когда через минуту в дверь позвонили, он уже знал, кого за ней увидит. Более того, в госте он узнал приезжавшего в апреле по делу убитого монаха следователя, выступавшего на местном телеканале, где он дорабатывал последние дни.

Глеб Глебов производил впечатление человека аккуратного, ухоженного, но, очевидно, всей его чистоплотности хватало только на внешний вид – в квартире беспорядок был жутчайший. Казалось, ни одна из вещей в этом доме не знала своего места и лежала или стояла где придется. Чуть ли не из каждого шкафчика или ящика, ни один из которых не был закрыт до конца, что-то торчало, свисало, вываливалось наружу. Полы Бог знает когда в последний раз были метены, не говоря о большем. Те, кто знали печальную историю Глеба Глебова, могли бы подумать, что сказывалось отсутствия хозяйки. Но я бывал у них раньше, еще при ней, и там всё было точно так же.

Кстати о хозяйке. Все это время он пытался её разыскать, несколько раз ездил в Одессу, но безуспешно. Нынешним летом на ежегодном фестивале в нашей крепости он среди приехавших на турнир рыцарей разыскал разлучника. Сверкая латами на солнце, тот сидел, широко расставив ноги, под крепостной стеной и отдыхал между схватками. После ночного застолья и нескольких ударов по голове, полученных только что в поединке, его мутило. Облизывая сухие губы, он ждал гонца с пивом. Вокруг было шумно от громкой музыки, мотоциклетного треска, криков играющих в ловитки детей и надрывного плача уставшего от жары младенца; за спиной отдыхающего рыцаря по пояс голый юноша маленькой кувалдой ровнял круглый щит. Всё это время от времени накрывало дымом от горящих дров кухни.

Увидев фотографию жены Глеба Глебова на экране телефона, рыцарь-разлучник стал вспоминать, когда и где видел её последний раз. Приложив палец к наморщенному лбу, он уже открыл рот, но тут взревели трубы, объявили о начале битв рыцарских дворов, и его вызвали на очередной поединок. В конце концов Глебу Глебову удалось-таки по завершению поединка получить записку с адресом, и он чуть ли не бегом покинул это шумное средневековье.

Адрес оказался выдуманным, в Одессе такого, как в записке, переулка не было, так что прокатился он туда на следующий день впустую. Впрочем, не совсем. В тот же день Глеб Глебов решил, что в городке ему делать больше нечего и взял курс на отъезд. Сын его в этом решении горячо поддержал.

## XXIII

Когда следователь и Глеб Глебов проходили по коридорчику в кухню, из ванной комнаты испуганно выглянул мальчик и тут же исчез.

В кухне следователь прошел к окну, встал под открытой форточкой. Хозяин торопливо выкинул из-под стола два пластиковых табурета, зажег горелку и поставил сверху чайник.

Мутные стекла, мухи, невымытая посуда, бегущий ручеек муравьев к кошачьей миске возле газовой плиты. Следователь решил действовать быстро и напролом.

– Так что там у нас с крестами? Всё идет по плану? – произнес он, глядя в окно, на те же ло-  
пухи, и обернулся.

Глеб Глебов с минуту смотрел на него, а потом его лягушачье лицо, старательно изображав-  
шее удивление, дрогнуло, порозовело и тонко залоснилось от пота.

– Это была ошибка, – тихо проговорил он.

– Вы ведь вдвоем живете?

– Сейчас да. Какое-то как затмение нашло, ей-богу...

– Сына есть с кем оставить? – спросил, будто не услышав последних слов, следователь.

Глеб Глебов помотал головой.

– Плохо, – вздохнул гость.

– Это был просто знак.

– Да понятно. Просто знак. Просто черная метка.

– Нет-нет, не метка! Просто знак, отношение. Ничего больше. Так совпало. Или кто-то вос-  
пользовался – такое ведь может быть? Я был против.

– Глеб Глебов, – произнес следователь. – Отчество, конечно, Глебович?

Хозяин кивнул.

– У нас так называли всех старших сыновей. Когда-то в роду были болгары, они любят такое.  
А как-нибудь это уладить нельзя? Я мог бы сотрудничать со следствием, – предложил он.

– Как? – переспросил следователь.

– Сотрудничать со следствием. С органами.

Следователь брезгливым помахиванием ладони показал, что ему нужно свободное место на  
столе, и когда хозяин бросился переставлять подальше от края посуду, сел на табурет и достал из  
сумки лист бумаги и ручку.

– Паспорт.

Удивительно, но и сейчас, на трезвую голову, он не мог придумать ничего лучше формулиров-  
ки, второпях сочиненной той пьяной ночью, когда он раскручивал на подпись невесту, а потом её  
жениха. А вообще, будь на то его воля, он бы ограничился какой-нибудь одной, понятной обеим  
сторонам фразой вроде: «Прощай, душа», или еще проще: «Согласен». Фамилия-имя-отчество,  
отпечаток, дата, подпись – всё. Впрочем, если верить гуттаперчевому, не за горами те времена,  
когда достаточно будет одного отпечатка пальца. Скорее бы.

Рядом, на угол стола лег принесенный Глебом Глебовым паспорт.

– Вуаля, – сказал следователь спустя несколько минут, уступая место хозяину.

Тот сел, быстро пробежал текст глазами и весело поставил подпись.

– Придётся слегка поранить палец, – сказал следователь, не вполне уверенный, правильно ли  
Глеб Глебов понял написанное. – Нужен отпечаток.

Но нет – оказалось, тот все отлично понял.

– Иголку, да? Сейчас найдем!

Он ушел в комнату, а не ожидавший такой реакции следователь взял со стола бумагу и пере-  
читал написанное – ничего ли он там не напутал?

Глеб Глебов вернулся с деревянной шкатулкой и, роясь в ней, спросил:

– Это что, новый тренд?

– Можно и так сказать.

– Что-то типа криптовалюты, да?

– Всё-то вы знаете. Интересно откуда.

– Ну а что еще можно тут придумать? Как её еще обналечить? Только так. Какой палец?

– Любой.

Глеб Глебов выбрал безымянный левой руки.

– Вы меня видели недавно в ток-шоу? – спросил он, покончив с отпечатком.

– Не думаю, – ответил следователь. – Но о ваших проблемах слышан. Это не имеет к ним  
никакого отношения.

– Для вас, может быть, нет. Но для меня очень даже имеет. А вот это сейчас ставит в моей борьбе завершающую точку.

– Как вам будет угодно.

– А вы кто по национальности, извините?

– Русский.

– Ох, – он вскинул голову. – Я, надеюсь, не оскорбил вашего национального чувства? Могу объяснить, если хотите...

– Не надо, – остановил его следователь. – Мне плевать.

– Спасибо за понимание.

Глеб Глебов, опустив лицо, улыбнулся и почесал голову. В произошедшем было то, что ему нравилось – яркий неожиданный жест, который теперь будет уже его жестом. О таком он еще не слышал, и сам вряд ли бы додумался. Хотелось прямо сейчас начать искать таившиеся здесь возможности, но он решил с этим удовольствием повременить, дожждаться, пока останется один. От охватившего радостного возбуждения ему, однако, трудно было усидеть на месте.

– Минутку.

Подхватив шкагалку, он ненадолго ушел в комнату и вернулся с бутылкой.

– Вот приятель презентовал.

Это был ни много ни мало пятнадцатилетний Гленфиддик. Пока Глеб Глебов бодро и шумно выставлял стаканы, открывал и разливал, следователь с уже известным ему, но совсем не утратившим свежесть удивлением думал о том, что вот и у такого ничтожного пескаррика есть, оказывается, кто-то, кто его ценит, уважает, дорожит его дружбой и делает ему такие недешевые подарки. Как же все-таки неисчерпаемо разнообразна эта жизнь. До тошноты.

Они чокнулись, выпили и хозяин с задумчивостью собутыльника мягко попросил:

– Могу я сделать копию?

– Не можете.

– Вы не поняли. Я только так, от руки. Напишу себе такое же. И всё.

Брезгливо оглядывая собеседника, следователь заодно прикинул, достаточно ли тот похож на безумца, чтобы в случае чего его откровения выглядели как бред сумасшедшего, и решил, что достаточно.

– Делайте, – согласился он.

Глеб Глебов попросил чистый листок, положил перед собой договор и стал старательно переписывать.

Следователь закурил самокрутку.

– О, знакомый запах! – не поднимая головы, улыбаясь произнес Глеб Глебов.

– Можно взглянуть? – протянул руку следователь, когда тот закончил.

В написанной красивым четким почерком копии после полного имени было добавлено «русский». Справа, внизу, под числом и подписью был нарисован овал в котором маленькими буквами было вписано: «отпечаток пальца».

– Пригодится, – прошептал Глеб Глебов, принимая обратно листок и складывая его вчетверо, как только что это делал его гость, и при этом радостно улыбаясь, как если бы он тоже что-то удачно приобрел.

«И все довольны», – с удивлением подумал следователь.

Промаргивая резь в глазу, он выдул дым под себя и, не глядя, протянул хозяину сигарету:

– Можно докурить.

– Дякую. Только я кресты не рисовал. Это Витюша. А идея наша была, да. С Цвиркуном. Мы узнали, что Кириллу Юрьевичу цыганка несчастье предсказала, на то и расчет был, думали, это его пугает. А ведь, с другой стороны, так и получилось, что лучше было бы, если б он испугался и уехал, разве нет? Так что с нашей стороны это можно рассматривать как предупреждение, к которому не прислушались. Увы.

Он уже был пьян, и ему хотелось поговорить. Следователь поднялся. Провожая его к двери, хозяин игриво поинтересовался:

– А бонус какой-нибудь полагается?

Следователь, заводя ремешок сумки за голову, хмыкнул:

– А как же. Ждите.

– Скажите, я ведь не один такой? Здесь, у нас? Кто еще?

– Скажу как-нибудь. Не сейчас. Как тут открывается?

#### XXIV

Гостиница как вымерла – ни во дворе, ни внутри следователь не встретил ни души, так что самому пришлось взять ключ от номера. А когда отпирал дверь, и ручка, заартачившись, не захотела идти вниз, он приготовился увидеть смущенные лица горничной Беляны и Изотова. Однако, первое, что ему бросилось в глаза, когда ручка всё-таки поддалась и дверь отворилась, – голое окно, которое он, уходя, оставил задернутым. И тут же, едва он переступил порог, ему мягкой плотной тканью наглухо закрыло лицо и ею же передавило горло; схватившись за нее под подбородком, он рванулся к раскрытой двери балкона, но сопротивлением напавших его развернуло влево, и, сделав несколько семенящих шагов, он стукнулся лбом об шкаф, а в следующее мгновение его с прыснувшим ему прямо в ухо смешком повалили на пол, завели руки за спину и оседлали. Он замер и прислушался. Судя по звукам – быстрому шороху в комнате и стукам в ванной – кроме седока, в номере были еще двое. Он ждал, когда обыск закончится и с ним заговорят, но вместо этого услышал шаги возле лица и звук отворяемой двери. Державший его за руки вскочил и переступил через голову. Следом хлопнула дверь. Еще через минуту он освободился от покрывала и поднялся.

Выброшенные из шкафа вещи, выпотрошенные рюкзак и сумка, перевернутая, смятая постель.

Рассовав всё по местам, он уже собрался звонить Изотову, как в дверь постучали, и на его пригласительный крик в номер вошел старшой с наполненным до краев бумажным базарным пакетом.

Следователь предложил ему сесть на застеленный покрывалом диван и, поглядывая на него, поставил напротив стул. Его гость – поджарый, крепко загорелый, с коротко подстриженной и будто присыпанной серебрянкой головой – сел на диване, пакет поставил рядом.

– Ну, как ты?

– Да вот только гостей проводил.

– Что ж ушли так рано?

– А спроси их. Дела, наверное.

Старшой покивал и, спохватившись, полез в кулек.

– Ох и вкусные здесь сливы! Бери. А грушу хочешь?

– Далековато ты стал на базар ездить, – заметил следователь.

– «Далековато». Мы вообще из Измаила едем. Решили остановку сделать. Ребята поехали перекусить, а я вот на базар. А что делать? Пойду помою.

Из ванной спросил:

– ЧП у нас, не слышал? Кстати, говорят, Д. стал на автоматах играть. Ничего не знаешь? Тебя вот тоже за картами видели.

– Молодцы.

– Работаем.

– И что там про меня говорили, много проиграл?

Вернувшись, старшой сказал:

– Я еще слышал, ты здесь кое-что покуливаешь.

– Ну так я еще в апреле тут точку присмотрел. Ты же знаешь, я без фанатизма.

Гость покачал головой.

– Вот что ты за человек, а? Никогда тебя не поймешь...

– Случилось-то что?

– Полкило гашиша пропало из вещдоков.

Следователь присвистнул.

– Правильно, – изобразив одобрение, сказал старшой. – Кому не скажешь, все свистят. Сви-стуну, мать вашу. Но кто-то же из вас его сп\*\*\*ил?.. Эпидемия, что ли, какая-то началась? В Ни-колаеве та же херня, попёрли из вещдоков шубы норковые, отнесли в ломбард, а деньги просрали в рулетку и на тотализаторе. Шубы, блядь! Еще и ювелирка какая-то походу исчезла.

Следователь рассмеялся: старшой умел смешно рассказывать. Еще смешней николаевскую историю делали приложенные к ней обстоятельства его собственного приключения с подобран-ным в комнате вещдоков гашишем. С небольшой поправкой. Если он в тот день с температурой за тридцать восемь, находясь в болезненно-игривом и отчасти бредовом состоянии, пряча под носом у дежурного пакет с гашишем, собирался его на выходе вернуть, чему помешал страшный эпилептический вой сотрудника в коридоре и последующие спасательные мероприятия, то ни-колаевские сыскари, в его версии, услышав припадочный крик товарища, бросались в комнату вещдоков и под зажигательный стук затылком об пол торопливо сгребали шубы и рассовывали по карманам рыжё. Он даже пожалел, что не может поделиться этой импровизацией с гостем – до того она его развеселила. Сделав серьезное лицо, он ладонью показал: ничего, так что-то вспомнилось.

Покачав головой, старшой замер на некоторое время и опять закачал головой.

– Всё летит в одно место. Летит, летит и никак не долетит. Тем не менее тем не менее. Кто-то очень пожалет об этом. Локти будет кусать. Это я обещаю. Потому что бардак тоже должен знать какие-то границы. В нем тоже должен быть какой-то порядок. – Он вздохнул. – Ладно, что там по делу?

Выслушав отчет, подхватил пакет и поднялся. Уходя, сказал:

– Всем говорю, и тебе скажу: лучше верните по-хорошему, пока не поздно. Пощады не будет никому.

Уже перешагнув порог, развернулся и сунул ему в ладонь грушу.

Глядя вслед старшому, следователь подумал, что этот пожилой юноша, сокурсник и друг ма-тери, после её смерти и разрыва с Марусей, ему единственный на свете близкий человек.

Вечером, когда они с Изотовым прогуливались вдоль лимана, он вернулся к мыслям, с каки-ми днем входил в гостиницу и отпирал номер. А думал он о том, как пытался разглядеть нужные для его душевного спокойствия отклонения в Глебе Глебове, а до этого с удовольствием отмечал их в гуттаперчевом. Напращивался вопрос: ну, а он сам в таком случае – побывавший теперь уже в роли и того, и другого – сам-то он как, нормален?

...Изотов ушел в полночь. Оставшись один, следователь сдуру перечитал январскую финаль-ную переписку со сбежавшей от него балериной. Чтобы перебить горечь от прочитанного, взял в постель «Сороконожку». Рассеянно её листая, выкурил еще самокрутку. Затем выключил свет, лег на спину, и как только завел ладони под затылок, к его изголовью под вальс цветов из «Щел-кунчика» потянулись все сорок четыре слова, составлявшие имя героини романа. Качаясь и кру-жась над ним во всевозможных сочетаниях, они постепенно, одно за другим, принимали вид то ли крупных хлопьев снега, то ли миниатюрных балетных пачек – чего именно, он разглядеть не успел, заснул.

Часть третья

I

В те дни Кирилл Страхнин выпал из поля моего зрения. Хотя, надо признать, после всего, что я о нем узнал, и интерес мой к нему был уже далек от прежнего. Да и не до него мне было. В Одессе матери стало еще хуже, напуганная сестра поместила её в одну из самых дорогих клиник, и теперь мои невеликие накопления таяли с каждым днем. При этом меня одолевали два противоположных чувства: бесконечной вины (я мог бы поторопиться, обустроить дом, перевезти в него мать, как давно собирался, и тем самым скрасить её последние дни и проч.) и досады на бессмысленные траты в этой дорожной клинике. Слава Богу, работа у меня была.

Возвращаясь к Кириллу. Знаю, что жил он у какого-то однокашника и его по-прежнему часто видели с Петей.

С гибелью Страхнина-старшего прекратились визиты Алисы к брату Степану, и тот так и остался при своем недоумении. Ходил вечерами по веранде, сунув руки в карманы широких штанов, курил, думал. Останавливался, отпивал из литровой банки вино и вновь принимался ходить из угла в угол. В его фантазиях – ими он тут же делился с Козликом – два визита Алисы теперь уже являлись ничем иным, как хитрой операцией по лишению его наследства, солидная доля которого изначально отписана была ему братом в завещании. К концу банки, почесывая в паху, загребая снизу воздух пятерней, он начинал грозиться, что легко возьмет теперь Алису Тягарь за задницу, за её роскошную, оставшуюся не у дел задницу, которая всегда принадлежала и будет принадлежать кому-то из Страхнинных.

Несколько раз он пытался заговорить с Кириллом, но тот от разговоров уклонялся. Лишь однажды ему удалось поговорить с ним дольше, чем обычно. Встретив его, подвыпившего, сидевшего на берегу лимана с Петей, Степан, не тратя времени, спросил:

– Что с Алиской собираешься делать?

– Тебе-то что?

– Здорово она нас кинула.

– Нас? – Кирилл рассмеялся.

– Напрасно смеешься, – зло сказал Степан. – Не зря же она ко мне бегала. Хочешь расскажу? У меня и свидетель есть.

– Не хочу, – ответил Кирилл, поднимаясь. – А свидетелю верни его паспорт и телефон, мы скоро уезжаем.

«Ага, щас», – подумал дядя. И спросил:

– И ты что, так и успокоишься?

– Да тебе-то что? – повторил Кирилл.

– У меня там, между прочим, два племянника – один обычный, а второй внучатый. Да и брата моего грохнули, если ты забыл. Так что меня это тоже касается. Ничего, рано или поздно всё наружу вылезет.

Кирилл, отряхиваясь, только махнул рукой и пошел прочь.

С целью хоть что-то выведать Степан зачастил было к Тягарям – могла что-то знать, и наверняка знала хозяйка, мать Алисы, – но там вдруг резко невзлюбили Страхнинных, что дядю, что племянника. С Кириллом это особенно бросалось в глаза. Отношение к нему после его возвращения из Одессы стало демонстративно пренебрежительным. Над ним начали даже посмеиваться. И нельзя ведь сказать, что авторитет Кирилла держался исключительно на авторитете отца – он и сам по себе когда-то вызывал уважение. И тем не менее. Это отношение от Тягарей быстро передалось всем остальным. Дошло до того, что его среди бела дня едва не побили какие-то малолетки. Хорошо Петя оказался рядом, вмешался, когда того уже сбили с ног. Надо заметить, что и Кирилл как будто смирился с отведенной ему ролью: его неприкаянность и уязвимость

начали бросаться в глаза. Осунувшийся, пообносившийся, он стал всё больше походить на своего двойника, который, наоборот, на грубой, но обильной пище у Степана с каждым днем раздавался вширь. В этом встречном движении они должны были в скором времени вернуться к утраченному взаимоподобию, хотя уже и в ином виде.

Встретив Козлика в те дни, я его загорелым и заросшим не сразу узнал. Он попросил закурить, я не курил, но чувствуя некоторую вину перед ним, купил ему две пачки сигарет. Козлик пожаловался, что у него пропал телефон и он остался без связи с Москвой.

– Ну, вы же и компании себе выбираете, – не удержался я. – Как-то всё это легкомысленно, вам не кажется?

Козлик, очевидно, не совсем понял мной сказанное.

– Я с детства не был на юге, – ответил он и жадно затянулся, – очень хотелось.

– Понятно.

– И еще я чувствую, у меня с ним уже возникла связь... как у настоящих близнецов. С Кириллом. Честно. Я вот вижу, что у него здесь все не очень хорошо, и сам тоже переживаю. Как будто это со мной происходит. Некрасиво было бы его бросить в такую минуту... Ничего. Он обещал, что мы скоро уедем. Сказал, осталось кое-что уладить и всё. Может быть, на днях.

Все-таки он был славный малый.

– А кто мы?

– Я, Кирилл и Ника.

– Стало быть, счастливого пути?

– Спасибо!

И только когда мы, кланяясь и улыбаясь, разошлись, меня дернуло: «Ключи от квартиры! Вот же... Ведь так и уедут в Москву».

## II

Следователь уже с минуту стоял посреди комнаты, прикрыв глаза и потирая пальцами сложенный лоб. Наконец, отведя раскрытую ладонь, с некоторым веселым удивлением сообщил:

– Снизлась ширина.

– Ширина?

– Да, Изотов, ширина. Ширина в самом широком смысле. Как некое сокровенное знание, что ли. Оказывается, способность точно определять ширину – неважно чего: вещи, явления или, допустим, события – лежит в основе всякой мудрости. Сразу скажу, что я во всех этих эзотерических штуках ни бум-бум, даже не знаю, откуда это мне навеяло, так что не спрашивай. И вот я, посвятивший лучшие свои годы постижению ширины, попадаю в круг её служителей, и они, обступив меня, начинают делиться со мной своими познаниями. Ну, с единомышленниками, да еще с такими авторитетными, всегда приятно поговорить. Но вдруг в самый разгар беседы они умолкают, расступаются, и какой-то хмырь выносит на блюде кучу горячего асфальта. Куча воняет, пышет жаром, жирные крошки медленно скатываются с её остроконечной вершины... И тут я понимаю, что это ловушка, в которую меня заманили ширина и её хранители. И вовсе не делились они со мной тайными знаниями, а наоборот, выведывали, что мне о них известно. Оказалось слишком много. И теперь, чтобы пресечь их распространение в моем лице, мне его, это лицо, должны заасфальтировать. Ну, не суки, скажи? Их счастье, что я проснулся.

С утра у следователя было чудесное настроение. Во второй половине дня пришел Изотов с самокрутками. Следователь сообщил, что закончил «Сороконожку», и они опять немного поразвлекались с прозвищами, доводя до ума некоторые старые и соревнуясь в сочинении новых. Иные из них возникали посреди уже сменившего тему разговора, и тогда перечень имен, обновленный или только что придуманный, открывался предупреждением «внимание, сороконожка!», а закрывался объявлением «конец сороконожки». Попутно следователь подбирал подходящий ком-



плект определений для гуттаперчевого. Получалось не очень. Слишком мало он о нем знал, и пока дальше короткой заготовки, передающей его еще то, первое, февральское, впечатление, дело не шло. Внимание, сороконожка. Только Что Надевший Лицо Хитросделанный Мутный Черт. Конец сороконожки. Пока так.

В пятом часу за ними пришла горничная Беяна, миниатюрная брюнетка с круглым тяжеленьким задом, чтобы проводить их на крышу.

– Могли бы сами, – сказал следователь, беря бутылку вина и пластиковые стаканы.

– Может, мне приятно, – игриво ответила та и, дождавшись, когда они выйдут в коридор, пошла впереди.

На крыше они выпили, покурили и некоторое время сидели, задумавшись каждый о своем. Ветерок ласково играл краями скатерти, полоскал выгоревшее голубое покрывало над их головами, мерно позванивал колодами. Пластиковый стакан, качавшись, упал и покатился по столу.

Следователь поднялся, отошел к краю крыши и там, поставив ногу на невысокий парапет, невидящим взглядом вперился в изрезанный оврагами и отлично видимый в этот сухой ясный день противоположный берег лимана.

Запущенная на днях в оборот мысль о туманном излишке всё это время, похоже, продолжала работу и, на славу потрудившись, нашла-таки нечто такое, что могло иметь к нему отношение. И теперь после нескольких дней некоторой растерянности следователя радовала обретенная определенность.

Был у него в студенческие годы приятель, до страсти любивший наблюдать за тем, как девицы собираются на выход. Однажды, было это в середине весны, приятель застрял у двух сестер-близнецов, с которыми они недавно познакомилась и даже еще не разобрались, кому какая, а он ждал их напротив дома в скверике на Канатной. В шаге от него, под едва зазеленевшей липой шумела вокруг хлебной корки стайка воробьев. Тон задавала одна из воробьих, отчаянно кидавшаяся на каждого, кто осмеливался приблизиться к находке. Злая, вздорная, готовая и сама в этих хлопотах остаться голодной, она сразу привлекла его внимание. Однако стоило ему восхититься её ярким отличием от остальных сородичей, как и все они, один за другим, обрели свои черты, достаточно было приглядеться. Этот суетился, но вступать в схватку робел, та, надеясь взять хитростью, пробовала незаметно зайти с тыла, а вот тот решил дожидаться в сторонке, чем дело кончится. «И ведь их же миллиарды, таких непохожих, разных, неповторимых! Зачем?» И он вспомнил, как в детстве его поразил отцовский рассказ о том, что среди падающих за окном снежинок нет и не может быть двух одинаковых. Снежинками, как он думал тогда, становились замерзшие капли воды, а значит, и в дождях, пролившихся за все миллионы лет, не могло быть двух абсолютно одинаковых капель. То же было и со всем остальным: с елочными иголками, песчинками, травинками, листьями, плодами... не говоря уже о созданиях посложнее. Слегший в те дни с простудой, он яростно перерывал в бреду то бесконечные антарктиды снега, то уходящие за горизонт сахара песка в поисках хотя бы одной пары, и уже тогда этими поисками как будто спрашивал: зачем? Для чего нужно это чудовищное разнообразие? Разве без него песок не был бы песком, а снег снегом? Что это: каприз природы или её изъяз, неумение повторить в точности уже созданное? Глядя в тот осенний день на воробьев, он подумал: неважно, что это, сбой или каприз, главное, что этому подчинено всё вокруг. Смысл существования песчинки песок, воробья – весь воробьиный род. И песок и род оставались бы таковыми, если бы состояли и из абсолютно одинаковых песчинок и воробьев. Из чего следует, что уникальность отдельной песчинки или отдельного воробья сама по себе вполне бессмысленна. Ну а поскольку возможна (а если возможна, значит – есть) такая высота, с расстояния которой он сам выглядит не сложнее воробья, а если подняться еще выше, то и песчинки, – всё сказанное применимо и к нему. Он, как и все прочие двуногие, может считать свою уникальность чем угодно – личностью, душой, отдельным космосом, – однако с той самой высоты это не более чем некоторое небольшое, а главное, бессмысленное отличие от других. Да и отличаются-то они все друг от друга с упомянутой высоты так же мало, как эти сестры-близнецы, наконец вышедшие с его приятелем из подворотни.

Словом, мысли были не новыми, новым оказался только повод к ним обратиться и собрать воедино. На этом поиск беспокоившего излишка можно было считать законченным. Его-то он и поставил тогда на кон. Что ж, потеря и в самом деле невеликая. И, раз уж на то пошло, в посмертное существование, если оно и в самом деле ему грозит, он предпочел бы войти налегке, навсегда с этой обузой расставшись, потому как лучше уж оказаться по ту сторону пучком безликой энергии или даже денежным знаком, нежели принимать и дальше участие в бессмысленной круговерти бессмысленного разнообразия.

### III

Глядя на задумчиво обзирающего округу следователя, хмельной Изотов еще больше хмелел от мысли, насколько же удачно всё сошлось. Интересные обстоятельства. Прекрасные декорации. Ну и, конечно же, герои. Следователь с букетом малопонятных ему интересов: карты, балет, черная музыка... И он сам со страстью к кино, неприкаянностью, одиночеством и скудостью жизненного опыта. Эх, если бы по их истории снять фильм, какой волнующей фантазмагорией отдавал бы постоянный страх одного из героев оказаться за кадром! Впрочем, какая история? Где история? В том-то и беда – никакой истории не было.

– Что может быть милее денежного знака? – весело спросил подошедший следователь. Сел рядом и толкнул коленом колено Изотова. – Ну, скажи.

Он любил иногда выдавать вслух обрывки мыслей, чем приводил собеседников в замешательство. Изотову нравилась эта странность, и сейчас он решил ответить тем же. Для этого он быстро проговорил про себя большую часть фразы, которая была у него на уме: «Чтобы видеть всё это так, как я вижу сейчас – пока еще вижу – нужно особое зрение, приобретенное особым опытом. Его нам давало то великое кино, которым я жил и которого больше нет и не будет», и вслух произнес только ее конец:

– Теперь этот третий глаз, которым мы прозревали в окружающем иной, высший смысл, закрывается навсегда.

– Силён, – оценил его попытку следователь и добавил: – Запомни, Изотов: все глаза рано или поздно закрываются. Что-то ты сегодня как старичок.

– А я и есть старичок, – ответил Изотов.

– О чем плачешь, старый?

– Я же сказал. Умер великий Пан.

– Так, совсем ты меня запутал. Впрочем, хрен с ним. Наливай. Захочешь, расскажешь. Может попросить Белку, пусть здесь накроет?

Следователь закурил и, приложив телефон к уху, отошел в сторону.

– Давай всего понемножку, – говорил он в трубку. – Только не курятину!

Утром, сворачивая самокрутки, Изотов думал о том, что в нынешнем виде это всего лишь затянувшаяся экспозиция, в которой по существу нет ничего, кроме его упоения. Пока следователь здесь, ему хватает и брошенного с улицы взгляда на окно и балкон номера 202, идущего от них излучения. Но когда следователь уедет и последние остатки излучения сойдут на нет, что у него останется? Память об упоении? Не маловато ли? Простит ли он себе потом эту упущенную возможность? Потому и нужна какая-нибудь история, которая, спустя годы, могла бы стать неисчерпаемым источником воспоминаний, комментариев, толкований – всем тем, что будет греть и утешать его в будущем. Какая история? Любая. Да вот, чтобы далеко не ходить, хотя бы такая: история героя, панически боявшегося остаться без истории. В конце концов, история, затеянная ради самой истории – чем не история? Тут уж любой самый невероятный поворот сюжета будет оправдан страхом героя.

...Пройдясь в радостном азарте раздумий по периметру крыши, следователь опять поставил ногу на парапет и уставился в дальнюю даль. Так к чему он пришел, сделав круг? К тому, с чего

начал. Потеря – в сухом остатке – нет. Да еще вовремя влетевшая ему в голову немецкая курица (спасибо тебе, Чюня, покойся с миром в своем наркоманском раю) избавила от этого позора: ходить и делать вид, что ничего не произошло. Произошло. Что если вся эта суета есть приглашение к какой-то большой, доселе невиданной игре? Вот отсюда и кураж. И ощущение небывалой новизны. Крутого – аж дух захватывает – поворота, в который он уже вошел – с гашишем, с приобретенными правдами и неправдами бумажками и с видами на реванш.

– Слушай, – спросил следователь с дальнего, по диагонали, угла крыши, – а как бы ты, по-чоботовски, назвал этого вашего главбуддиста, Цвиркуна?

– Да там и вариантов особых нет.

– А ну?

– Внимание, сороконожка! Поц. Конец сороконожки.

Следователь, запрокинув голову, расхохотался.

– Блестяще!

И пританцовывая, пошел к Изотову.

– Как любил выражаться в таких случаях мой любимый певец Джеймс Браун: «Да-дирад-да, да-дирад-да, да-дирад-да!»

– Как?

– Да-дирад-да, да-дирад-да, да-дирад-да!

– А можно еще раз?

– Да сколько угодно! Да-дирад-да, да-дирад-да, да-дирад-да!

– А еще?

– Да-дирад-да, да-дирад-да, да-дирад-да! А расскажи-ка мне подробнее про буддиста.

...Визит к Цвиркуну на следующий день следователь начал с комплиментов. Правда, перед этим он спросил о крестах на доме Стряхниных, но поскольку Цвиркун сам терялся в догадках об их происхождении, перешел на общественную деятельность хозяина. Высоко её оценив, поинтересовался, как удалось добиться столь впечатляющих успехов.

– Ничто не сравнится с живым словом учителя, – наставительно промолвил Цвиркун. – Те, что с готовностью не испили амброзии наставлений своего гуру, умирают от жажды в пустыне бесконечных поисков.

Дальше, однако, следователь повел какой-то странный разговор, основную мысль которого, если она была, Цвиркун долго не мог ухватить, и в этом занятии напоминал себе их глупого пса, которого внучка гоняла по двору солнечным зайчиком. Трудно было понять, что стоит за словоохотливостью гостя: желание в застольной беседе поделиться своими мыслями или же он на что-то намекает и к чему-то ведет. Коснувшись опасностей сектантства и сектантской круговой поруки и не дав хозяину возразить, следователь внезапно сделал неожиданный разворот и завел речь о предсказаниях и предсказателях, и привел в пример какого-то средневекового, который, напро-рочив большой городской пожар, сам же его и устроил в назначенное время. Его последующие размышления – можно ли назвать предсказание верным, если его осуществил сам предсказатель, и является ли оно вообще предсказанием или только выдает себя за него? – эти размышления Цвиркуну уже совсем не понравились. До сих пор озадаченно внимавший и на всякий случай соглашавшийся, он, почуяв неладное, воспользовался первой же паузой и произнес:

– А Бонаротти?..

– ?

– Пушкин. Моцарт и Сальери. «А Бонаротти? Или это сказка тупой, бессмысленной толпы, и не был убийцею создатель Ватикана?» – с выражением продекламировал Цвиркун и продолжил: – Есть множество примеров, когда людская молва...

– В общем так! – оборвал его гость. – Всей вашей шарашкиной конторе в моем лице пришел кирдык.

– Что?!

– Плохо слышите? Тогда по буквам: Петр, Иван, Зинаида, Дмитрий, Елена и Цвиркун. Теперь понятно?

Цвиркун растерянно провел ладонью по шапочке на голове.

Следователь допил вино, со стуком поставил на стол стакан и, глянув на часы, сказал:

– Но возможны варианты.

#### IV

Когда я позвонил Кириллу насчет ключей, он предложил их занести. Мне его принимать у себя не хотелось, и я назначил встречу в том же заведении неподалеку от крепости, где мы встретились в первый раз.

В то воскресенье там был аншлаг. Местными отдыхающими и экскурсантами из Одессы были заняты и верхняя, открытая, площадка, и довольно просторный подвал, где меня за столом возле самой стойки уже ждал Кирилл. Рядом с ним сидел всё тот же вечно пьяненький сожитель матери Алисы Петя.

Хочу отметить, что эта встреча еще в большей степени, чем прошлая здесь же, отдавала странностью, о которой я уже говорил. Мы ведь и на этот раз сошлись почти спонтанно, через полчаса после моего звонка, однако по тому, что происходило дальше, встреча на случайную совсем не походила. Но ведь не готовился же Кирилл заранее к случайным встречам со мной! Ладно, оставим это, тем более что я сам толком не понимал, что именно меня смущало, да и до сих пор не в состоянии объяснить.

Чуть опередив меня, в подвал спустились знакомые Кирилла, которые, как я понял из разговора, прибыли с ним из Москвы, всё это время жили в Одессе, а теперь заехали навестить его перед отъездом. Их было пятеро: три молодых человека и две девицы. Придвинув к своему столу еще один и рассадив их, Кирилл наконец уделил внимание мне и предложил сесть. Требовать с порога ключи было неловко, поэтому я согласился на приглашение.

В подвале негромко звучала музыка, едва слышная за веселой разноголосицей; из угла доносилась английская речь – там сидела небольшая группа иностранцев с экскурсоводом-переводчиком.

Выбрав паузу в беседе с московскими знакомыми, Кирилл обратился ко мне:

– А помните, мы здесь, в этом подвале, так и не успели договорить о внезапных прозрениях? Слово «прозрение» я вспомнил, но вот чтобы мы об этом говорили?.. Я пожал плечами.

Кирилл почесал затылок, убрал с лица волосы и продолжил:

– Был такой случай с неким византийским, если не ошибаюсь, актером, решившим погрузиться над таинством крещения. После первого и второго погружения он еще гримасничал, отпущал уморительные комментарии, но при третьем Дух Святой сошел на него, и из купели вместо кривляющегося паяца вышел уже ревностный христианин. То есть совершенно другой человек. Абсолютно новый. Не имеющий ничего общего с тем, кем он был всего лишь мгновение назад. – Здесь Кирилл взял кувшин с центра стола, поднялся и стал разливать вино (я отказался). – Представляете? Раз! И всё твое прошлое – как куча ветхой грязной негодной одежды, которую остается выбросить или сжечь. Если для самого Бога его, твоего прошлого, больше не существует, то для тебя и подавно. Красота! Но как быть нам, современным людям, наследившим в этой жизни сверх всякой меры, и вдруг в силу каких-то причин, а чего только в жизни не случается, – преобразившимся? Вот видите?.. – Он показал на девицу, снимавшую его в это время на телефон. – Завтра я, может быть, буду гореть от стыда, вспоминая, что я здесь наговорил, постараюсь выбросить из головы, забыть, а она мне всё это и напомнит. Немедленно прекратить съемку! – шутливо приказал он девице и, отпив вина, продолжил: – Беда в том, что наш отказ от прошлого в таких случаях никем и ничем не освящен, и именно поэтому оно никуда не девается и не теряет своей силы. И чем больше ты изменился, тем больнее оно о себе напоминает. И спрашивается, как жить дальше?

Ну, как? Варианты есть, конечно... Вот, например, самый простой: постоянно помнить о том, что именно оно, твое проклятое прошлое, и привело тебя к преобразению, стало его энергией, топливом, на котором ты доехал до этого пункта. Есть, наверное, и другие.

Из того, что говорил Кирилл, взявший сразу интонацию полшутивого резонерства, я пока что понимал с пятого на десятое. Отчасти оттого, что не очень вслушивался, с нетерпением ожидая, когда он выговорится, чтобы получить ключи и уйти. День к тому же там, наверху, выдался самый расчудесный, с почти уже осенним невысоким ласковым солнцем и с теплым ветерком. В такую погоду только бы и сидеть на горячем пороге дома, запрокинув голову и сладко жмурясь, или дремать где-нибудь на берегу лимана, вслушиваясь в нежный плеск прибоя. Вместо этого я вынужден был слушать в полумраке подвала не пойми что.

– Однако, что я всё о каком-то преобразении? – продолжал между тем Кирилл. – Это меня византийский актер попутал. Подумаем лучше, как быть тем, кому это преобразование и даром не нужно, а вот прошлое в том виде, в каком оно есть, мешают. Как эту громоздкую махину развернуть так, чтобы приспособить к текущей жизни и даже с выгодой для себя? И недавно мы стали свидетелями такой попытки, когда один наш общий знакомый попробовал сей фокус проделать.

Взяв пустой кувшин, Кирилл встал и прошел к стойке.

– Я сейчас о нашем писателе, гордости нашего города, – сказал он, оборачиваясь на ходу. – Тем, кто не знает, о ком речь, лучше в этом не признаваться, потому что это стыдно. Стыдно не знать нашего известного писателя.

Кто-то из знакомых весело выкрикнул:

– Чоботов!

А кто-то еще и залихватски свистнул.

Отдав девице за стойкой кувшин, Кирилл встал лицом к залу, положил локти на стойку, и продолжил говорить, обращаясь уже не только к знакомым, но и ко всем, кто находился в подвале.

– Это был достойный вызов. Я имею в виду финт писателя. Но у нас для таких стрекулистов плохие новости. Оказывается, у прошлого, которым он готов так лихо распоряжаться, могут быть на него свои планы.

Вот это следует отметить особо – реакцию случайных слушателей на него с первой же минуты, и то, как он, повысив голос, с легкостью завладел их вниманием. Вряд ли кто из них знал, кто такой Чоботов и о чем вообще идет речь, и однако же все слушали с интересом. Все-таки был в нем этот дар публичного рассказчика. Хотя возможно его приняли за некоего ресторанного застейника, из тех, что приглашают посетителей петь караоке и участвовать в конкурсах. В таком случае в своем заблуждении они пребывали недолго. Тут надо бы еще упомянуть немаловажную подробность: кафе это, когда-то устроенное Кириллом Юрьевичем на месте старинного винного подвала, до сих пор принадлежало Стряхнинным, и потому Кирилл по старой памяти чувствовал себя в нем вполне по-хозяйски.

## V

– Отчего бы мне сегодня не побыть оракулом? – продолжал Кирилл. – Побуду немного. Итак. Представим теперь следующую картину. Проходят годы и годы, и всё у нашего писателя складывается самым прекрасным образом: книги пишутся и продаются, кино по ним снимается, деньги зарабатываются, известность растет, талант не иссякает... Аллилуйя! И главное. В жизни нашего писателя появляется новое лицо. Внук. Назовем его Ваней. Есть такое выражение: свет очей. Его писатель, как и все мы, не раз произносил иронически по тому или иному поводу, но только с появлением Ванечки понял, прочувствовал всем существом, что оно на самом деле значит: свет очей. Никогда и никого писатель так не любил. Да он, кажется, и любви-то не знал до появления внука. И вот однажды этот свет очей Ванечка, к тому времени уже юноша, является к деду писателю и происходит между ними такой разговор.

В это время в подвал спустились Степан Стряхнин и Козлик. Я так и не понял, как они там тогда оказались – случайно или по предварительной договоренности. Степан сразу же схватил протянутый Кириллом кувшин и, бодро крутя головой, стал разливать по стаканам, а разлив, побежал его наполнить, двойник же попросил у меня телефон и, отойдя в угол, с тревожным лицом что-то в него зашептал.

Кирилл все это время не умолкал:

– Слушай, дед, говорит не по годам развитый Ваня, тут такое дело. У меня есть друзья. Это замечательные ребята. Умные, образованные, талантливые. Для меня их дружба большая ценность и честь. И вот они, ознакомившись с твоим творчеством, обратились ко мне с просьбой кое о чем тебя спросить. Я понимаю, тебе их вопрос может показаться наивным, и, возможно, никто никогда тебя об этом не спрашивал, но они очень просили. С удовольствием отвечу, говорит писатель, спрашивай. Спасибо, говорит Ванечка, вопрос касается того, о чем ты не раз писал – о поедании твоими героями дерьма. Вопрос такой: а сам ты его пробовал? Станный вопрос, отвечает обескураженный дед. А для чего же нам дано воображение? Один известный критик... Нет, давай, пожалуйста, без известного критика, прерывает его Ваня, ты мне просто ответь, ты пробовал дерьмо на вкус или нет? Разумеется, нет! – отвечает писатель. Хорошо, соглашается внук, я так и передам друзьям: не пробовал. Впрочем, писателя согласие внука не совсем удовлетворяет, и он принимается с некоторым жаром рассказывать всякие интересные, сложные вещи, и даже опять зовет на помощь отвергнутого известного критика. И конечно же, все мы понимаем, что будь на месте Вани кто другой, он за такую дерзость тут же был бы разделан нашим писателем под орех, и уже в следующем сочинении уминал бы это блюдо за обе щеки – писатель не раз продельвал такое со своими недоброжелателями, но... Тут – «свет очей» и полная капитуляция. Терпеливо дождавшись конца горячих объяснений, внук кивает светлой во всех смыслах головой, вздыхает, и повторяет: я понял, понял, дерьма из-под себя, да и вообще никакого, ты не ел. Я это так и передам. Спасибо.

Еще в самом начале выступления Кирилла из подсобного помещения появились арендаторы заведения, два брата-кавказца. Один из них, постарше, более-менее знал русский, но, видимо, недостаточно хорошо, так что речь Кирилла ему дорастолковывала молодая официантка, девица из приезжих. Младший же брат русского совсем не знал, так что старший тут же пересказывал ему услышанное. Когда к выходу направился первый посетитель, на ходу заметивший: «Я вообще-то сюда поесть пришел», братья подошли к Кириллу, поздоровались с ним за руку и старший сказал:

– Кирилл, мы тебя уважаем, уважаем память твоего отца, но тут люди отдыхают, кушают, не надо, пожалуйста, больше так говорить. Скажи, что ты хочешь, тебе и твоим друзьям всё принесут.

Пока Кирилл их рассеянно слушал, подошел Степан Стряхнин и напомнил братьям, кому принадлежит заведение. Те вынуждены были отойти и продолжили тревожно перешептываться с официанткой. При живом Кирилле Юрьевиче они были бы более решительны, но в той ситуации несколько растерялись. Чуть погодя старший из братьев вежливыми жестами отозвал в сторонку меня и стал просить, чтобы я или увел Кирилла, или заставил его замолчать. Не знаю, почему он решил обратиться ко мне. Что я мог?

– Вы же видите, в каком он состоянии... – попробовал я объяснить.

– Слушайте, мы понимаем, мы ему тоже это сказали: отец умер, у тебя горе, то-сё, но зачем такие вещи говорить? Здесь кафе, люди кушают...

– Кажется, он заканчивает, – произнес я с надеждой.

И, увы, оказался неправ: всё только начиналось.

Выпив залпом полученный от девицы за стойкой стакан вина, Кирилл как ни в чем не бывало продолжил:

– И теперь, говорит внук Ваня, если можно, еще один вопрос от моих друзей и твоих внимательных читателей. Вот ты говорил только что о силе воображения, и этот вопрос как раз вообра-

жения и касается. Я бы хотел поговорить о рассказе «Оверкиль». Только, будь добр, заранее прошу, не надо никаких ссылок на критиков и умных слов про контекст, курс или там еще что-то. Не надо всего этого. Пожалуйста. Мои друзья технари, они не любят ничего лишнего. И избегают всего лишнего. Мы с ними ценим только то, что ценно само по себе и не нуждается ни в каких объяснениях и подпорках. Просто расскажи мне, пожалуйста, об «Оверкиле». Я не буду спрашивать, делал ли ты то, что там написано – естественно, не делал. Но меня интересует, как ты его писал, этот рассказ, и зачем. Так говорил Ваня, внучок. И я сейчас, для тех, кто не читал, поясню, что же это за рассказ такой, вызвавший интерес у любознательных друзей Вани. Но предвидя, что тема может шокировать и кто-то не захочет дальше слушать – забегу вперед и сразу сообщу, что закончилась эта встреча полным разрывом. Уходя от деда, мальчик убедительно просит его к нему не приближаться, забыть о нем. Вот вам финальный кадр. Писатель беспомощно глядит в спину отвернувшемуся от него навсегда внуку, а тот уходит, уходит, уходит... – мечтательно улыбаясь, зажмурившись, Кирилл повел помагающей ладонью к выходу, и все, кто находились в подвале, притихли, а Кирилл еще и приложил палец к губам. – Всё. Ушел, – заключил он и, мягко опустив ладонь, вновь повысил голос: – А теперь для тех, кто не читал – сам рассказ.

## VI

Тут я ненадолго прерву Кирилла. Дальше пойдет речь о рассказе «Оверкиль». Я о нем прежде не слышал и нашел позже. Рассказ из таких, что не каждый еще и признается, что его читал. Чтобы было понятно, с чем мы имеем дело, со всей возможной сухостью, буквально в двух словах передам сюжет. Герой «Оверкиля» (рассказ ведется от первого лица) приезжает к умирающей матери и совершает над ней, отходящей, бьющейся в смертельной агонии, чудовищное надругательство.

Мне в моем положении, ежедневно звонившему сестре, чтобы справиться о состоянии нашей матери, и ждавшему каждый день рокового известия, слушать выстуление Кирилла, когда я понял, о чем речь, было до невозможности отвратительно, иногда хоть уши зажимай, и только острое любопытство, чем оно закончится, заставляло терпеть эту муку. Я, признаться, надеялся, что Чоботов, дом которого стоял в двух шагах, как-нибудь узнает о происходящем, прибежит сюда, и тогда... Что произойдет тогда, я не представлял, и именно желание это узнать не позволяло мне уйти.

И еще. Дойдя до этого эпизода в своих записках, я столкнулся с тем, что и обойти его не могу, и в то же время так же, как тогда, в подвале, не могу справиться с отвращением. Передавать рассказ иносказательно, когда любой может с ним ознакомиться, было бы глупо. Да и важен тут был не столько он сам по себе, сколько пересказ его Кириллом с комментариями и глумливым смакованием некоторых фрагментов, которые он зачитывал с телефона. Поэтому я сделал так: сначала, сцепив зубы, всё услышанное тогда от Кирилла записал, а потом, прочитав и лишний раз убедившись, что видеть это в своем тексте я категорически не хочу, заменил невозможные для меня места точками, как это делалось цензурой в позапрошлом веке. Лучшего варианта передать объем сказанного, избегая содержания, чем эти цензурные отточия, я не нашел. Не исключено, что когда-нибудь, в будущем, я верну текст на место... А впрочем, нет. Никогда. Исключено.

Продолжаю с того места, где прервал речь Кирилла:

– Для начала, давайте-ка, я прикинусь дурачком, и поскольку рассказ ведется от первого лица, буду называть главного героя писателем. Нашим писателем. Итак, наш писатель (а он весь такой антропософ и теософ в вечных поисках истины, отчаяннейший эзотерик, бесстрашный исследователь самых темных сторон бытия) приезжает к старенькой матери и застаёт её при смерти. Ночью он сидит возле нее, наблюдает за её угасанием, и тут какие-то голоса начинают его убеждать, что вот она, прекрасная и единственная в своем роде возможность заглянуть за край бытия, по ту сторону видимого мира, и другой такой возможности не будет, и, дескать, древней истины,



где вход, там и выход, и наоборот, пока что никто не отменял. И вот наш писатель раздевает уже чуть ли не бьющуюся в агонии старушку-мать донага... И тут уже следует целый фейерверк самых живописных, хотя и не очень приятных подробностей. Так, например, у несчастной . . . . .

Слушая Кирилла, я с опаской поглядывал на стоявших у дверей в подсобку братьев. Бедные молодые люди, глядя на рассказчика, ожидали обещанного мной конца выступления, и, разумеется, не могли и подумать, о каком адовом непотребстве шла речь. Рядом с ними, раскрыв от удивления рот, стояла их толмачка, видимо, сообразившая, что её хозяевам лучше этого не переводить, да и сама, кажется, гадавшая, верно ли она понимает то, что слышит. Спихватившись, хозяева настояли на том, чтобы она продолжила, и она продолжила. Всё это время Степан Страхнин, пользуясь растерянностью персонала, находился за стойкой. Покопавшись там, он наконец подключил микрофон и сунул его племяннику, да еще ухитрился пустить фоном какую-то задумчивую мелодию. Мало того – вся эта чоботовская мерзость, смакуемая Кириллом, через динамики на летней веранде полилась на улицу. Некоторые наши мистически настроенные горожане потом утверждали (к тому же склонялась сестра Чернецкого), что в тот день Кирилл своим выступлением, и в особенности выносом его из подвала вовне, серьезно повредил защитную ауру нашего городка, и всё дальнейшее стало следствием этого повреждения.

Вооружившись микрофоном, Кирилл продолжил:

– «А потом ты берешь...» – говорит дальше Ванечка. «Это не я!» – вновь горячо восклицает наш господин сочинитель. «Да знаю я, что это не ты, – соглашается внучок. – Но ты ведь сделал всё, чтобы я читая представлял тебя. Рассказ от первого лица, имя у твоего переэдидившего Эдипа героя то же, что и у тебя. Так что, извини, но я рассказываю так, как твой рассказ отозвался в моем воображении, не больше того. А в нем, извини еще раз, именно свою мать и мою бабуку ты . . . . .

В эту минуту я опять поглядел на братьев – то и дело озираясь на Кирилла, они что-то наперебой, от вопроса к вопросу повышая голос, но пока еще негромко, спрашивали и переспрашивали, и еще раз переспрашивали у девицы-переводчицы, и та, размашисто кивая и обмахиваясь ладонью, шепотом отвечала то одному, то другому. Кирилл между тем сам налил себе вина, выпил, и рассказ его на этот раз, кажется, действительно стал приближаться к финалу.

– Переведя дыхание, внук Ванечка говорит: «Я понимаю, ты решил переплюнуть всех, кого только можно, и еще больше угодить своему любимому критику, и тебе это, наверное, удалось. Но как же мы? Твои дети, внуки. О нас ты подумал? Нет? А почему? Может быть, тебе не хватило воображения?» – «Может быть», – грустно соглашается уставший и уже желающий, чтобы все это

поскорее закончилось, писатель. «Какое, однако, странное тогда у тебя воображение... Кстати я не дорассказал, ты ведь дальше её еще и на живот переворачиваешь, рассказ ведь потому собственно и называется “Оверкиль”. Помнишь как ты там дальше . . . . .

. . . . . «Фуух! – вздыхает Ванечка, наконец закончив. – Мне вот даже пересказывать трудно, а ты это писал, правил, подбирал точные слова... И на все это воображения у тебя хватило, а на то что у тебя когда-нибудь появлюсь я, которому это может не понравиться – нет. Все вышло, что ли? Я, конечно, от твоей фамилии избавлюсь, это уже решено, но дело ведь не только в этом. Помнишь фразу: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»? Так вот: что же тогда должно быть на зубах у нас после тех же твоих, пусть и выдуманных, застолий с дерьмом? О прочем и не говорю. И вот о чем хочу тебя попросить. Не приближайся больше ко мне, пожалуйста. Держись подальше. Потому что от тебя всегда теперь будет им разить, пробовал ты его или нет». – «Я не пробовал!» – уже из последних сил вопиет в ответ писатель. И просыпается. Хотя, нет. Не просыпается. Потому что это не сон и всё происходит наяву. – Тут Кирилл энергично выкинул руку в сторону выхода и, придав голосу зычности, возгласил: – Чоботов, явись! (Вот, оказывается, и у него на уме было то же, что у меня.)

Все, кто были в подвале, повернулись к выходу и замерли. Прошла секунда, другая... И вдруг эту напряженную тишину ожидания разорвал душераздирающий гортанный крик в противоположном углу подвала, и, позабыв о Чоботове, который так и не появился, все, как один, оборотились туда. Это кричал младший из братьев. Видимо, до него дошел наконец смысл изложенного официанткой и переведенного старшим братом рассказа «Оверкиль». Лицо его было перекошено отвращением и ужасом, а в горящих глазах гнев мешался с изумлением. Глядя на Кирилла, он как будто пытался понять: с какой целью тот пришел рассказывать сюда, к нему с братом, эти не умещавшиеся в их головах истории, зачем?! Выкрикнув в воздух одно за другим несколько слов – очевидно, то были какие-то ругательства или проклятья, – он продолжил кричать уже на брата, попытавшегося его остановить, а после бросился к Кириллу. Ему наперерез ринулся Степан Стряхнин. Сорвались с мест московские гости. На помощь братьям подоспели работники заведения и откуда-то появившиеся, видимо, с рынка неподалеку, земляки братьев. Тут еще и со стороны лестницы послышались какие-то крики. Говорили потом, что некоторые прохожие, услышав эту мелодекламацию, останавливались перед заведением как вкопанные, и были такие, кто хотел выяснить, что за бедлам там внизу творится.

– Давай, Кирюха, жги еще! – кричал Степан, оттесняя недовольных от племянника.

Совершенно пьяный Петя, прорвавшийся сквозь толпу к Кириллу, схватив его за плечо, восторженно (вот что было у него на уме?) закричал:

– Кирилл, тебе в священники надо, людей исповедовать!

И тут же получил кулаком в лицо. Свой удар Кирилл сопроводил криком:

– А это передай сам знаешь кому!

Дальше началась свалка. Кидавшегося то на одного, то на другого Степана Стряхнина гурьбой повалили на пол, Кирилла прижали к стене, братья-арендаторы схватились между собой, их бросились разнимать, и освободившийся Степан Стряхнин опять бросился в толпу, но уже со стулом – все были словно в каком-то чаду. Разноязыкие крики, мат, визг девиц...

Ждать, чем закончится, я не стал, и, отыскав забившегося в угол Козлика, затребовал свой телефон.

– Как хорошо Кирилл выступил, правда? – проговорил он, придерживая мою ладонь.

Выдернув руку с телефоном, я бросился к выходу и, расталкивая толпившихся на лестнице, привлеченных шумом из уличных динамиков зевак, среди которых были и дети, бежал из этого сумасшедшего дома.

VII

В квартале от заведения я встретил спешившую навстречу Нику. Как я понял, ей позвонил Козлик. Она бросилась ко мне с вопросом о Кирилле.

– Вы еще можете успеть, – ответил я. – Он там устроил черт знает что. И я, конечно же, не получил назад свои ключи. Напомните ему, пожалуйста, когда он успокоится.

Всё это я выговорил, надо сказать, довольно зло, вспоминая попутно свое участие в её встрече с Чоботовым.

– И вы его бросили?

Я только руками развел.

– Простите его, простите, простите! Он же совсем больной, разве вы не видите! – горестно воскликнула Ника и побежала дальше.

Следом за ней по другой стороне улицы быстро прошел в ту же сторону Витюша.

Я не сделал и десятка шагов, как из переулка на меня вышел следователь:

– Вы не в кафе, случайно? – вырвалось у меня.

Он ответил, что только что отобедал, и спросил попадет ли он так на 2-ю Колодезную. Нам было по пути. Я искренне обрадовался нашей встрече и возможности насладиться наконец всеми приятностями этого тихого солнечного дня в неспешной прогулке и спокойной беседе. К тому же следователь был оживлен и словоохотлив. Пользуясь этим, я спросил, как продвигается следствие.

– Пока никак. Пока что намечается добротный такой висяк, – следователь очертил ладонями в воздухе крупный овал или скорее каплю.

Мне показалось, что он надо мной подтрунивает. Мы прошли улицу до середины, когда я спросил:

– Вы не к Цвиркуну?

– К нему.

– Тогда вам на ту сторону.

Мы перешли через улицу, и я в связи с Цвиркуном вспомнил о кукольнике:

– А Игорь Свистунов, артист, кукольник? Вы его уже видели, разговаривали с ним?

– Разумеется. А что ж вы не сказали, что он здесь оказался по-вашему приглашению?

Я кратко объяснил, что мы с Чернецким наняли его буквально на несколько дней и всё остальное время тот находился здесь по своему желанию. И наше дело совсем не касалось того, что произошло.

– Как знать. Витюша – это ведь тот дуэлянт? Чтобы драться на дуэли, нужно оружие. На вопрос, где он его собирался брать, ответить толком не может. Дальше подумайте сами. То есть для вас здесь, может быть, никакой связи и нет, но для нас, людей посторонних и не обремененных вашими знаниями, всё выглядит немного по-другому.

Я заверил его, что это всё только намерения, от которых мы как раз и пытались отвлечь Витюшу, позвав кукольника, и намерениями они остались, и уж к убийству старшего Стряхнина он точно не имеет отношения. На что следователь опять промолвил:

– Как знать.

– Ну а с кукольником? – спросил я. – Что-то узнать у него удалось? Или это тайна следствия?

– Да какая там тайна! Так, ничего особенного. Вот только насчет цветов он сказал, что когда ночью пришел к вам и умывался в вашем прудике, там уже лежал большой букет оранжевых георгин.

– Он так сказал?! – невольно воскликнул я. – Вы серьезно?

– Естественно. Я, кстати, заходил к вам на днях. Вас не было. Заглянул в ваш прудик – там действительно до сих пор лежат оранжевые лепестки. Я, правда, не большой в этом специалист...

– Но так это же он их и принес! И именно с этим я к вам тогда пришел, вы должны помнить!

К этому моменту мы уже стояли у дома Цвиркуна, и к калитке подошел, видимо привлеченный нашими голосами, хозяин. Следовательно, переключая внимание на него, поспешил меня утешить:

– Да не волнуйтесь вы так. Проверим, сравним, сопоставим... Выясним всё до минуты. Мы же тоже не пальцем деланные. От правосудия не уйдет никто.

На последних словах он повернулся к распахнувшему перед ним калитку Цвиркуну. Всё это говорилось им в чуть шутливым тоне, только мне было не до шуток. И хотя в присутствии Цвиркуна, тоже имевшего, как известно, самое непосредственное отношение к кукольнику той роковой ночью, мне продолжать не хотелось, я не удержался:

– Ну, пусть теперь только попадется мне на глаза!

– Он, кажется, в Одессу собирался.

– Может и в Одессе попасться. Встречу, убью паразита!

– Вы бы при мне такого лучше не говорили, а то мало ли... – предупредил следователь. – Завтра с ним что-то случится, хлопот не оберетесь. Язык мой – враг мой.

После того как мы разошлись, я попытался дозвониться к кукольнику, но его телефон не отвечал.

Чем закончилась встреча следователя с Цвиркуном, я уже описал выше.

## VIII

Вдгонку еще о некоторых впечатлениях. Прежде всего: несмотря на все отвратительные моменты – и те, о которых я упомянул, и те, о которых предпочел умолчать – история встречи Чоботова с внуком была изложена Кириллом ничуть не хуже, чем пятилетней давности история киллерши по имени Жизель Катигроб. Как я уже говорил, был всё-таки у него этот дар рассказчика. И так же, как тогда, и несмотря ни на что, было ощущение встречи с чем-то значительным. В провинции подобные вещи прямо выламываются из общего строя жизни, бьют в глаза. Добавлю еще такое наблюдение. Вспоминая две мои встречи с Кириллом – в подвале и у меня в Одессе – и сравнивая их с упомянутыми выступлениями, я пришел к выводу, что только в присутствии публики Кирилл становился красноречив и артистичен. Но было и еще что-то в его подвальном выступлении такое, от чего мне, будь я Чоботовым, стало бы как минимум не по себе (и, говорят, Чоботов буквально рассвирепел, узнав о выступлении Кирилла). Я бы назвал это вдохновением медиума.

Примерно так всё и было изложено мною у Чернецкого в ближайшую субботу. Из гостей кроме меня и Жаркова в тот вечер был еще Изотов, заглянувший после долгого перерыва.

Закончив, я услышал тихий коротенький смешок фотографа.

– Что тут смешного? – спросил я.

– Всё. Решительно всё, – поднимаясь, ответил Жарков. – Зажигалку в саду оставил, пойду возьму.

– Я сказал что-то смешное? – спросил я Чернецкого, когда Жарков вышел.

– Не знаю. Но он там тоже был.

– В кафе? Я его не видел.

– Я видел, – поднял руку Изотов.

– Но я и тебя не видел.

Изотов пожал плечами, а я вспомнил, что речь Кирилла, после вмешательства Степана, транслировалась на улицу, и таким образом услышать её можно было, сидя на летней веранде. И все же это скопление знакомых в одно время в одном месте показалось мне странным.

– Помнишь, ты рассказывал, как встретил Кирилла в том же подвале в первый раз? – обратился ко мне Чернецкий.

– Да, конечно.

- Он тогда говорил о поиске какой-то новой логики, способной изменить минувшее.
- Совершенно верно.

– А ведь то, что Чоботов потом предложил Нике во время их тайной встречи, как раз оно и есть. Во всяком случае, очень похоже. Не могло ли случиться так, что Кирилл о том же говорил прежде с Чоботовым, а тот этим воспользовался? То есть буквально использовал его идею?

- Вполне в духе этого прохвоста! – согласился я.

– И не могло ли это возмутить Кирилла? Он и в той безобразной встрече у Чоботова на что-то такое намекал. А если еще допустить, что Ника права и Кирилл не совсем здоров...

В свете заключительных слов Чернецкого о нездоровье Кирилла более понятными становятся и история с двойником, и равнодушие Кирилла к сыну, и его поведение у Чоботова.

Всегда имевшая склонность к некоторой усложненности, сестра Чернецкого, Анна, в свою очередь предположила: а нет ли в последних выступлениях Кирилла потребности повернуть разговор так, чтобы выговориться, а возможно и публично в чем-то покаяться, к чему он каждый раз ведет, но каждый раз не доводит, в виду крайней скандальности поведения, что на самом деле является малодушной уловкой, способом избежать откровенного разговора. То есть сам же проворачивает окружающих на то, чтобы ему не дали выговориться до конца?

– А вот это уже теплее. Только усложнять не надо, всё гораздо проще, – произнес за моей спиной Жарков. Я и не заметил, как он вернулся в кабинет. – Послушайте, господа хорошие, у человека убили отца, бывшая его жена стала вдовой убитого родителя и не пускает его на порог его же дома, у самого имярека перед этим появился общий с его сыном брат и скорее всего наследник всего отцовского состояния, а вот ему самому отец не оставил ни гроша... Вас не удивляет, что человек с таким набором несчастий посвящает речь какому-то Чоботову? Разве не бред?

– Может быть и бред. О том мы и говорим: человек болен, – сказал я. – А все тобой перечисленное могло только усугубить его...

- Чуть, – оборвал меня Жарков.

- Тогда что же, по-твоему, это было? – спросил Чернецкий.

– Есть такое выражение: горе побежденным. Вот это и было горе побежденного. Плач и скрежет зубовный.

- А подробней?

– Да, пожалуйста, могу и подробней. Кстати. Вся эта пафосная и сентиментальная чепуха с внуком выеденного яйца не стоит. К тому же, учитывая плодовитость Чоботова, внуков у него скорее всего будет не один и не два, найдется из кого выбирать. Я уже не спрашиваю, что это за дешевое шарлатанство: стращать человека его будущим, которое якобы тебе открывается? – тут Жарков, явно намекавший на мои слова о медиуме, насмешливо взглянул на меня. – Чего он вообще прицепился к Чоботову, не знаете? А я объясню. Но сначала о нём самом, о вашем герое. Над чем тут голову ломать, не понимаю. В Москве у него кончаются деньги, и он решает вернуться домой. Обычная история. Но при этом он пышно обставляет свой приезд – смотрите, не попрошайка едет, а вполне успешный человек, автор прогремевшего на весь мир бестселлера «Катигробы». Все силы и последние средства брошены на то, чтобы произвести нужный эффект. Тут тебе и шумная свита, и красавица-любовница, и, прости Господи, двойник. И что же? Весь этот карнавал разбивается об наглухо запертые двери. Вот так просто. В итоге: дома нет, денег нет, бывшая жена теперь злая мачеха, и последние, хотя и призрачные, надежды поправить дела гибнут вместе с папашей. Полный провал. Но мало того. Здесь сидит Чоботов, бывший прихвостень. Который, не отрывая зада от стула, высидел-таки себе успех и обскакал нашего столичного повесу с его унылыми картинками. Как к нему ни относись – Чоботов набирающий известность писатель. У него еще и семья, дом, дети. Ко всему этому неразделенная любовь, страсть. А что у Кирилла? Катигробы? Комиксы? В наших краях даже звучит нелепо. А, ну да, есть еще Ника, которой можно дразнить Чоботова и, как тряпичной куклой, лупить по голове. Всё. Помните то его выступление здесь сколько-то лет назад? Вы тогда небось полагали, что это только начало, старт. А оказалось, что дальше Катигробов ему двинуться не судьба. И это не гипотетический

внучок, это сама жизнь сказала: «Всё, дружок. У меня больше ничего для тебя нет». Так что все эти обличения Чоботова на самом деле не что иное, как, с одной стороны, попытка убедить себя в том, что может быть что-то хуже его собственного краха, а с другой, полный тоски и отчаяния вой о себе любимом. Он бы с удовольствием про себя такое послушал – увы: матерьяла нет. Но головы он вам заморочил знатно, если даже в его же откровенном признании своей никчемности вы прозреваете какие-то глубины. Ну и плюс его обычное кривляние. Вместо того, чтобы кричать: «караул! меня тут обобрали, оставили без копейки! И теперь я вообще полный ноль!», он опять выделяется и наводит тень на плетень. Я ему не верю, и мне его не жаль.

В том, что с такой страстью выговорил Жарков, было много верного. Но с его трактовкой, объясняющей выступление Кирилла лишь завистью к Чоботову, я, например, согласиться не мог – я ведь видел его лицо, не было там никакой зависти.

Мы еще поговорили в тот вечер, но к единому мнению так и не пришли. Также для меня остался неразрешенным вопрос: почему Кирилл для выступления выбрал встречу со мной? Или это все-таки вышло случайно?

Порой наше самовольное воображение проделывает с нами странные штуки, смысла в которых, сколько ни ищи, не найдешь. Так, перед моим мысленным взором всякий раз, когда я вспоминаю выступление Кирилла, предстает одна и та же черно-белая картинка, похожая на те нарочито неряшливые, с размытыми краями рисунки, которыми были проиллюстрированы многие книги в моем детстве. Я мог бы и сказать, что она приходит на память, поскольку с тех же детских лет мне хорошо знакомы все наперечет её подробности, как то: фонарь, высоко поднятый над сгрудившейся вокруг героя толпой, чей-то назидательно выставленный палец, рвущаяся с поводков пара собак, стоящая фертом и спиной к зрителю дородная женщина, хитрый профиль пьянчужки, незаметно подливающего в кружку вина из бочки, обширные черные тени, грозно нависающие с каменных стен и почти невидимого подвального свода, и проч. Картинка не совсем неподвижна и как будто дышит: фонарный свет, едва заметно мерцая, отдает желтизной, тени чуть шевелятся, а в тишине немой сцены чувствуется объем внезапной паузы. Под картинкой подпись курсивом: «И тут они набросились со всех сторон на нарушителя спокойствия, чтобы общими усилиями вытолкать его из подвала на улицу». Как это всё нарисовалось в моем воображении, зачем, и почему в таком виде – Бог его знает.

## IX

Между тем приближалась милая моему сердцу пора, и, возвращаясь из Одессы, я теперь нет-нет да и останавливался, чтобы спокойно полюбоваться живописными и, увы, уже недолговечными видами: то притихшей выжженной степью, то строгой синевой начинающего остывать моря, а на подъезде к городку – стройными рядами тяжелых виноградников, щедро увешанных созревающими гроздьями.

Среди примет подступающей осени были и вполне рукотворные: время от времени стали отключать свет.

В один из тех дней на перекрестке у светофора дорогу передо мной перешла жена Глеба Глебова. С распущенными волосами, в грубом платье на шнуровке, украшенном пряжками и бусами, с большой полотняной сумкой через плечо, она напоминала обозную маркитантку из фильмов о средневековье и уже была мало похожа на ту молодую привлекательную и несколько чопорную женщину, работницу мэрии, с которой Глеб Глебов приходил по субботам к Чернецкому. В их паре скорее он был при ней, чем она при нем. Всякий раз, начиная говорить, он просил взглядом у нее поддержки, а может и разрешения, и дальше поминутно с нею сверялся.

Я слышал об её возвращении в городок, но увидел после годичного отсутствия впервые. Мягко ступая в плетеных сандалиях, она прошла перед моей машиной, скользнув по мне приветливым и вместе с тем виноватым взглядом, и я так и не сообразил, узнала она меня или нет.

Как рассказали в субботу сестра Чернецкого и Жарков, звали её теперь каким-то редким труднопроизносимым именем (так-то она была Еленой). Днями она бродила по городу и безуспешно пыталась торговать собранными тут же, в крепости («крепостной сбор»), травами и кореньями, которыми была набита её сумка. Там же, в сумке, лежал небольшой бубен и компактное звуковоспроизводящее устройство. При каждом удобном случае, а таковой представлялся всякий раз, когда ей удавалось где-то выпить, она доставала и то и другое, включала любимые ею кельтские или еще какие-то в этом роде (тут я не знаток) мелодии и пускалась в пляс, колотя в бубен, потрясая распущенными волосами и то и дело с визгом задирая подол. От мужа она то пряталась, то шарахалась, делая вид, что его не узнает, он же не оставлял попыток завлечь её домой, – Глеб Глебов почему-то был уверен, что стоит ей оказаться в родных стенах, как она очнется от наваждения и вернется к прежней жизни. Узнав о появлении матери в городе, а может быть и где-то её увидев, девятилетний сын Глебова, как и его отец, совсем её не интересовавший, сразу же оборвал все дружбы и знакомства, почти перестал выходить из дому и занялся наведением порядка в квартире, чтобы показать отцу, что они нормально смогут прожить вдвоем, без этой женщины. И чуть ли не каждый день спрашивал у отца, когда они отсюда уедут. Скоро, отвечал тот, скоро. Глеб Глебов вроде бы и в самом деле собирался со дня на день уезжать, и возможно появление жены его задержало.

Я был немало удивлен, увидев её на следующий день у Вяткина, к которому после большого перерыва пришел поиграть в нарды, а заодно попросить, чтобы Ника через него передала мне ключи. Там же в тот день оказался и долго отсутствовавший Изотов.

Глебова сидела у Вяткина на кухне и ела омлет. При этом она, качая ногой и рассеянно называя дело делом кольца нарезанного лука на длинный мизинец, болтала без умолку. У нее была неприятная манера то и дело эдак иронически прихныкивать, так что, слушая её, постоянно хотелось прочистить горло, откашляться. Ни к кому конкретно не обращаясь, она рассказывала об оставленных в Одессе друзьях, ролевиках и реконструкторах. Изотов за ней прилежно записывал. Время от времени Глебова поднимала стакан с где-то раздобытым ею вином и весело провозглашала очередной тост, начинавшийся, как и все предыдущие, со слов: «А давайте-ка, други мои...»

Позже, когда мне пришлось интересоваться, как она попала к Вяткину, я узнал, что Елена Глебова в школьные годы посещала его театральную студию и была там на первых ролях вместе – с кем бы вы думали? – с Антоном Чоботовым.

Как оказалось, приходила она к Вяткину уже не впервые, и от её беспокойного присутствия у него каждый раз кругом шла голова. В тот день он играл рассеянно, то и дело прислушивался, привставал, словом, то была не игра, а сплошное мучение. О ключах я ему сказал, но был уверен, что он в ту же минуту о моей просьбе забыл – настолько его выбило из колеи присутствие гостьи. Звонить Нике самому мне не хотелось. Кириллу тем более.

## X

Назавтра был чудеснейший день. В сладком ничегонеделании я почти весь его провел на кушетке под орехом, с книгами и вином.

Умеренный ласковый зной. Нега. Тишина... И вдруг под пришедшим из степи стремительно набирающим силу ветром всё как зашумит, как, заметавшись, во всю ширь расшумится, как хлопает, затрещит, затрясется, и – коротко, но от души, пошумев – так же неожиданно стихнет и замрет, словно и не было ничего. И тогда в наступившем безмолвии, выждав минуту-другую, начинает взволнованно петь какая-нибудь крохотная, затерявшаяся в густой листве пичужка, и сразу пространство окрест, накрытое, как куполом, её несоразмерно громким свистом, приобретает странную комнатную гулкость и становится сказочно-чужим...

Свет в тот день отключили до начала сумерек, так что я еще засветло успел приготовить всё необходимое. И было уже совсем темно, когда с улицы позвали: «Хозяин!» Я взял настольный фо-



нарь с ужасным ядовито-синим светом и пошел к калитке. По ту сторону стояла Ника в кожаной мужской куртке. Она принесла ключи.

– Засомневалась, ваш дом или нет, – смущенно улыбаясь, сказала она.

Я поблагодарил ее, сказал, что она будто прочитала мои мысли, и предложил пройти в дом. Но она лишь прошла в калитку, отдала мне ключи («через порог нехорошо») и тут же вернулась обратно. Это было странно. Боялась она меня, что ли?

Так мы простояли еще некоторое время. Ника подтвердила, что Кирилл ждет какой-то важной встречи с Алисой, которая постоянно откладывается, и уж после нее они сразу уедут.

Я и во второй раз попросил её войти, но только спугнул этим, и она, попросившись, быстро пошла вверх по улице. Я вернулся в кухню. Делать в темноте было нечего; я переставил горевшую свечу в изголовье кровати и взял книгу. Вероятно, Ника опасалась, что разговор мог коснуться неприятных для нее тем, оттого и не захотела идти в дом, решил я, укладываясь. И надо же, только я об этом подумал, как услышал, теперь уже поблизости, негромкое, произнесенное нараспев: «Хо-зя-ин?» Я схватил со стола синий фонарь и вышел. За порогом стояла Ника.

– Наверное, это неправильно, – сказала она.

– Что неправильно? Проходите-проходите.

Она кивнула и мы прошли в дом.

– Садитесь куда хотите. Вам какой свет приятнее? Этот или...

Она выбрала свечу и села за стол. Я поставил свечу на центр стола и погасил фонарь. Некоторое время она молчала и, наконец, решилась.

– Вам, наверное, всякое понарассказывали обо мне, и у вас есть вопросы... Можете спрашивать что хотите. Я перед вами виновата, и поэтому отвечу на любые. Спрашивайте.

Вопросы. У меня они, конечно, были. И после того памятного разговора с Жарковым (я не верил в его циничную версию о том, что всё, что Кирилл ни вытворил с Никой, ей нравилось) их число только прибавилось, но... после её предложения я как будто не мог найти нужную интонацию даже для самого невинного, не говоря уже о прочих.

Мы долго сидели в полной тишине. И когда я наконец отказался спрашивать, а именно сказал, что вопросов у меня нет, она потупившись, произнесла:

– Спасибо.

Молчание наше, однако, продолжилось. Теперь мы могли бы поговорить о чем-то еще, но слова по-прежнему застревали в горле, да и ничего толком на ум не приходило. Словно всё повывлетало из головы в тот вечер. «Говорили же мы о чем-то в прошлый раз», – подумал я и спросил, чем она занимается в Москве. Она ответила, что ведет хозяйство, бывает, посещает музеи, выставки, но редко.

– А вот еще: ходила на курсы чревоушителей.

– Есть и такие? – удивился я.

– В Москве всё есть. Открылись рядом с домом, я и пошла.

– А... а зачем? Какова практическая польза?

– А никакой, – весело ответила она и рассмеялась легким милым смехом. – Гостей, когда приходят, можно развлекать. Или показывать в гостях. Хотите покажу?

– Если вам нетрудно.

– Жалко, что нет света. Поэтому будет выглядеть не так эффектно, – предупредила она и пригнула ближе к себе свечу. – Ну, вот, например. Стихи. Любите поэзию?

Спустя полминуты в комнате зазвучало:

Когда я тебя в первый раз встретил,  
не помнит бедная память:  
утром ли то было, днем ли,  
вечером или поздней ночью.  
Только помню бледноватые щеки,  
серые глаза под темными бровями  
и синий ворот у смуглой шеи,

и кажется мне, что я видел это в раннем детстве, хотя и старше тебя я многим.

Слышать измененный, сдавленный голос Ники, неизвестно как проходивший сквозь почти сомкнутые губы было странно и... неприятно. И насколько мне нравилось её свежее, улыбочное лицо, живо отзывавшееся на каждое, свое или собеседника, слово, настолько же отталкивающей показалась застывшая напряженная гримаса. А когда, ближе к концу стихотворения, моя гостья, вероятно заскужав, но продолжая чрево вещать, повела одними глазами по комнате и прошла по потолку, мне стало слегка не по себе.

– Но это не главное, – закончив, сказала Ника обычным голосом. – Главное, каким должно быть содержание. Наш учитель умел при этом еще и говорить чужими голосами. Это высший пилотаж. Он сказал, что у меня к этому тоже есть способности. Угадайте – кто это?

И после короткой паузы:

– Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелхнет, ни прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величаяя ширина.

Удивительно, но я узнал почти сразу. Еще более удивительным мне показался выбор Ники.

– Узнали? – спросила она.

– Да, – ответил я. – Цвиркун.

Мне не хотелось, чтобы она продолжала

– А вот еще.

Я сделал жест её остановить, но наперекор мне она зазвучала вновь.

– Все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то дьявольского трепака. Пыль подняли Боже упаси какую. Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя.

Для этого энергичного фрагмента она почему-то выбрала голос Вяткина и его ворчливо-неспешную манеру говорить.

– Пожалуйста, прошу вас, – попросил я. – Достаточно. Спасибо.

К вышперечисленным неприятным впечатлениям прибавилось тревожное недоумение: как она могла узнать, что за книгу я листал сегодня днем, лежа на кушетке под орехом?

– Ладно. Тогда последнее. – Глубоко вздохнув, Ника опустила глаза, а когда через минуту их подняла, я услышал: – Сынок, ты прости, что так всё затянулось. У самой уже нет никаких сил, и не знаю, когда это кончится. Да и тебя еще мучаю. Я же вижу, как тебе тяжело, как ты коришь себя за свои мысли. Не надо. В них нет ничего дурного. Всё ты правильно думаешь. – От выступивших слез всё передо мной расплылось, заколыхалось слепящей золотой пеленой, и, почувствовав, как грудь начинают теснить подступающие рыдания, я отчаянно замахал рукой. Но Ника, не сводя с меня глаз, продолжала: – Живым надо жить дальше. Разве я не понимаю? Я тебе даже вот что скажу. Мы можем помочь друг другу. У тебя сильные руки, а я не стану сопротивляться, и пока никого нет рядом, ты бы мог...

И тогда я закричал:

– Что вы делаете, зачем?!!

Я вскочил... И проснулся.

Никакой Ники в комнате не было. Да и комнаты не было. Я полулежал на кровати в летней кухне. Горящая свеча стояла не на столе, а у меня в изголовье, там, где я её поставил, собираясь читать. В тишине был слышен ровный шум включившегося холодильника – дали свет.

## XI

Я почему-то был уверен, что выступление Кирилла в подвале было своего рода прощальным словом, и он уедет в Москву вместе с друзьями, с которыми сюда приехал: с шумом появившись, так же, с шумом, и исчезнет. Но все оказалось иначе. Закавыкой, о которой говорил Козлик, были

деньги. Позже я слышал версию, что Алиса, узнав о прозвище, которым её наградила Кирилл, поставила ему, передав через Петю, условие – деньги и немедленный отъезд. Предлагала пять тысяч. Кирилл согласился. Откуда они взялись, эти пять тысяч? Якобы ими она расплачивалась за те пять лет, что он провел в Москве, по тысяче долларов за каждый год. Вероятно, в этом содержался какой-то унижительный намек. Я, как и многие, полагал, что оказавшаяся единственной наследницей всего нажитого Кириллом Юрьевичем, Алиса могла бы быть и пощеднее с его сыном и отцом своего ребенка. Впрочем, никто не знает, как развивались бы их отношения дальше, поэтому и говорить об этом нечего.

Домой впускать его она по-прежнему отказывалась, и встретились они в условленный день в квартире её бывшей ученицы, которую она взяла работать няней с появлением второго ребенка.

Дом в районе новостроек был одним из тех нескольких, что успели закончить. У подъезда стоял серебристый джип Алисы. Кирилл постучал, дверь была приоткрыта.

– Я здесь, проходи. Только приехала.

Он пошел на голос, в кухню.

Она встретила его знакомой гримасой – растянутые в улыбке поджатые губы и томно прищуренные, смеющимися глаза. Так она улыбалась когда-то ему, потом отцу, теперь опять ему, и так же будет улыбаться еще кому-то, подумал Кирилл.

– Выпить хочешь? – спросила Алиса.

Он отказался. Она достала из шкафчика на стене бутылку коньяка, две рюмки и, глядя за окно, мимо которого несло пыль и песок с разрытых заброшенных траншей, сказала:

– Идем в другую комнату, там хоть пейзаж повеселее.

Другой комнатой оказалась спальня с видом на палисадник. Кирилл встал у окна, а Алиса поставила бутылку с рюмками на ночной столик рядом с вазой, полной ярких осенних цветов, и села на застеленную кровать; из под вишневого покрывала выглядывал край свежей простыни.

– Я утром мог бы уже уехать, – сказал Кирилл.

– Ты про деньги? Извини, заминка вышла. Сегодня не получится. Но сейчас всё точно решим.

– Почему не предупредила, я бы сюда...

– Соскучилась. Да не пугайся ты. Замоталась просто, а когда вспомнила, подумала, что ты на-верное уже здесь, а мне все равно мимо ехать. Не переживай, сейчас договоримся. Дай подумать.

Пока она, упершись кулаками в кровать, выставив вперед налитую загорелую грудь в глубоком вырезе и запрокинув голову, думала или делала вид, он смотрел на нее – красивую, эффектную, уверенную в себе – и вспоминал, что происходило с ней в Москве по мере того, как он стал сходить с бывшими сокурсниками по училищу и их московскими друзьями и подругами. Как она сразу начала сдавать, на глазах превращаясь в недалекую провинциалку, за которую ему становилось день ото дня стыднее. Вспомнил её истерику с глупым хлопаньем глазами, когда заявил, что не собирается возвращаться. Тут-то все и открылось, все её расчеты и надежды. А он смотрел и диву давался: что за затмение на него нашло, как угораздило связаться с этой злой глупой бабищей? Она ухитрялась в считанные минуты доводить его до бешенства, и сказать по правде, он бы и не знал, что с ней дальше делать, может быть и убил бы. Слава Богу, появилась Ника. Слава Богу? И он не в первый раз поймал себя на мысли, что было бы лучше, если б он тогда это сделал.

Сейчас, спустя пять лет, ничего из тогдашнего, московского, в ней не было и в помине, как если бы не было и самих тех пяти лет, и она сидела перед ним такая же красивая и соблазнительная, какой была прежде. Коньячок в шкафчике, цветы у кровати, свежая постель...

– Фу! Голова что-то гудит, не соображу никак, – сказала наконец Алиса. – Слушай, я тут весь день то за рулем, то на ногах, умираю, хочу принять душ. Подождешь?

Она рывком поднялась, вышла, и скоро послышался шум воды, судя по которому, дверь в ванную осталась открытой.

Он повернулся к окну. В двух шагах отсюда, буквально через дорогу стоял дом Степана Стрягина, в который он ходил годами. Кстати, что там дядюшка предлагал рассказать? Что она ему предлагала?

– Кирилл, я там шампунь забыла в сумке на кухне, принеси, пожалуйста!

Он вдруг подумал, а хорошо бы её такую, как есть – нагую, мокрую, со спутанными волосами, горящую желанием – сгрести сейчас в охапку, бросить в машину и отвезти к дядюшке на очную ставку. Нереида в гостях у сатира, античное приключение. Однако волнение, с каким он вспомнил её наготу и тяжесть, подсказывало ему, что приключение, едва начавшись, здесь же, на этой кровати и закончится.

– Кирилл, ты несешь?

– Нет, – прошептал он себе, – нет-нет-нет.

– Кирилл?.. – слышал он, выходя и прикрывая за собой дверь.

## XII

Ветер нес мелкий колючий песок с раскрытых заброшенных траншей, и на мгновение Кириллу показалось, будто он, находясь в Москве, попал на незнакомую дикую окраину, о которой никогда прежде не слышал, но это не беда, и все, что надо сделать, узнать у прохожих, где тут ближайшая станция метро и как до нее добраться.

Оказавшись в центре, он зашел на рынок и выпил полулитровую пивную кружку прохладного белого вина, потом позвонил Пете и узнал у него адрес Холодка. Пришлось возвращаться по тем же улицам, по которым он только что сюда пришел.

У Холодка на его стук не открыли. Очевидно, не слышали – где-то в доме громко работал телевизор. Он толкнул незапертую дверь и вошел. Привыкнув к полумраку, пошел на звук. Дверь в комнату была чуть приоткрыта; коротко постучав, он отвел ее и встал на пороге.

Раскиданные по всей затхлой, провонявшей сыростью комнате видеокассеты и книжки в мягких аляповатых обложках, на полу возле печи таз с засохшим раствором, видимо, латали печь, да так и бросили, на подоконнике банка с недоеденными консервами и торчащей из нее вилкой – всё это при закрытых наглухо окнах. Едва войдя, отсюда хотелось бежать сломя голову.

Холодок проснулся и испуганно вскочил на ноги, увидев в дверном проеме Кирилла. Опомнившись, с трудом нашел около себя пульт и нажал на паузу. Заспанный, бледный, он уже около двух недель, сколько точно не помнил, выходил из дому только по вечерам, когда темно, к соседу за вином.

– Кино смотришь? – спросил Кирилл, досадуя, что не успел незаметно исчезнуть.

Холодок молчал. Потом кивнул.

– Вот, отца убили, слышал? – произнес наконец Кирилл.

Ему казалось, что по тому, как прозвучит здесь, в присутствии Холодка эта контрольная фраза с неопределенным двойственным смыслом (чьего отца: его или их?), он сразу поймет, братья они или нет. Вот еще бы понять, вернее вспомнить, зачем ему это? Для чего он пришел? Посмотреть на предполагаемого брата, с которым ни разу за всю жизнь не обмолвился и словом?

Посмотрел?

И как?

Нет, не то. Черт. Пока он бродил по этим комнатам, расплескал всё, с чем шёл.

Его вёл сюда какой-то мутный расчет, но какой? Ах, да, вот этот, нехитрый: успокоить себя тем, что братья у него могут быть самые разные, каких он себе и вообразить не мог – и такие, и сядкие, и эдакие – всякие. Эта детская мысль теперь вызвала у него нервный смехок.

Холодок всё это время стоял перед ним неподвижно, как окаменев.

Фраза об отце как повисла, так до сих пор и висела между ними в воздухе.

Так они простояли – в первый и в последний раз – друг напротив друга довольно долго, возможно братья, возможно нет. Других вопросов у Кирилла не было.

Нет, вдруг опомнился он, хватит с него братьев. И вообще, все это начинало походить на ловушку. Как будто, как только он решил уехать, городок начал вязать его по рукам и ногам. Алиса,

теперь вот этот несчастный. Не зря по пути сюда улица обернулась московской окраиной – это ему знак: бежать.

– Ладно, спи, – сказал Кирилл, помолчав, – я зайду как-нибудь позже... на днях...

И вышел.

Холодок опустился на кровать и только теперь смог свободно думать. Он слышал эту историю от покойной бабки и еще где-то. Но мать об этом молчала, значит, и не о чем тут было говорить. Но ведь зачем-то он пришел к нему? И именно сейчас, когда мать от него отказалась. И сказал, что придет еще. Так бывает, да: помощь приходит, откуда совсем её не ждешь. А еще не зря же там говорится, камень, отвергнутый строителями, встанет во главе угла... но... как же тогда быть с тем, о чем он и думать не хотел? Озноб колотил его всё сильнее и сильнее. Он расплакался. Плакал долго, согнувшись, обхватив себя руками, крепко вцепившись в рукава свитера и сжимая их еще крепче при каждом судорожном шумном вздохе.

### XIII

Двумя днями позже среди ночи загорелось кафе возле крепости – разбили окошко и бросили в подвал бутылку с зажигательной смесью. Пожар потушили не сразу, и кафе уже больше не работало. Такую же бутылку той же ночью бросили во двор Чоботова, но до строений она, слава Богу, не долетела, разбилась о плиты двора.

А утром у северной стены крепости обнаружили с проломленным черепом и разбитым лицом труп Кирилла Стряхнина. При нем не оказалось ничего мало-мальски ценного. Его выпотрошенная сумка валялась рядом. Рубашка на нем была задрана вверх и накинута на голову – его явно обыскивали.

В то утро было пасмурно, с лимана наплывал ключьями туман. В разгар следственных действий туда приехала Алиса Тягарь. Она бросилась к Кириллу, упала рядом с ним, обняла и зарыдала. Все, кто там были, разбрелись в стороны, опустив головы, или отвернулись. Ниже стояла, не решаясь подойти, Ника, а еще дальше, почти у самого лимана, Витюша. Рассказывали, что Алиса, видимо, потеряв счет времени, просидела рядом с Кириллом, положив ему ладонь на грудь, не меньше получаса. Пришлось вызывать водителя Стряхниных. Он и здешний участковый помогли Алисе подняться и посадили её в машину.

Как стало потом известно, в тот вечер Кирилл должен был получить деньги и на встречу с Алисой взял с собой Нику, которая, пока продолжалась встреча, ждала его неподалеку. (Кстати, зачем? что-то предчувствовал? или же заранее собирался отдать ей деньги и идти на встречу с кем-то?) По свидетельству Витюши, который в тот вечер шел следом за Никой и Кириллом, они его позвали, ласково поговорили и пригласили к себе попить чаю. В этот момент Кириллу позвонили. Он поговорил по телефону, не очень приветливо, но что именно говорил, слышно не было. После чего Нику в сопровождении Витюши отправил домой, а сам пошел на встречу. Телефон его уже через час не отвечал, но это не вызвало у Ники беспокойства, поскольку Кирилл часто, когда был чем-нибудь занят, его отключал.

Часов в десять вечера того дня, когда нашли Кирилла, к халупе Степана Стряхнина подъехала машина. Слепленный светом фар хозяин решил, что это Алиса. Предполагая важный разговор, он толчками отправил Козлика, пребывавшего с самого утра после известия о гибели Кирилла в глубокой прострации, подслушивать, а сам для куражу махнул вина треть банки. Но вместо Алисы на веранде появился следователь. Недолго там пробыв, он вернулся в машину с двойником Кирилла. Стряхнину пришлось отдать следователю паспорт постояльца, про телефон же, о котором заикнулся Козлик, глупо было и спрашивать.

Через четверть часа следователь и Козлик сидели в полутемном номере гостиницы друг напротив друга.

- Итак. Кирилл...
- Евгений.
- Что?
- Кириллом его звали, Кирилла. А я Евгений...
- В каком смысле? А-а, понял. Это ты решил так от пожизненного сплетлять. Посидишь за убийство в драке несколько годков, выйдешь по условному... Это в худшем случае. А в лучшем старшего Страхнина повесят на младшего, того еще на кого-то, а ты тут вообще не при делах. Ты
- Евгений. Такую ты себе перспективу набросал, да?
  - У вас же мой паспорт...
  - Кстати, когда это ты успел его подменить? Давай, давай, не томи душу, рассказывай, ночь уже.
  - Это мой паспорт! Это я!
  - Тихо, эй. Ты что? Мы в гостинице, рядом люди отдыхают.
  - У меня в Москве...
  - Про Москву вообще забудь, сразу говорю. Москва уже в прошлом, всё.
  - Я Евгений, Козлик. Зачем мне врать?
  - Я же только что тебе объяснил. Затем, что если ты Евгений, на тебе один труп – Кирилл...
  - Я не убивал.
  - ...а если ты Кирилл, то целых два – двойник и папаша. Что тут непонятного?
  - Можете Нику спросить или наших друзей, они подтвердят...
  - Что подтвердят? Что ты не убивал?
  - Да! Они меня знают.
  - Да они-то подтвердят. Но они все далеко, спят уже наверное, а мы здесь, бодрствуем. Так что там у вас с Евгением стряслось? Шантажировать стал, денег запросил?
  - Евгений это я. Приехал с Кириллом по его приглашению, вы проверьте, сами увидите...
  - Объясни мне тогда такой момент. Почему, если ты Евгений, а он Кирилл, с ребенком гулял ты, а его в родной дом на порог не пускали?
  - Говорят, им цыганка нагадала лучше не пускать... что-то такое...
  - Что нагадала? Что может прийти какой-то посторонний амбал и положить их там всех? Ну вот они и не пускали.
  - Нет.
  - Что «нет»? О! А давай, мы тебя на детекторе проверим.
  - Я согласен!
  - Это местные так Ахмедыча прозвали – есть тут один заслуженный мент.
  - Я...
  - Ахмедыч, он ведь как. Он сразу начинает бить – бьёт, бьёт, бьёт, бьёт, бьёт, бьёт, бьёт, бьёт, бьёт
  - еще ничего не спросив – бьёт, бьёт, бьёт...
  - Я не убивал.
  - Ты дослушай сначала. Бьёт, бьёт, бьёт, бьёт – и не имеет значения, готов ты говорить или нет – тупо бьёт, бьёт, бьёт. Пока не устанет. И вот только когда он устанет, сядет передохнуть и закурит – вот только тогда можешь начинать рассказывать. Времени аж целая сигарета. И никто еще не пренебрёг такой возможностью. Что тут скажешь. Мастер. Старая школа.
  - Послушайте, я...
  - Он на пенсии уже, но всегда готов прийти на выручку. Так я зову?
  - Что?
  - Мирослава Ахмедыча, зову? Мента. Что я в самом деле перед тобой тут распинаясь...
  - Послушайте, пожалуйста. У меня нет денег, были бы, я б уже давно уехал. Но у меня даже на дорогу нет... А так я бы дал, клянусь.
  - Деньги? Мирославу Ахмедычу?! Боже тебя упаси! Ты что? Он тебя тогда вообще убьет.

- Можно я...
- Не перебивай. Он это делает исключительно для души. Свою вложит, чтобы чужую вынуть, такой удивительный человек. У тебя вот есть душа?
- Можно я позвоню?
- Я тебе вопрос задал.
- Какой? Про душу? Я... я не знаю. Есть, наверное...
- Ну, как ты чувствуешь?
- Я верю в это... как его?... В реинкарнацию, в переселение. Значит есть, наверное...
- Так наверное или точно?
- Ученые вроде писали... Нет. Я не знаю. Честное слово. Как-то не задумывался над этим. Религия это не мое.
- Знакомая история. У меня вот тоже не сложилось. Ну, а если без реинкарнации? Как, по-твоему?
- Не знаю.
- Не знаешь. Хорошо. Мы сейчас это проверим. Где-то тут бумага была... вот. Вот ручка. Пиши. И говори, что при этом чувствуешь. Не торопись. Расслабься. Готов? Давай. Я, Кирилл Кириллович Страхнин...
- Я – Евгений!
- Опять двадцать пять. Если ты еще раз назовешься Евгением, я назовусь Мирославом Ахмедычем, и тогда у нас с тобой пойдет совсем другой разговор. Не зли меня.
- Я вас прошу, тут какая-то ошибка. Мы просто немного похожи и всё! Да и когда это было! Когда мы с ним познакомились, два года назад...
- «Немного похожи». Где ж похожи? У тебя вон лицо продолговатое, а у него разбитое. Чем бил, кстати?
- Я не бил! Клянусь! Зачем мне его убивать? Я даже ехать сюда не хотел, то есть хотел, но не на таких условиях.
- На каких «не на таких»?
- Ну, чтобы меня здесь за него принимали.
- Что, прямо так ему в лицо и сказал: на таких условиях не поеду?
- Нет. Но я тогда что-то такое подумал.
- Ясно. Спротивлялся как мог. Так это он перед отъездом, что ли, так раскабанел?
- Нет, раньше. Зимой еще. Вот, вы же сами сказали, что мы не похожи.
- Еще бы выяснить, кто на кого не похож. И кто из вас раскабанел.
- Не я!
- Вижу, что не ты – толку-то. Остается только выяснить, кто ты. А вот тут как раз и засада. Двойниками назвались, теперь расхлебывайте. Вы и так уже всех, кого только можно, запутали, всему городу мозги наизнанку вывернули. И мне в том числе. Паспорт, говоришь? А что – паспорт? Здесь вы как раз одно лицо. Вот ты утверждаешь, что это ты двойник. А ну ночью ко мне явится тень убитого и скажет: «эй, начальник, двойник это я». И что тогда? Кому из вас верить? Может, раскабанел-то как раз Евгений, а Кирилл, то есть ты, сделал такой финт, чтобы запутать нас еще больше? Чтобы на него, то есть на тебя, думали, что он, то есть ты, Кирилл, который только прикидывается Кириллом, а на самом деле Евгений. Хотя он-то и есть самый настоящий, стопроцентный Кирилл. Логично? Такие вот дела, Кирилл.
- Я Женя.
- Да пожалуйста. В конце концов, если Женя называл себя Кириллом, почему бы тебе не называться Женей. А я назовусь, как обещал, Мирославом Ахмедычем, мы с ним тоже совершенно не похожи. А Мирослава Ахмедыча назовем мной. И что дальше? Будем звонить мне, чтобы я приехал и разобрался, кто здесь кто?... Задумался? Теперь видишь, какой бардак на ровном месте вы тут устроили? Наслаждайся. А мы пока вернемся к вопросу, за что кто-то из вас грохнул другого. Чего не поделили? Деньги? Давай, рассказывай, что там с деньгами.



– Я не знаю. Кирилл должен был получить какие-то деньги и на следующий день мы должны были уехать.

– Это он тебе сказал?

– Да.

– Много денег?

– Не знаю.

– А ты кому-то об этом говорил?

– Я – нет. Никому. Только Варя, жене Чоботова.

– Ей-то зачем?

– Так получилось. Я пришел забирать у них свирель...

– Свирель это что?

– Свирель. Дудка. У меня в рюкзаке, показать? Я на ней паузы заполняю между стихами.

– Стихи сочиняешь?

– Ага. Она хорошая женщина, Варя, добрая. Чоботова не было, мы немного поговорили, попили чаю, попрощались... Я Евгений, клянусь!

– Ладно, черт с тобой. Раз ты настаиваешь, что ты Евгений, пиши: я, Евгений, отчество и фамилия... Готово? А дальше вот этот текст. И давай, не забывай рассказывать, что чувствуешь. Пиши. Что чувствуешь?

– Пока ничего. Я лист испортил, написал: «чувствую».

– Ничего. На тебе чистый. Пиши. И рассказывай. Сейчас чувствуешь? Ну хоть что-то?

– Я опять испортил.

– Вот тебе еще один. Ладно, пиши молча. Стоп! Так, может, ты потому и не чувствуешь, что пишешь от имени Евгения, а сам все-таки Кирилл?

– Я Женя.

– Ох, чует мое сердце, водишь ты меня за нос, Женя. Ладно, поверим. А куда деваться. Написал? Теперь дай палец. Любой.

– А вы меня отпустите?

– Теперь давай вот здесь промокни. Так. А сейчас что чувствуешь? Опять ничего? Странно. Так ты, Женя, поэт, значит? Если ты Женя.

– Да.

– Стихи пишешь?

– Угу.

– Может, считаешь что-нибудь?

– Только они у меня минималистские.

– Как?

– Минималистские. Минимум изобразительных средств.

– Ночью в самый раз.

– Читать?

– Валяй.

– Называется «Руки».

Тяни к нему руки, не тяни.

Тяни к нему руки, не тяни.

Не тяну к нему руки, тяну.

Не тяну к нему руки, тяну.

Тяни к нему руки, не тяни.

Тяни к нему руки, не тяни.

Не тяну к нему руки, тяну.

Не тяну к нему руки, тяну.

Тяни к нему руки, не тяни.  
Тяни к нему руки, не тяни.  
Не тяну к нему руки, тяну.  
Не тяну к нему руки, тяну.

Тяни к нему руки, не тяни.  
Тяни к нему руки, не тяни.  
Не тяну к нему руки, тяну.  
Не тяну к нему руки, тяну.

– Всё?

– Да.

– Действительно минимум. И запоминаются легко, прямо со слуха.

– Они Кириллу нравились. Почитать еще?

– Достаточно. Ты, Женя, вот что. Давай, подпиши, что ты тут понаписывал... Так. Отлично. Вот тебе небольшие подъемные – на дорогу, на пропитание, и чтоб сегодня же утром духу твоего здесь не было. Только мой тебе совет, не тяни. На, можешь докурить.

– Спасибо.

## XV

На похоронах Кирилла Стряхнина-младшего из всей нашей компании были только я, Чернецкий и его сестра Анна. Людей вообще было мало, с два десятка, не больше. И опять, как и на похоронах Стряхнина-старшего, возле Алисы оказался подвыпивший Степан Стряхнин, и я видел, как водитель Стряхниных отводил его, негодующего, в сторону.

Положили Кирилла рядом с отцом. Думаю, не мне одному в тот момент пришло в голову: вот и встретились.

На похоронах не было Ники. На обратном пути с кладбища сестра Чернецкого рассказала, что вчера Кучер повез Вяткина с Никой в Одессу к какому-то родственнику Вяткина, откуда она должна была ехать в Москву, а перед этим водил её к следователю, чтобы тот допросил и дал разрешение на отъезд. Большой неожиданностью для меня это не стало: услышав о гибели Кирилла, я первым делом позвонил Вяткину и рассказал ему о записке, которую Ника мне показывала.

Проводив Анну до перекрестка, мы с Чернецким пошли к лиману. По дороге он признался, что гибель Кирилла принесла ему некоторое облегчение. А до этого с таким же облегчением он встретил известие о гибели Стряхнина-старшего.

Я с удивлением уставился на своего спутника. Кажется, он не рад был, что пустился на откровенность, но, помолчав, продолжил:

– У меня тогда, при известии об убийстве Кирилла Юрьевича будто камень с души свалился. Именно так. Я сразу подумал, что это дело рук Кирилла, и самая первая мысль была такая: ну вот теперь его, слава Богу, задержат и на этом всё закончится. Потому что все это время, с той минуты, как я узнал о поисках оружия да еще после твоего рассказа о встрече с ним в подвале, я жил с мыслью, что Кирилл собирается покончить со всей семьей. Так на меня действовали его рассуждения об исправлении прошлого. Как его можно было исправить? Он же сам тебе сказал: никак. А значит... Ничего иного, кроме того, что всё это закончится кровавой бойней, вроде той из его истории о Катигробах, мне в голову не приходило. И, скажи на милость, что делать в таких случаях? Так и ждешь со страхом, что со дня на день это случится. И ведь не расскажешь никому. Да и что рассказывать? Предчувствия? И кому? Стряхнин отец и так сидел дома, носа не высовывал. Алисе?... Ужасное положение! Я настолько был уверен в этом страшном исходе, что иногда

ночью не мог заснуть. И когда Кучер сказал, что отвез Кирилла в Одессу, подозрения только усилились. Решил, что это он уже сам себя испугался, и если вернется, то только за этим. Поэтому с таким облегчением узнал, что убит один Кирилл Юрьевич.

Слушая Чернецкого, я вспомнил его веселое настроение в саду на следующий день после убийства и подумал, как странно: он радовался вот этому, а я алиби Кирилла.

– Вы до сих пор думаете, что это мог быть Кирилл?

– Сначала был уверен, потом не исключал, сейчас не знаю.

В разговорах мы дошли до берега лимана и вышли к причалу. На причале былолюдно. Приехавшие в крепость экскурсанты кормили чаек, по деревянному настилу бегали дети. Посреди этой шумной – с музыкой, детскими криками и хлопаньем крыльев – сутолоки стоял с камерой на груди, заложив руки в карманы и жмурясь на солнце, Жарков; был он заметно навеселе. На похоронах он держался от всех в стороне и ушел раньше.

– Как вам сегодняшняя вдова? – спросил фотограф. – По-моему она от погребения к погребению становится всё краше. Сегодня была как-то избыточно хороша. Что скажете?

– Ты много стал пить в последнее время, – печально промолвил Чернецкий.

– Ты считаешь?

– Я это вижу.

– Что ж, – вздохнул Жарков, – значит, пора надевать вышиванку и к Цвиркуну на переделку.

Ом мани падме хум, как говорится, приехали. – Он лениво отмахнулся и вдруг спросил: – А кто-то знает, куда как раз позавчера, часу так в восьмом, а то и в девятом, бежал Вяткин?

– Вяткин? Бежал? – Переспросил Чернецкий. – Мне трудно такое представить.

– Мне тоже, – поддакнул я.

– И тем не менее. Да еще как резво, без тросточки. Сам бы не поверил, если б не видел.

– И что ты этим хочешь сказать? – спросил я.

Жарков сделал преувеличенно, как он умел, удивленное лицо.

– Хочу сказать? О чем ты?

– О том, что твой вопрос про бегущего «как раз» в вечер убийства Вяткина, это, как я понимаю, какой-то намек. Только вот на что? Что мы теперь должны думать?

– Да думайте что хотите! Я всего лишь спросил.

– Ну конечно, – сказал я. – Так же, как ты всего лишь регулярно докладывал о прогулках Кирилла по крепости. Мне вот кажется странным, что он пошел туда на ночь глядя. Но ты так хорошо подготовил нас этими рассказами... И вот в итоге его находят там убитым.

– В итоге чего? Моих рассказов? А ты не рехнулся ли часом? Тогда может объяснишь, что ты имеешь в виду?

Я, честно говоря, и сам поразился столь странному завихрению мыслей, приведшему меня к абсурдному предположению о причастности Жаркова к случившемуся. А всему виной была его известная склонность ко всякого рода намекам и двусмысленностям. По этой причине я нередко срывался в разговорах с ним. Сорвался и на этот раз. Ничем другим свой выпад я бы объяснить не смог.

– Он идиот, – показав на меня ладонью, сказал Жарков Чернецкому и пошел прочь.

Чернецкий глядел на меня с интересом. Я пожал плечами. Сказать мне было нечего.

И всё же сообщение о бегущем Вяткине меня смутило. Дело в том, что в тот день и примерно в то же время, которое назвал Жарков, Вяткин явился ко мне в состоянии, в каком я прежде никогда его не видел, и затребовал назад свои ценности. Это был минутный визит, Вяткин торопился, и по всему было видно, что объяснять он ничего не собирается. Я и не стал его расспрашивать, молча вернул футляр, и он тут же удалился. И он действительно был без трости. На следующий день я, как уже говорил, узнав про Кирилла, сообщил Вяткину по телефону о полученной Никой записке, и таким образом у меня Ника и вещи, за которыми он накануне приходил, увязались в одно. Чем именно меня смутил рассказ Жаркова, я тогда так и не понял, да и не очень пытался. В тот день меня в связи с Вяткиным больше занимала мысль о том, что отвезти в Одессу его и

Нику он попросил Кучера, а не меня. Не скрою, меня это задело. Позже я узнал от Кучера, что ни к какому родственнику Вяткин везти Нику не собирался, а ответ её напрямиком в аэропорт и посадил на самолет. Тогда же Кучер рассказал, какая это была тяжелая поездка, как ему приходилось несколько раз останавливаться – Ника всё порывалась выйти и вернуться, и Вяткин, её уговаривая, буквально становился на колени.

## XVI

Во дворе у Чоботова следователя встретила жена хозяина Варвара и предложила подождать за столом. Пока он ждал, она принесла хлеб, баранки, варенье, масло и расставила чашки. Делала это она почти бегом, и всё время за ней как привязанная молча бегала девочка лет четырех; такой же, как девочка, белобрысый и загорелый, но чуть её младше мальчик сидел на пороге дома. Наконец хозяйка принесла два чайника, заварной и с кипятком, и в эту минуту из дома – потягиваясь и улыбаясь – вышел Чоботов в шелковом красном халате, босиком, с бутылкой наливки. Следователь поднялся ему навстречу. На извинения Чоботов махнул рукой и произнес в сторону летней кухни: «Рюмки». Через несколько секунд рюмки стояли на столе. Жена с детьми ушла в дом.

Хозяин и гость выпили вишневого наливки, Чоботов разлил чай, после чего выпили еще по рюмке. Было начало прекрасного нежаркого вечера конца лета. В такой вечер только и сидеть за столом во дворе и пить наливку, подумал следователь и сказал, что является большим поклонником романа «Сороконожка» и почти выучил имя героини. Половину имени так точно.

Во дворе вслед за детьми появилась жена Чоботова, но уже с младенцем на руках, переодевшаяся, в прозрачном газовом платке. Шепотом попрощавшись со следователем, она и дети гуськом пошли к калитке. Чоботов проводил их и вернулся за стол.

Выпили еще по рюмке, и Чоботов спросил следователя, где тот живет в Одессе. Следователь ответил, что живет там, где и родился, в самом центре, на Гаванной. На этом он не остановился и, вспомнив вскользь их тихое несытое житье с матерью, адвокатом по гражданским делам, при беспробудном пьянице отце, стал рассказывать, как зарабатывал сначала мойкой машин и продажей газет на Дерибасовской, а потом, познакомившись с Чюней, увлекся картами. Больше других игр любил очко. Дойдя до рассказа о своем первом крупном выигрыше, решил, что пора бы и при- тормозить.

– У вас был когда-нибудь мотоцикл? – спросил он.

– Бог миловал, – отвечал Чоботов.

– У меня тоже, потому что я его сразу же продал. Но вот это ощущение, когда берешь его за рога и он, как телок, валится на тебя всей тяжестью, и вы сразу становитесь единым целым... очень запомнилось.

– У какого-нибудь американского писателя из нынешних это бы обязательно вызвало эрекцию.

– Думаете?

– И к гадалке не ходи.

– Есть такие гадалки?

– Есть такие писатели.

– Тут я пас, современнее О. Генри никого не читал. А тогда, с мотоциклом, был просто рад такому крупному выигрышу.

– Хорошо рассказываете.

– Спасибо. Кстати, говорят, покойный Кирилл Страхнин, младший, был неплохим рассказчиком.

– Да, любил иногда позабавить публику. А я как – уже под подозрением?

Развалившийся в кресле следователь подобрал со стола хлебную крошку и показал себе-седнику.

– Ни на вот столько! С чего вы взяли?

– Мнительный очень, всего боюсь. Да и разошлись мы с Кириллом, скажем так, нехорошо.

Мало ли.

– А у вас у самого какие соображения на этот счет?

– Кроме самых общих, никаких.

– Не поделитесь?

– Да ну, это скучно, – Чоботов махнул рукой. – Но если в общем... Он всегда себя чувствовал принцем датским. Ну а кем еще может себя чувствовать провинциальный юноша, у которого с самого рождения перед глазами средневековая крепость, а отец местный король с запутанной личной жизнью? Теперь, когда его путь закончен, можно проследить маршрут – я собственно об этом. Еще наливки?

– Не откажусь.

Чоботов налил, чокнувшись, пригубил и продолжил.

– Мне всегда казалось, что мы живем в очень отзывчивой среде. Сто раз замечено: только чем-то решил заняться, как все необходимое само идет в руки, случайности выстраиваются в стройную систему и прочее. Ни один запрос не остается без ответа. А подражание это ведь тоже своего рода запрос. Правда, какие при этом будятся силы, неизвестно. Так что надо быть готовым ко всему. В том числе и к тому, что, пойдя нам навстречу, эти силы могут попутно внести поправки, пошалить. Так было и здесь, думаю. Вместо овдовевшей ветреной королевы-матери тебе подсовывают совсем уж не знающего меры в любовных похождениях отца. Но и тема матери не исчезает совсем и постепенно проступает в брошенной жене. Не сносив башмаков, в которых совсем недавно вышагивала с тобой по Москве, она заводит шашни с твоим отцом. То есть теперь в роли умершего короля оказываешься как бы ты сам, хотя ты жив, здоров и продолжаешь путаться с какой-то Офелией. Ну и по мелочам еще кое-что: брутальный брат отца, учеба на стороне и прочее. Всё это перемешано, переиначено и подано в неожиданных сочетаниях. Побочные темы становятся главными, главные уходят на обочину. По-видимому, сообразив, к чему идет, он попытался дистанцироваться от юношеских фантазий, придумал эти комиксы с Гамлетом, но было уже поздно. И не забываем, что остаются два мальчика и, может быть, вот там, у них, в будущем всё будет еще интереснее. Кирилл вот развлекался, переодевался, крутился перед зеркалом, а расхлебывать по-настоящему придется им. Но в эти дебри я и лезть не хочу.

– Ну, у вас и фантазия! А говорите: скучно.

– Моя фантазия тут не при чем. Я же говорю: скорее всего, все так устроено. А иначе было бы слишком скучно. Там, условно говоря, наверху, любят импровизировать, и слишком самонадеянно полагают, что ответ на запрос будет в точности отвечать твоим ожиданиям.

Чоботов помолчал.

– Ну а здесь не хватало только крови, без которой всё превращалось в дурной бесконечный сериал. Может быть, вот эта, уже сама по себе играющая логика его сюда и привела? То, что мотало его нехорошо в последнее время, тоже понятно. Трудно усидеть на месте при таком раскладе. Тот же Гамлет парень был деятельный, дураком прикинулся, свое расследование начал вести. Говорят, и Кирилл вроде бы что-то такое пробовал. Слышали, наверное, как он тут чудил?

– Его выступление в кафе?

– И не только.

– Кстати! Про оружие он у вас не спрашивал?

– Спрашивал, конечно. Он у всех спрашивал.

– И что вы?

– А что я? У меня оружия нет. Я ему напомнил адресок, где этого добра навалом, но его там и видеть не хотели, с порога гнали.

– Понятно.

– В общем, для внешнего, но не совсем постороннего наблюдателя вроде меня, с камнем вместо сердца, финал этой истории не явился такой уж большой неожиданностью. По-другому и быть не могло.

– Льшу себя надеждой, что сейчас, прямо во время нашего разговора, в вашем воображении рождается новый сюжет...

– Это вряд ли. Потому что уже сто раз обдуманно и передумано – меня ведь это тоже коснулось. Сначала он хотел сделать из меня Горацио, а когда я отказался, разжаловал до Гильденстерна и Розенкранца в одном лице. Мне это неинтересно. Хотя... Поживем – увидим.

## XVII

Беседа с Чоботовым, следовательно отметил два любопытных момента.

Во-первых, он то и дело ловил себя на том, что поглядывает на писателя из своего нового охотничьего интереса, прикидывая, как можно было повернуть встречу так, чтобы заполнить бумагу с подписью и отпечатком. Но с писателем он собирался встретиться еще, поэтому тему эту отложил, отметив только, что новый интерес день ото дня и как будто сам по себе набирает силу.

Второй неожиданностью стала потребность выговориться. Едва он коснулся картежной юности, как его понесло, да так, что стоило некоторого труда остановиться. И ведь было что рассказать! На обратном пути в гостиницу он с удивлением, как чужое, перебирал своё прошлое. Одна трёхкомнатная квартира Чюни с весёлыми матерью и сестрой чего стоила! Стычки, облавы и сутками напролет не прекращавшаяся игра. А шулер Яша, предложивший ему свое покровительство! Надо же, он и о нем почти забыл. (А какое у Яши было собрание карточных колод разного крапления!) История не из коротких, но главное – чем она закончилась: приди сначала в восторг, он Яше отказал. Он обожал *игру*, а то уже было что-то совсем другое. Вся та, может быть, по-своему увлекательная, возня не шла ни в какое сравнение с безупречной красотой *случайной*, лишь в общих чертах просчитанной удачи, с её волнующим предчувствием и её же сладким ударом под дых. Тогда это был нешуточный, мировоззренческий выбор.

Странно, но с самого того дня, когда мать заставила его поклясться больше не играть, он ничего из этого не вспоминал, будто она взятой с него клятвой наложила печать на все воспоминания, связанные с игрой. И, может быть, поэтому за столом у писателя он слушал себя с не меньшим удовольствием, чем рассказывал.

На следующий день следовательно всё это вновь обретенное прошлое выложил Изотову. И чем больше он обрался новыми подробностями биографии, тем сильнее его слушателя одолевали вопросы: кто я, что я при нем? сколько и чем это продолжится? чем закончится? Ответом на них стала заключительная история с гуттаперчевым, которую разогнавшийся и вошедший во вкус следователь преподнес как приключившуюся с неким его приятелем, прекрасно при этом понимая, что по тому, с какой осведомленностью он рассказывает, нетрудно догадаться, о ком на самом деле идет речь. Однако для Изотова содержание рассказа затмила его *прощальная* откровенность. Так – обнажая двигавшую действие скрытую интригу – раскрываются герои перед финалом. Или же перед неожиданным сюжетным поворотом. Что ж, если он за все это время не удосужился придумать свою историю, придется смириться с ролью в чужой. А еще так откровенничают со случайным попутчиком. В любом случае ясно одно – его роль здесь заканчивается. Он больше не нужен. Да он никогда и не был нужен следователю – пришло время признать эту очевидную истину. Всё. Конец фильма.

На улице был ветер, он не любил ветер, от ветра у него начинала болеть голова, да и вообще ветер в кадре – нет, не те рукотворные, еще и облагороженные рапидом дуновения, от которых захватывает дух, а вот эти бессмысленные порывы с неряшливо мотающимися деревьями и беспорядочно летающим мусором – всегда недосмотр, дурной тон. А теперь с ветром еще и уходил воздух, которым он дышал последние дни.

И издевательски живописно, как на открытке с прощальным приветом, стоял над крепостью в светлом вечернем небе молодой месяц.

Изотов направился в сторону черного, взбаламученного ночным штормом лимана, но тяжкое зловонье выброшенных на берег водорослей погнало его прочь. Поднявшись к крепости, пошел, не разбирая дороги, вдоль крепостной стены.

Ну что, добро пожаловать в новую старую реальность! Проклятье, проклятье, проклятье, проклятье, проклятье, проклятье, проклятье, проклятье, проклятье...

Так нельзя! бросался он к себе на помощь, ну нельзя же так! Ты и так получил немало, согласись. Он мог сюда не приехать, мог не появиться опять, мог исчезнуть, мог умереть, в конце концов. Тут Изотов приостановился и попробовал представить, что бы он в случае смерти следователя, почувствовал. Как угасание излучения происходило бы тогда? Как после его отъезда или как-то иначе?..

Нет, наконец очнулся Изотов, действительно, так нельзя.

Обессиленный, он остановился на склоне под камнем гимназиста Батумцева. Бросил сумку, сел, потом лег ничком, уткнувшись лицом в сложенные руки. Спустя минуту он увидел камень и себя под ним сначала сверху, потом со стороны берега, и вот уже размытая тень от камеры прошлась по гладкой, вульгарно отвечающей поверхности камня, и он зарычал в локоть на эту придуманную тень, на этот месяц, на этот ветер, на эту неумолимо надвигающуюся мутную пустоту. Конец фильма? Как бы не так! В том-то и дело, что он уже обречен видеть себя со стороны, ощущать в кадре, но только что это будет теперь? Любительский фильм? Гулкая скукота унылого сериала? Реалити-шоу для психа-одиночки? Или просто впихнутая в рамку домашнего видео та же рыхлая, унылая, что и прежде, жизнь, в которой без следа растворится всё, чем он жил и дышал эти дни?

Изотов один и другой раз стукнул кулаком по земле. Потом сел, достал тетрадь, ручку и некоторое время что-то быстро писал, торопясь успеть, пока светло. А закончив, долго смотрел на темнеющий в сумерках лиман. Так что же делать? Возвращаться и привыкать к прежней жизни? Или – что?..

И тут ему тоже страсть как захотелось выговориться. Пока он еще здесь, в этом большом фильме. Пришло время и для его длинного-преддлинного монолога.

Зайдя домой, он скрутил пару самокруток и отправился к Жаркову.

## XVIII

Холодок, опустив голову, негромко произнес:

– Потому что ты мной манипулируешь.

Был вечер воскресенья. Вернувшийся днем в городок Зять, проходя сегодня по центру, видел в Чистом переулке, как, загрузив кое-какими вещами машину, выезжала семья неместных домовладельцев. Уезжали еще не с концами, а скорее всего до пятницы, на рабочие дни, так что в доме наверняка было что посмотреть. И теперь Зять собирался пройтись ночью туда с Холодком. Тот, насупившись, молчал. С собой Зять принес и поставил на пол большую черную сумку, сверху бросил темные очки. Леру он еще не видел и боялся показываться ей на глаза после недельной оглучки. Лучше будет, если он появится не с пустыми руками.

– Что-что? Чего я с тобой делаю? – презрительно переспросил Зять. – А ну, повтори.

– Манипулируешь.

– Ты где словам таким научился? В своих книжках прочитал?

– Я так думаю.

– Чем тебе думать, баран? Чтоб я от тебя таких слов больше не слышал. «Манипулируешь». Манипулирую я твоей мамашей, когда её раком ставлю, а тебе я просто говорю, что ты должен делать, и ты это делаешь, понял?

Зять невольно коснулся ладонью горла при упоминании Леры. У нее появилась странная манера: в постели во время финальных торопливо-грубых объятий и захватов впиваться пальцами



ему в шею, а то и в горло. В сочетании с участвовавшими сценами ревности это действовало на него неприятно, и да, в связи с этим Зять в последнее время предпочитал ею, как он только что выразился, «манипулировать».

– Она меня спрашивала?

– Что?

– Ты глухой, что ли?! – закричал Зять. – Лера меня спрашивала?

Холодок не ответил. Неделю назад он от отчаяния поставил в соборе свечу за упокой раба Божьего Артемия, и на следующий день Зять исчез. Мать места себе не находила, забегала по три раза на день, спрашивала. Холодок был не на шутку напуган: нельзя было этого делать, нельзя! Тяжкий грех – желать смерти ближнему. Не выдержав, спустя несколько дней бросился опять в собор, стал молиться о пропавшем, поставил свечу за здравие, и тот через день появился. Теперь он видел, что Зять явно боится встречи с матерью и срывает злость на нем.

– Не спать! Смотри, вернусь, чтоб был готов, – предупредил Зять.

Через час забежал, потребовал денег, денег не было, потребовал выпить. Выпив, сказал:

– Сука твоя мутерша. Тварь однорукая. Пусть ищет себе такого же инвалида.

Слова эти прозвучали бы как музыка, если бы за ними что-то следовало, но увы, ни после них, ни после скандалов Зятя с матерью ничего не менялось.

– Я еще приду, жди, – сказал Зять и снова ушел.

За последний год жизнь Холодка изменилась совершенно. С появлением Зятя мать стала требовать, чтобы Холодок его слушался, и не хотела слышать никаких возражений. Потом и вовсе бросила, ушла полгода назад в дом умершей бабки, оставив его с Зятем один на один. Тот приходил когда хотел, иногда оставался ночевать после скандалов, грязно ругал мать.

Зачем такая жизнь? Разве им вдвоем с матерью плохо жилось? Ради нее он сделал бы что угодно. Да и разве не сделал? Нет-нет, он не хотел об этом думать и вспоминать. Поэтому он беспрерывно до одури смотрел фильмы и читал книги, надеясь ими выдать из памяти все то, что не хотел помнить. И в то и в другое он погружался с головой, иногда так глубоко, что его приходилось расталкивать. Истеричный Зять принимался лупить его, склоненного над книгой или уткнувшегося в экран, по голове чем придется, книжкой или кассетой. Холодок закрывался руками и забивался в угол.

Находясь уже который день как в дурмане, путая ночь и день, он совсем потерял связь с внешним миром и выходил лишь за вином. Среди ночи пробирался в погреб к соседу, у которого покупал вино, пока были деньги, и наеживал из бочки двухлитровую пластиковую бутылку.

Когда около полуночи раздался стук в дверь (Зять в любое время входил не постучавшись, и потому запрещал ему закрываться на замки), он, не веря своим ушам, подскочил. Кирилл! Как он и обещал. Кто же еще? И в голове опять, но уже во всю силу, заглушая все остальные, зазвучала радостная мысль, что Бог на место временно отрекшейся матери посылает ему в утешение и поддержку брата. А брат поймет. Брат разберется. Потому что, если они братья, то это ведь общая их беда. Он поймет и что-нибудь придумает. У них теперь и судьбы похожие: от одного отказался отец, от другого мать. Самое время им найти друг друга. И именно в такую трудную минуту он должен был прийти на помощь, и вот он пришел!

## XIX

Стукнувшись лбом о низкую притолоку, следователь вошел в комнату. В нос ударил запах затхлости. В глаза – плюшевый аляповатый ковер с оленями над кроватью. Точно такой висел в комнате у Чюни – еще один привет от покойного друга детства.

Радостно вскочивший на стук Холодок растерянно уставился на пришельца.

– Как ты тут сидишь в такой духоте? Замерз, что ли? Так на улице теплее, – сказал следователь и брезгливо осмотрелся.

Эк его занесло. После чудесной прогулки спящим городком с плывущей по-над крышами золотой луной, а до этого приятно проведенного вечера у мэра, с ужином в саду и картами на веранде – сунуться в эту душную зловонную нору надо было умуздриться. Но раз уж зашел... Он представился и потребовал паспорт. Получив, прошел к подоконнику, поскольку стола в комнате не было. Там достал из сумки лист бумаги и некоторое время, пристроив лист на коробку с касетой, что-то писал.

Холодок, опустившись на кровать, глядел как заворуженный. Этот неожиданный, с иголочки одетый ночной гость, красавец, чужак – он никогда таких и не видел вблизи – словно вышел из какого-то из этих, сто раз пересмотренных, перепутанных в голове фильмов.

Закончив писать, следователь вернулся к кровати и, прежде чем протянуть Холодку лист, завел его за спину и спросил:

– Значит вы тогда думали, что Кирилл в городе?

– Мы не думали! – воскликнул Холодок.

– Ну, как же не думали? Конечно думали. Просто перепутали его с двойником, так?

Холодок молчал, поняв, что сказал только что лишнее.

– Ну, не думали так не думали. Хорошо хоть это выяснили. Ладно. Я сегодня устал немного, спать хочу. Ты, давай, подпиши мне пока тут кое-что для отчетности, а завтра-послезавтра спокойно поговорим. Давай.

Следователь облизал запекшиеся губы. Очень хотелось пить, но он решил потерпеть до гостиницы.

Холодок читал и перечитывал бумагу. Понимая написанное, он не понимал, зачем оно этим странным человеком написано. Наконец, уставившись в листок, Холодок просто замер, перестал шевелиться.

– Ты что, заснул? – не выдержал следователь и щелкнул по листку ручкой.

Холодок вздрогнул и, опустив лицо, замотал головой.

– Ручку возьми, – сказал следователь.

Холодок продолжал мотать головой.

– Это нет, это другое... – наконец вымолвил он.

– Что – другое? Где? Ты подпиши сначала, потом будем...

– Так не честно. Я не буду, я его не убивал! За что?

– Кого не убивал?

– Никого! Никого не убивал! Никого!

– А я разве сказал, что ты кого-то убил? Не убивал – молодец. Подписывай.

– А тогда за что?!

– Что?

– За что тогда, за что?!

Плачущие крики и весь отвратительно-жалкий облик этого полудиота вывели следователя из себя:

– Что значит «за что», пидарасина ты тупая?! Что значит – за что?! Тебе говорят подпиши – подписывай! Ну!..

Следователь толкнул кулаком с зажатой ручкой Холодка в голову, повыше лба, и тот, отшатнувшись, привычно закрылся руками, так же, как закрывался от Зятя.

– Ладно, всё. Спокойно, – сказал следователь. – Сейчас... Только ты как хочешь, а я...

Он подошел к окну, ухватился за массивную медную задвижку, с трудом выдернул её вверх, а затем, держась за неё же, поскольку ручки не было, стал вытягивать толчками створку окна из рамы. Створка с визгом поддалась, открылась, но вместе с этим задвижка легко, как во сне, вместе с шурупами вылезла из прогнившего дерева, так же как раньше, видимо, вылезла ручка. Удерживая равновесие, следователь шагнул назад и едва не упал, вступив в алюминиевую миску и на ней поскользнувшись. В это мгновение Холодок вскочил с кровати и бросился в открывшийся проем. Стуча в пол надетой на ногу миской, стервенея еще и от этого, следователь метнулся к нему. «Ку-

да?!» Левой рукой он поймал Холодка за ворот рубахи под свитером, а задвижкой в правой сначала угодил в стекло так, что посыпались осколки, а затем его же ударил Холодка. Удар пришелся в висок, и Холодок повалился боком в угол, под окно.

Следователь бросил задвижку на подоконник и осмотрел запястье. Порез был длинным, с выходом на тыльную сторону ладони, но не глубоким и больше походил на царапину. Сбив об стену миску со ступни, он вытянул из кармана платок, сложил его по диагонали и обвязал руку.

Лежавшему под окном Холодку, судя по одной только ломанной позе, уже было не помочь. Однажды у него во время допроса был случай со смертельным исходом: дядечка лет шестидесяти свалился кулем со стула, сердце. Теперь будем считать два. Следователь открыл до конца окно; сходил, подобрал с кровати и спрятал в карман листок с текстом договора. Не следовало идти сюда пьяным. Ну, хотя бы не настолько.

Холодок был мертв, но его отчаянный крик до сих пор стоял в ушах, а точнее, вновь и вновь повторялся, и на фоне той особенной тишины, которую всегда распространяет вокруг себя мертвое тело, звучал оглушительно громко. Где он читал или слышал, что как-то по-особенному, прямо врезаясь на всю жизнь в память, кричат раненные зайцы? Он сам однажды подростком хотел убить кролика, прослышав, что это можно сделать одним крепким щелчком по темечку. Возня с выкраденным из клетки хозяйским кроликом (они с матерью жили тогда здесь, в городке) закончилась тем, что кролик сначала оказался у него за широкой пазухой майки, а потом, оставив пару царапин на животе, вывалился на землю и запрыгал прочь. Стоп. А причем тут это всё: зайцы, кролики?.. Откуда вообще в последнее время лезет весь этот зверинец: сначала трахнутая немейская курица, потом воробьиша, теперь вот кролики с зайцами. Кто следующий, олени? Олени?! Эти-то откуда? А, вот, коврик на стене. И всё-таки, какого черта этот идидот полез в окно, когда мог убежать через дверь, и какого черта он в него вцепился? Черт, черт, черт! Хорошо же всё было.

Холодок тем временем не унимался, продолжал кричать как заведенный, без передыху, и собиравшегося уходить следователя взяло опасение, что вынесенный за порог крик может донимать его еще долго. Лучше бы избавиться от него сейчас. Надо только дожидаться, чтобы он угас, сошел на нет здесь, у остывающего тела. Способ избавления был явно навеян правилом, которого он неизменно придерживался, когда перепивал, собираясь, кстати, воспользоваться им и сегодня: не хочешь проснуться с диким похмельем – не ложись спать слишком пьяным, хоть немного да протрезвей.

Следователь поднял опрокинутый табурет и сел напротив Холодка. Крови он не заметил, она, должно быть, подтекла под кучу грязного тряпья, рядом с которой оказалась голова заметно побледневшего юноши.

Так прошло сколько-то минут. Двойной крик «За что? За что?», похоже, и в самом деле раз от разу становился тише. В какой-то момент следователю показалось, что крик затухает не сам по себе, а благодаря его усилиям, как если бы он с каждым разом загонял крик обратно, всё глубже в Холодка, и мелькнула безумная мысль, что побочным результатом его усилий может стать возвращение Холодка к жизни, как это бывает при искусственном дыхании и массаже сердца: еще немного – и покойник, содрогнувшись, шумно втянет воздух, закашляется и откроет глаза.

Из-под тряпок выползла крупная серая мокрица. «Внимание, сороконожка», – отметил её появление следователь, отходя от морока, и тут услышал шорох снаружи. Обернувшись на него, он поднялся, постоял и шагнул к окну одновременно с треском и коротким быстрым шумом движения где-то в глубине сада, за пределами освещенности. Дёрнулся обратно выключить свет, но сразу, навскидку не нашел выключателя, да и поздно было: за окном всё стихло. Собака? Лиса?

Следователь взял с подоконника задвижку, обгёр её лежавшим на кровати байковым одеялом и швырнул под окно. Там же, у кровати, обратил внимание на большую черную сумку – с брошенными сверху темными очками, она стояла на полу, как чужая. Взявшись за ручки сумки, он стянул очки внутрь и прошел с нею к двери. Еще раз оглядел комнату. Нашел под висевшей на гвозде штормовкой выключатель и погасил свет. А ведь кровь-то там, под тряпками, должна быть; гуттаперчевый бы сказал: «какая разница?» Постоял, подумал, толкнул дверь и вышел.

## Часть четвертая

## I

Сестра вдруг сама (я так и не осмелился предложить) решила забрать мать домой, и когда мы её перевезли, попросила меня остаться у нее на ночь. Я провел там две. Это было со всех сторон удачное решение. Матери дома стало заметно лучше, а вследствие этого и все как-то сразу повеселели. Иллюзий никто не питал, все знали, к чему идет, но тем теплее нам было вместе в эти дни. Забрехали даже какие-то, вполне, впрочем, бессмысленные надежды, на которые чуть что невольно сбивается сердце, дай только повод. Вечером на третий день, перед тем как возвращаться в городок, я отправился к себе посмотреть, что там и как.

Странное это ощущение – войти в квартиру, которая как бы еще не знает, что её постояльца нет в живых. Первым делом я раздвинул все шторы, распахнул все окна, открыл двери между комнатами, и моя приятно просторная, светлая квартира быстро наполнилась уличным и дворовым шумом, уже моим шумом; к этому я еще громко, так чтобы слышать на кухне, включил телевизор. Всё, что было в холодильнике, я сгреб в пакет и снес в мусорный контейнер, рядом с контейнером оставил початую бутылку коньяка и непчатую вина – пусть бомжи помянут. Когда вернулся, по телевизору выступал работник рыбнадзора, который по части красноречия мог бы составить нашему Кучеру серьезную конкуренцию. Он говорил: «Я увидел у гражданина в руках прибор, которым извлекаются из воды водные живые ресурсы». Я выключил телевизор, включил приемник и, найдя самое веселое из всего, что там было – что-то балканское, – сделал погромче. Была мысль проверить тайник, но в последнюю минуту я передумал, отложив проверку до того времени, когда мне будет уже все равно, копался там Кирилл или нет.

Я заваривал себе на кухне чай, когда в дверь позвонили. И тут у меня произошла удивительнейшая встреча. За порогом стояла невысокая молодая женщина, загорелая, но еще и от природы смуглая, ярко накрашенная; в черной шелковой блузке, очень короткой юбке, на высоких каблуках.

– Здравствуйте. Мне нужен Кирилл Стряхнин, – сказала она.

– Его нет, – ответил я.

За моей спиной гремела веселая мелодия, и пока я обдумывал, как быть, сходить ли сначала выключить музыку и тогда уж сообщить ей о гибели Кирилла или же пригласить её в квартиру, а потом выключить музыку – слишком уж был неуместным фон для такого сообщения, – она быстро проговорила:

– Очень хорошо. Передайте ему, когда появится, что была Джульетта и просила больше к ней не ходить и её не искать. Это серьезно. И в его же интересах. У меня всё. До свидания.

Она развернулась и быстро пошла вниз. Судя по её лицу и поведению, она и в самом деле была рада, что не застала Кирилла. В тот момент, когда я раскрыл рот, чтобы всё-таки сообщить ей скорбную весть, она, ступив на площадку между маршами, обернулась и произнесла уже с явной угрозой:

– Пусть считает, что легко отделался!

И тут меня осенила такая ошеломительная догадка, что я, позабыв о своем намерении, не удержался и вдогонку ей почти выкрикнул:

– Ваша фамилия Катигроб?

Она остановилась. Постояв, обернулась и спросила:

– Вы его друг?

– Можно и так сказать, – ответил я, радуясь и своей догадливости, и тому, что не дал ей уйти.

Она достала из сумочки листок бумаги и показала мне.

– Он оставил записку с этим адресом и телефон, но телефон не отвечает. Поэтому я собственноручно пришла, а не для того чтобы его увидеть. Может быть, мне тоже ему записку написать? Я войду, можно?

Она еще спрашивала!

Я проводил её в комнату, к столу, и, выключив, наконец, музыку, выдвинул перед ней стул.

– Дать вам бумагу?

– Зачем? Я прямо здесь, на обороте.

Она села, положила перед собой сумочку и попросила разрешения закурить. Я сходил на кухню за пепельницей.

Она долго сидела, курила, глядела в окно; чтобы не мешать, я опять вышел, а когда через несколько минут заглянул в комнату, она, комкая записку, сказала:

– Нет. Один мат на уме. В общем, лучше вы, на словах. Могу только повторить: пусть больше не суется. Тем более, что я там не живу.

Пришла со скандалом и угрозами, а юбку надела короче некуда, невольно отметил я, когда она, побросав в сумочку записку, сигареты и ручку, поднялась.

Я хорошо запомнил, и это было нетрудно, как звали всех героев истории, которую рассказывал Кирилл у Чернецкого пять лет назад. Главную героиню, снайпершу, звали Жизелью, её брата-мясника Гамлетом, отца Тарасом и мать Джульеттой. В полумраке парадной моя гостья показалась мне кукольно-юной, но стоило ей выйти на свет, как она сделалась на десяток лет старше, ну и, скажем так, опытней, однако до матери взрослой дочери всё-таки не дотягивала. Меня разбирало такое любопытство, что я уже не в силах был сообщить ей о гибели Кирилла и тем самым закончить встречу, ничего не узнав.

## II

– Значит вы и есть та самая Жизель Катигроб? – спросил я.

– Что вы глупости говорите? Извините. Но, во-первых, что значит та самая? Что у меня общего с этими рисунками, кроме фамилии? А во-вторых, Жизель – имя моей матери. Которую этот придурок в глаза не видел. Зачем он это сделал? Она-то тут при чем?

– Простите, я этого не знал. Может быть, ему просто понравилось имя? Жизель это вроде бы стрела в переводе с древнегерманского, – предположил я.

– А, ну тогда конечно! И теперь в его поганых комиксах моя мать воюет со своим сыном.

– То есть – с вашим братом? А зовут его?..

– Вы что, их не видели, эти комиксы?

– Только слышал о них. И представить не мог, что за этими именами стоят живые люди. С ума сойти. – Удивление мое было самым искренним. С кем с кем, а с героями произведений мне встречаться еще не приходилось. – Так его зовут Гамлет?

Джульетта взглянула на меня с сочувствием.

– Да, его зовут Гамлет. В общем так. В той квартире, куда Кирилл приходил, я уже давно не живу, её снимает знакомый Гамлета. На Кирилла мне плевать. Но брат у меня человек горячий, и вот за него я боюсь. Даже думать не хочу, что будет, если он узнает, что Кирилл здесь.

– Может быть, он собирался просить у вас прощения?

– Он уже просил один раз прощения в Москве у брата три года назад и давал обещание прекратить. И что? Нет, второй раз, думаю, такое не пройдет.

– Я опять-таки ничего, конечно, не знаю, но... А если бы Кирилл вдруг решил вернуться в наши края... – предположил я, окончательно распроставшись с мыслью открыть ей правду.

– И теперь хочет через меня заручиться у брата обещанием спокойной жизни? – подхватила моя гостья. – Раньше об этом надо было думать! А сейчас всё слишком далеко зашло. Есть вещи, которые изменить невозможно. К сожалению. Короче. Мой ему совет: пусть забьется куда-нибудь поглубже и сидит не отвечает.

– Можно посмотреть записку?

Она удивленно взглянула на меня и, присев на край стула, полезла в сумочку. Я опустил голову.

– Можете оставить её ему, – сказала она, расправляя и выкладывая записку передо мной. – Только передайте всё, что я говорю.

«Заходил несколько раз, не мог застать. Если не трудно, зайди, пожалуйста, я здесь рядом (адрес) или позвони (номер телефона). Надо поговорить. Кирилл», – прочитал я.

Про извинения от Кирилла я сказал так, наобум, но теперь, при взгляде на записку, эта мысль получила неожиданное развитие.

– Могу я вам задать один бестактный вопрос?

– Лучше не надо. Мне пора. – Она поправила ремешок сумки на плече. – Ну, хорошо, задавайте, а я решу, отвечать или нет.

– Хотел спросить, между вами и Кириллом что-то было?.. – начал я, и тут же скороговоркой поправился: – Нет, не так, извините: я хотел сказать, было ли с его стороны что-то... Иными словами: он был в вас влюблен?

Она оживилась и как будто обрадовалась.

– Вы к тому, что комиксы это мсть? Конечно! А что же еще? И если бы это касалось только меня – ладно. Но вовлечь еще в это фактически всю мою семью – брата, маму, даже отца, поскольку все мы под его фамилией – надо было хорошо постараться. Он справился. Молодец. Ради красного словца не пожалеет и отца. Причем чужого.

– То есть взаимности, я так понимаю, он от вас тогда не дождался?

– С моей стороны это, наверное, было дерзостью. Он же весь такой крутой был, промажоренный с головы до ног, девочки вокруг так и вились, наглый, без комплексов, попробуй откажи такому. Да я и сама сначала повелась, но быстро опомнилась и отшила. Крепко, видать, его задело...

Она была чем-то похожа на Алису. Тот же тип. Уверенной в себе, не лезущей за словом в карман.

– А вы не пробовали подать на него в суд? Всё-таки он использовал ваши...

– Зачем? – Она опять взглянула на меня с недоумением. – Чтобы привлечь к нам внимание? Нам это ни к чему. Я вот вышла замуж и взяла фамилию мужа. Да и имя у меня теперь другое.

– Какое, если не секрет?

– Вам-то зачем? Ну хорошо: Юлия. А Гамлет взял фамилию матери. Так что с этой стороны наши неудобства уже позади. Но он же дал обещание не продолжать. И продолжил. Вон уже и игра появилась. А что завтра? Кино? Это раз. А во-вторых, там продолжает фигурировать героиня с именем и фамилией нашей матери. Что с этим делать?

– Я слышал, он их больше не рисует.

– И когда он прекратил? Неделю назад? Месяц? А все эти годы? Ему еще повезло, что брат его в лицо не знает. А то вот так встретились бы случайно в городе, и всё. Хотите знать моё мнение? Может быть, оно вам будет неприятно, но ваш Кирилл – мерзкий, подлый, мстительный говнюк! И если бы Гамлет не был моим братом, я бы как раз очень желала, чтобы они где-то встретились.

– Пойдите-пойдите, как это – «не знает его в лицо»? Вы же только что сказали, что ваш брат встречался с Кириллом в Москве и они договорились.

– Я не говорила, что они встречались.

– Как же они договорились? По телефону?

– Извините, а все-таки: кто вы такой?

Я представился близким другом семьи и Кирилла в частности.

Она удовлетворенно хмыкнула, и что-то в ней в этот момент поменялось, так мне показалось. Она продолжила:

– Да, Гамлет узнал телефон Кирилла, созвонился с ним и договорился о встрече. Но на встречу Кирилл не пришел, прислал к нему в гостиницу вместо себя свою подругу. Была там у него какая-то блондинка, землячка вроде бы.

– И?

– Что и? На том вроде и поладили.

– На чем?

Она внимательно поглядела на меня и с иронией спросила:

– Вы не слышите, что я говорю? Эта девица пришла вечером, ушла утром. В детали я не вдавалась.

В её взгляде появился некий вызов, или скорее торжество: дескать, ну, что скажешь, друг семьи, такого Кирилла ты не знал? И я успокаивал себя тем, что ни ей, ни тем более её брату верить необязательно. Ну и конечно моральный облик Кирилла в этой истории меня интересовал меньше всего.

– Это брат вам сказал?

– Нет, брат как раз ничего не говорил. Он в той поездке был не один, с другом. Слушайте, ему и сейчас-то двадцать два года, а тогда было девятнадцать. Что вы хотите, молодой горячий парень... Но факт тот, что Кирилл – и сам, и через подругу обещал прекратить это свое творчество. Просто прекратить и всё. И не прекратил. И вот как теперь он будет оправдываться, я не знаю. Второй раз номер с блондинкой не пройдет. Он хочет, чтобы брат его убил? Так он его убьет.

– А вы брата давно не видели?

– Не помню. Месяц, может больше. Мы вообще редко видимся – у каждого своя жизнь. Тем более у него сейчас очередной роман. По телефону говорили недели две назад. А что?

На моем месте разумней было бы затаиться, промолчать, но... больно уж она стала мне неприятна, и меня больше ничего не сдерживало.

– А что? – переспросил я. – А что если они с Кириллом все-таки встретились и всё обошлось?

– Ну а вы? Кирилла давно видели? – усмехаясь и передразнивая меня, поинтересовалась моя гостья. – Если с ним всё в порядке, то они точно не встречались. Я хорошо знаю своего брата.

Что и требовалось доказать.

– Кирилл ничего больше не нарушит, – сказал я, – Его убили.

– То есть?

– А до этого убили его отца. И убийцы до сих пор не найдены, – продолжил я, поднимаясь и задвигая стул. – Я не шучу, это легко проверить.

Она некоторое время глядела на меня с изумлением, снизу вверх. И вдруг вскочила, мне показалось, что она сейчас кинется на меня.

– Значит вы...

На её лице появилась смесь негодования и удивления. Думаю, она сгоряча решила, что я с самого начала заговорил и наконец-таки загнал её в ловко расставленную западню. Примерно так со стороны всё и выглядело. Вместе с тем она, очевидно, пыталась понять, как это могло произойти – ведь она сама явилась сюда и согласилась на разговор? И, видимо, этим она была ошарашена не меньше, чем услышанным.

– Вот же вы урод... – выговорила она с отвращением. – Почему вы мне сразу не сказали? Это не Гамлет! Слышите? Разве я бы сидела здесь с вами, если бы это был он?! Ну, подумайте!..

– Я разве утверждаю, что это он? Но вы ведь минуту назад сказали, что давно его не видели.

– Я просто возьму и сейчас ему позвоню! – произнесла она с непонятной угрозой.

– Звоните куда хотите.

Джульетта-Юлия что-то лихорадочно начала искать в телефоне, опять же с угрозой приговаривая:

– Посмотрим... если это правда...

Не доведя до конца поиски, она зачем-то полезла в сумку, но так и ничего из нее не достав, уставилась в окно, потом повернулась ко мне.

– Не хотите со мной поехать к Гамлету?

– Нет. Не хочу.

– Тогда мы сами к вам приедем.

– Зачем? И почему бы вам действительно ему не позвонить?

Она не ответила и смотрела на меня уже просто с какой-то испепеляющей ненавистью.

«Ага, сама не уверена», – подумал я.



- Вы не знакомый. Вы наверное его родственник. Такая же гнида! Ждите!
- Это вряд ли, – сказал я.

Она кинулась в прихожую. Я пошел было за ней, чтобы помочь открыть, но она сама очень быстро разобралась с замком и так хлопнула дверь, что задрожал дом.

### III

Эта встреча разом подняла столько мыслей, что время в пути пролетело втрое быстрее обычного. Всю дорогу мной владели, как говорится в таких случаях, смешанные чувства. Думая о Кирилле, о его невероятном (да еще когда!) падении, возможно проливавшем свет если не на все, то наверняка (так мне казалось) на многие последующие его деяния, и ругая себя на чем свет стоит за то, что после всего услышанного от Джульетты не удержался и сообщил ей о гибели Страхниных, я в то же время наслаждался ощущением большой удачи – кто бы еще вчера мог предположить такое?! Никому ведь и в голову не пришло!

В городок я въехал уже почти в темноте и по дороге домой решил заскочить к следователю. Трясаясь по булыжной Генуэзской, я увидел справа перед собой знакомый силуэт в сдвинутой на затылок шляпе.

- Кукольник! – невольно вырвалось у меня.

Заехав чуть вперед, я выскочил навстречу, как раз когда Игорь Свистунов поравнялся с машиной; деваться на узком тротуаре ему было некуда, и он, опустив руки, обреченно встал передо мной. Секунд пять, не больше, кукольник изображал виноватую покорность, но уже на шестой нетерпеливо задергал коленом.

– Вы что себе позволяете? – накинулся я на него. – Что еще за сказки вы рассказываете следователю о цветах, которые вы у меня якобы нашли?

- О цветах? Каких цветах?

– Я не знаю, о каких вы с ним говорили!

– Ах, о цветах! Боже, ну как вам не надоест, всё долбите и долбите в одну точку, сил уже просто никаких нет...

- Так какие цветы вы видели у меня в саду?

– Не те, не беспокойтесь.

– Что значит «не те»?

– Мы же в прошлый раз всё с вами выяснили. Те были астры, правильно? У меня были георгины. А у вас хризантемы. Или наоборот? В общем, всё хорошо. Осень! Разноцветье! Краса природы!

- У меня не было никаких цветов, кроме тех, что вы принесли!

– Не было? Значит, я перепутал. Значит, это был другой сад. Ошибся. Вы же помните, как меня избили – всё было как в тумане. Послушайте... я завтра уезжаю в Одессу, а у меня еще куча дел. Но я потом вернусь – у меня тут в личной жизни намечается грандиозное событие. Давайте встретимся, когда я приеду. Или завтра утром до отъезда. Как вам удобней? И хотите совет: я бы на вашем месте не очень доверял следователю. Мне показалось, а у меня глаз на такие вещи наметанный, что он злоупотребляет какими-то препаратами. Ну, вы поняли, о чем я. Вы его меньше слушайте. Он под этим делом такое может рассказать... Да и вообще мутный он какой-то.

- Так. Поехали.

– Куда?

– К нему.

– Сейчас?

– Садитесь.

– Ну, если только ненадолго...

Я раскрыл перед ним дверь и пошел на свое место. Дверь за моей спиной хлопнула, но когда я, обойдя машину, полез за руль, кукольника в салоне не оказалось. Я выскочил и огляделся – в наступившей темноте его уже и след простыл. И я, совсем как он при нашей прошлой встрече, топнул ногой от досады: ну как можно было опять попасться на том же!

IV

Окно следователя во втором этаже еще светилось. Я быстро поднялся и постучал. Услышав в ответ что-то неразборчивое, вошел. Раздражение от неудачи с кукольником меня как будто подстегивало, и я с порога попросил разрешения сесть за ноутбук. Лежавший на диване следователь чуть потеснился, и я сел на краю перед столиком.

В сети никакого самого по себе Гамлета Катигроба, кроме как в отсылках на комиксы, я не обнаружил. Тогда я открыл страницу комиксов. В самом начале был список действующих лиц, и, найдя Гамлета Катигроба, с сопутствующим ему перечнем холодного оружия, которым он владел, повернул экран к следователю. Я понимал, как глупо выгляжу, но что было делать? Я сказал:

– Вот кого надо искать. Вот этот человек, Гамлет Катигроб, вернее прообраз этого героя, и есть, возможно, убийца Кирилла Страхнина. Младшего. У него сейчас другая фамилия, не знаю какая, но имя то же. Искать проще всего через нее, через сестру, здесь она Жизель, хотя на самом деле Джульетта, а теперь Юлия, и фамилия уже другая, а еще вернее через отца и мать, значит через тех, у кого фамилия Катигроб, думаю, таких немного...

По тому изумлению, с каким следователь на меня воззрился, я понял, что не с того начал, в чем тут же признался и, пересев на стул, принялся рассказывать всё, что мне на сегодняшний день уже было известно о семействе Катигробов, с самого начала. Следователь лег на спину и сложил на груди руки. Кажется, мой обстоятельный и несколько монотонный рассказ его убаюкал – за все время он не пошевелился и не издал ни звука. Однако, когда я, чтобы проверить, не заснул ли он, напомнил ему о двойнике и поинтересовался, не знает ли он, куда тот подевался, то услышал его спокойный ответ:

– Понятия не имею.

Я ждал его реакции на мое сообщение. Не открывая глаз, следователь почесал правой рукой левый висок и, вернув руку на грудь, заговорил:

– А скажите мне, пожалуйста... – он некоторое время поёрхал, вынудив и меня кашлянуть, потом вздохнул и продолжил: – Вы, я вижу, человек не простой. Хотя, надо сказать, мне больше по душе люди простые. Но вы не простой, поэтому можно вам задать вопрос?.. Вы когда-нибудь были счастливы?

При этом он открыл глаза и, скосив на меня зрачки, добавил:

– Я серьезно. Были?

Поверх недоумения, которое у меня вызвал его вопрос, мне сразу же вспомнилось мое недавнее вечернее стояние в саду Чернецкого, но откровенничать с малознакомым человеком я не собирался, и потому только сказал:

– Как и все. Счастливые моменты были у каждого. Взять то же детство, например...

Он повернул ко мне лицо.

– Не надо «как и все». И детство брать тоже не надо. Детство это другое. Как и вообще все приятные воспоминания. Я говорю о сознательном ощущении совершенного, без изъянов, стопроцентного райского блаженства в буквальном смысле. О совершенной его полноте, – он вновь очертил в воздухе овал, как тогда, когда показывал мне «один большой всяк». – Может быть, я неправильно назвал это счастьем.

– Ну, тогда нет, – я пожал плечами. – И если в буквальном смысле, то райское блаженство, по определению, только в раю, наверно, и возможно.

– Это вы хорошо сказали. Значит, я к кому надо обратился. А вот я, представьте себе, однажды испытал. И именно такое, полное, совершенное, как только что сказал. Причем в самом неподходящем месте. Это было в армии. Была весна, отопление в казарме по календарю уже отключили, а холода стояли еще зимние. По ночам так вообще зуб на зуб не попадал. И вот однажды под утро это со мной произошло. Я его испытал. То, о чем я говорил. Райское блаженство. Слов таких нет, чтобы его описать. Продолжалось оно секунд тридцать-сорок, не больше минуты, и потом, естественно, стало еще хуже и холодней, чем было, но тут уж как с любимым удовольствием в нашей жизни – хочешь не хочешь, а приходится расплачиваться. Но тех секунд оказалось вполне достаточно, чтобы успеть насладиться, оценить и запомнить навсегда. Всё тепло, на которое только способен этот мир, всё самое нежное, ласковое его тепло, в котором были все его виды и оттенки, в том числе и вашего (ну, то есть моего) любимого детства, я почувствовал за эти секунды. Я просто купался в его ласковых потоках. Это была минута абсолютного счастья. Но вам, наверное, не терпится узнать, что же такое со мной произошло? Извольте. Той весенней ночью в казарме, находясь в некотором полусне, потому что глубоко заснуть в том холоде было невозможно, я обоссался. Горячо, обильно, от всей души. И вот что я хочу у вас спросить, вернее услышать ваше мнение: как вы думаете, испытанное мной в ту минуту и есть то райское блаженство, на которое я могу рассчитывать, если, конечно, вдруг его заслужу? С одной стороны, я ничего лучшего не испытывал, а перепробовал, уж поверьте, всякое. А с другой – моя бессмертная душа, купающаяся в потоках сами знаете чего, – это как-то не того, как-то странно, не находите? А ни на что на другое, если говорить о блаженстве, у меня фантазии с тех пор не хватает. Тем, что я в ту ночь испытал, на нее, на фантазию, наложен предел. А ведь там, – он показал пальцем вверх, – по идее, как раз то место, где они, эти наши предельные фантазии, и исполняются... Впрочем, вопрос риторический. Вам-то откуда знать.

Рассказывая, он сел и как ни в чем не бывало закурил самокрутку, по запаху которой нетрудно было догадаться об её содержимом, что меня сильно покорило. Заметив это, он пробормотал что-то про рекомендации врачей и после двух глубоких и долгих затяжек, раскрасневшись от задержек дыхания и последовавшего за ними кашля, протянул сигарету мне. Отказавшись, я спросил:

– Почему вам не пришлют кого-то в помощь?

Лизнув подушечку среднего пальца и смазав слюной слишком быстро тлевший край самокрутки, он сказал:

– Заняты все. Думаете, только вы одни мочите тут друг друга? Вся страна только этим и занимается.

«А ведь кукольник оказался прав», – подумал я, выходя из номера.

## V

Смерть в результате несчастного случая – так, говорят, написали в заключении о смерти Холодка. Находясь в состоянии опьянения, Павел Холодок при падении ударился виском о задвижку окна с такой силой, что выбил её из рамы и одновременно пробил ею височную кость.

О гибели Холодка я узнал только в день его похорон, когда субботным вечером пришел к Чернецкому. Было это на следующий день после моего возвращения из Одессы и визита к следователю.

Три подряд смерти известных в городе людей (а у Холодка эта известность, хоть и специфическая, тоже была) волей-неволей наводили на грустные мысли. Мне даже задним числом показалось, что городок в эти дни как-то потускнел. Вспомнилось, что и накануне, когда я проезжал по нему, да и вот сейчас когда шел к Чернецкому, в глаза то и дело бросалось что-то неприятное: бродячие собаки, кучи мусора у контейнеров... А усыпанные первыми желтыми листьями с акаций и тополей улицы, прежде отзывавшиеся светлой печалью об уходящем лете, теперь выглядели всего лишь неметеными.

Рука об руку с внешним разладом шел внутренний, и в городке началось, как выразился Жарков, «брожение коллективного бессознательного». Городок стал понемногу полниться слухами, в том числе самыми нелепыми. Вот и пригодился наконец убитый в апреле монах. (А я говорил!) О нём не только вспомнили в связи с последними событиями, но его уже и видели – возле места где нашли убитым Кирилла Страхнина и рядом с домом Холодка. Некоторые, впрочем, утверждали, что то был не монах, а гимназист. То есть вытащили и его. Я как раз вошел в кабинет, когда сестра Чернецкого Анна рассказывала о происшествии с одной из невесток Цвиркуна: поздним вечером во дворе она обнаружила гимназиста у себя за спиной. Тот к ней еще и обратился, но из-за собственного визга она ничего не услышала, а потом и вовсе потеряла сознание.

Тем вечером у Чернецкого сидели Кучер и Жарков. Отсутствие посторонних оказалось очень кстати. Когда Анна закончила, я подробно рассказал о встрече с Жизелью-Джувлеттой-Юлией, опустив только историю с Никой, и выставил на обсуждение версию, в которую ранее посвящал следователя, а именно: каким-то образом Гамлет мог и сам узнать о приезде Кирилла и расправиться с ним, не посвящая в это сестру. Могло быть такое? Могло. И не оттого ли так переполошилась Джульетта, что сама сразу же допустила такую возможность.

– К тому же проболталась о любимом братце, о котором никто и знать бы не знал, – вставил Жарков.

– И это тоже, – согласился я. – Если Кирилл не знал Гамлета в лицо, тот мог крутиться в городке, прикидываясь приезжим или еще кем-то, пока не выбрал удобный момент. Он мог, например, быть в подвале среди посетителей в тот день, когда Кирилл там выступал. Кирилл ведь не долго после этого прожил.

Закончив, я обвел взглядом лица присутствующих. Сообщение, надо сказать, произвело эффект. Первым высказался опять же Жарков.

– Это, наверное, интересное ощущение, когда герои комиксов звонят в твою дверь. Того и гляди, сюда в поисках своего создателя заявятся куклы вашего кукольника – куда он, кстати, делся? Но, наконец, хотя бы выяснилось, для чего Кирилл привез этого несчастного Козлика. А я ведь что-то такое подозревал. Молодец, что тут скажешь. Заметьте, сам Кирилл никуда не выходил, а потом и вовсе спрятался в Одессе.

– Я встретил его в том же подвале до его отъезда в Одессу, – возразил я.

– Двойник с ним был? – спросил Жарков.

– Нет.

– То-то и оно. Кто-то, вообще, хоть раз видел их вдвоем?

– Ты же и видел, у Чоботова. Во время скандала.

– Да, верно, – на секунду смутился Жарков. – Ну, один раз, вечером. Зато потом, когда он сидел в Одессе, его двойник разгуливал тут сам по себе, и некоторые, так же как и ты, принимали его за Кирилла. Это я к чему? А не пытался ли Кирилл через Джульетту заманить Гамлета в западню? Смотрите. Гамлет узнаёт о приезде Кирилла, приезжает сюда и убивает двойника. Его вяжут и сажают. Что и требовалось доказать. Только Гамлет оказался тертым хищником, не бросился на то, что ему выставили, а приехал, посидел, осмотрелся, и... Ну, а потом уж и двойника, для верности.

– Я знаю твое отношение к Кириллу, – сказал Чернецкий, – но это ты как-то чересчур...

– Начинается. Ну, давай, скажи еще: о мертвых хорошо или ничего. «Чересчур». Чересчур это может быть только по сравнению с вашими причитаниями: бедный мальчик, сколько на него всего свалилось! Интересно – чего? (Что-то я не помнил за нами таких реплик.) Молодой избалованный хлыщ и бездельник путается постоянно в каких-то бабах, наконец, слава Тебе Господи, женится, но тут же, в свадебной поездке, меняет жену на любовницу, потом пять лет не делает ни малейшей попытки увидеться с сыном, а когда приезжает и ему тут дают от ворот поворот, ходит таким непонятым страдальцем. А вот теперь еще и ославленная на весь свет семья, которая провинилась перед ним только тем, что ему отказала девица. Вот это вы называете «свалилось»?

Сказано это было с чувством, и возразить после всего, что мы за последние недели узнали о Кирилле, ни мне, ни Чернецкому было нечего. Впрочем, Чернецкий скоро нашел что.

– Я не собираюсь защищать Кирилла, – начал он. – Но почему мы должны безоговорочно верить незнакомой девице, которой теперь и возразить некому. Всё это вполне может оказаться её фантазиями.

– Имена и фамилия её и её родных в комиксах – тоже фантазии?

– Нет, я сейчас говорю только о том, что Кирилл якобы этими комиксами сводил с Джульеттой счеты.

– А что, не сводил? Тогда, опять-таки, почему взял их имена, не спросив разрешения?

– Потому что знал, что откажут.

– Хорошее оправдание.

– Еще раз: Кирилла я не оправдываю. Но историю с именами понять могу. Удачно найденное имя персонажа это большое дело – оно заставляет работать воображение, бывает, что и двигает сюжет. Любой же автор есть существо крайне беспринципное, и если ему понравилась чье-то имя, он его возьмет и, если понадобится, смекает с грязью, не испытывая на этот счет никаких угрызений. Кто из нас этого не знает? У меня самого есть нехороший опыт. Как-то дал героине рассказа, напоминавшей жену одного моего хорошего друга, еще и её редкое имя. Я очень ценил наши отношения, и ведь знал, что они на этом закончатся, но ничего с собой поделывать не мог. Стоила ли того моя безделушка? Разумеется, нет. Сто раз: нет.

– Вот и я говорю: стоили ли эти унылые комиксы того, чтобы портить жизнь посторонним людям, – вставил Жарков.

Чернецкий тяжело вздохнул и развел руками.

– И все-таки мне хотелось бы думать, – сказал он, – что с Кириллом был именно такой случай. В отличие от Чоботовской низости. Что сделал он это не из мести, а вот как я когда-то: не смог удержаться.

– Не исключено, – согласился я.

– Ловко вы распределяете, кому верхки, кому корешки, – усмехнулся Жарков.

Тут в разговор вступила Анна, сестра Чернецкого. Она до того разволновалась, что попросила у фотографа сигарету и прежде, чем начать говорить, сделала пару торопливых затяжек.

– Послушайте, а что если Кирилл собирался предложить Джульетте ровно то же, что Чоботов предлагал Нике? Рассчитывая, что Джульетта оценит его страстный порыв и удержит брата от крайностей. Ситуации-то похожие. Некоторые женщины на многое согласны смотреть сквозь пальцы, если видят в этом проявление любви или страсти. Быть предметом обожания – за это многое можно простить. Звучит немного безумно, конечно, – ну а что здесь в этой истории вообще есть нормального?

– То есть выходит, что не Чоботов потянул у Кирилла ту теорию с новой логикой, а Кирилл у Чоботова? – уточнил у нее Жарков.

– Может быть, – пожалала плечами Анна.

И только я подумал, что и версия Анны имеет право на существование, тем более что она не противоречила моей, да и нравилась мне больше, чем версия Жаркова, как фотограф добавил:

– И вот тут-то, на случай, если бы Гамлет не согласился на уговоры сестры простить Кирилла, а тот уже засветился, и пригодился бы бедный Козлик.

Чему я был рад, так тому, что не стал рассказывать о московской истории с Никой – вот где Жарков бы возликовал. К тому же я всё больше сомневался в её правдивости.

Когда мы с Чернецким остались вдвоем, я вкратце рассказал ему о визите к следователю и о его странной реакции на мое сообщение о встрече с Джульеттой Катигроб: вместо того чтобы схватиться за это, он заставил меня слушать о том, как когда-то, прошу прощения, обмочился.

– Ну, ты его тоже, надо сказать, не щадишь, – ответил Чернецкий. – Он еще фотографию кукольника не забыл, а ты ему уже комиксы с Гамлетом подсовываешь – да тут кто угодно решил бы, что над ним издеваются.

Вечером в день похорон Холодка Изотову на телефон, номер которого можно было найти в его газете, пришло сообщение с невнятным видео и кратким сопроводительным текстом. Он уже давно догадывался какого рода слухи о нем гуляли среди жителей городка, часто видевших его в эти дни со следователем на улицах и на балконе 202-го номера, и теперь вот получил тому ясное подтверждение. «Покажи это своему одесскому ё\*арю», гласило сообщение.

На видео было светящееся в темноте сквозь какие-то заросли окно и мелькающая в его проеме тень. В помещении невнятный разговор на повышенных тонах, крики, но слов не разобрать. Появляется еще тень, тени сходятся, расходятся, остается одна, и через некоторое время свет в окне гаснет.

«Просили передать тебе», – написал Изотов, пересылая видео следователю; текст отправлять не стал.

Что было на видео, следователь понял только после четвертого или пятого просмотра на мониторе, когда резко, с визгом распахивается вросший в раму створ окна.

Утром он хотел было, изображая удивление, спросить у Изотова, что тот думает насчет присланного видео, но не нашел в себе ни сил, ни желания. Кроме того, Изотов уже третий день заходил к нему как-то бочком и, оставив самокрутки, ссылаясь на какие-то срочные дела, быстро удалялся. Кажется, он был чем-то обижен, какой-то холодок между ними пробежал, но разбираться в этом было лень.

Прихватив сумку, он отправился к Тягарям – там накануне после похорон поминали Холодка. Перед домом на скамейке одиноко сидел похмельный Петя, который сказал, что все ушли с утра на кладбище, и, узнав сумку, направил следователя в дом покойного, где её владелец ночевал после вчерашнего скандала с Лерой.

Разбуженный упавшей на голову сумкой Зять подскочил и сел в кровати. Увидев перед собой следователя, он отвернул помятое лицо к окну и стал приглаживать волосы. Отправляя вчера сообщение, он считал, что таким образом обезопасил себя на случай, если бы унесшему сумку следователю вздумалось повесить смерть Холодка на него. Но это было не всё. Если подумать – а вчера на поминках он только об этом и думал – неожиданный поворот сулил немалую выгоду, и главное теперь было не продешевить. Торг со следователем обещал быть нешуточным. Всё это он решил пока хранить в тайне, но на радостях не удержался и намекнул Лере, что скоро у них могут появиться деньги. На что она ему тут же припомнила его недавний загул в Заточе, и – понеслось.

– Где твой телефон? – спросил следователь. – А, вижу.

Зять дернулся в сторону телевизора, на котором лежал телефон, но гость его опередил. В углу подоконника возле кучи ореховой скорлупы следователь еще в прошлый раз заметил молоток. Сходяв за ним, он вернулся к Зятю и приложил телефон к его нечесаной голове.

– Ты что... ты чё делаешь?

– Сидеть.

– Ты чё делаешь?!

– Не дергайся, а то промахнусь, станешь еще дурнее, чем есть.

Следователь ударил молотком по приложенному к голове телефону, Зять со стоном схватился за ушибленное место и метнулся в угол кровати. И пока он там стонал, следователь доразбил телефон на подоконнике и швырнул обломки на пол. Зять, чуть не плача, бросился к ним.

– Так и запишем: в приступе ярости разбил головой телефон, – сказал следователь. – И не зли меня больше. Убью.

...Цвиркун принимал гостя там же, где и в первый раз, во дворе под навесом. На столе стояли тарелки с вяленным мясом, жареной курицей, брынзой, помидорами, виноградом. Три сорта вина. Цвиркун сам, естественно, не пил, но следователю подливал и подливал. За столом следили и то и дело подбегали к нему за какой-то надобностью – убрать тарелку, доложить хлеба, поправить скатерть – две новости Цвиркуна. Глядя на это хлебосольство, следователь заподозрил, что

Цвиркун домашнего задания не выполнил, и ждал покаянного монолога. Но вот тот поднялся, ушел в дом и вернулся со стопкой бумаг.

Сверху лежала бумага от него самого, и, увидев её, следователь поднял удивленный взгляд на хозяина. Потом прошелся по остальным.

– Двое в отъезде, а пятеро пока ни в какую, – виновато вздохнув, пояснил Цвиркун. – Придет-ся еще с ними поработать. Зато вот эти все молодцы ребята, один в один. Кое у кого были, конечно, проблемы, но только в молодости, да и то по мелочам: кражи, хулиганка... Ничего серьезного. А так хлопцы хорошие, ничего не скажу. Хорошие хлопцы.

С самого начала у Цвиркуна была мысль как-нибудь затянуть и замотать это дело, но после убийства Стряхнина-младшего он решил не испытывать судьбу и исполнить требования следователя в точности и в срок. И, как всегда, дело пошло веселее, когда он придумал, какую из этого может извлечь выгоду. Добровольно подписав договор от своего имени, он рассчитывал им отвлечь внимание следователя от тех семи, которые вздумал на всякий случай оставить себе – мало ли, глядишь, пригодятся.

Перелистав, проверив, везде ли были отпечатки и подписи, следователь еще раз пересчитал листы. Двадцать шесть. С этим можно начинать играть.

– Я им сказал, что европейский союз банк данных собирает, так что они душой уже, можно сказать, в Европе, – хохотнув похвастался Цвиркун, поднимаясь за следователем из-за стола; когда они подошли к калитке, кивнул на сумку и попросил: – А может, оставите мне мою на память? Следователь молча достал стопку и исполнил его просьбу.

– Вот спасибо. А с теми я еще поработаю. Дам знать.

Напробовавший цвиркуновского вина следователь теперь посреди дня был нехоти пьян. Дождь, который слегка накрапывал, когда он вышел от Цвиркуна, становился всё сильнее, и он прибавил шаг.

Вечер следователь провел в баре возле гостиницы. Утром он решил уехать в Одессу, там с повинной прийти к старшему, рассказать, как всё случилось у него с этим гашишем, и попроситься в отпуск. Из бара он позвонил Изотову и неожиданно для себя и против намерения сухим официальным голосом попросил, чтобы тот завтра к десяти утра принес ему его пакет. Подумав, мысленно махнул рукой: ну и ладно, легче будет прощаться. Без этих пустых обещаний: не забывать, быть на связи, перезваниваться...

Ночью он то и дело просыпался, последний раз когда уже светало и шумно возились под крышей голуби. Его разбудили рыдания в другой комнате. Это глупый – но живой! – Холодок горько и безутешно оплакивал свою подпись. Подпись? Но ведь не было никакой подписи! Вот же эта бумага, пожалуйста, – не то что подписи, ни единой буквы на ней нет, чистый лист, что с этой стороны, что с этой. Холодок, эй! Тут его по-настоящему разбудил звонок телефона. Звонили из дежурной части, сказали, что хотят выслать за ним машину – тройное убийство в доме на Типографской.

Убитых обнаружила соседка, среди них оказался её муж. Вечером он вышел на звук сигнализации к машине и не вернулся. Соседка думала, что уехал, и легла спать. Только под утро, услышав сначала его телефон, попросивший зарядки, а потом увидев за воротами машину на месте, она пошла к соседу, у которого горел свет. Картина, открывшаяся ей, была ужасной. Три трупа, два мужских и женский, буквально плавали в смешанной с кровью воде, неизвестно откуда взявшейся в таком количестве. Накануне шел дождь, переходивший время от времени в ливень, но крыша в доме с трупами не текла, потолок везде был сух. Прибывший на место следователь пробормотал что-то вроде того, что это самая мокрая из когда-либо виденных им мокрух. Кроме, как уже было сказано, соседа, скончавшегося от «проникающих ножевых ранений брюшной полости», на полу в воде лежали с перерезанными горлами хозяин дома Иван Михайлович Вяткин и Глебова Елена Борисовна. Все трое были с обнаженными торсами. В соседней маленькой сухой комнате лежал ничком Глеб Глебов. Когда его растолкали, он дико огляделся и со звериным не то воем, не то ревом опять лицом полез лицом в постель. Подняли и вывели его с покрывалом, которое он, на-



мертво в него вцепившись, прижимал к лицу. Так, говорят, с покрывалом, его и увезли в Одессу. Скоро стало известно, что накануне вечером в двух кварталах от дома Вяткина в дорожно-транспортном происшествии погиб местный уроженец Артем Валентинович С., известный еще как Зять. На среднем пальце у него обнаружили широкое выпуклое золотое кольцо, принадлежавшее убитому Вяткину.

## VII

Чаше других в те печальные дни мне почему-то приходил на память один вечер двухмесячной давности, проведенный у Вяткина. Возвращаясь в тот день с прогулки вдоль лимана, я заглянул к нему и некоторое время стоял, неземчаемый им, у входа в летнюю кухню. Он что-то готовил за столом и, постукивая ножом, выговаривал собравшимся вокруг котам:

– Не нравится? Пожалуйста! Можете не приходите. А то у меня же здесь просто ужас какой-то – ни подрасть как следует, ни нагадить в углу...

Коты между тем увлеченно ели разложенную на газете мелкую рыбешку и не выказывали никаких признаков недовольства. Так он, бывало, беседовал с ними дни напролет. Жарков говорил, что Антоний Падуанский проповедовал рыбам, Франциск Ассизский – птицам, а наш Вяткин вот выбрал котов.

Потом мы сидели, пили чай на его небольшой чистенькой верандочке. Время близилось к вечеру; одно за другим загорались слуховые окошки соседних домов, от лимана начинало тянуть прохладой. Говорили в тот тихий вечер о том о сем, попеременно то я, то он – легкая чайная беседа на исходе прекрасного дня. Паузы между репликами становились всё длиннее, и наконец мы замолчали. Как я успел заметить, на закате, впадая в некоторую задумчивость, Вяткин часто произносил что-нибудь на злобу гаснущего дня, как бы его итожа, но иногда звучало и что-то совершенно отвлеченное. В тот раз Иван Михайлович после долгого молчания вспомнил отрывок из где-то им вычитанного прощального слова скопцов перед оскотлением, и медленно с выражением произнес:

– Прости, солнце и луна, небо и звезды, и матушка сыра земля, пески и реки, и звери и леса, и змеи и черви...

Такие же тишина и покой были в день его похорон. После нескольких дней непогоды вернулась почти летняя жара, но солнце во второй половине дня, когда мы шли от могилы к воротам кладбища, стояло уже так же невысоко, как тем июньским вечером. Томно перемигивались пятна солнечного света под шелковицами и липами, и робко, но без усталости звенели там и сям сверчки и цикады, словно за каждым кустом сирени, жасмина и барбариса кто-то рассеянно перебирал мелкую бижутерию. Когда же мы вышли на центральную аллею, неподвижный кладбищенский воздух за нашими спинами сотрясся отчаянным криком «Не будьте кацапами!», и я вспомнил, что впервые услышал его опять же месяца два назад в кабинете у Чернецкого, сидя бок о бок с Вяткиным.

И как же невыносимо грустно мне было весь тот вечер от мысли, что больше никогда я не перешагну порог узкой железной калитки с полукруглой аркой, густо перевитой ползучей розой, и не ступлю на асфальтовую дорожку в удлиненных тенях и солнечных пятнах, ведущую к маленькому аккуратному домику с чудачковатым добрым хозяином.

Прощай, дорогой друг.

Посидев с час у Чернецкого, разошлись.

В ближайшую субботу Жарков принес к Чернецкому с два десятка фотографий, сделанных в тот самый, положивший начало их с Вяткиным раздору, день. На большинстве из них юная Ника, успевшая за то время, что Жарков отсутствовал, крепко приложиться к бутылке, была пьяна, но ничего особенного в них не было – хмельная, гримасничающая девушка. (Я их видел впервые, и похоже, для меня и Кучера Жарков их принес.)

– Тут все. Больше ничего не было и нет. Она покривлялась, я пощелкал – вот и всё. Не знаю, что он там себе напридумывал. Еще раз: я все их ему показал. А он не нашел ничего лучшего, как подослать ко мне Зятя.

– Мы же уже говорили, Зять мог наврать, что его отправил Вяткин, – напомнил Чернецкий.

– Говорили, – отозвался фотограф. – Только подтверждения от Вяткина я не услышал.

– Что поделаешь, – вздохнул Чернецкий. – Он так же, как и ты, не считал нужным оправдываться.

В том же составе мы собрались еще только раз. Жарков пробовал балагурить по-прежнему, но в отсутствие Вяткина его шутки звучали как в пустом помещении, едва что не отдавались эхом. Иван Михайлович за весь вечер мог не произнести и полслова, листая газету где-нибудь в углу, но его молчаливое присутствие наполняло кабинет Чернецкого ничуть не меньше, чем болтовня Жаркова. Это была невосполнимая потеря. Посиделки у Чернецкого пришли к закату, и это почувствовали все, включая Кучера, который в ту субботу устроил нам пир горой. Тронутый этим, я рассказал ему о теплом отношении к нему Вяткина, которое тот в моем присутствии не один раз выказывал. Прослезившийся Кучер долго-долго тряс мою руку и благодарил. Последние две субботы мы провели вчетвером: я, Чернецкий, его сестра и Кучер.

## VIII

В один из ближайших после гибели Вяткина дней я задремал, не раздеваясь, и полночи промучился, как я это называю, полубессоницей. Качаясь на поверхности сна, я всё ждал, когда уйду в него с головой, но безуспешно. Встать и улечься как положено мне мешало опасение, что если я сейчас стану раздеваться, улечутся и те последние остатки сна, за которые я пытался уцепиться. Но в одежде было жарко, да еще мучила жажда. Наконец, я встал и прошел на кухню, включил свет. Несмотря на жару, холодного не хотелось. Я налил до краев стакан теплого красного вина и медленно, глоток за глотком выпил. Теперь уж засну. Когда я вернулся в спальню, там на уголке тахты у раскрытого окна сидел Вяткин, и я опустился на пустой стул, на котором обычно складывал перед сном одежду.

– Как ты думаешь, он за деньгами приходил? – спросил гость.

– Не знаю, – ответил я. – У меня он только попросил показать, где вы живете, и я ему объяснил, как прийти.

Речь, естественно, шла об убийце.

– За деньгами, – сказал Вяткин. – За чем же еще. Хотя... Может быть, его позвало в дорогу что-то другое? Узнать бы.

– С ним был жук, – вспомнил я.

– Жук? – оживился Вяткин.

– Да. Большой разборный жук-носорог на поводке, подарок матери.

– Странно. Он же всегда боялся разборных жуков.

– А этого любил. Мать плохого не подарит.

– Любил? – недоверчиво спросил Вяткин.

– Очень. И сколько бы раз этот жук от него не улетал, он всегда возвращал его обратно. Он млеет от одного его гудения.

– Ничего не понимаю. Ко мне он пришел...

– Слышите, слышите? – Я выбросил указательный палец в сторону раскрытого окна. – Вот так он гудел!

– Кто?

– Жук. Слышите?

Но гудение в саду внезапно прекратилось. Вот только что было – и уже нет.

– Это потому что ко мне он пришел без жука, – объяснил Вяткин тишину за окном.

Мы помолчали, и я сказал:

– Поводок вот.

Снял со спинки стула и показал.

– Дай, – попросил Вяткин.

Я бросил ему поводок. Он повертел его, подергал, проверяя на прочность, и отложил со словами:

– Дармоед и дешевка.

– Какие есть еще версии? – спросил я. – За чем он мог приходиться?

– А давай узнаем об этом у него самого, – с приглашающей интонацией телевизионного ведущего произнес Вяткин и всем телом повернулся к двери.

В коридоре скрипнула половица, на освещенный светом из кухни дверной косяк легла тень убийцы, и я проснулся.

Это была обычная для моих снов бессмыслица. Ни в какие сны я никогда не верил, но этот привязался основательно и беспокоил какой-то таинственной и наверняка ложной многозначительностью. Жук, поводок, мать – казалось, что во всем этом скрыто некое сообщение, но расшифровать его я, сколько не ломал голову, не мог. (Разве что жуки – с детства не видел их в таком количестве и в такой разнообразии, как тем летом, настоящее было нашествие.) Всего же больше томило ощущение, что во сне я по тени на дверном косяке узнал того, кто должен был, но не успел появиться в комнате, однако теперь не мог вспомнить. Вновь и вновь я перебирал всех знакомых, гадая уже и в таком духе: жук – насекомое – сороконожка; кто мог в моем сне прийти к Вяткину с Никой? Да кто угодно: Зять, Кирилл, Чоботов, Витюша... Во сне – кто угодно.

Ровно через сутки, когда я, засыпая, уже как бы оттолкнулся от берега и поплыл, этот сон подобно облаку вдруг опустился на меня со всеми подробностями, включая и мои ощущения во время беседы с тенью Вяткина. Заволновавшись, я не стал дожидаться, пока всё само мне откроется, и прежде времени напряг память, чтобы вспомнить того, кто стоял за порогом. Это грубое усилие всё испортило – облако в тот же миг рассеялось.

Помню, как я рассказал сон Чернецкому, просто так, без всякой задней мысли, скорее как повод лишний раз вспомнить нашего ушедшего товарища, и меня поразило внимание, с которым он слушал, а потом еще и волнение с каким принялся сон разбирать, засыпая меня вопросами:

– Что же это может быть? Сам-то как думаешь?.. Жук. Он и начинается на букву Ж, да и сам графически похож на неё. Жарков? А у кого еще фамилия на Ж, не знаешь? А веревка? И что значит – разборный? А мать убийцы? Кто бы это мог быть? И почему ты показывал дорогу к дому Вяткина? Ты сказал: чувство вины? Но в чем ты перед ним провинился? В том, что во сне показал дорогу? Кстати: вино – ты его пил во сне или на самом деле?..

Всё это меня не на шутку встревожило. Никогда не замечал за трезвым, рациональным Чернецким ничего подобного. И никогда прежде не видел его таким жалким, по-стариковски растерянным. На скорые результаты расследования рассчитывать было нечего, да и о самом расследовании ничего пока не было слышно, и чтобы хоть немного его успокоить разумными объяснениями, я рассказал ему мою версию случившегося, которая сложилась у меня по какому-то вдохновению и как будто без моего участия.

## IX

Вот тут, добравшись до страшной кульминации тех дней, тройного убийства, я вступаю на зыбкую почву догадок, а то и прямых фантазий. Я уже не один раз дополнял историю всяческими домыслами, порой ничем не подкрепленными, теперь позволю себе еще больше. А чтобы не спотыкаться то и дело обо все эти «вероятно», «возможно», «скорее всего», «может быть», просто на время их отброшу.

Начать придется со дня убийства Кирилла. В тот день Вяткин пришел ко мне и без каких-либо объяснений потребовал свой футляр для очков из мягкой кожи, в котором лежали его ценности.

Насколько помню, был он крайне возбужден и, получив требуемое, тут же ушел. Мрачный его вид и спешка меня удивили, но скоро я об этом забыл, и следующий раз задумался над его визитом после встречи с Жарковым в день похорон Кирилла, впрочем тоже неглубоко – сбила с толку ёрническая подача фотографа.

Только после убийства самого Вяткина я заинтересовался этим всерьез.

Что смущало в первую очередь: почему он забрал футляр? Узнав на кладбище об отъезде Ники, я тогда естественно связал его приход ко мне с её отъездом. Но теперь задумался: Нику он отправил только в день похорон Кирилла, а забрал у меня футляр, когда Кирилл был еще жив. Тогда-то его бегущим и видел Жарков. Куда он спешил? Разгадать эту загадку помог Петя, которого мне удалось разговорить и который, кажется, тоже что-то смутно подозревал. Оказалось, что Вяткин в тот день бегал по городку в поисках Зятя. Побывал он и у Тягарей, где встретил мрачную Леру Холодок. Всегда немногословная, она на его вопрос лишь презрительно пожалала плечами, раздавила в пепельнице окурок и вышла. Спрашивается, зачем Вяткину, только что забравшему у меня футляр, мог понадобится Зять? Ну, или же так: зачем разыскивающему Зятю Вяткину мог понадобится футляр? Как это могло быть связано? У меня только одно объяснение. Вяткин мог знать от Ники о том, что Кирилл должен был перед отъездом получить пять тысяч. И вот, узнав от нее же точную дату, он сообщил об этом Зятю, когда тот пришел в очередной раз со скандалом требовать денег. Дескать, чего ты тянешь из меня, когда вон, дружок твоей сестры должен получить кругленькую сумму, у него и попроси. Конечно, ни о каком убийстве он не помышлял, но доставить неприятности ненавистному Кириллу и заодно избавиться от Зятя, который если бы не загремел за решетку, хотя на время оставил бы его в покое, Вяткин был не прочь. Не исключено также, что Зять тогда же дал понять, что принял сообщение к сведению. Однако ноша оказалась Вяткину не по плечу, скоро он опомнился и пожалел о содеянном. Возможно, что и какое-то предчувствие овладело им. Так или иначе, но похоже на то, что Зятя он искал, чтобы отговорить от задуманного, пожертвовав всем, что у него было. Он даже дал немного денег Пете и посулил еще, если тот найдет и пришлет к нему Зятя, и через Петю же пообещал, что Зять не пожалеет. Почему Вяткин не предупредил Кирилла или хотя бы Нику? Думаю, он попал в то же мучительное двойственное положение, в каком оказался Чернецкий, не знавший, что делать с предчувствиями и страхами относительно намерений Кирилла.

Впрочем, беспокойлся Вяткин напрасно. Тем вечером брату Ники было не до Кирилла. Так совпало, что в городке в те дни гостил Игрек, бывший член нашего клуба и тот самый чистильщик штиблет, о котором я рассказывал раньше. Уезжая в Одессу, он обещал пойти воевать, однако был признан одесскими врачами, по его же, правда, словам, негодным к военной службе, и, мужественно смирившись с вердиктом, сосредоточился на активисткой деятельности, а именно на борьбе с наркотиками. Этим и прославился. В новенькой камуфляжной форме, при этом как-то округло, как иные женщины после родов, располневший, ухитрившийся к концу августа сохранить молочную белизну кожи, он в те дни был замечен на летних площадках заведений, и всех проходивших мимо знакомых, в том числе и меня, одаривал хмельной клыкастой улыбочкой. По свидетельству Пети, он-то и угостил тогда Зятя неким препаратом. И примерно в те минуты, когда Вяткин встретил у Тягарей Леру Холодок, Зять возле заброшенного кинотеатра «Луч» уже вступал во владение всем окружающим пространством, которое сначала льстивой рябью, а затем смущенным волнением от края и до края, признало его полную власть над собой. В голове Зятя грянула симфоническая музыка, не какая-то конкретно, он никакой не знал, но что-то очень торжественное, мощное, со множеством инструментов. И в следующий миг, когда он повелительно простер руку, вся вселенная, собравшись в один радужно переливающийся пузырь, радостно припала к кончику его указательного пальца и повисла на нем. Он долго водил ею – увесистой, желеобразной – из стороны в сторону, крутил над головой и всячески любовался. Там, внутри, хороводились галактики, вращались звездные системы, и если приглядеться, где-то в глубине можно было увидеть Землю, Черное море с лиманом, наш городок, а в нем и самого Зятя возле кинотеатра «Луч» с вселенной-пузырем на пальце. И тут – он аж залился счастливым смехом – его

посетила остроумнейшая мысль, проделать с этой прирученной вселенной фокус, после которого можно было бы с полным правом, ничуть не преувеличивая, утверждать: «я весь этот ваш мир на \*\*\* вертел». Когда же он для удобства манипуляций решил освободить правую руку, оказалось, что вселенная пересаживается с правого указательного пальца на левый указательный не хочет. Скоро выяснилось, что и ни на какой другой тоже. Похоже, она вообще не хотела расставаться с указательным правым. Тогда Зять попробовал её стряхнуть, однако сколько не отмахивался – вселенная лишь волновалась, ходила ходуном, неодобрительно перемигивалась созвездиями, но оставалась висеть там, где висела. Он попытался снять ее, как кольцо – безрезультатно. Сунул руку под мышку, чтобы стянуть и оставить за спиной – опять ничего. Тогда он плюхнулся под изгородь и, уже в голос матерясь, стал срывать её с пальца, упираясь в нее подошвами. За этим занятием его, катавшегося под забором в лопухах, пыхтающего от усердия подобно гигантскому жу и уже всего с ног до головы облепленного репьями, и застал проходивший мимо Изотов, его бывший одноклассник. Он поднял Зятя, заставил его себя вспомнить и довел почти до дома Тягарей, когда их нагнала грохочущая музыкой, полная веселых пьяных людей машина. Зятя из нее окликнули, пригласили внутрь и увезли. Было это близко к тому времени, когда убили Кирилла, может чуть раньше. В том состоянии Зять ни на что подобное просто не был способен. Да и свидетелей было достаточно, подтверждавших, что весь тот вечер Зять провел в курортном местечке в двадцати километрах от городка. Там он пропал около недели.

## X

Узнав по возвращении, что произошло с Кириллом, и услышав от Пети о поисках его Вяткиным, поиздержавшийся Зять быстро сообразил, что к чему и приступил к Вяткину с требованием выдать обещанное. Вяткин же, после всего случившегося, наверняка и слышать ничего не хотел, к тому же он мог полагать, что убийство Кирилла дело рук Зятя, который, совершив его, на некоторое время исчез из города. Да и нечего ему уже было отдавать, если он отдал всё Нике. Зять не отставал. Ему в последнее время, чтобы быть в тонусе, постоянно нужны были деньги, а всё мало-мальски ценное, добытое в ночных вылазках по оставленным без присмотра домам, уже было свезено скупщику в Затоку, и со смертью Холодка рассчитывать было не на что. В тот роковой день Зять пришел к Вяткину на крепком взводе и, услышав отказ, схватился за нож. Чего я не мог представить, так это того, что Зять напал на Вяткина в присутствии соседа, поэтому дальше в моем воображении сложилась такая картина. В тот день шел дождь, во второй половине перешедший в ливень; на улицах не было не души. Взяв нож, которым он полоснул Вяткина по горлу, Зять вышел к соседским воротам и толкнул стоящую там машину. И когда подрабатывавший извозом хозяин появился (соседка рассказывала, что муж вышел на звук сигнализации), Зять ударил его несколько раз ножом и смертельно раненого потащил к Вяткину. После чего задумался, как замести следы. В другой день он, вероятно, поджог бы дом, но слишком уж было в тот вечер мокро снаружи и сыро внутри, и тогда он решил, что со всем этим прекрасно справится вода. В комнатку, в которой он сложил полуобнаженные трупы, он напустил её, скорее всего, через шланг, которым Вяткин поливал свой сад, ну и, может быть, еще в азарте затеи натаскал из двух переполненных бочек под водосточными трубами. До сих пор не могу отделаться от мысли, что, разведая убитых, а после заливая их водой, ополумевший наркоман не только путал и замывал следы, но еще и бросал вызов следователю: дескать, ты у меня голову сломаешь, разгадывая эту загадку.

Закончив в доме Вяткина, Зять отправился на лиман. Есть важное свидетельство дежурного на причале, который видел, как Зять еще засветло подъехал туда на своём черном мотороллере. Заинтересовавшись, что могло понадобиться ему в такую погоду, дежурный вышел посмотреть и видел, как Зять вошел в лиман по пояс и стал стаскивать с себя одежду и бросать в воду. После чего в одних черных трусах вернулся к мотороллеру и помчался на нем в город. Там, на углу Типографской и Мельницкой, его в начинающихся сумерках сбила машина. Выброшенный боко-

вым ударом из седла, он перелетел мостовую и замертво упал на тротуаре под чугунной водяной колонкой, об которую ему размозило голову.

Что касается Елены Глебовой – пала ли она от руки Зятя вместе с Вяткиным, находясь у него в гостях, или стала заключительной жертвой, появившись там, когда Зять уже заливал дом водой, – мы вряд ли когда узнаем. Как позже выяснилось, накануне вечером она получила пару крепких затрещин от матери Алисы, приревновавшей её к своему сожителю Пете, и выставленная на улицу, оказалась лицом к лицу с мужем. Когда Глеб Глебов привел её домой, она в родных стенах как будто очнулась, а он внутренне возликовал: значит, его идея во что бы то ни стало заманить её сюда была верной. Они провели вместе ночь и первую половину дня. Глеб Глебов делился с женой планами отъезда, с которым теперь готов был повременить. При этом ни он, ни она ни разу не вспомнили о мальчике. Вернувшись с покупками из магазина, Глеб Глебов жену дома не застал. Он прождал её несколько часов, и только с началом сумерек бросился на поиски.

## XI

В те дни все были настолько оглушены произошедшим (четыре трупа на небольшой городок многовато даже для нашего сумасшедшего времени), что известие о покушении на следователя прозвучало как-то глухо и невнятно, как сквозь толщу воды. Истекающего кровью, его на полу в номере нашла горничная. Кто и почему в него стрелял, осталось неизвестным. В тот же день арестовали и увезли в Одессу Изотова. Через неделю он вернулся, но, не пробыв тут и суток, опять уехал.

Вот так, не успевая от новости к новости переводить дух, мы встретили долгожданный бархатный сезон. Установилась та самая, любимая мной погода, однако куда себя девать этими тихими благоуханными вечерами, я теперь не знал. Чернецкий заперся у себя и больше никого, ни по субботам, ни по каким другим дням, не принимал. Думаю, на него сильно подействовал тот факт, что половина жертв – Вяткин, Глебовы, Кирилл Стряхнин – были в то или иное время за-всегдаями его суббот.

Только заказы на работу в городке и поблизости не позволяли мне уехать в Одессу. Чтобы не пить по вечерам лишнего, я стал ложиться раньше, и как-то, когда уже крепко спал, меня разбудил крик со двора:

– Хозяин!

Полная луна сияла так ярко, что свет можно было не включать. Часы показывали половину одиннадцатого.

За дверью мне открылось зрелище, которое вполне могло сойти за продолжение сна: освещенный лунной двор был заполнен людьми в вышиванках. Таким я увидел его, шагнув за порог. Расплываясь в слезившихся спросонья глазах, белые сорочки светились повсюду, куда бы я не направил взгляд. Говорили, что Цвиркун после известных событий стал ходить с телохранителями, но тут их было что-то чересчур много. Сам Цвиркун, выделяясь среди подопечных белыми шапочкой и бородой, стоял в центре двора рука об руку с человеком в военной форме и в фуражке. И хотя голова служивого была опущена, в глаза бросилось его опять же белое, немногим темнее вышиванок, лицо. Подойдя ближе я увидел, что руки незнакомца заведены назад, а когда он поднял голову, оказалось, что рот его забит свернутой тряпкой. Я вновь окинул взглядом двор и наконец понял, что анонимные алкоголики, распределившись парами, перекрывали все проходы между строениями; еще пара стояла за калиткой.

– Узнаете? – спросил Цвиркун и сорвал с военного фуражку.

Уже догадываясь, кого он мог привести ко мне на ночь глядя, я присмотрелся и таки узнал кукольника Свистунова. Сделать это сразу мешали отсутствие чуба и грим – высоко наведенные брови и подкрашенный снизу черным нос придавали его выбеленному лицу что-то кошачье.

– В общем, планы такие, – объявил Цвиркун. – Вывезти эту падлюку подальше от берега, дать веслом по голове и до свидания. Лиманским ракам и судакам на корм.

Мне, конечно же, на память пришла история с зеленой в ночь убийства Стряхнина, и я, недолго думая, решил, что Свистунов снова напоил всех этих несчастных людей. Я только не мог понять его странного вида. К чему тут были грим, фуражка с железнодорожной кокардой и кургузый френч с металлическими пуговицами – он опять оказался здесь на гастролях и тут же взялся за старое? Не очень в такое верилось. Но и не из Одессы же они его везли, предварительно выкрав за какого-нибудь спектакля... Ничего не придумав, я спросил:

– А почему он так одет?

Цвиркун вернул фуражку на голову невольнику, а другой рукой выдернул кляп. Тот сразу же принялся отплевываться.

– Почему так одет? Сейчас поймете почему, если до сих пор не поняли.

И только когда Цвиркун, освобождая кукольнику руки, сказал: «Давай, гимназист, покажи нам, зачем ты так оделся», до меня наконец дошло, что тот вырядился гимназистом Батумцевым, героем местной легенды. Но и тогда смысл этого маскарада мне, до конца, видимо, не проснувшегося, оставался непонятен.

– Чего стоишь? – крикнул Цвиркун, замахиваясь на продолжавшего плевать кукольника. – Давай, делай, как делал! Что ты там делал? Показывай, чем баб пугаешь. Невестке чуть выкидешь не устроил, сукин сын, пришлось скорую среди ночи вызывать. Давай, показывай! Ну!

Свистунов снял фуражку и, ослабившись, произнес:

– Здравствуйте! Черешки не желаете? Угощайтесь! Сетйашщюгу!

Дернув фуражкой в мою сторону, он приложил свободную ладонь к груди и повторил:

– Угощайтесь!

И затем, кланяясь в пояс и выпрямляясь, мотая из стороны в сторону вдруг отяжелевшей неподъемной головой, с монотонностью заевшей пластинки стал повторять:

– Сетйашщюгу – угощайтесь, сетйашщюгу – угощайтесь, сетйашщюгу – угощайтесь, сетйашщюгу – угощайтесь...

Разболтанно-маетные движения и декламация с налеганием на шипящие сопровождалась еще и ровным, механическим, исходящим изнутри кукольника жужжанием. Видеть это было неприятно, и вечером, где-нибудь в темном переулке, такое действительно могло напугать.

С гадливостью наблюдавший за кривлянием кукольника Цвиркун наконец остановил его крепким подзатыльником.

– Хватит! Смотреть противно.

В полусогнутом положении, с ладонью на груди кукольник застыл. Спустя секунду-другую, когда жужжание внутри него смолкло, он выровнялся и как ни в чем не бывало продолжил отплевываться и снимать с языка соринки.

– И что вы с ним дальше собирались делать? – поинтересовался я.

– Мы с ним ничего не собирались делать, кроме того, что я уже сказал – вывезти на середину лимана, и пускай плывет куда хочет. Это он попросился к вам и Чернецкому, попрощаться. Мы не звери, пусть прощается. Тем более тут по дороге. – Повернувшись к кукольнику, Цвиркун спросил: – Ты с ним попрощался? Всё. Теперь пошли прощаться к Чернецкому.

– Стойте! – сказал я. – Не надо к Чернецкому.

В угрозы насчет лимана я не поверил. Скорее всего, максимум что грозило Свистунову – трепка, вроде той, которую ему задали перед приходом сюда. На уме у Цвиркуна было другое – если бы я отказал, он бы наверняка потащил кукольника к Чернецкому.

Я взял Цвиркуна под руку, отвел в сторонку и напрямую спросил: сколько? Он забухтел насчет вызванной среди ночи скорой и заломил что-то несурзное. Сошлись на четверти от заявленного.

Я к тому времени окончательно проснулся, и вспомнив завязотность Цвиркуна в денежных делах, спросил:

– А вы точно еще не были у Чернецкого?

Ответом мне стало гневное:

– Что?! Вы за кого нас принимаете? Не хотите, не надо!



– Хорошо-хорошо, – согласился я и пошел за деньгами.

Знал бы он, что в своих подозрениях я зашел куда дальше, предположив: а не устроен ли весь спектакль их совместными, его и кукольника, усилиями?

Наконец удовлетворенный Цвиркун с компанией ушли, и мы с кукольником остались вдвоем. Приглашать его в дом мне не хотелось. Он вытянул из нагрудного кармана френча телефон, тот при этом коротко зажужжал, и переложил его в брюки, потом, не спрашивая, подошел к дворовому крану и стал полоскать горло.

– Говорил же, что не буду кричать, зачем тряпку засовывать? – сказал он, возвращаясь. – Вот же село тупое.

– Как же это вас вычислили? Впрочем, догадываюсь. Наверняка здесь замешана женщина.

– И не одна, – поправил меня кукольник.

– И что теперь? – поинтересовался я.

– В Одессу поеду. Как и собирался.

– Мы думали, вы давно там.

– Пришлось задержаться.

– А как же грандиозные перемены в личной жизни? Отменяются?

– Читайте Шопенгауэра «О браке», там всё написано. Да и скучно здесь у вас.

– Это вам-то скучно? Ну-ну.

Кукольник взглянул на меня с насмешливым сожалением и качнул головой, как бы поражаясь моей простоте.

– А вы думали, я буду сидеть здесь на завалинке и детишкам куколок вырезать?

Выкупленный мной несколько минут назад, он похоже не чувствовал никакой благодарности, более того: глядел свысока.

– Что ж, счастливого пути, – сказал я. – А где ваш чуб, кстати?

– В прошлом.

Напоследок он, видимо, решил меня утешить, снизошел:

– Ничего, им эти деньги все равно впрок не пойдут, еще и боком вылезут. Я сирота, а сирот обижать нельзя.

– Шопенгауэр накажет? – не удержался я.

– Так мне подсказывает мой жизненный опыт.

Мы уже стояли у калитки. Прощаясь, он сказал, что утром уедет, и мне еще пришлось дать ему денег на дорогу. Под клятвенное обещание, что он не потревожит Чернецкого. Пряча деньги, кукольник сказал:

– Всё в этом мире повторяется. Когда-то две тысячи лет назад уже был человек, которого тоже вот так, среди ночи, водили от одного властителя к другому.

Всё-таки ночное купание в лимане ему бы не повредило, подумал я с сожалением. Просто удивительный экземпляр.

– А властители это кто? Я и Чернецкий?

Кукольник опять глядел на меня с иронией – я его по-прежнему продолжал забавлять – и на прощание заявил:

– Я сюда еще вернусь. Только уже не мир принесу, а угадайте что.

Вздыхнув, я пошел в дом и больше его с тех пор не видел.

– Это была одна из лучших моих ролей! – крикнул он мне в спину.

– Охотно верю, – не оборачиваясь, согласился я.

Утром он, кажется, действительно уехал, но еще ночью группа подростков, возвращаясь с дискотеки, обнаружила лежащего прямо посреди перекрестка человека. Напуганные последними событиями, они решили, что опять кого-то убили, но когда стали осторожно приближаться, лежавший вдруг резко, словно подброшенный, сел, и в густом облаке поднятой пыли повернул к ним белое лицо и протянул руку с фуражкой. При этом он что-то говорил, но никто ничего не услышал – все кинулись кто куда.

Предсказание кукольника оказалось не пустыми словами, и те деньги, что мне пришлось отдать за его голову, Цвиркуну на пользу не пошли. Через неделю я увидел его в заведении у вокзала, куда зашел выпить свежего пива. Сидевший спиной ко мне Цвиркун, пока я осушал кружку, рассказывал группе забулдыг, так и не охваченных его просветительской деятельностью, – и вот что удивительно: рассказывал горячо, со страстью, в полный голос – о горькой участи Стряхниных, и их бесславной, но заслуженной гибели. Закончил он словами, прозвучавшими как краткий тост: «Москва, будь ты проклята!»

Недели две спустя я проснулся в летней кухне среди ночи от бешеного стука в дверь. Когда включил свет, застучали еще громче. Первая мысль была: кого-то еще убили, а следующая (что греха таить): пришли по мою душу. Тем не менее я почему-то бросился к двери, не спрашивая открыл её, и в полном соответствии с моими предчувствиями в комнату ввалился Цвиркун. Таким я его не видел: без шапочки, взъерошенный, с всклокоченной и как будто съехавшей набок бородой, в изодранной меховой жилетке на голое тело, босой, но главное – с топором в руке. Поптившись, я опустился на расстеленную кровать.

Наскоро осмотревшись, гость метнулся в мою сторону и замахнулся топором на лампу.

– Свет!

Опередив его, я щелкнул выключателем. Он кинулся к окну.

Это были несколько нехороших минут в полной темноте в присутствии ненормального человека с топором.

Наконец Цвиркун задернул шторы и сказал:

– Теперь включай.

Я включил.

– Спрячь ноги, отрублю.

Я накинул одеяло на ноги.

К чему-то прислушиваясь, Цвиркун долго стоял напротив окна, после чего сказал:

– Идем.

Натянув под одеялом штаны, я под его присмотром вышел во двор. Не помню, какие шумы были в кухне, вроде бы никаких, но после нее тишина во дворе показалась мне мертвой. И уже было ощутимо прохладно.

– Ты вот что, – с заговорщицкой деловитостью, приблизившись ко мне вплотную, произнес Цвиркун. – Следователь придет, смотри чтоб ни гу-гу, понял? ни-ни-ни. А если что, сразу, – тут он сутулясь, мелко гримасничая, зачистил вполголоса: – что? где? как это? вы что? зачем? кто? когда? нет, не знаю, откуда? – и вдруг, изображая возмущение, во весь голос: – Да как вам не стыдно?! Что это значит?!

Очевидно, он показывал, как я должен вести себя со следователем.

– Понял? Повтори.

– Как вам не стыдно, – повторил я. – Что это...

Не дослушав, Цвиркун горячо зашептал:

– Потому что когда ты под капельницей, душа где? Правильно, в сарае. А если она не в сарае, значит у следователя. А где следователь? – перехватив мой взгляд, он выразительно подергал головой, показывая глазами за левое плечо, и тут же замер и прислушался. Что-то осмысленно несчастное вдруг изобразилось на его лице, но, не продержавшись и секунды, исчезло. Свободной рукой он схватил меня выше локтя. – А ребята пусть пока там поживут. Ребята тихие, как мыши. Они там уже давно лежат. Идем, покажу. Идем.

– Куда?

– Туда.

Показав топором на сарай, он потянул меня за собой. Вот когда я пожалел, что до сих пор не снес это уродливое строение, возможно, привлечшее внимание Цвиркуна еще в тот вечер, когда

он явился сюда с кукольником, и с тех пор застрявшее у него в памяти. Самое интересное, что я в ту минуту каким-то праздным краем сознания, почему-то не занятым поиском спасительного выхода, с легкостью представил, как они, его тихие ребята в белых вышиванках, лежат там бок о бок на земляном полу, уставившись широко раскрытыми глазами в щелястую крышу.

Сделав шаг, другой, я уперся. Цвиркун, запнувшись, медленно перевел на меня совсем уж бессмысленный взгляд. Кажется, время, отведенное для разговоров, закончилось. Топор он держал на отлете, в низком замахе. Я сделал шаг, другой назад, Цвиркун потянулся за мной. Я сделал еще шаг. Он тоже. Постояв, он попятился, и я сделал несколько шагов за ним, в сторону сарая. Тут я решил, что всё – как бы он ни тянул, дальше не пойду, и, весь подобравшись, приготовился к рывку и побегу.

– Иди, – строго сказал Цвиркун, поднимая топор. – Иди.

Во всем его теле (для своих более чем семидесяти лет он был на удивление крепок) чувствовалась целеустремленная собранность, готовность в любое мгновение перейти к решительным действиям; его твердые, точно неживые пальцы, впившись в мою руку, ни на миг не ослабляли хватку.

Не знаю, что было бы дальше, если бы не прилетевший откуда-то аж с берега лимана, но в той необычной тишине прозвучавший вполне отчетливо знакомый надрывный крик: «Не будьте кацапами!»

Дернув на него головой, Цвиркун оцепенел. И вдруг – хищно сверкнув глазами – бросился в непроходимые заросли моего сада. Треск и шум за этим последовали такие, что я бы несколько не удивился, если б наутро обнаружил там широкую просеку.

Буквально вбежав в дом, я задвинул засов, закрыл окно и выключил свет.

Судя по тому, что никого зарубленного топором на следующий день ни на берегу лимана, ни в нем самом не нашли, пути Цвиркуна и бродячего проповедника в тот вечер счастливо разошлись, но криков последнего я с тех пор больше не слышал. Цвиркуна с белой горячкой днем отвезли в Одессу, по возвращению из которой он скончался от двусторонней пневмонии.

Мне же тем утром позвонила сестра и сообщила о смерти матери. К отъезду у меня всё было готово, и, побросав вещи в машину, я через считанные минуты покинул городок.

### XIII

Вскоре после покушения на следователя в городок прибыли два молодых человека, но, не пробыв здесь и недели, в одно утро исчезли, при этом один из них на прощание выкрикнул: «Ноги моей здесь больше не будет, твари!» Я еще подумал, наверное прав был следователь и с кадрами действительно худо, если присылали таких истеричек. Правда, потом и вовсе выяснилось, что то были никакие не следователи, а проходимцы, выдававшие себя за скупщиков женских волос, и под этой вывеской набиравшие девиц в турецкие бордели, но в нашем городке что-то им помешало развернуть свою деятельность. Меня, как и других местных наблюдателей, видимо, сбило с толку то, что поселились они в той же гостинице, где жил следователь. Больше никто в городке не появлялся, и по слухам, а главным их поставщиком был Жарков, у которого приятель работал в одесской полиции, дело о тройном убийстве фактически закрыли, списав его на сошедшего с ума Глеба Глебова, якобы заставшего жену во время оргии с Вяткиным и его соседом, чему никто, естественно, не поверил. (Кстати, лишившегося в одночасье матери и отца мальчика взяли к себе Чернецкие, оказавшиеся Глебу Глебову какими-то дальними родственниками.) Покушение же на следователя и оба убийства Стряхниных так и оставались нераскрытыми. К слову, ненадолго пережил брата и племянника Степан Юрьевич Стряхнин, набредший таки, как говорят, в каком-то погребе на бутылку с отравленной водкой.

Все новости городка я узнавал от сестры Чернецкого по телефону или встречаясь с ней во время её приездов в Одессу. От нее я узнал о смерти Цвиркуна, а позже о том, что Чоботов, потушив

еще пару-тройку разбившихся во дворе бутылок с зажигательной смесью, переехал зимой в Москву, к тому же там (начинало сбываться предсказанное Кириллом?) собрались экранизировать какой-то из его романов. И куда-то за границу уехала Алиса Тягарь с детьми.

Лишь весной, в конце марта, оказавшись в тех краях, я заехал в городок, но пробыл там не больше трех часов и никого, кроме присматривавшего за моим домом соседа, не видел. Посидел во дворе, как сидел тут, бывало, каждую весну, когда еще были живы мать, Вяткин и все остальные, полюбовался нежными весенними тенями и уехал в Одессу еще засветло, не загадывая, когда появлюсь здесь в следующий раз.

Однако в августе привычка взяла свое. И спустя год после трагических событий я, собрав вещи, отправился в городок – после года напряженной работы мне нужен был хороший отдых.

В первую же субботу я явился к Чернецкому. После такого большого перерыва я себя чувствовал скорее гостем Анны, с которой, как уже говорил, поддерживал постоянную связь. Впрочем, преодолел некоторую неловкость, посидели мы хорошо и даже весело. Я провел тогда в городке почти месяц, но больше мы не виделись. Прежде в наших встречах соблюдался некий негласный порядок: кроме суббот, я имел еще возможность зайти посреди недели, просто так. Теперь же в отсутствие суббот нужен был какой-то повод, которого я не находил.

В конце второй недели пребывания в городке я заметил на рынке мулатку Зуру, сожительницу фотографа Жаркова, вероятно и она меня видела, потому что в тот же день Жарков мне позвонил и предложил зайти.

Надо сказать, встретил он меня тепло, как старого знакомого. Я старался отвечать тем же. Его молчаливая мулатка на каждый мой поворот головы в её сторону незамедлительно отвечала радушной, хотя и несколько механической улыбкой, так что после десятого-одиннадцатого раза я старался к ней не поворачиваться, чтобы лишний раз не беспокоить.

Не думаю, что Жарков вдруг подобрел или за это время ко мне расположился, но язвительности в нем с нашей последней встречи заметно поубавилось. Возможно, так на него повлияло появление мулатки, а с нею более или менее налаженной семейной жизни. Наверняка в его смягчении сыграло роль и некоторое оживление в делах. Как рассказали Чернецкий и Анна, Жаркову поступил заказ на изготовление фотоальбома к очередному некруглому юбилею городка, а также появилась возможность издать книгу о бессарабских свадьбах – зря, что ли, Жарков по ним мотался. При этом на оба проекта выделялись приличные суммы, а заказчиком выступил не кто иной как Кучер, и уже был выплачен немаленький аванс.

#### XIV

Дом Жаркова, сравнительно недавно им приобретенный взамен проданного родительского, стоял в сотне метров от лимана. Бывать здесь прежде мне не приходилось. Однажды во время наших прогулок к лиману меня сюда завел Чернецкий, но хозяина в тот день дома не оказалось.

Все четыре тянувшиеся анфиладой помещения – кухня, гостиная, спальня и кабинет – имели выход на длинную деревянную веранду, заставленную горшками с цветами. Снаружи это напоминало корпуса санаториев или прибрежных гостиниц, однако внутри, просторные, хотя и немного мрачноватые комнаты с невысокими потолками, как и вся обстановка в целом, производили самое приятное впечатление.

Перед ужином мы прошли в кабинет, и там Жарков завел разговор о прошлогодних событиях. Сообщив, что слышал о моем расследовании от Чернецкого, он поинтересовался, что я, спустя год, думаю об остальных убийствах и о покушении на следователя. При слове «расследование» я отмахнулся, что же до убийств и покушения на следователя, тут мне сказать было нечего. Я, как и все, с самого начала мало что о них знал, а после года жизни в Одессе постепенно стал забывать.

Внезапно Жарков спросил, что я думаю об Изотове. Вот уж об Изотове я совсем ничего не думал, да и почти не вспоминал. В те дни, когда всё происходило, я видел его редко, хотя и слышал

о его дружбе со следователем и знал, какие о ней ходили в городе слухи. Ну, и еще знал то, что опять-таки знали все: после покушения на следователя Изотова задержали, увезли в Одессу, но скоро выпустили, после чего он так в Одессе и остался. Мои сведения Жарков, ссылаясь на приятеля в розыске, пополнил рассказом о том, что Изотова отпустили, несмотря на найденный во время обыска у него дома гашиш, пропавший из комнаты вещдоков, вероятно не захотели, чтобы история выплыла на поверхность.

– А меня он всегда настораживал своей застенчивой улыбочкой, – признался Жарков. – Как говорил Чернецкий о Витюше: тихая вода плотины рвет. Изотову это бы больше подошло.

Он рассказал, что Изотов в те дни побывал у него дважды. В первый раз принес свои записки, а через день пришел узнать о них мнение и чтобы их забрать, но так наклюкался, что ушел без них в состоянии близком к истерике, так что Жаркову пришлось его успокаивать.

– Такие страсти, что ты!

– Они со следователем были любовниками? – спросил я, плохо понимая, почему мы столько времени уделяем Изотову. Если Жарков связывал с ним покушение на следователя, то пора б уже было сказать что-то по сути.

– Не думаю, – ответил на мой вопрос Жарков. – Тут, скорее, обожание старшего младшим. Помноженное на его кинопомешательство. Плюс гашиш, кстати отменный. Боюсь, им он в последнее время злоупотреблял. Если коротко: историю их отношений со следователем Изотов считал как бы уже готовым фильмом и сделал к нему режиссерский сценарий, кое-где еще и с раскадровкой – то есть закончил тем, с чего обычно фильм начинается. Кстати, я когда-то подарил ему старый режиссерский сценарий, который он, похоже, и взял за образец. Вот, полюбуйся, – Жарков достал и принял листать передо мной тетрадь Изотова. – Рисовальщик он неважнецкий, но в остальном всё честь честью: названия объектов, время, музыка, даже, представь себе, крупность, только метража нет. Эдакий карго-фильм. А поскольку фильму нужен зритель, вот он мне его и вывалил. Попутно тут еще и комментарии. И есть рецензия на фильм, к сожалению незаконченная. Советую обратить внимание на сцену на крыше гостиницы: там они оба хороши, что он, что следователь. И последний их разговор. Посмотри, пожалуйста. Интересно твое мнение.

Тут Зура позвала нас ужинать, и больше к этой теме мы в тот вечер не возвращались. Видимо, Жарков решил подождать, пока я ознакомлюсь с изотовской тетрадью, которую он, не спрашивая, хочу я того или нет, вручил мне и обязал вернуть в течение ближайших дней.

## XV

– Ну, что скажешь? – спросил он, когда я пришел к нему на третий или четвертый день.

Я только пожал плечами. Порадовать мне его было нечем. Изотовскую тетрадь я мог бы вернуть ему и на следующий день, поскольку читать её было одно мучение, и я, естественно, мучиться не стал. Громко названная сценарием, она представляла собой хаотическое собрание всего на свете. Местами это был дневник и записки, местами, как сказано, сценарий, местами какие-то сумбурные умствования, в которых черт ногу сломит: о поисках и обретении смысла, наделение им, смыслом, окружающей реальности через кадрирование, которое, в свою очередь, возможно только с появлением героя и проч., и проч., и проч. Что касается так называемого сценария, занимавшего последнюю треть – я не настолько любил кино, чтобы получать удовольствие от такого рода литературы. Так что судить о его достоинствах мне было трудно. А кроме того, отвратительный почерк Изотова и общая неряшливость (какие-то бесконечные вклейки и выпадающие вклады, которые потом не знаешь куда засунуть) не способствовали чтению. Да и какое, в конце концов, дело мне было до фантазий обкуренного Изотова? Любителю кино Жаркову, проработавшему к тому же пару лет на киностудии, читать эти записи, возможно, было интересно, я же с трудом долистал их до середины, и как по мне, они был ненамного интересней Витюшинных

сочинений, у которых, впрочем, было одно неоспоримое преимущество – те были отпечатаны на машинке. Всё это я и высказал Жаркову.

– Жаль. Очень жаль. Значит, ты не узнал главного, – сказал он. – Изотов придумал, что живет в кино и постоянно находится в кадре. Строго говоря, в кадре постоянно находился следователь, а Изотов попадал в него, когда оказывался рядом. То есть в зону своего же внимания. Ну, как режиссер, который решил сыграть в своем фильме. И вот что мне пришло в голову. Если помнишь, в истории с убитым монахом, в первый приезд следователя, дело было раскрыто во многом благодаря Изотову. Но вот на этот раз – стал бы он так рьяно помогать и тем самым приближать прощание со следователем, находиться рядом с которым стало для него, без преувеличения, смыслом жизни? Отсюда вопрос: а не мог ли он со своей одержимостью, наоборот, попытаться затормозить расследование? И если пойти еще дальше: а не мог ли он решиться на что-то такое, что задержало бы следователя в городке еще на какое-то время?

– На что, например? – спросил я.

– А еще ему нужен был такой сюжет, в котором он бы принимал активное участие, о чем он не раз пишет, – сказал Жарков. – Очень жаль всё-таки, что ты не захотел дочитать до конца.

Наш фотограф всегда был любителем крайностей. Мне же, отказавшемуся штудировать изотовскую писанину, оставалось только помалкивать, хотя, зная немного Изотова, я плохо представлял его в той роли, на которую Жарков намекал. И это я еще не понял, куда он клонит – мне-то казалось, что он хочет привязать Изотова к покушению на следователя. Каково же было мое удивление, когда в ходе дальнейшего разговора выяснилось, что Жарков продвигает Изотова на роль автора тройного убийства в доме Вяткина! Не меньше поразило и то, что всю историю того кровавого вечера, включая вызов из дома соседа, он без малейших изменений взял из моей версии. Я попытался было возразить, но Жарков сразу же щелкнул меня по носу непрочитанной тетрадкой, и делал это потом еще не один раз. Так, когда я высказал убеждение, что всё произошедшее в доме Вяткина указывает на то, что там действовал человек, явно бывший не в ладах с реальностью, каковым и являлся наркоман Зять, он сказал:

– Если бы ты дочитал до конца, то убедился, что с головой у Изотова на тот момент было еще хуже, чем у твоего Зятя. И потом, когда это гашиш перестал быть наркотиком?

Следует добавить, что перемены переменами, а моя многолетняя привычка не доверять Жаркову брала свое. Время от времени мне начинало казаться, что с его рассказами что-то не совсем чисто. В этом деле – отнять сказанное некой двусмысленностью – ему не было равных, и, слушая его, я по своему обыкновению видел эти тени и там, где их наверняка не было. Приходилось делать некоторое усилие, чтобы принимать сказанное им всерьез.

Между тем, Жарков так и продолжал изо всех сил натягивать тройное убийство на Изотова. Вероятно, такой сюжет с сошедшим с ума киноманом ему представлялся интересней других.

– А ты не задумывался, как Глеб Глебов оказался у Вяткина? Кто его направил туда? – спрашивал он. – Петя говорит, что перед тем как там оказаться, он у Тягарей встретил Изотова. И это Изотов подсказал ему, что его супруга гостит у Вяткина.

– И что из этого следует?

– Всего лишь то, что там могли уже лежать трупы, которые наделал Изотов.

– Именно в этот момент там мог орудовать Зять, – возразил я.

– Мог, – с неохотой согласился фотограф. – Кстати, знаешь почему Глеб Глебов в тот день бегал искал жену?

– Он это делал не в первый раз.

– Э-э, нет. В тот день, под проливным дождем, случай был особый. Исчезли деньги, которые Глеб Глебов собрал на отъезд, отчасти накопления, отчасти взятые в долг, все под чистую. Чем тебе не мотив? Денег, правда, при жене не оказалось, но он-то этого не знал.

– Тогда откуда про них стало известно? И куда они делись?

– Деньги перепрятал сын Глебова, опасаясь, что их приберет к рукам его блудная мать, или же его слабохарактерный отец ей их отдаст. Это недавно выяснилось. Можешь поинтересоваться

у сестры Чернецкого. Так что даже Глебов у меня на втором месте, а Зять, уж извини, только на третьем.

– Но для чего Глебову было раздевать трупы? – спросил я. – В жизни не поверю ни в какую оргию. На такую мерзость способен был только Зять.

– Ну, почему же. В оргию и я не верю. Но может быть Глебов хотел таким образом оправдать в посторонних глазах то, что натворил? Пока еще был в своем уме. А пока раздевал убитых, тут-то и свихнулся.

Я спорить не стал. История с деньгами, о которой я раньше не слышал, меня, признаться, смутила. Впрочем, я за свою версию особо не держался, о чем прямо сказал.

– Да ладно! Я же вижу, как тебе жаль расставаться с любимым Зятем... – усмехнулся Жарков (и меня аж передернуло: ну, вот что за ерунда – жаль, не жаль). – Но если серьезно. Кольцо Вяткина, которое у него нашли, сам Вяткин мог ему и дать, чтобы отвязаться.

– У него не нашли ничего другого потому, что Вяткин наверняка все остальное отдал Нике, – сказал я.

– Это нам неизвестно, – возразил Жарков. – А я это к тому, что больше ничего на Зятя не указывает. Ах, да: утопленные в лимане одежды. Ну, тоже так себе аргумент. Я не большой специалист в этом деле, но слышал, есть такие вещества, под действием которых пациенту кажется, что его начинает пожирать его же одежда. Учитывая, что Зять глотал всё подряд, не исключаю, что именно в том волшебном состоянии он тогда и находился. Одним словом, при отсутствии прямых убедительных доказательств, что там что там, мотив Изотова, на мой взгляд, перевешивает.

Я сказал, что у меня, наоборот, версия с Изотовым не укладывается в голове: одно дело фантазировать, и другое вживую резать людям глотки.

– Нет. Здесь это одно и то же, – резко возразил Жарков и уже с раздражением и с некоторым нажимом произнес: – Сценарий с элементами дневника написан *действующим* героем фильма, который, по определению, живет в иной реальности и может позволить себе в ней, как персонаж вымышленный, что угодно. По крайней мере то же, что и герой сценария. Для него хорошо и допустимо всё то, что идет на пользу сюжету. Реального Изотова, которого ты защищаешь, здесь нет. А тот, что есть, твоему скучному наркоману Зятю даст сто очков вперед. Вот из этого и следует исходить.

Не собираясь больше спорить, я привел последний довод:

– Будь Изотов убийцей, разве он стал бы показывать тебе эту тетрадь?

– Когда он её показывал, он еще не был убийцей.

– Хорошо. Тогда как он мог её у тебя оставить, после того как им стал? Если она наводит на такие мысли.

– Мысли к делу не пришьешь. Толковать то, что он там насочинял, можно по-всякому. Да и оставил он её у меня не по своей воле. Я тогда уехал и меня месяц здесь не было, а когда вернулся, он уже исчез. Попробуй все-таки еще раз её полистать, сделай над собой усилие. Оно того стоит. Там и о следователе много интересного.

Чтобы закруглить эту порядком надоевшую мне тему, я согласился на еще одну попытку.

## XVI

– Кстати, ты знаешь, что в следователя стреляли из того же пистолета, из которого убили старшего Стряхнина? – продолжил фотограф после того, как я спрятал тетрадь обратно в сумку.

Откуда мне было знать. Знакомых в розыске у меня не было.

Все время, пока мы сидели в кабинете – Жарков на тахте, а я в кресле, – Жарков перебирал в широкой и плоской картонной коробке перед собой фотографии. Чуть ли не каждый эпизод рассказа он иллюстрировал какой-нибудь из них, иногда довольно отвлеченной – с видом пустой



улицы, например, или какого-нибудь упомянутого им предмета. Чтобы не тянуться за ними, я пересел на край тахты, и он стал метать в меня ими как картами.

Следователя. Гостиница. Номер следователя. Вид из окна номера. Пистолет.

– Вот из такого, – прокомментировал фотограф последнюю.

– И что это значит?

– Что? – переспросил он, поднимая голову. И, вспомнив свой предыдущий вопрос, спросил:

– А ты как думаешь?

– Стрелял кто-то из местных?

– Угу.

– Тот, кто так и сидел в городке все это время.

– Совершенно верно. Первое что приходит в голову – следователь к кому-то слишком близко подобрался. Но по зрелому размышлению понимаешь: нет, не то. Вешать на себя еще и следователя, вместо того чтобы просто тихо исчезнуть, – это как-то чересчур. Я таких героев здесь не знаю. Ну, безбашенный Зять мог бы, наверное, но он к тому дню уже был труп. Изотов? Но откуда у него пистолет Стряхнина? – Жарков сделал страшные глаза. – Слушай! А может, это он и убил Кирилла Юрьевича, чтобы заполучить сюда следователя?

– Если мне не изменяет память, ты с самого начала подозревал в этом Кирилла, – напомнил я. – А как теперь?

– Да, было дело, – усмехнулся Жарков. – Только зря ты злорадствуешь. Я сейчас уже точно свою аргументацию не помню, но там было всё с нею в порядке. Сейчас...

Задетый моим напоминанием, он позвал возившуюся с цветами на веранде мулатку и сказал:

– Зура, напомни, как мы тогда говорили насчет того, кто мог убить Стряхнина. Я еще просил тебя запомнить. Насчет Кирилла.

Зура села рядом с ним и стала рассказывать их версию. Начала она с известной истории о поиске Кириллом оружия. Из нового для меня было разве то, что Кирилл отправился за ним в дом отца со Степаном Стряхнинным. Никакой особой аргументации я, правда, не услышал – так, одни лишь догадки.

Рассказывала Зура вдумчиво, подробно, приятным грудным голосом. Жарков кивал ей в такт, направив на нее указательный палец. А я, глядя на его серебряный перстень с синим агатом, задумался, не им ли был когда-то оставлен след на щеке юной Ники.

Тут Жарков, выразительно кашлянув, отвел руку с выставленным пальцем, и лицо его помрачнело. Чуть раньше и я заметил, что перестал понимать рассказ мулатки, в котором речь уже шла, кажется, не о Кирилле, и всё чаще стали мелькать нерусские слова. При этом ни интонация, ни выражение лица рассказчицы ничуть не изменились.

– Что за ахинею ты несешь? Ну просил же запомнить! – оборвал её Жарков, и когда Зура виновато потупилась, нетерпеливо махнул рукой. – Так. Всё. Иди отсюда. Иди-иди... – Проводив её взглядом, повернулся ко мне и сказал: – Не обращай внимания. Её как-то в драке на Привозе гирей по затылку хорошо отоварили, с тех пор она иногда заговаривается. Отойдет, еще раз попробуем. Но поверь, с аргументацией у меня всё было в порядке. Если бы не одно но: как дядя с племянником попали в дом?

Жарков замолчал. Я ждал продолжения. Однако он как-то уклончиво повел головой и, усмехнувшись, сказал:

– Я тебе удивляюсь. Ладно, Изотов прошел мимо твоего внимания, – по тому как это было произнесено, стало понятно, что с «изотовской» версией тройного убийства он расставаться не собирается. – Но есть человек, о котором, я уверен, ты всё это время думать не переставал. Почему же сейчас ты о нем молчишь?

– Ты имеешь в виду Чоботова? – я пожал плечами. – А что о нем говорить? И что толку от моих подозрений? Да, я уверен, что убийство Кирилла без него не обошлось. Для меня это аксиома.

– Причем здесь Кирилл? Меня его смерть как раз совершенно не интересует. Мы говорим о Кирилле Юрьевиче.

Мне вдруг стало жаль Жаркова. То Изотов с тремя трупами, теперь вот Чоботов, убивающий Кирилла Юрьевича и после стреляющий в следователя. Даже никудышная версия с Кириллом казалась мне правдоподобней той, что он, по всей видимости, намеревался выложить.

– Ты это серьезно? Чоботов? – спросил я и, подавив зевоту, приготовился слушать еще одну безумную историю.

Жарков продолжил:

– Тебе известно мое вполне лояльное к нему отношение, так что для меня, в отличие от тебя, аксиом никаких не было. Сначала просто появилось некоторое, скажем так, недоумение: как так? Страхнины гибнут один за другим – неужели Чоботов здесь не при чем? Представить его терпеливо ждущим, когда мимо поплывут трупы врагов, у меня не получалось. Пускать такие вещи, прошу прощения за каламбур, на самотек, не попытавшись и пальцем пошевелить, да еще когда обстоятельство так благоприятно складываются, совсем не в его духе. Должен же был он хоть как-то отомстить за унижение, за тот пинок в зад возле рынка, за стояние под стволом. Вернемся к исчезнувшему и вновь появившемуся ТТ. Если к Страхнину действительно полезли за ним, и это был не Кирилл, то кто тогда? Кому еще он мог понадобиться в те дни? Кто мог использовать, а перед этим, может быть, и распустить слух о том, что Кирилл, которого гнали от порога собственного дома, ищет оружие? Так может быть Чоботов все-таки воспользовался обстоятельствами?

Я слушал его с тем чувством неловкости, с каким обычно слушают выступление графомана, тоскливо прикидывая, что бы такое сказать, когда он закончит, чтобы его не обидеть. К счастью, меня вовремя осенило.

– Чоботов не переносит вида крови, – сказал я. – Идти в кого-то стрелять, рискуя там же, рядом с трупом, свалиться в обморок, – не думаю, что он решился бы на такое.

И улыбка, с какой Жарков меня выслушал, тоже была сродни жалкой ухмылке графомана, в очередной раз лишённого надежды на признание.

– Да, ты прав, – послушно закивал он после паузы. – Наш писатель, проливший на бумаге реки крови, не выносит её вида. Как же это я забыл? – Жарков вздохнул, задумался. Посидев так некоторое время, произнес: – Но может быть он что-то придумал? Он же сочинитель, человек с фантазией.

– Что ты имеешь в виду?

– Возможно, он предохранялся.

– ?

– Ну, знаешь, как сварщики надевают маску, чтобы уберечь глаза. Может быть, Чоботов был в черных очках? Или в синих. Очки могли бы помочь, как думаешь? Слушай, а если он пошел убивать Страхнина как раз в маске сварщика? А что? Ведь это еще и прекрасный деморализующий жертву эффект. Представь, Кирилл Юрьевич открывает дверь кабинета, а там сварщик! Я бы так и сделал. И не в современном каком-нибудь шлеме, а в той старой доброй плоской маске, с узким затемнённым окошком и ремешками на затылке. Я бы еще и разрисовал её как-нибудь. Спецназовскими узорами Кирилла Юрьевича, конечно, не удивишь, а вот с росписью под хохлому, к примеру, было бы довольно неожиданно. Что скажешь?

Прикинувший дурачком и поймавший меня на эту удочку Жарков теперь потешался, не скрывая удовольствия. Я решил ему в этом не мешать, пусть.

– А впрочем, ты прав, не мог Чоботов стрелять в Кирилла Юрьевича. Да и где бы он взял такую маску? – продолжал глумиться фотограф. – Но тогда кто? – Подобрав лежавшую рядом с ним перевернутую фотографию, он некоторое время смотрел на нее, и вдруг метнул её в меня. – А как тебе такой вариант?

Взглянув на снимок, я тотчас забыл и свою досаду, и жарковское ёрничанье, а всю сонливость с меня как рукой сняло.

– Она?! – воскликнул я.

XVII

На фотографии посреди тротуара стояла и смотрела в объектив женщина с заведенной назад левой рукой – мать Холодка, Лера.

Не знаю, как объяснить, но, увидев ее, я в ту же секунду понял, что это она, и уже примерно знал, какова тут роль Чоботова, да и вся история, которую мне собирался поведать Жарков и которую я потом выслушал без малейшего сомнения, тотчас возникла в моей голове неким призрачным пунктирным наброском, так что оставалось только навести линии пожирнее.

– Ну и кто мог всерьез подумать на эту несчастную калеку? – сказал Жарков.

Насладившись моим впечатлением, он продолжил:

– Конечно, Чоботов не предполагал, что всё так обернется. Он всего лишь хотел заполучить оружие из арсенала Стряхнина-старшего, чтобы передать его младшему. А уж как последний им распорядится – застрелится, перестреляет всю семью, как предполагал наш трепетный Чернецкий, или только грохнет отца – Чоботову, по большому счету, было всё равно, ему бы подошел любой из вариантов.

– Постой, – сказал я, – но они же – Кирилл и Чоботов – к тому времени уже дважды успели поругаться.

– И что? Они и раньше ругались. Вот в знак примирения Чоботов как раз и мог подsunуть Кириллу подарочек. По-моему, вполне в его духе. А кроме того эти скандалы означали, что нервы у Кирилла совсем ни к черту, и лучшего времени вручить ему пистолет нечего ждать. В конце концов Чоботова могла увлечь его собственная фантазия, а может быть, как сочинителя, еще и сюжетные возможности истории, её драматургия. Когда на сцене не какое-то там одинокое ружьишко, а два десятка стволов. Ну как тут пройти мимо? Человек-то он горячий, увлекающийся. Услышав пьяное желание Кирилла, он сразу же за него ухватился, и нацелился на оружие из дома Стряхнина. Мог ли знать Чоботов, где лежал пистолет? А разве кто-то не знал, что у Кирилла Юрьевича по старой привычке девяностых один из стволов обязательно лежит в ящике стола? Чоботов обращается к Зятю. Думаю, предложение свое он составил так изощренно, что в случае провала Зятя никогда бы ничего не доказал. Хотя денег хороших наверняка пообещал. Ну а у Зятя под рукой кто? Правильно, Холодок – лучший специалист по замкам. Не исключено, что Чоботов сразу на Холодка и рассчитывал. Да у меня у самого эта история в голове стала раскручиваться, когда я узнал, что Стряхнины в связи с цыганским предсказанием запираются особенно тщательно, и вспомнил про Холодка. Но для Холодка, мы знаем, жилые покои – табу. Его стихия – погреб, гаражи, сараи. Лезть в дом, к тому же полный людей, да еще за оружием, он категорически отказывается. И тут об этом узнает его мать. Что её заставило на это пойти? Уговоры Зятя? Деньги? Желание взять реванш за ту неудачу с капканом и таки обчистить Стряхнина? При том, что она могла догадываться или даже знать наверняка, кому этот ствол предназначался. Так или иначе, она своего добивается – Холодок сдается. Ну а на месте... не знаю. Может, когда она увидела своего обидчика, палец сам нажал на крючок. Для меня, например, это еще и стало лишним подтверждением того, что Холодок действительно был сыном Кирилла Юрьевича, зачатый им двадцать лет назад, как сказал бы наш Кучер, в режиме изнасилования. И да: это её, а не Алису Тягарь, видел в саду кукольник. После того как вторжение закончилось убийством, Чоботов, естественно, от ствола, доставшегося такой ценой, отказался, и в следующий раз тот всплывает в покушении на следователя. К этому моменту из всех троих – Леры, Зятя и Холодка – в живых осталась только она – вот тебе и ответ, кто в него стрелял. А кто, кроме нее? Я уже говорил: таких не знаю. А если б и был кто на примете, надо еще придумать, как к нему попал пистолет. Нет, кроме Леры никого не вижу. Она, кстати, примерно в то же время исчезла.

– Выходит, следовательно таки раскрыл убийство Стряхнина-старшего?

– Думаю, да. Не глупее же он нас. К тому же профессионал. Вот только покушение на него вряд ли с этим связано.

– Как это? Ты хочешь сказать, что у Леры была еще какая-то причина стрелять в следователя? – спросил я.

– А ты думаешь она, потерявшая сына и любовника, вдруг испугалась разоблачения? – Жарков, усмехнувшись, покачал головой. – Очень сомневаюсь.

– И что же это за причина?

– Ты не поверишь. Холодок. Сын.

– Холодок?! Причем здесь Холодок?

– Лера стреляла в его убийцу.

– Холодка убил?.. – Я запнулся. На мой взгляд, это была совсем уже какая-то... – Чуть!

– И тем не менее.

– Чуть. Я бы еще понял, если б ты сказал: Зятя. У меня с самого начала была такая мысль, но потом...

– А вот это точно чуть. Зачем Зятю убивать своего кормильца? Нет-нет-нет, Холодка убил следователь.

Ну вот, еще одна нелепая версия, разочарованно подумал я. Жарков закурил и сходил за пепельницей.

Когда он вернулся, я сказал:

– Интересная у тебя получается система доказательств. Покушение Леры на следователя ты, значит, объясняешь тем, что следователь убил Холодка. А доказательством тому, что Холодка убил следователь, тебе очевидно, служит покушение на него Леры. Которое в свою очередь... и так по кругу. Ни свидетельств ни улик, я так понимаю, у тебя никаких нет.

– Ты забываешь про пистолет.

– То, что он оказался у Леры, тоже всего лишь версия.

– Предложи другую.

– Хорошо, давай на время забудем про Леру. Скажи, с чего всё-таки ты взял, что Холодка убил следователь? Если ему нужны были признания, почему он, такой, как ты говоришь, профессионал, не взялся за того же Зятя? Почему Холодок? Который и под самыми страшными пытками никогда бы не сказал, что отпирал в ту ночь замки для матери?

– Вот Лера скорее всего именно так и думала, – оживился Жарков. – Что следователь, выбивая признания из её сына, перегнул палку. Только ведь следователю от Холодка нужны были не признания.

Так, еще один интересный поворот, подумал я, и тут уже заподозрил, а не собирается ли Жарков, войдя во вкус, разыграть меня повторно? Угадав мои мысли и понимающе усмехаясь, он сделал примирительный жест ладонью и пояснил:

– Я хочу сказать, что Лера точно знала: её сына убил следователь. Она только заблуждалась насчет мотива. Тут вообще, надо сказать, связался такой узел, в котором, чтобы его распутать, приходится дергать то одну веревочку, то другую. Вот сейчас надо подергать за веревочку следователя. Чем он вообще здесь занимался, кроме того что играл в карты у мэра и курил гашиш с Изотовым?

– Минуту назад ты сказал, что он раскрыл убийство старшего Стряхнина, – напомнил я. – Чем не занятие?

– Не думаю, что у него на это ушло много времени. Я к чему веду? Там, в изотовской тетради, которую ты побрезговал читать, в самом конце, где Изотов отчаянно ищет себе место и роль в своем фильме, есть одно темное место, если захочешь, покажу. Там всё, если можно так сказать, нематериальное имущество следователя – его привычки, интересы, факты биографии – всё свалено в одну кучу, в один сумбурный поток сознания. Писано явно под каким-то сильным впечатлением или в расстроенных чувствах. И вот там, среди прочего, мелькают какие-то, бумаги, доклады, которые, по признанию Изотова, невероятно усложняют ему задачу. А задача такая: как он, Изотов, мог бы всему, что ему открылось, соответствовать – дескать, роль его и так невырази-

тельная, еще больше потускнела. Я помню, еще думал: что за договоры? И так бы и решил, что это какая-то изотовская вольная фантазия, импровизация, может быть и гашиш, если бы не вот это.

Тут Жарков достал из коробки и протянул мне два листа бумаги. Оба были покоробленные, с расплывшимися, хотя и сохранившимися письменами, с подписями и коричневыми отпечатками пальцев.

– Это нашла Беляна, коридорная, знаешь где? У следователя в холодильнике. Это её какие-то знакомые, молодожены. Каково, а? – Жарков встал, прошелся по комнате. – Чем-то он, кстати, ей не угодил, следователь коридорной, злая была на него страшно. Рассказала, что такую же бумагу он предлагал подписать ей, она отказалась. Может и врет.

Пока я разглядывал пошедшие пузырями, в ржавых потеках бумаги, Жарков пересказал то место из изотовской тетради, где описывалась рассказанная следователем история о проигранной якобы его приятелем в карты дуэ. Затем наступил черед предоставленного Петей видео, которое тому оставил на сохранение Зяте.

– Думаю, это же видео он оставил и Лере, а может быть и еще кому-то, – пояснил Жарков, предваряя показ. – Пьяный Петя, правда, так и не понял, что это, а вот Лера поняла.

Я в том видео тоже, признаться, ничего не понял (ночное окно, силуэты, невнятные голоса...), но после бумаг и фрагмента из тетради принял на веру уже автоматически. Договоры произвели на меня впечатление сильнейшее. Уж чего-чего, а такого я не ожидал, хотя и замечал с самого начала за следователем некоторые странности... Но нет, такого не ожидал.

– Почему он тянул и не трогал всю эту компанию? – говорил Жарков. – Может быть, потому что думал перед тем как их всех, пучком, повязать, разжиться у них такими бумажками? Начал с Холодка, а когда с ним так закончилось – ну, тут уж... Даже собрался уезжать, судя по истерике, устроенной здесь Изотовым. Не успел. Словом, наш странствующий следователь, дай Бог ему здоровья, если он до сих пор жив, в конце концов так заигрался, что и сам нарвался на пулю. Кстати, если бы тогда вместо него прислали кого-нибудь другого, дело одним убийством старшего Стряхнина скорее всего и ограничилось бы. Но согласись, в этом что-то есть: движимая местью за сына мать стреляет в его убийцу, который приехал сюда, чтобы найти того, кто убил отца её сына, то есть её саму? Тут тебе, кстати, и предположение Чернецкого об эхе девяностых нашло прекрасное подтверждение. Лера Холодок, стреляющая через двадцать лет в Кирилла Юрьевича, своего обидчика – чем не эхо? Еще какое! О-го-го! А еще это красиво, а значит – правда.

## XVIII

Таким образом все три версии – убийства Стряхнина-старшего, убийства Холодка и покушения на следователя, – собранные в общую конструкцию, опирались друг на дружку подобно ружьям в оружейной пирамиде, и этого Жаркову было вполне достаточно. Тем более, что открывавшаяся с этой точки картина его совершенно устраивала. Умению загонять реальность в художественные рамки он мог бы поучить того же Изотова. Впрочем, я ведь тоже, несмотря на то что меня раздражали все эти «красиво-некрасиво» (что за критерий такой?), в случае с Лерой поверил в её причастность, поддавшись скорее художественной логике.

– Моя красавица! – восклицал Жарков, перебирая её фотографии разных лет. – Всегда мечтал поснимать её побольше, но не давалась. Видимо, воровское воспитание не позволяло.

И до чего же всё это было грустно.

Тут я хотел бы, наконец, кое в чем признаться.

Среди нескольких фотографий Леры была одна памятная мне: на весь кадр смугловатое и как будто обветренное лицо, темные с гиацинтовой волной волосы и пристальный взгляд чуть сощуренных серых глаз. Этот портрет я впервые увидел на давней, целиком посвященной городку выставке Жаркова, и был им совершенно очарован, но спрашивать, кто эта женщина, у автора, с которым мы там же, на выставке, познакомились, мне было неловко. Дом в городке к тому време-

ни уже год как был мною куплен, и, как я уже говорил, выставка Жаркова подогрела мой интерес к этим местам, ну и, что уж тут скрывать, портрет прекрасной незнакомки с серыми глазами и обветренным лицом сыграл в том не последнюю роль. Увидев её однажды, я уже не мог отделаться от фантазии с ней встретиться. Это были какие-то туманные, полные юношеского волнения грёзы о том, как я обязательно встречу её где-то там на улице и, пусть не сразу, но обязательно с ней познакомлюсь, потому что в маленьких городках все должны быть знакомы друг с другом. А ведь мне на ту пору было уже за тридцать. Так что не только Витюша способен влюбиться по фотографии. Узнав о ней поподробнее, я, конечно, от мысли о знакомстве отказался, и, вероятно, благодаря этому то первое впечатление, полученное на выставке, сохранилось у меня до сих пор.

...В городе в тот день раньше обычного отключили свет и внизу надрывно тарыхтел генератор. Лера видела через окно, как следователь подходит к гостинице, и встала в коридорчике между комнатами, у распянутой двери в ванную. От волнения она не рассчитала и подняла пистолет слишком рано. Следователь не спешил, а может быть кого-то встретил, и она несколько раз опустила руку и тут же поднимала опять – всё казалось, что вот сейчас щелкнет замок, он войдет и сразу окажется перед ней, лицом к лицу. Когда замок щелкнул, она попятилась в ванную. Постав там, пошла обратно. Он стоял у раскрытого шкафа, спиной к ней. Глубоко вздохнув, она повела было культю под задрожавшую вдруг кисть, но не довела – следователь обернулся. «Тыц-пи...» – звук выстрела заглушил концовку вырвавшегося у него восклицания, и он упал, не сходя с места, головой к балкону.

Интересно, о чем он успел подумать в эти мгновения, которые мог счесть последними? Горько пожалеть о том, что так хорошо подготовился к игре и теперь не сыграет? Или же его, наоборот, наполнила покоем мысль, что всё кончено и волноваться больше не о чем? А может быть, вспомнив напоследок свою балерину, он наконец сообразил, что вся его суета с гуттаперчевым изначально не имела смысла – душу-то Маруся, уходя, унесла с собой...

Гостиницу Лера покинула так же незаметно, как появилась: когда она входила, пара слушающих, склонив головы над генератором, были заняты его запуском, а когда выходила, они же стояли на улице и глядели на бесконечно длинную колонну мотоциклистов, проезжавшую через город и остановившуюся на перекрестке. Тогда-то, глядя на эту рычащую на все лады пеструю кавалькаду, она и решила, что утром уедет. Весь оставшийся день, вечер и большую часть ночи она ждала, что за ней придут, и заснула только в четвертом часу. Утром она собиралась по пути на вокзал зайти на кладбище, однако в те два часа, что она поспала, ей в таких подробностях и в таком предельно натуральном неприкрашенном виде приснилось посещение ею кладбища и двух свежих могил, что, проснувшись, она решила туда не идти, и на первой же электричке уехала из города.

## XIX

Накануне неожиданного отъезда Жаркова я побывал у него в последний раз. Как и в первый, больше недели назад, мы прошли после ужина в кабинет, где расселись по прежним местам: Жарков на тахте, поджав ногу, я в кресле. Вскоре я услышал Зуру, что-то негромко говорившую на своем языке. На ее голос по веранде в сторону кухни промчалось несколько котов, и, судя по хлопаянью крыльев там же, к ним присоединились голуби. Мне вспомнились Вяткин. Заметив мой интерес, Жарков, сморщившись, шлепнул себя по затылку и махнул ладонью в сторону веранды, дескать, не обращай внимания, травма.

В тот вечер фотограф и поведал мне о своих странных визитах к Витюше. Как я уже говорил, не было заметно, чтобы он этими воспоминаниями тяготился, скорее наоборот. Ведь это благодаря ему Витюша осмелел до того, что стал являться Нике на глаза, и в тот роковой вечер оказался поблизости. Кто знает, чем бы для нее закончилось дело, если бы Витюши не оказалось тогда рядом и Ника пошла бы с Кириллом в крепость. Могли бы и её положить там же. Так что Витюша с подачи Жаркова свою мечту и заодно миссию исполнил – спас зеленоглазку. Для него это был

судьбоносный счастливейший день. Насчет этого, последнего, может быть и так, но хотелось бы только уточнить, что Витюша в тот вечер шел не за Никой, а за Кириллом, чтобы, оставшись с глазу на глаз, сообщить тому, что их поединок откладывается, но остается в силе.

Тогда же я рассказал о записке, которую мне показывала Ника, и спросил Жаркова, что он думает, кто мог её прислать? В ответ он пожал плечами.

– Понятия не имею. Доброжелателей у нее хватало.

Надо сказать, своими изысканиями Жарков меня разохотил. Я был впечатлен предыдущим рассказом о Стряхнине-старшем, да и с покушением на следователя он меня в конце концов убедил.

В тот день я попытался увлечь Жаркова убийством Кирилла.

– Он спрашивал у Пети адрес Холодка, и его там, рядом, видели, – сказал я. – Как ты думаешь, мог он догадываться о том, как был убит его отец и что к этому причастен Чоботов? Ты ведь думал над этим, признайся. Просто говорить не хочешь.

– О чем? Кто именно проломил ему голову? Мне это неинтересно. – Он помолчал. – А если что и интересно, так это был ли Кирилл в момент убийства при деньгах. А что если их не было? И знаешь, что меня навело на эту мысль? Растерзанный, полураздетый труп. Все почему-то решили, что это дело рук случайного мародера, который искал, чем бы поживиться уже после того, как убийца обчистил труп. Ну а что если это сам убийца искал и не мог ничего найти? Как думаешь, могла Алиса слух пустить, а денег-то и не дать?

– Витюша говорил, что у Кирилла с Никой было хорошее настроение, когда они его встретили. Вряд ли бы оно было таким, если б они денег не получили.

– Как знать. Могли и рукой махнуть, дескать, и ладно, и хорошо, и не нужны нам никакие подачки, будем трудиться в поте лица, добывая хлеб свой. – Жарков помолчал. – Что, конечно, сомнительно. Кстати, вот только сейчас пришло в голову: эта раздетость Кирилла тебе ничего не напоминает?

Я уже решил было, что он опять вытянет на свет Изотова, но он, подумав, продолжать не стал и вернулся к истории с деньгами:

– Думаю все-таки, что те пять тысяч уехали с Никой – Кирилл успел ей их передать. Поэтому Вяткин так быстро её спровадил. И правильно сделал. Тот, кто порешил Кирилла, мог прийти и к ней. Впрочем, этот кто-то мог прийти и если бы у Ники денег не оказалось, а он бы решил, что есть. В любом случае ей оставаться здесь было опасно.

– Может, поговорим о Кирилле? – вновь предложил я.

Жарков тряхнул плечами и, помолчав, сказал:

– Из Москвы к нам пожаловало – внимание, сороконожка: ничто, ноль, пустота, а лучше сказать, безвременно потухшая звезда, которая вопреки законам астрофизики схлопнулась и утянула за собой еще полдесятка человек – и это еще не конец сороконожки, просто лень перечислять. Символично, что на себя он был похож меньше, чем привезенный им Козлик. То есть и этого не осталось. Совершенно полое тело, которое только любовь затейницы Ники и наполняла хоть каким-то содержанием. А больше ничего в нем не было.

– Алиса, – подсказал я.

– Что?

– Мне кажется, Алиса тоже его любила.

– Ха-ха. Так любила, что оставила без гроша.

– Именно!

– Ну, может быть, может быть... – рассеянно подтвердил Жарков и размеренно покивал каким-то своим мыслям.

Пользуясь случаем, я спросил его, что он думает о странных переговорах Алисы и Степана Стряхнина. (О них мне, как и ему, тоже стало известно от Пети, а тому от Козлика.) И Жарков сказал, что всё эта была какая-то мутная интрига вокруг наследства, в которой ему лень да и неинтересно копать.



И тут я бы хотел за Алису заступиться. Да, конечно, ситуация с наследством говорила сама за себя, но... Не знаю, чем-то эта женщина была мне симпатична. Так вот: помните страх Чернецкого и его мысли о том, что Кирилл собирался уничтожить всё семейство? Что если того же боялась и Алиса? И тогда её замысел распространить слух о том, что Кирилл на самом деле был сыном Степана, не покажется таким уж странным. Тут и их внешнее сходство было ей на руку. Возможно, тем самым она надеялась сбить напряжение, ввести некоторое, хотя бы временное, смятение в душу Кирилла, отвлечь его внимание и тем самым себя обезопасить. Заодно это мог быть далеко идущий расчет, некоторый задел на будущее, с целью развести в родстве своих сыновей. И я совсем не верил в её причастность к убийству Кирилла. О чем и сказал Жаркову.

Тот внезапно повеселел.

– В общем так. Если мотив деньги, то всех заинтересованных, включая нам не известных, не сосчитать. А вот если мотив Ника? Кто там у нас входил в клуб любителей Ники? Или лучше так – в Клуб Ники – правда хорошее название?

Начинался опять тот Жарков, которого я не любил – ёрник и двусмысленник.

– Я знаю четверых: Чоботов, Витюша, я и ты, – перечислил он. – Витюша глуп, как сто пудов дыма, и если бы это был он, его бы раскололи сразу, да он бы и скрывать не стал. У Чоботова – своя сложная стратегия насчет Ники. Остаемся ты да я. Как в таких случаях говорят, про себя я знаю, что не я. Ты знаешь, что не ты. Вот так теперь и будем с тобой до конца дней.

– Ты забыл еще одну версию: Гамлета.

– Точно! Гамлет! А давай, пусть это будет Гамлет. Я согласен. Аминь.

– И красиво же как, – съязвил я.

– А то! Так и представляю его бегущим по крепостной стене с топором на фоне кровавого заката. А еще не забываем про Изотова, опять же. И ты напрасно отмахиваешься. Уж ему эти пять тысяч, чтобы постоянно находиться где-то рядом со своим кумиром, точно бы не помешали. И кстати говоря, как раз он и мог завлечь тем вечером Кирилла в крепость, пообещав, например, открыть ему имя убийцы отца и сославшись на следователя. Хотя, знаешь... Мне это, сказать по правде, совершенно все равно. Убили и убили. Что называется: бывает. Вот вырастут новые, народившиеся Стряхнины, пусть они и разбираются, кто там и за что грохнул их отца и брата. Будет чем заняться. А как по мне, так лучше бы это и осталось тайной. Глядишь, и легенду какую-никакую наши обыватели сварганили бы, они могут, ты ж знаешь. Чудесная бы получилась троица: гимназист-дуэлянт, монах-наркоман и автор комиксов.

– Чернецкий сказал, что...

– Ой, я тебя прошу. «Чернецкий сказал»... Он славный, добрый человек, но текущая жизнь во всех её причудливых иногда формах ему не по зубам. Что, согласишься, странно. Можно подумать, в его исторических хрониках этого добра меньше.

Пробиться через явно напускное и, как мне казалось, мстительное равнодушие Жаркова к гибели Кирилла я так и не смог и под конец спросил:

– Мое отвращение к Кириллу уже давно перегорело, и мне его теперь только жаль. Одного не понимаю. Как он, при всех таких непростых размышлениях о прошлом, о возмездии, мог продолжать делать мерзости – взять ту же Нику?

Ответ фотографа был краток:

– Находил в них удовольствие. Как всякий извращенец.

Прощаясь, Жарков сделал мне удивительный, совершенно неожиданный подарок – фотографию, на которой мы с Никой сидим в кафе.

Я было заикнулся:

– А как это ты...

Но он, вскинув указательный палец, строго предупредил:

– Ни слова больше. А то заберу назад.

Утром Жарков срочно, без объявления, уехал в Одессу, и через некоторое время выставил дом на продажу, больше мы не виделись. От Анны я слышал, что через полгода он уехал с Зурой на родину её предков, в Африку. Уж не на авансы ли Кучера он предпринял столь далекое путешествие?

XX

Свои записки я завершаю спустя год после их начала, и ровно через два после описанных в них событий. Бархатный сезон, приходящийся обычно на это время, в нынешнем году, увы, не задался: как задождило больше недели назад, так второй только день как расчистилось. Вместе с ясностью пришли холода, и теперь, в конце августа, погода стоит такая, какой она в наших краях должна быть через месяц. По-осеннему синее небо, в прозрачном воздухе уже отчетливо слышны звуки, еще недавно терявшиеся в летнем невнятном гуле, и на солнечном пригреве то там, то сям сидят озябшие в полете мухи. Правда, вчера я вернулся с вечерней прогулки с головой, опутанной обильно летающей паутиной, а значит, есть еще надежда на тепло.

Последние полгода я провел в городке. Перед окончательным переездом я так часто и бестолково метался между ним и Одессой, что по вечерам стал чувствовать себя одинаково неприкаянно что здесь, что там, и буквально заставил себя сделать выбор. Одесскую часть дела я временно передал племяннику, а себе оставил заказы по области – они тут пореже, да и денег поменьше, но мне пока хватает.

Ничего нового с тех пор ни об убийствах отца и сына Стряхниных, ни о тройном убийстве в доме Вяткина мы здесь не узнали. Если не считать, что к трем версиям последнего – официальной, моей и Жаркова – прибавилась еще одна. Как-то, блуждая по сети, я наткнулся на интервью Игрека – помните такого? – в котором тот с шутками и прибаутками рассказал о последних днях «русского мира» в нашем городке, намекая на свое участие в блестящей операции по ликвидации этого очага сепаратизма. Якобы за одну ночь были уничтожены разом все лидеры здешнего сопротивления. Ну, как выражаются у нас на юге: то такое. У специалистов по штиблетам, как правило, язык без костей, рассказать могут что угодно.

В феврале перед переездом в одном из переулков в районе Французского бульвара прямо передо мной из небольшого магазина выскочил Изотов. Не заметив меня, он успел подойти к стоявшей у входа инвалидной коляске и отдать сидевшему в ней пакет с покупками, когда я, сам не зная зачем, его окликнул. Обернувшись на мой голос, он на мгновение склонился к своему подопечному и затем быстро подошел ко мне. Разговор наш длился не больше пяти минут. Ни жизнь городка, ни моя личная Изотова явно не интересовали, мне же расспрашивать его после только что увиденного было неловко (о том, что его тетрадь лежит у меня, я, понятное дело, умолчал), к тому же я спешил. Обменявшись общими фразами, мы попрощались, и тут последовал неловкий момент: оказалось, что нам в одну сторону. Смущенно улыбаясь, ускоряя шаг, я бочком обошел Изотова с коляской, и уже за спиной услышал глухой голос инвалида, замotanного в шарф по самую макушку. Всей фразы не разобрал, но хорошо расслышал два заключительных слова: «конец сороконожки!». Был ли это следователь? Не знаю. Сначала я так и решил, однако после подумал, что с игрой в сороконожку Изотов мог познакомить кого-то еще. Впрочем, к чему гадать? Когда-то же это станет известно.

Добавлю только, что за те пять минут разговора я так и не смог разглядеть в улыбочивом Изотове жестокого убийцу, зарезавшего одного за другим трех человек, а теперь вот заботливо катающего больного. Хотя Жарков, расскажи я ему об этой встрече, только бы утвердился в своих подозрениях. Так и представляю, как он сказал бы: а чего ж Изотову не улыбаться, он всегда улыбался, а тут еще и вышло всё, как он хотел. Ну, или что-то в этом роде.

Сам Жарков так с тех пор и пропал. Правда дом, говорят, он с продажи снял, так что, глядишь, еще объявится, хотя, может быть, и не скоро. Как заметил наш общий с ним знакомый, тоже фотограф, встреченный мной тогда же в Одессе:

– Африка большая. А уж свадеб там...

Еще одно событие, напомнившее дела двухлетней давности случилось совсем недавно. Я получил письмо от Ники. Витюша принес его утром под проливным дождем, как если бы это была срочная телеграмма. Тут только выяснилось, что он поддерживает с Никой отношения через сеть. Расспрашивать подробней я не стал, да и не думаю, чтобы он стал со мной откровенничать. Только спросил, давно ли они состоят в переписке. Оказалось, больше года. Тут я вспомнил, что Никой назвали Витюшину племянницу, дочь Людмилы Ткач, появившуюся на свет год с лишним назад.

Недлинное письмо Ники с первых же строк поражало ужасающей безграмотностью. Не ожидавший ничего подобного, то и дело с изумлением натыкавшийся на все эти «немношко», «к сожалению», «по моему» и проч., я не смог ухватить смысл письма с первого раза, и только со второго понял, что она просит у меня прощения за то, что два года назад так нехорошо воспользовалась моей доверчивостью и готовностью помочь. Свой подлый поступок (так она сама его назвала) Ника объясняла тогдашней неспособностью сопротивляться Кириллу и глупой убежденностью, что любовь может оправдать всё. Оказалось, не всё. Также она просила передать её просьбы о прощении Жаркову, и если у меня наладились отношения с Чоботовым (!), то и ему. Кроме резанувшей безграмотности, меня неприятно удивило, что она ни разу, ну хотя бы вскользь, не обмолвилась о Вяткине, зная, как мы были с ним дружны. Заканчивалось письмо словами: «Еще раз простите и прощайте. Возможно скоро у меня будет другое имя, а пока подписываюсь тем, которое заслужила...» Догадываетесь, каким именем она подписалась? Да-да, тем самым, из «Сороконожки». И ни одной ошибки на все сорок четыре слова.

Той же ночью я проснулся с мыслью о полученном письме, и уже не смог заснуть от захватившего меня злого раздражения. Среди прочего, я вспомнил, как Жарков, говоря о следователе, предположил, что если бы вместо него прислали кого-то другого, дело могло бы ограничиться убийством старшего Страхнина. Помню, я сказал, что и его бы не было, если б не приезд Кирилла. Теперь же, ночью, я думал о том, что всё началось еще раньше, а именно с появления Ники в Москве, и на память пришли слова того же Жаркова об её разрушительных способностях. (На свои же возражения, что причиной её отъезда в Москву стало появление чоботовского романа, я отвечал: но появился-то он после того, как Ника с Чоботовым так жестоко обошлась.) И вот теперь у нее новая жизнь, очевидно с новым человеком, фамилию которого она собирается взять. Наспех показавшись передо мной, а через меня перед Жарковым и Чоботовым, благо на бумаге это совсем не трудно, она спокойно заживет дальше, и уже вряд ли когда задумается о том, какие руины оставила после себя в далеком маленьком городе. Даже то, что она сама лишилась брата, крестного и любимого человека, меня не останавливало в моем озлоблении. Я не мог ни заснуть, ни отвлечься на что-то другое, и с каким-то горьким упоением гонял по кругу одни и те же мысли. Споткнувшись раз, другой и третий на слове «фамилия», я, наконец, обратил на это внимание и вспомнил, что напрямую о замужестве, как и о смене фамилии, речь в письме не шла. Тут я себе что-то нафантазировал. Я не поленился, встал, сходил за письмом. Так и оказалось, вот это место: «Возможно скоро у меня будет другое имя». Хм, и что бы это значило? Ну, не пол же она собиралась менять! Хотя... И тут я впервые внимательно разглядел конверт. Я был уверен, что письмо пришло из Москвы, но на конверте значился город во Владимирской области. Выяснить, что адрес принадлежит старейшему женскому монастырю, было делом минуты. На следующий день я попросил Витюшу передать Нике привет и пообещал ответить, однако так пока этого и не сделал. Положа руку на сердце, я просто не знаю, что ей отвечать. Да и нужен ли ей мой ответ?

Вот и все новости. В городке за это время почти ничего не изменилось, разве что уже второй год, как раз в эти дни, видимо, чтобы продлить туристический сезон, в крепости одно за другим проводятся какие-то мероприятия: ярмарки, концерты, что-то еще. По выходным там особенно шумно. Как только стемнеет, оттуда доносятся музыка, песни, иногда грохочут салюты. Вот и сегодня, похоже, уже началось.

Летом, всё еще прикидывая, не вернуться ли в Одессу, я тем не менее развил здесь бурную деятельность. Привел в некоторый порядок дом внутри, теперь вот расчищаю участок для будущего

сада, и уже стоят в кадках, ждут своего часа привезенные из Одессы саженцы. Скоро будет готов и мой кабинет на втором этаже, возводить который я нанял Витюшу и его приятелей, двух хороших простых ребят. Я у них иногда на подхвате, и уже всех троих приохотил к нардам. Почему-то я считал, что Витюша занимается только простыми тяжелыми работами, но оказалось, что он еще и каменщик, и отличный штукатур, и маляр. Занявшее несколько месяцев строительство уже подходит к концу. Снизу мой кабинет напоминает голубятню, внутри просторный и очень светлый. Весной я собираюсь в него перебраться, а в доме поселю сестру, если смогу её уговорить переехать ко мне. Думаю, когда кабинет будет закончен, а сад заложен, закончатся и мои сомнения, оставаться ли здесь или вернуться в Одессу.

Ну и последнее. Завершая в эти дождливые дни работу над рукописью, внося окончательные поправки, я с неприятным удивлением обнаружил, что крови и грязи в моей хронике оказалось не намного меньше, чем в иных сочинениях г.Чоботова. Что отчасти можно объяснить его присутствием в ней, и все же... Походить в своих записках даже самую малость на нашего (впрочем, уже и не нашего) сочинителя – это, знаете ли, сюрприз, которого я совсем не ожидал. Ну уж, как говорится, чем богаты. Могу только сказать в свое оправдание, что в отличие от него... О-го, как только что шарахнуло! Аж стёкла задрожали. Хорошо гуляют. Может быть, и мне присоединиться? А что? Завтра, вернувшись к написанному, я наверняка опять загрущу, вспоминая прежний городок, затоскую по нардам и тихим вечерам у Вяткина, по субботам у Чернецкого, но сегодня мне хотелось бы с облегчением вздохнуть и просто порадоваться сделанной работе. Поэтому пойду, пожалуй, пройдуся, и таким образом, при свете салюта и фейерверков, среди веселой нарядной публики отпраздную окончание своего труда. Вот и музыка заиграла... Кстати, наш местный поэт, стихи которого я прежде уже здесь приводил, отозвался на эти нововведения вот такими строками:

Гремит салют, соседи лают,  
собаки

Виноват.

Гремит салют, собаки лают,  
соседи в домино играют  
и пляшут девочки в саду,  
а я иду, точней, бреду  
сквозь эти шум и суету  
и ничего не понимаю,  
но ничего не пропускаю,  
зачем-то всё запоминаю  
и улыбаюсь в темноту.

Олег ДОЗМОРОВ

\*\*\*

Прийти нужно было к семи утра,  
за окном на слонов набросили простыню.  
Вспоминаю об этом раз-два на дню  
и держу рукою слова у рта.

Был январь, очень холодно, ведь Урал.  
Дождались трамвая, поехали –  
вдоль трамвайных путей так снега легли,  
словно кто-то Арктику обокрал.

Ты потом обвела три строки, абзац  
у Хемингуэя, где про белых слонов.  
Я недавно нашел и прочел тех слов  
абсолютную правду. Подлец, паяц,

трус, поэт, пятикурсник, паяц, подлец.  
«Все б это могло, – сказала девушка, – нашим стать,  
но не стало». Что ж теперь горевать,  
почему-то подумалось наконец.

Ненадолго, но это сблизило нас.  
Может, просто боялась, что я уйду.  
Очень холодно было зимой в том году,  
минус тридцать, наверное, не то что сейчас.

\*\*\*

почему-то именно в магазине  
где афробританцы мамы с детьми разини  
покупая овощи ерунду  
вспоминаю красноуфимск ревду

под красноуфимск ездили на картошку  
там влюбился сильно не понарошку  
а в ревду посылали иди в ревду  
вот и касса беру купоны иду

---

*Олег Дозморов родился в 1974 году в Свердловске. Окончил филологический факультет Уральского университета и аспирантуру. Автор пяти книг стихов, многих журнальных публикаций. Лауреат «Русской премии» (2012). Живет и работает в Лондоне.*

\*\*\*

Огни по стенам и сирен  
колоратурное сопрано.  
«Там жил какой-то джентльмен», –  
не отрываясь от экрана,

сказал сосед, и унесли  
кого-то быстро на носилках.  
«Спасли?» «Надеюсь, что спасли».  
Блестели каски на затылках.

Я ограждение обошел,  
мне стало стыдно, интересно,  
увидел тело, лоб был желт,  
услышал слово «бесполезно».

\*\*\*

Я убил мотылька,  
что по стенке летел.  
Думал, моль. Смерть легка.  
Убивать не хотел.

От того мотыльца  
вот осталась пыльца  
на обоях, труха,  
ну совсем чепуха.

И какая-то часть,  
ну, практически взвесь,  
вдруг куда-то взвилась,  
разместилась не здесь.

\*\*\*

Мой тесть работал на заводе,  
твой тесть трудился в КГБ.  
Мой круглый год не по погоде,  
твой, с папироской на губе,

допрашивая подписантов  
и прочий ненадежный люд  
за неимением талантов,  
был на Лубянке мегакрут.

К чему я тут? Да сам не знаю.  
Наверное, к тому, что власть,  
самоуверенность тупая,  
как сыпь, тебе передалась.

\*\*\*

Отец мой спился и пропал,  
но в девяносто пятом,  
хорошем и проклятом,  
зачем-то приезжал.

Учил меня курить. Курю.  
«БТ» уже не по рублю.  
Он открывает пачку,  
последнюю заначку.

Он выпил весь одеколон  
и к пиву дихлофоса  
додал! Он весь угроза.  
Но как прекрасен он.

Но я-то злюсь, гоню его.  
А у него нет ничего.  
Ни денег, ни работы.  
Он из питейной роты.

Отец уходит, ну и пусть.  
Благодарю за гнев и грусть.  
Сны мальчика счастливы.  
О, дорогие Фивы!

\*\*\*

Говорил поэт с монобровью поэту со шрамом:  
– Хоть излазийся ты по чужим карманам,  
своего не много там наскребешь,  
караоке одно споешь. – Отож, –

отвечал со шрамом товарищу с монобровью, –  
я припал к изножью, не к изголовью,  
но нашел свой голос потерей кожи,  
на латынь перевел речь будок и взял дороже.

И сказал им третий, если бы был здесь третий:  
– Потеряли игрушку и злитесь, дети,  
и не ведаете, что пустоты в травке  
и любовь народа пошлей удавки.



\*\*\*

Локализуй стихотворенье!  
Закастомайзь его! А там,  
как проплативший продвижение,  
я буду гуглить по словам.

Я только завтра буду гуру,  
и только завтра в соцсетях  
я размещу сию халтуру,  
и, преодолевая страх

быть пойманным на интертексте,  
цитате не пойми кого,  
я выскочу на манифесте  
и забрендирую его!

\*\*\*

Не кларнет у Карла украла Клара  
и не Саша с сушкой по мостовой  
шлепала – побежал ручеек с Урала,  
чтобы с гор скатиться и стать Москвой.

Кто остался, стали тем, кем не стали  
те, кто уехал и стал, кем стал.  
Упрекать отъездом давно устали,  
ну, давай, чеши, чемодан – вокзал.

Но гордятся выходцем, а вернешься –  
станешь лузер и нищеврод,  
а куда подальше переберешься,  
так предашь и родину, и народ.

Растиньяк под маскою д'Артаньяна,  
человек на Савеловском чебурек  
ест стоймя, наблюдая, как сын Корана  
расчищает за окнами русский снег.

### **Советское стихотворение**

Жалко, когда закрываются  
димсамные и кофейни  
(часто они называются  
странными именами).  
Жалко, когда закрываются

пабики и питейни,  
мелкие забегаловки,  
еще не открытые нами.

Вафельные бельгийские,  
блинные, желатерии,  
пирожковые, кнышные,  
закусочные фиш-энд-чипс,  
корнишные и еще бельгийские,  
знаете, ну, такие,  
где насыпают картошку фри  
в чистый газетный лист.

На променаде в Брайтоне  
жалко до боли устричную,  
что с 70-х держала  
одна пожилая пара,  
где подавали самую  
простую еду уличную,  
и еще десять лет назад  
мы здесь ели горячий киппер  
у моря в облаке пара.

Жалко всех, но особенно –  
смешное кафе «Ромашка»,  
напротив 37-й школы,  
на углу Первомайской и Восточной.  
Мы ходили туда втроем –  
я, Леха Ситников и Романченко Сашка,  
который потом стал киллером  
(не верю, но говорят, что точно).

«Ромашка» не была заведением,  
где оставляли получку  
и пропивали авторы  
доход от своих статей.  
Там варили пельмени,  
и мелочь, выигранную в «трясучку»,  
мы обменивали на порцию  
за 80 копеек.

Я не буду, как Межиров,  
воспевать диетические столовки,  
но мне жаль «Ромашку»,  
дочку советского общепита.  
Не за пельмени в горшочках  
и неприятельность обстановки,  
а потому что работала  
и теперь закрыта.

\*\*\*

Твой внук откроет книжку,  
ты сразу: уезжант!  
Не разрушай интрижку,  
упомяни талант.

Продерни болтунишку,  
упомяни грешки.  
Твой внук откроет книжку,  
а там мои стишки.

### **О невероятных последствиях поездки в Курск либерала и эмигранта О. Дозморова**

Я нерукопожатен  
теперь и неудобен,  
однако бесподобен,  
хотя и беспощаден.

Не доезжая Курска,  
все пассажиры вышли,  
а я один не вышел,  
и было мне не грустно.

Я в самой лучшей вате  
внезапно оказался,  
читать не отказался,  
и мне тут были рады.

Здесь родина славянства!  
Здесь пьянство и Змиевка!  
Стихи здесь пишут ловко  
хлопцы помимо пьянства.

На четверть из-под Рыльска<sup>1</sup>,  
где немцев порубали,  
Роман – я звал – Рубанов<sup>2</sup>,  
и никакого риска.

Здесь южнорусский говор,  
здесь я звучу как кавер,  
и отдыхает Катер<sup>3</sup>,  
где майский жук огромен.

---

<sup>1</sup> Мой дед родился в 20 км от Рыльска, в селе Бупел.

<sup>2</sup> Роман Рубанов – первый поэт Курска.

<sup>3</sup> Катер – Екатеринбург.

Я многого не помню,  
но парни не расскажут,  
а только молча вмажут  
по полтора ста скромно.

Немного о Борисе  
я рассказал нестрого.  
Сидим за полвторого,  
звонок – летим как рыси!

И речи паралич  
волнения опричь:  
Сергей Сергеевич<sup>1</sup>,  
Евгений Маркович<sup>2</sup>!

Они из «Бегемота»  
читают и «Акцента»,  
и в центре континента  
я плачу отчего-то.

На фотке там я слева  
сизу, внимаю слову  
Володи Косогова<sup>3</sup>,  
Андрея Болдырева<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Сергей Сергеевич Романов – филолог, преподаватель КурГУ, подвижник.

<sup>2</sup> Евгений Маркович Евглевский – курский филолог, знаток стиха, подвижник.

<sup>3</sup> Владимир Косоков – первый поэт Курска.

<sup>4</sup> Андрей Болдырев – первый поэт Курска.

### **Пил он с трудом**

Пил он с трудом, давясь и стараясь не вдыхать острый водочный запах – следствие вчерашней ночной посиделки с долгим разговором, от которого осталось удовлетворение интенсивной, насыщенной беседой, а подробности и прогрессия вспоминались с трудом. Говорили о важном, это он помнил. Бутылка водки, привезённая им, и хозяйская четвертинка закончились задолго до полуночи, продолжение разговора под взаимные кивки – ну, будем, – казалось необходимым.

Долгое брожение по посёлку, от одного сонного ларька до другого, под звёздным сквозным небом, под шуршание и хруст прошлогодней листвы, схваченной апрельским морозцем. Тление беседы во время прогулки поддерживалось отдельными словами, полужазами, хмыканьем. Разжившись спиртным, вернувшись в дом, продолжили легко.

От ночного питья осталась ещё бутылка только початая, почти полная, заботливо припасённая хозяином на опохмелку, но похмелье вот как раз и не снималось, водка, с усилием проглоченная, даже как бы и усиливала его.

Прошлой ночью им обоим казалось, что разговор можно продолжить и назавтра, но несколько часов тяжелого сна настроили обоих на, у каждого по-своему, необщительный, неразговорчивый лад.

Помочь обещал, остался, а что с него такого-то проку. Ехал бы уже, что ли.

Уехать бы, – думал гость с тоской, – но ведь помочь обещал. А чем – неизвестно. К тому же вчера вечером, когда водку брали, он неосмотрительно отдал все свои наличные деньги, крупную купюру, хозяину, сдачи сразу не требовал, так что на обратную дорогу надо было спрашивать, а он вон какой сидит мрачный, да и показать собирался важное что-то.

Голова не просветлялась, оставалась чугунной, внутренняя дрожь и тошнота не проходили. Палёная водка, – с тоской думал гость, поглядывая на хозяина, который, резко закидывая голову, выпивал, резал аккуратными крупными ломтями, держа на весу, хлеб в хлебницу, колбасу на тарелку, так же аккуратно орудуя то ли охотничьим ножом, то ли финкой, четвертовал на дощечке лук и помидоры, деловито сооружал высокие бутерброды, наливал, закусывал, запивал крепким чаем, особого внимания на гостя своего не обращаая, а если и обращал, то негативное, неодобрительное – даже похмелиться толком не может, алкоголик, не иначе, вон как его корёжит, но, говорят... проверим...

Ему-то что? он к такой привык, другую, наверно, только если кто привезёт, – думал сумрачный гость.

Тем временем водка, видимо, смягчила настрой хозяина и, закрыв пробкой почти пустую бутылку, он поднялся и велел: «Пошли, что ли!»

---

*Марина Бувайло родилась в Баку. По образованию врач. С 1981 года живет в Лондоне, где работает психиатром. Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др. Автор книг «Эх, дороги» (М.: НЛО, 2006), «Игры» (М.: НЛО, 2009), «С.П.У.М.С.» (М.: НЛО, 2011). В «Волге» публикуется с 2012 года.*

Гость неохотно побрёл за ним. «Ты наш разговор помнишь? Главное, в чём суть. Понял, что от тебя требуется? Доверие! Тут ведь дело по-шекспировски – to be or not to be! Быть этому или нет! Сдюжим или! понял?» Тупое гудение в голове и водочный комок, поднимающийся по пищеводу до самого горла, лишали любопытства, и гость только кивнул в направлении удаляющейся тельняшки. «Ну, не отставай, – обернулся хозяин, – он рано встаёт, оголодал, небось, ждёт, привык в это время есть». «А чем ты его кормишь? мы ж ничего не несём. Что он ест?» – тупо, отстранённо забеспокоился гость, – чем он его кормит? «Сам кормится. Нашенской еды он не употребляет. Сейчас увидишь. Он неподалёку обитается, явится». Может, людей жрёт? Затем и тащит меня? Как корм. Добрались, через низкий покорёженный забор, через кукурузное неровное поле, хлюпающее болотце в низине, до опушки леса, до огромной мусорной кучи с торчащими сквозь неё хилыми деревьями. Точно, прикормил волка или ещё медведя, сейчас по голове шарахнет и отдаст на съедение, или так, живого, задерут. «Всё, дальше не пойду!» – собирая всю оставшуюся силу в голос, чтобы звучал твёрдо и уверенно, сказал гость. «Да куда дальше, пришли уже, не видишь?» – хозяин притормозил, но не остановился.

Мусорная куча, она мусорная и есть, топорщится пустыми пластиковыми бутылками, покорёженными плохим обращением, пузырится разноцветными пакетами меж всяким бумажным хламом и прочей гадостью. И воняет от таких куч всегда одинаково – гнилой селёдкой. От этой-то как раз и не пахло, тоже понятно, всю зиму под снегом, дождями промыло, и ещё подмораживало иногда. «Вот сейчас, тучочки у меня схоронено», – хозяин опять перешёл на наигранно-простонародный язык, которым приветствовал приезжавших гостей и поддерживал до того, как смягчённая водкой потечёт беседа.

Собственно, приезжали к нему в такую даль, чтобы выпить и поговорить, так что раздражающая игра в простонародность и деревенскую корявость продолжалась ровно до третьей рюмки, после хозяйских скороговорок – под водочку-корочку, после первой и второй перерывчик небольшой – третью наливали уже неспешно, и начинался именно разговор. Привычные гости, то есть бывавшие не раз, знающие обычай посещений, всё же успевали на последнюю электричку или, протрезвев поутру, опохмелки избегали и торопились уехать, выучив, что хозяин становится деловито-сосредоточенным и неприветливым.

Обогнув свалку, они прошли ещё несколько шагов и остановились у холмика в форме крупной могилы, хозяин откуда-то из зарослей достал грязные мешки, развязал, распорядился: «Во, бери, да не вилы, лопату бери, сподручней тебе, легшее ворочать, давай, о-от суда откидывай», – и ткнул через плечо большим пальцем. С трудом сообразив, что «о-от суда» значило «вот сюда», гость продолжал стоять, опираясь на лопату, что откидывать? Как и раньше, за завтраком, игнорируя не врубающегося в порядок, хозяин схватил вилы и как граблями стал сгребать ветки, листья, мусор, нанесенный ветром. Гость покорно стал перекидывать это добро поближе к куче. Чего мы тут? Сейчас он меня этими вилами в бок и волку скормит, а то и вообще... вчера ж мы говорили о примитивном сознании, мифах, об абсолютном хаосе, деконструкции как форме создания, об энтропии, о ритуальных убийствах тоже вроде говорили, – словно предметы на дне сквозь колыхающуюся воду, вчерашний разговор проникал в память, обретал зыбкую форму. Сейчас – вилами, не дамся, убегу, хотя он быстрее меня бегает, и куда мне бежать, без портфеля, без денег, может самому, пока он так, спиной, садануть по голове лопатой, ключи, деньги из карманов, портфель заберу и на электричку. О покаянии тоже говорили, что... ох, неспроста говорили, сейчас развернётся и в живот, острыми... первому надо, по голове! и бежать... «Вишь, задумка-то какая, сам понимаешь, секрет это до поры до времени, рассказываю не потому, что доверяю, а...» – потому что сейчас уьёт вместе с секретами, пока говорит, не нападёт, и я не смогу, лицом к лицу страшно, – «...потому, что сам по себе, сам по себе ты, думаю, звёзд с неба... – он опять вернулся к своему натуральному языку преподавателя университета, – но в современном обеспечении раз-

бираешься лучше – отстали мы от кибернетики, или как это теперь, хотя во многих отношениях продвинулись так, что никому не снилось – однако...» Открылась деревянная крышка, как у погреба. «Здесь в войну окопы были, землянки, – не очень, но мы приспособились. Они, в Кремневой, тоже не с дворцов начинали. Так вот, понимаешь, здесь, вот у этой сосны мы вроде наладили, вроде ловит даже сейчас. С декабря вниз не навевывались, обходились, теоретические разработки, то, сё, и всё такое, холода он не любит, ты лопатой-то не размахивай пока, пока послушай, прислушайся». Ветер подвывал, звенело в ушах с перепоею. «Где ж шляется? Ты, главное, на него не пялься, не любит он такого, понял? Искоса смотри, с пониманием. Тут не просто открытие, тут Нобелевкой пахнет, прислушайся! из недр, прямо из центра, а то и из Австралии...» Забалтывает, отвлекает. А в яме зверь голодный. Где-то рядом за буреломом треснуло и захрустело. «Тьфу-ты, напрямки ломится, хрен теперь услышишь! Ты, главное, энто, кады пытать тебя начнёт, говори... эй, ты! куда побёх-то?»

Из леса, ломая кусты, вылез, в пиджаке и сломанных, с одной дужкой, круглых очках, с кривоватой бородкой, чеховского, в общем, вида, человек лет двадцати пяти-тридцати, явный интеллигент. На нём висели компьютерная сумка, рюкзак и мешок через плечо, в руке чайник и пакет, сквозь который обозначались предметы округлые и угловатые. «Ну, ты энто... А программист твой где? Ты же эсэмэску послал, что ведёшь?» – «Сбежал! Алкоголиком оказался, хотя хвалили его. Трясся весь, даже лопата ходуном ходила». На пеньке закусили – хлебцами ржаными с сыром виола, похрустели морковкой, запили тепловатым зелёным чаем из чайника. «Ты рассказал ему, с чего начинали? без миллионов, мозгами только... мы... Потому что мы, Эйнштейн и Билл Гейтс, мы все аутисты, без нас...» – «Ты, давай, помоги крышку отвалить. В лаборатории договорим».

В электричке тётки с корзинками с неодобрением косились на взерошенного, перегаром разящего, в грязных ботинках, брюках, измазанных глиной – ишь, а ещё в галстук. Но ему было наплевать, он спасся.

В начале августа бригада таджиков, или не таджиков, а просто каких-то людей, посланных убрать лес, загаженный дачниками до такой степени, что ветер с его стороны засыпал мусором железнодорожные пути до непроезжего состояния, набрали на странную поляну с дырой посредине. Над ней воздушными змеями парили обрывки бумаг, иностранных газет, пластиковые пакеты и, уцепившись за сосны, реяли над горами серого песка по краям ямы. Как дирижабли плавали между деревьями бутылки, консервные банки. Время от времени над выемкой, словно где-то в небе включался невидимый пылесос, начинали крутиться вихри, смерчи. Рабочие почесали затылки и тихо ушли.

## Терапия

Что Матвева стала помирать, первой догадалась сноха Вера по тому, что перестала Матвева ругаться. Не то чтоб она была большой матерщинницей, были здесь матерщинники и покруче, да без мата могла приложить так, что мало не покажется. А тут день прошёл, и другой, уже неделя почти, и месяц целый без крика, без ругани. С постели встаёт, и курам насыплет, и козу подоит, и в печке погремит, но тихо, без жизненного задору. Есть ела, но тоже не как всегда, в спешке, с аппетитом, прямо проскакивала пища в неё сама, хрустела, хлопала, а тут кашу в рот положит и жуе-жуёт, будто мясо непроваренное, чего тут жевать кашу-то. Лёшка пьяный пришёл, Вера хотела по привычке, от скандала подальше, в постель его запихать, чтоб мать видом пьяным не заводил, но, подумав, остановилась и сама даже начала – ишь, какой припёрся, где гулял? на какие деньги? А Матвева, будто чужая, не касается, прошла и перед телевизором уселась, хотя видеть там нечего было, за мячом мужики бегали. И внука Витьку с дивана не турнула, чтобы без дела на экран не тарачился, когда опять двоек нахватал. Посмотрела на такое Вера, посмотрела, и в медпункт по-



звонила. Приехали быстро, прям через день-другой, потому что понятно, зря звать не будут – не городские. Сама врачиха приехала на новенькой, уже разболтанной по кривым дорогам машине и привезла всю свою медицину, что полагается, трубку, чтоб грудь слушать, и аппарат для давления, железки палец колоты и какие-то баночки.

Спрашивает, больная Ничипоренко, на что жалуетесь?

Матвева ей, не больная я, ничо не болит. Тоскую я.

Врачиха спорить не стала, велела кофту задрать, юбку спустить, послушала, постукала, живот помяла, палец проколола, банку дала по малой нужде сходить, чё-то поколдовала-поразглядывала, и Веру спрашивает, вы врача вызывали?

Я, говорит Вера, а что с ней?

Да то-то и дело, что ничего найти не могу, и сахар, и лёгкие, и сердце, и давление в пределах по возрасту её.

Нет, говорит Вера, ищите дальше, болеет она, это точно. Сама не своя, ходит, не ругается, глаза вон как у рыбы снулой, юбку поясом подвязывать стала, схудала так.

Ну, говорит врачиха, в больницу надо, кровь, рентген, хирургу показать. Я ж тоже насквозь не вижу. На обратном пути заеду, как раз и отвезу.

Тут Матвева и показала себя, не поеду в больницу, дома буду. Но тоже, не криком с руганью доказывая, как всегда-обычно, а тихо, да твёрдо, не поеду.

Ну и пошло так, совсем умирать не умирает, а в себя не приходит. Что положено сделает и сидит как дурочка, то в потолок, в то пол смотрит, и губами шевелит, будто говорит с кем, говорит не по-своему, а хорошо так говорит, будто с цыплятами. Вера нарочно подружку её из Хронова привезла, Лёшку послала, ехай, велела, вези, мать списать надо. Толькева приехала, Вера им накрыла на светлой половине, бутылку достала, шей мясных да картошки с грибочками, капустки квашеной, по рюмкам разлила, детей по друзьям гулять отправила, а сама вид делает, что другим занята, у печки хозяйничает, но прислушивается, на что Матвева жалиться станет, может хоть обругает кого. Матвева как положено рюмку к губам поднесла, да только пригубила, капустку пососала, вилку с картошкой надетой подержала.

Толькева спрашивает, чем обижают-то тебя? Лёшка вроде жалеет, Верка тож. Что ль, на людях лишь, что ль? Или малые неслухи? Ты в себе-то не держи, ругай, а то сомневаются, что тебе не так.

Эх, говорит Матвева, коли обижали бы, так понятно, зло бы брало, а меня тоска взяла, вот ты, Толькева, скажи, ходит он, Толька, к тебе? Докучает?

Ну, Толькева говорит, иной раз бывает. Проснусь под утро, а снился, что проклятый к Нинке пошёл, иль у ларька пьяный валяется, иль вроде как убила его за это, а что делать не знаю, закопать или свиньям скормить. Проснусь, и так на душе муторно, не сказать, а потом развеется и забудется.

Вот-вот, говорит Матвева, это-то забудется развеется, ты, Толькева, наливай себе, на меня не гляди, кусок-глоток поперек горла становится.

Штош-то я одна-то пить стану, как пьянь подзаборная, ты уж компанию поддержи. Ну вот. Оно и полегше станет, хороша беленькая, покупная, не самогонка, вишь, балуют тебя. Ну, и с чего ты тоскуешь?

Ох, и самой не растолковать, Матвей-то мой совсем сдурел. К себе зовёт, говорит ласково так, не как раньше, матом да по-всякому.

Ишь, проклятый! Гони его, Матвева! Мало ли ты горяшка с им мыкала? Не один Толька, небось, к Нинке ходил. Ну и приложи его, как раньше, чтоб отвязался. Тебя что учить?

Раньше-то я его перед собой какой был видела, морда красная, в щетине да в мазуте весь, самогонкой воняет, а теперь благостный, отмытый, как из бани, а твёрзый. Ласковый такой и зовёт к себе, жизнь райскую обещает.

Ой, Матвева, беда с тобой! Надо б в город, в церкву съездить, да далёко. И как там делать-просить не знаешь. Городские шипят, здесь не стой, туда не лезь. В церкву-то зазря не наездишься,

за столько-то вёрст-километров. Пока поп Сергей жив был, придет когда, с ним помолишься, а потом вовсе разучились. А теперь дело другое, говорит Толькева, дело теперь другое. Самим справляться надо. Давай ещё выпьем по чутку и пойдём.

Куда это пойдём? говорит Матвева.

И Вера, из-за печки подслушивающая, всполошилась, куда это ты её на ночь глядя тащишь, не молодые по тёмну шлёндрать.

Ты, девка, молчи, за Лёхой своим следи, к нам в Хроново нече ему зазря навеваться, баб и самогону там побольше вашего. Пошли, Матвева!

Матвева, хоть никому спуску не давала, Толькеву слушалась с ещё когда они Любкой с Валькой были. Валька-то постарше да поопытней была.

Одевайся теплей, бери вилы и топор, приказала.

Это-то на кой?

Бери, говорю, от паразитов обороняться. Ты телек-то смотришь? Забыла название им, вроде зойки какие-то. Спрошу опосля у Митьки.

Не смотрю, когда мне смотреть. В голове-то другое. Куда идём-то?

Это ты думаешь, Матвей, а он в пришлеца оборотился. Нечистая сила, бес. Искушает, дескать рай на том свете, а сам-то небось на сковороде скворчит. Его-то отпевали или так обошлись?

Отпевали, вроде. Лёшка его из больницы забирал, говорил, всё порядком сделали, вроде там свой поп, или из города привозят. От Лёшки-то лешего чего добьёшься. Да я и не вникала. Как сказали, Матвея его ж трактор придавил, так зло такое меня взяло, пьянь проклятая.

Где могила его? найдёшь? Не видать ничего. Был бы фонарь...

Фонарь-то есть, батарейков к нему нету, сели все. В посёлок надо, а я ослабла, не дойти. Так найду, глаза приглядятся и найду, вон берёза виднеется, а он за ей. А коли бес Матвеем обернулся, дак ухватит нас и утнет?

Дак мы его вилами. И ругай его покрепче, а то ты, Матвева, больно тиха стала.

С тобой-то я повеселела, как в былую пору, а то совсем. Думаю, час пришёл, раз Матвея за мной присылают.

Бес он, а не Матвей, зонби! Во! Вспомнила без Митьки, зонби! Берёзка рядом, счас мы с ней сук срубим да в могилку вобьём. Осину где в ночи искать, и глушина сойдёт. Да ты топором-то потише маши, нас порубишь. Хорошо дожди прошли, земля отмякла. Так поглубже и вколачивай. Всё, больше шляться не станет, заворочается, а в его кол воткнётся. Давай складай оружие. Счас на ветки под берёзку присядем. Гляди, я из дома пузырёк привезла, Семкова варила.

Совсем уж в ночи нашли их Витька с дружкой. Вера-то с Лёшкой в другой стороне бежали. Бабки сидели под деревом и тоненько так пели «каким ты был, таким остался...»

## Лариса ЙООНАС

\*\*\*

Проблемы со сном аритмия соловьи не дают уснуть  
сквозь закрытые глаза просачиваются миры  
то ли совсем плохо то ли чудесно сладко  
вот и вся жизнь не определиться аритмия это или соловьи.

\*\*\*

Я слышу щебетание птиц и сад цветет и жимолость в саду  
но сада нет и птиц не существует мир обмотан скотчем  
посылка не доставлена нет адреса и некуда приклеить  
вот окна но за ними чернота а может белизна  
до непрозрачности безвидна и на ощупь  
будильник утром возглашает утро вот почему я знаю это утро  
и радио передает сигнал о чем и где разгадка  
но может это я сама пою и слушаю и слышу  
и говорю пишу себе и вижу только знаки  
прозрачных букв в безвременье моем.

\*\*\*

Всякая тварь после соития печальна  
разум ошеломлен встречей с действительностью  
елисейские поля не то чем они кажутся  
и осень если ее проверить на запах и вкус  
удивительно беззвучна бесцветна потеряна в пространстве  
воздушные шары не выплыли из тайных шахт  
не открылись небесные дыры не сомкнулись опавшие руки  
улицы по-прежнему свободны но лишь потому  
что на них погибает последний ветер  
самый последний из ветров последних времен.

---

*Лариса Йоонас родилась в 1960 году в Татарстане. Училась в Москве. С 1983 года живет в г. Кохтла-Ярве, Эстония. Публиковалась в журналах «Волга», «Октябрь», «Дружба народов», «Воздух» и др. Автор сборников стихов: «Самый белый свет» (2006), «Младенцы безумного града» (2017), «Кодумаа» (2017). В 2019 году в издательстве «Free Poetry» вышла четвертая книга «Мировое словесное электричество». Стихи переведены на эстонский, финский, литовский, польский, английский, итальянский языки. В 2019 году вышла книга-билингва «Un quanto perso in strada» с переводами на итальянский язык.*

\*\*\*

Вот мое стихотворение  
сиротливо стоит вращая остриженной головой  
выгибает шею на фоне линии горизонта  
где кругом одна серость море и небо  
обесцвеченные пустотой воздуха  
озирается ввинчивая себя в панораму  
не имеющую перспективы вертикальных опор  
строений зажженного в них света галдящих подростков  
видит лишь горизонт символизирующий отсутствие  
границ обозначающий оптическую иллюзию  
серое в выгоревшем сером  
многократно растворенное в серых глазах.

\*\*\*

Самое сложное было признаться птицам что ты не умеешь летать  
прожил несколько птичьих жизней посадил яблоню вырастил дочь  
на руках проступило дерево вечности проросло в землю  
впрочем птичий язык тоже не выучил но уже почему-то не стыдно  
утром долго смеялся над тем как небо щебечет в форточке  
а это может быть осень плачет и кличет в окно  
полнотельные дети гороха выпадают из черных ладоней стручков  
в ладони когда-то беспечных и вечных  
а теперь безъязыко стоящих за занавеской во тьме.

\*\*\*

Привычно пробираешься на кухню  
стараясь не разрушить пространства спящих  
открываешь голубокрылый холодильник  
есть ничего не будешь просто посмотреть на сыры и масло  
давно уже любишь ее и молоко с пенками и творог  
и унылый отвесный снег за окном  
падающий как дождь проливаемый фонарем  
беззвучный телевизор отображает сцену концертного зала  
похожую на клавиатуру пишущей машинки  
каждая кнопка светящегося попитра  
невидимым нажатием сохраняет музыку в будущем  
музыканты улыбаются можно попробовать угадать название  
но снег замедляет веки ещё бы ни о чем не думать даже о доме  
в котором ты рос и никогда не вырастешь  
хоть и упираешься ногами в спинку своей любимой кровати.

\*\*\*

Ты пролетаешь над потсдамом  
над гданьском влетаешь в пространство тьмы  
сумерки делают нас бледными и уязвимыми  
самолет освещает облако моторы пожирают свет

страны салютуют неразличимые между собой яркие как фейерверки  
мы будто кроты следуем за тобой по земле  
двигая самолет одной нашей любовью по пустоши флайтрадара

воздушный коридор проходит над перевалом дятлова  
гора оторген привет кибальчиши мы вас помним  
творожные названия северных поселков  
как уличный холод сворачиваются в груди

ты долетишь до цели о том говорит наука  
но неотрывно ночь напролет  
страны открываются и закрываются как сердечные клапаны  
охраняя и оберегая растревоженных нас.

\*\*\*

В тебе поселилась моя будущая испуганная память  
стыд и вина сумеречные детские страхи  
с тех пор как я держала твою руку  
ночную холодную почти прозрачную  
молчаливую руку прижимая ее к груди  
будто стопку холодных степей  
и линий электропередач и замерзших березовых рощ  
ничего не говоря успокаивая судорожное горло  
потерявшегося на улице ребенка  
с мертвым сердцем стоящего возле чужих колен.

\*\*\*

Каждый должен дожидаться собственного бога  
он придет потом когда уже не ожидаешь  
откроет дверь своим ключом снимет ботинки  
повесит шарф пахнущий застарелым табачным дымом  
на переполненную куртками вешалку  
незаметно пройдет в кухню  
разотрет замерзшие пальцы поставит чайник

на синий унылый кружок конфорки  
и чайник тихо заплачет  
все по-людски не этого ли мы хотели

мечтали в самое отчаянное время  
на нашей остывающей в сумерках божественной кухне.

\*\*\*

Они пришли и забрали у нас Сократа  
с тех пор мы разучились говорить разумные вещи  
а когда отняли Платона  
мы рассыпали все наши раковины  
ни одно имя ничего больше не значит  
знаешь ли ты как называются это озеро и этот лес  
ничего удивительного и твое имя им неизвестно

Семён БЕЗГИНОВ

## АБСОЛЮТНЫЙ ОТЕЦ

\*\*\*

к смерти нужно готовиться тщательно.

зашей карманы.  
чтобы ... не нашли в них закладки.

проверь, чтобы в дырявых карманах  
эпителия Волги крошки – своими оставались – и было недостаточно.

проверь, что в пиджаке на вешалке все еще были твои синие руки – щекотали  
по пузу бабочек – выход – контроль – как сокращаются ментальные мышцы.

...

не думай – если смешивать испорченное масло с чистым.  
от вытяжки крылатого тюленя чистое не прощает.

..

Всегда Другой приходит, и всегда забирает ему Другое чистое

...

В дубоварнях Апостола Петра на испорченном, прошлом масле варят кожаные  
дублеты.

В них одна рука суше,  
И третий карман – порван.

---

Семен Безгинов – поэт, перформер, музыкант. Окончил ПТУ, работал на заводе, закончил филфак Самарского Государственного университета. В 2005–2009 гг. координировал работу лаборатории свободного творчества «Орфей» при Самарской областной юношеской библиотеке. Публиковался на литературно-аналитическом портале «Цирк Олимп+TV», в поэтической газете «Метромост» (Нижний Новгород), на сайте «Полутона», в региональных самарских изданиях. Живёт в Самаре.



\*\*\*

как я поменялся за те две секунды, когда произошло это особое важное.

...

жук стал дрелью  
дрель грызет дверь маршрутки  
будет свежий воздух с улицы – и ужас

...

меняется ли цвет кожи, когда становишься убийцей?  
вором чужого времени?  
расхитителем своих секунд – которые стали бы иным и счастливым временем  
на живом слоне мертвая кожа скукоживается и обнажает нефритовые кости

...

как скрыться от абсолютного отца с ремнем?  
когда наказание – даже не вещи тебя, а то, что создает эту вещь?

...

хлесткие удары ремня ждут меня везде  
в постели с женой,  
за кружкой кофе,  
в магазине  
в улитке раковинной дружеских разговоров.

...

трупные газы, как оказывается, всегда распирали кожу,  
просто нужна была чужая рука и иголка.

\*\*\*

убаюкать свою бетонную нежность  
в рукав пальто, которое так внимательно – как ни один человек.

..

настоящее время, не это  
а то – где вспоминает кирпич, как просыпался, как становился в огне.

...

равенство вещей условно.

маска помнит руки китайской швеи.  
спирт – сталь химической цистерны.

их опыт сравним лишь в обезличивании, стирании имен вещей

...

телесное – предатель.

руки мои и ноги,  
рот  
тоже не забыть отмыть

максимально проявлен в своем сознании,

но не я –  
а безымянный рукав пальто

...

потная сирень твоего запаха –

отмоешь одно –  
проявится на другом

белизной отмоешь Другое, но оно все равно тобой.

...

пять рук у пачки цитрамона  
отбойный молоток пришит к пуанте

\*\*\*

ошибка мегаполиса

гуманизационные машины распыляют хлор в воздух  
юноши становятся лучше

хлор бесконечен  
машины не ломаются

юноши всегда становятся лучше

дядя юра, тебя неизменные со средневековья в популяции 900 процентов

ты мутант, на тебя не действует хлор

мне больно, травмы моих отцов в разбитой хате, наторчавшись закладок  
ты выжигашь мне на спине.

...

юрий реднеков  
оператор хлор-машин для гуманизации человечества

...

хлор продаю налево,  
на правом борту машины – ржавчина  
скоро стукнет карбюратор,  
по норме – дезинфекция десяти домов в час

на деле – одного и пьем водку.

просто на складе – один карбюратор,  
и хлора – как завещал Салтыков-Щедрин.

я православный и люблю малую родину.

...

когда не хватает хлора, кажется, что звезда одна – и она пришла сжечь твой дом,  
в котором

так мало и так много вещей.  
человеческое – это, что не съедают черные дыры.

а тут ты комод и вот.  
быть живым, бить детей, жену, звездой, которая пришла съесть в тебе сломанного кота

...

ошибка мегаполиса

\*\*\*

чувствует ли страх кирпич?  
приобретенная или данная это возможность?

как раскрываются кирпичные поры, как выплескивается кирпичный пот? Когда.

...

груша, маршрутка, интервью ... в сером и гниющем пиджаке, клавиатура.  
что убрать из этого, как расставить вещи, так чтобы прошел страх.  
никак.

...

кирпич рождается с любовью – глины, человеческих рук, своей личной из ниоткуда  
данной любовью.

...

на грязном полу маршрутки катается груша уже пятый часа рейса.  
это не страшно – они счастливы вместе.

страх – это рука уборщицы, которая столкнет плод за борт.

...

кончается любовь в какой-то точке? поместится ли она в ладони? можно ли унести ее в  
носовом платке?  
по силам ли воробью ее донести до места?

исчерпать по буквам, разложить по камушкам?

...

время – это не страшно.  
ты вещь.

...

сбивают в кучу столы и сосиски, банки, пачки – зачем? – а ты не смотри и не слушай.

\*\*\*

камушки разноцветные перестанут падать из руки

...

вот мои пальцы, вот твои пальцы, вот все пальцы  
за рукой Всех – река – в которой Все

Не Другая это вода – а твоя и моя

...

а какой сложился узор из камушков?  
а должен ли был сложиться узор

рассыпается пустая комната белизной и платишками не в одиночество

не рассыпается, складывается или просто становится слоном?

...

любовь рукава и голубя  
кажется, зря на коврах советских нас учили вычитывать суть персидской вязи

плетение нитей  
не прочитается, не заканчивается, не складывается

а выводит зачем-то  
на пустой балкон

и выглядывая из-за плеча  
оставляет

...

так увлекает плеск падающей каменной дроби – пока есть ритм – то себя до камушка  
прощупываешь

...

из тишины остановившихся воробьиных крыльев не мокрое покрывало  
реанимационного страха.  
тишина – способность или читать, или складывать

...

неоспоримая, до каждого твоего шага-страха  
нежность рек  
говорит  
это может быть и так

## Владимир ПАНКРАТОВ

### ПОЕДАТЕЛЬ РИСОВОГО СУПА

#### *Рассказ*

Я тогда играл с черным пластмассовым пистолетом, который где-то нашел, большинство игрушек так у меня и появлялись. Мне нравилось, что это именно револьвер, он, конечно, красивее любого другого пистолета, потому что похож даже не на пистолет, а на вычурную штучку вроде браслета или, не знаю, солидного портмоне. В воображаемых мною сценах из него никогда не стреляли, его находили на месте преступления и поднимали кончиками пальцев, чтобы не стереть отпечатки, или наготове держали перед собой двумя руками, пробираясь по коридорам заброшенных зданий в поисках беглеца.

Вообще я не был любителем разных стрелялок и войнушек, и револьвер был интересен не как оружие, а, скорее, как красивое устройство со множеством подвижных деталей. Еще с таким реквизитом можно было придумывать целые фильмы, которые я показывал мнимым зрителям, чаще всего детективы. Они получались проще всего, наверное потому, что в таком кино известно, что за чем идет, сначала должны найти труп или обнаружить, что человек исчез, потом опрашивать его знакомых, мотивом убийства становились, конечно, наследство или страховка, а в последней сцене должна развернуться погоня или драка, с револьвером, упавшим на пол так далеко, что до него не дотянешься.

Все фильмы я делал примерно по такой схеме. Только я не снимал их, а сразу показывал, будто сейчас какие-то зрители сидят в своих квартирах и смотрят эти фильмы по телевизору. Я представлял, как всё должно выглядеть, точно сидел я на самом деле не в своем кресле, а в кресле, найденном специально для этой сцены, и комната не моя, а немного другая, и мне даже не приходилось переодеваться или менять голос, чтобы говорить за мужчину и за женщину, и местоположение я не менял, когда в кадре появлялись разные люди. Я лишь произносил их слова, а все остальное только представлял, и вот эта представленная мной картинка и попадала по спутниковым сетям на экраны выдуманных зрителей.

Я редко устраивал трансляции на улице, потому что стеснялся, когда кто-то случайно видел меня бормочущим под нос, но летом все равно это делал, жалко сидеть дома при хорошей погоде, а играть на улице не с кем, все разъезжались, кто в лагерь, кто на дачу. Я тоже каждое лето ездил к бабушке за город и проводил там несколько недель, но тогда, вероятно, уже погостил у нее и приехал обратно.

Не помню, как я очутился у отца на работе, то ли мама предложила помочь ему на время летних каникул, а значит, я уже ходил в школу, наверное, первые начальные классы, то ли я сам в поисках хоть какого-то дела, а может и новых декораций для своих фильмов, добрал до пяточка с восемью или десятью боксами, где отец и еще несколько механиков чинили автомобили, это было в пяти минутах ходьбы от дома, развал-схождение, вулканизация, ремонт ходовой, такие у

---

*Владимир Панкратов родился в Ташкенте в 1990 году. Книжный обозреватель, блогер. Публиковался в журналах «Волга» (рассказ «Шестое января, вторник», 2015, № 11-12), «Знамя». Живет в Москве.*

них висели вывески. Отец никогда не пытался привлечь меня к работе, он знал, что я равнодушен к автомобилям, и уж тем более к их внутренностям. Так что когда я явился к нему в гараж, он как бы в шутку спросил, не собрался ли я ему помогать, и не мама ли меня к нему послала, он никогда не говорил мать, а всегда говорил мама, затем вручил мне веник и велел подмести перед гаражом. Я это быстро сделал, а потом про меня забыли, позволяя шастать в гараже и трогать что хочу или вообще исчезнуть так же, как появился.

К содержимому гаража я быстро охладел, какие-то инструменты, железяки разной формы, гаечные ключи на десять, на двенадцать, я слышал, как отец их называл. Все это было неинтересно, но к счастью, у гаража имелась еще одна дверь с выходом на заднюю веранду, это я ее так называю, на самом деле обычная крохотная площадка, два старых кресла, в которых приходилось чуть ли не лежать, куча пропитанного маслом шмотья, маленький круглый столик, собранный, видимо, здесь же из арматуры и фанеры, пепельница в виде женщины с обнаженной грудью, которая прогнулась так, как могут прогибаться только спортсменки, скудная пластмассовая посуда и навес, не пускавший сюда не желтое даже, а белое от раскаленности солнце. Там было тихо и уютно, как будто и нет никакого гаража, где заводятся моторы, отец и его коллега бывали на веранде редко, работы у них было много, и иногда они заходили покурить или выпить крепко-накрепко заваренного чая из термоса, но чаще я оставался один и мог, никого не стесняясь, разговаривать сам с собой во весь голос, воображая, что нахожусь в очередном фильме. Оттуда открывался вид на другие, закрытые ржавые гаражи, где не велись работы, а просто, шверное, стояли чьи-то машины или хранились банки с вареньем, а между гаражами проходил широкий грязный канал, достаточно широкий, что я тогда, сколько же мне было лет, не мог его перепрыгнуть, вода в нем если и текла, то незаметно, канал казался совсем заболоченным, но не высыхал, мешки с чем-то сыпучим вылезали из воды, ветки, бутылки, я видел даже обувь, и еще какую-то куклу без рук, но с пышной рыжей шевелюрой, все поросло слизистым мхом и, конечно, служило самым лучшим антуражем для страшных сцен в детективном сериале, который шел по телеканалу имени меня.

Это место я сразу полюбил, и за один день не смог исследовать его полностью, постепенно я стал покидать веранду и уходил дальше вдоль канала, словно закрытый от всей вселенной, с обеих сторон гаражи, а сверху ветки деревьев, некоторые из которых корнями разрушали стенки канала, вода вся в пятнах, белые солнечные пятна мешались с темными пятнами-тенями от листвоков, и выглядело это и сказочно, и зловеще, так красиво, что я думал даже, что попал не в свой собственный фильм, а в какой-то чужой, в один из тех, где я видел подобные красивые кадры. Я думал даже, не начать ли показывать другие фильмы, не детективы, а такие, где будут уместны неподвижные кадры, или с еле-еле плывущей камерой и человеком в кадре, который выглядит чарующе и торжественно только лишь потому, что не двигается. Но я не знал, как придумать сюжет для этих других фильмов, о чем там должны разговаривать неподвижные герои и как объяснять свое нахождение близ заброшенного канала, и я продолжал гнать истории про убийства, где мертвых находили в этом самом канале, а вокруг него искали улики, оброненные преступниками, и всегда что-то находили, например, тот самый черный пистолет, который сразу же помещали в специальный пакетик.

Но вдруг гаражи кончились. И показался низенький заборчик. За которым находился детский сад. Я знал про этот детский сад, но обычно видел его с другой стороны, а сам ходил когда-то в соседний, на другом конце квартала. Заборчик был мне примерно по грудь, как странно, думал я, через него можно легко перелезть, а потом сорваться в канал и утонуть, или согнуться между гаражами, пропасть в этом тупиковом пространстве, упасть на сук или попасться нехорошему человеку, который в многолетней листве скрывает улики или прячет кого-то примерно моего же возраста. Со стороны сада к забору никто не подходил, там простирался пустырь, где не росла трава, игровые площадки находились в отдалении. Я стоял там, никем не замеченный, смотрел на разноцветных детей и воспиталок в халатах и ощущал себя в фильме, где я прошел сквозь тесные джунгли и мне вдруг открылся неожиданный вид на пустое поле, о котором никто не по-



дозревал. Камера сначала показывала мое лицо крупным планом, мои глаза расширились, затем в дело вступала летающая камера, которая была чуть позади меня и прямо из-за спины вылетала над пустырем, передавая все, что открылось моему взору.

Дети уже не играли, они выстраивались в шеренги, а воспиталки звали тех, кто убежал на другие площадки, было, видимо, время обеда, они долго собирались и постепенно покидали игровые зоны, группа за группой, я всматривался в лица детей и хотел, чтобы хоть кто-то из них случайно заметил меня, прячущегося в кустах, а потом бы еще с удивлением оборачивался, уходя к своему обеду и обязательной кроватке, это выглядело бы очень кинематографично. Я еще долго смотрел на удаляющиеся спины, но ни с кем так и не встретился взглядом, становилось все тише, и наконец все ушли.

И тут я посмотрел туда, куда упал мой взгляд, как только я вышел к заборчику. Там, за низеньким столом, который напоминал грибок, на крохотном пеньке, эти пеньки были расставлены вокруг стола, сидел человек с длинными ногами в шортах, держал в руке ложку и смотрел на меня. Мне кажется, всё было так, хотя, может, я уже потом выстроил эту картину в памяти, может, все было по-другому, и он обернулся ко мне, оттого что я долго изучал его со своего наблюдательного поста, или он сразу меня заметил, а я его нет. Только знаю точно, что человек был, и когда я вспоминаю его, мне приходится обставлять историю различными деталями, и хочется верить, что я беру их из памяти, а не просто придумываю, хотя наверняка, наверняка большая часть того, что я помню, приобрела другие очертания со временем. Кажется, что между мной и ним было как минимум метров пятьдесят, но ведь этого очевидно не может быть, откуда в детском саду столько пустого места, и все равно его лицо было таким маленьким, и я вначале засомневался, на меня ли он смотрит. Но через некоторое время он поднял руку и поманил меня.

Хоть я и снимал всё на воображаемую камеру, в тот момент я подумал, что теперь меня снимает кто-то еще. По логике, уже давно продуманной множеством режиссеров, я, конечно, должен был подойти к странному, непонятно откуда взявшемуся человеку, да и правда, что я мог сделать, если не подойти, стоять там как истукан, что ли, или тут же уйти, или даже убежать, чтобы человек потом думал, какой я трус или как меня обработали родители, наставляя чураться незнакомцев, да и он все равно был далеко, зачем убежать, ведь не стал бы он за мной гнаться, а если не убежать, то чего просто стоять и делать вид, что не понимаешь знаков.

В конце концов, стараясь не упускать его из виду, я перелез через забор и медленно приблизился к нему. Столик оказался не грибком, а ромашкой. Пеньки были пеньками. Сначала он предположил, что я один из тех детей, что сейчас ушли на дневной сон, что я отбился от группы и перелез за ограду сада, но я не без гордости сказал, что уже хожу в школу и просто гуляю где хочу. Я боялся признаться, что там, в гаражах работает мой отец, на каком-то интуитивном уровне я понимал, что тогда ему станет со мной не интересно, или он не захочет со мной общаться, побоявшись, что отец может нас увидеть. Не помню, как развивалась беседа, во всяком случае мой ответ его несколько не удивил, но одну реплику я запомнил, он сказал, что сегодня ему дали рисовый суп, в котором он насчитал ровно двадцать рисинок. Я не сразу понял намек на то, что суп пустой, а когда понял, подумал, что шутка была так себе. Ел он из тарелки, на дне которой куда-то летела ласточка, а его огромные волосатые колени находились выше поверхности стола.

Доев, он сказал, что должен отнести обратно поднос с посудой и велел подождать его здесь. Через некоторое время мне показалось, что стою уже долго, я подумал, что он надо мной пошутил и уже больше не вернется, и не понимал, сколько мне тут еще стоять, во всем саду ни души, тихий, по-настоящему тихий час, но ведь скоро воспиталки с детьми снова высыпают на улицу, и что мне тогда следует делать? Подойти к самому детсаду я тоже не мог, потому что боялся, что так он меня тем более потеряет и решит, что я удрал, и потеряет ко мне интерес. Я оборачивался, как бы проверяя, не наблюдает ли кто за мной, все больше волновался и всматривался в точку, за которой скрылся поедатель рисового супа, хотя на самом деле я не заметил, куда именно он ушел. У меня задергались щеки и защипали глаза, мне хотелось плакать, я решил, что пора уходить, и пошел в

сторону заборчика. Но на полпути остановился и снова посмотрел на здание детского сада. Потом все-таки вернулся к ромашке и сел около нее.

Я просидел так, наверно, минут пятнадцать, озираясь направо и налево, один в пустом детском саду, где тишину нарушал только шум деревьев, мерно покачивающихся от ветра, столь высоких, что их обильная листва, прикрывающая меня от солнца, снизу казалась не зеленой, а черной. Тогда я вдруг подумал, что впервые могу показать фильм, который будет начинаться не так, как обычно, не с того момента, как следователи приезжают на уже оцепленное место преступления и с деловым видом расспрашивают, что здесь произошло, а раньше, когда будущая жертва еще жива и ничего не подозревает, а будущий убийца высматривает жертву, общается с ней, а сам в то же время планирует, что он сделает с телом. Еще у меня мелькнула мысль, что мне, возможно, даже не придется ничего придумывать. Я сидел один среди резиновых уток и отполированных пеньков, заглянул под стол-ромашку, там валялась чья-то кепочка, вся в грязи, видимо, давно уже потерянная. Листья продолжали шелестеть, я еще раз обернулся к заборчику, но не успел вновь подумать о побеге, как подошел он. Лицо его покрывали густые, складывающиеся в безобразную бороду волосы, странно, я не помню лица, но помню эти волосы и что он был очень высоким.

Весь оставшийся день я провел в детсаду, бегая за ним как собачонка, то на задний двор, где обнаружился целый яблоневый сад, то на неиспользуемую игровую зону, где лежали груды недокрашенных автомобильных покрышек. Не помню, кажется, я помогал ему, хоть и не особо успешно, и мы о чем-то говорили, всегда удивляюсь, когда в книжках герой вспоминает что-то из прошлого и приводит давнишний диалог с точностью до запятой. Наверняка я просто стеснялся и уж точно ни о чем его не спрашивал, зато отвечал на его бесконечные вопросы, откуда я взялся, один ли я здесь, он задавал их с таким энтузиазмом, будто я африканский мальчик, по волшебству оказавшийся перед ним. Меня же возбуждала возможность разговаривать с абсолютным незнакомцем, да еще и таким взрослым, который ничего обо мне не знал и был готов поверить всему, что я скажу. Он с деланным интересом реагировал на мои ответы, мне даже казалось, что он преувеличивает, я наврал, что пришел сюда издалека, что по секрету от родителей ухожу гулять далеко за пределы своего района, а когда он спросил, кто еще из моих друзей знает об этом месте и как часто мы сюда ходим, я ответил, что всегда гуляю один. На следующий день, дождавшись обеда, я снова стоял у заборчика и ждал, когда воспиталки уведут детей, преодолел заборчик и перелез через него обратно к каналу уже вечером, когда никаких детей в детсаду не осталось.

Как-то мы прогуливались вечером с бабушкой, у нее была такая привычка перед сном, она вдруг говорила мне пойдем, и мы делали круг по району, я должен был помочь, если она вдруг ненароком упадет, хотя думаю, ей просто было скучно ходить одной. И вот мы проходили мимо этого детского сада, а жили мы на самом деле через двор от него, и я сказал, не знаю зачем, что уже несколько дней ежедневно бываю здесь. Бабушка, по-моему, спросила зачем, и я рассказал, что помогаю там одному человеку, дальше я даже назвал его по имени, которое сейчас уже выветрилось из памяти. Тут же я подумал, что делать этого не стоило, а бабушка меж тем спросила, кто этот человек, и я, помолчав немного, ответил, что не знаю. Не потому, что не хотел ей говорить, а потому что не знал, как ответить, я не знал, кто он по профессии, откуда он и как оказался в детском саду. Тогда бабушка спросила, сколько ему лет, и я вновь сказал, что не знаю, ведь я не знал его точного возраста, я не понимал, что бабушка спрашивает о примерном возрасте, а сейчас мне вспоминается, что ему было столько же, сколько мне сейчас, или около того. Подобные ответы явно говорили не в мою пользу, и я пожалел, что рассказал всё бабушке, ведь она может рассказать родителям, и непонятно, что тогда. Бабушка была смущена моими словами, она повернулась в сторону садика, будто прямо сейчас, под лунной, могла увидеть там того, о ком мы говорим, и сказала, что с незнакомцами играть нечего. Это тоже было очень кинематографично, я стоял позади, но мне представлялось, что вижу ее старое лицо, и от этой сцены становилось не по себе.

Я и правда ничего не знал об этом человеке, но меня самого, если честно, это не беспокоило, мне нравилось, что взрослый человек, не такой старый как бабушка, и не такой серьезный как родители, общался со мной, будто не чувствуя, какой я маленький, и пускал меня туда, куда я сам бы

ни за что не попал. Каждый день я проделывал один и тот же путь, через гараж проходил к каналу, по его краю добредал до заборчика и перелезал его в одном и том же месте, он, кстати, запрещал мне приходиться через главные ворота, часто спрашивал, не видел ли кто меня, и говорил никому не рассказывать о том, что я хожу сюда. Я и сам бы не пошел через главный вход, я боялся воспиталок в белых халатах, но, слава богу, никто из них меня не замечал, потому что он всякий раз находил себе работу подальше от детворы и нянечек, благо большая территория позволяла это делать. О, как бы я хотел проводить так время, когда сам ходил в детский сад, гораздо интереснее, чем играть со сверстниками в одни и те же игры, нигде за всю жизнь я не провозился столько с краской, сухими ветками, песком, землей, водой, я как бы проник из какого-то внешнего, видимого мира во внутренний, где я узнал, как все работает, откуда берутся все эти цветы, пенёчки и мокрый асфальт, в моем садике после тихого часа асфальт всегда оказывался мокрым.

У него в руках часто появлялись разные чемоданчики с инструментами, похожие на сундучки с кладом, многие из них я видел в отцовском гараже, да и у дома у нас такие тоже лежали, но там они были не интересные, они принадлежали взрослым и их не дозволялось тревожить попусту, здесь же их можно было трогать и изучать, даже не используя по назначению. Я не спрашивал, зачем нужны те или иные щипцы и молоточки, а только наблюдал, что делал с ними этот великан, он очень быстро орудовал руками, на пальцах у него были не гладкие и прозрачные волосы, как у моего отца, а черные и закрученные в колечки, и я тщетно пытался запомнить, в каких случаях он вытаскивает из ларца ту или иную вещь, а затем кладет ее обратно строго на свое место. Постепенно он заметил, как я заворожено смотрю на инструменты, начал расспрашивать меня, знаю ли я их названия и как ими пользоваться, я зачем-то сказал, что знаю, а он, не обратив на мои слова внимания, начал называть те штуки, что брал в руки, и объяснять, для чего они нужны, а потом даже передавал их мне, чтобы я повторял его действия, у меня не сразу, но получалось, это и правда было не сложно, я так воодушевился, что стал без спроса вытаскивать из ящика приборы и вертеть их в руках. Он сказал, что эти инструменты не его, они детсадовские, а у него есть наборы поновее, да и побольше, и они лежат у него в гараже, который находится, дальше он назвал какое-то слово, видимо, условный ориентир, который известен только жителям определенного района, и я кивнул головой, словно знаю, где это. Не смотря в мою сторону, он сказал, что можно как-нибудь уйти из детского сада пораньше и дойти до его гаража, там он покажет другие инструменты, из которых, при желании, можно будет что-нибудь соорудить собственными руками. У меня в голове что-то щелкнуло, я смотрел на него и погружался в дежавю, ведь так бывает только в фильмах, думал я, так все эти истории и заканчиваются, а чего я хотел, разве не к этому всё шло. Уже в который раз я чувствовал себя как в чужом кино, сценарий которого я не читал заранее, а узнаю его прямо по ходу съемок и должен ориентироваться немедленно по ситуации. Это одновременно и пугало, и подстегивало, я судорожно взвесил варианты и отказался от предложения, хотя, не буду лукавить, оно меня привлекало. С киношной точки зрения это был бы совсем не оригинальный поворот, в который даже я бы не поверил, а если ты сам не веришь, то зрители не поверят и подавно.

Иногда я вспоминал о том, что есть же еще и настоящая реальность, и события из фильма при определенных обстоятельствах могут стать фактами этой реальности, и что тогда делать, не очень понятно. Впрочем, подобные мысли возникали у меня только дома, уже ночью, перед сном, когда я прокручивал в голове случившееся за день, но быстро улетучивались. На следующий день я снова попадал в детский сад и ни о чем таком уже не думал, там у меня просто не хватало времени о чем-то подумать, я был занят как никогда. Казалось, что территория этого островка, отделенного от остального мира, с каждым днем только увеличивается, постоянно обнаруживались новые закоулки и участки, заросли кустарников и маленькие садики. Однажды мы даже спустились в бункер, который сверху выглядел обычным курганом, поросшим травой, и только дверь, ведущая куда-то в никуда, намекала на подземное помещение. Нечто подобное имелось и в моем детсаду, мы откуда-то знали, что это продуктовый склад, но вместе с тем представляли, что на самом деле там катакомбы, где можно прятаться от бомб, или подземные туннели, по которым можно по-

пасть в другой конец города, или секретная тюрьма, где держат провинившихся детей, эдакий детский сад наоборот. Внутри было темно и холодно, несмотря на адскую жару снаружи, детские крики и прочий шум куда-то резко исчез, как если бы его выключили, а на улице, подумал я, и по-прежнему не услышат того, что происходит здесь, даже если будешь кричать до самой ночи. В другой раз мы залезли на голубятню, которую я раньше не замечал, потому что она стояла за густой живой изгородью, да, здесь была даже голубятня, и голуби там были необычные, с густыми перьями на ножках, я еще думал, не мешают ли они летать. Так прошел примерно месяц, один из лучших месяцев в моей жизни, и меня не покидала мысль, что я не имею права здесь находиться, что я пользуюсь чем-то не своим, и вместе с тем любопытство распирало меня и всякий раз перебарывало страх во внутренней борьбе. В конце концов, надо брать пока дают, думал я, ведь мне явно повезло, мало с кем такое случается, зачем же мне самого себя останавливать.

Единственное, что меня смущало, – я не понимал, зачем моему случайному знакомцу возить-ся со мной. Из моей головы постоянно продолжалась трансляция для тысяч любителей дневных криминальных сериалов, и все они наверняка задавались тем же вопросом. В один из первых вечеров он сказал, чтобы я приходил на следующий день, а то ему одному скучно, меня это, признаться, сначала окрылило, но потом, уже дома, я подумал, не странно ли это, ведь взрослые общаются со взрослыми, а дети с детьми, и если мой интерес был очевидным, то его мотивация оставалась неясной. Серия про непонятное знакомство в детском саду оказывалась, несомненно, самой интересной, но и самой длинной, и стоило все-таки задуматься о ее завершении.

Обычно в моих фильмах не снимался никто, кроме меня, и все герои были полностью выдуманными, я мог контролировать их поведение, заставляя допустить ошибку, проронить слово или оставить улику, много информации, в конце концов, можно обнаружить на месте преступления, хороший следок всегда находил хоть какую-нибудь зацепку. Но здесь дело было посложнее, мне, как создателю фильма, требовались сведения о герое, чтобы знать, каким образом его, собственно, найдут и разоблачат, это во-первых, а во-вторых, я должен был умудриться раскрыть дело от имени следователя, при том что я же исполняю и роль жертвы, а пока с жертвой ничего не случится, и раскрывать нечего. В других случаях таких вопросов не возникало, я принимал разные облики и исполнял все роли, но здесь я был не один, не мог же я договариваться с ним уже во время трансляции, он в любую минуту мог предпринять что-то неожиданное, точнее даже, то, что ожидалось с самого начала, но отреагировать я бы уже не смог. Кое-какая информация о нем все же была необходима, но я не понимал, как эту информацию выудить, я стеснялся задавать вопросы, не касающиеся нашей деятельности, я мог спросить про голубей и получал настолько подробные ответы, какие не получал никогда и ни от кого, но не мог спросить про него самого, будто я навязываюсь ему в друзья, а зачем ему такие мелкие друзья. Вот именно, зачем.

С другой стороны, что я мог сделать с информацией, случись то, что и должно случиться, если зайти в этой истории слишком далеко, тут должен был быть какой-то другой выход, иная развязка, если весь фильм не обычный, пусть и концовка у него будет не слишком традиционная. Совсем не обязательно доводить до момента, когда жертва станет полноценной жертвой, злой умысел можно предугадать и предотвратить. Ведь я проболтался бабушке, да, сейчас это оказалось очень кстати, и благодаря моей случайной оговорке полиция смогла узнать об этой истории чуть раньше, чем обычно, как именно, пока неважно, объяснить можно и в конце фильма, так всегда и делают в детективах. Но главное, что ничего пока и не произошло, никакого состава преступления, мне пришлось показывать дополнительную серию, в которой всё объяснялось, они могли запретить мне посещать этот детский сад, родители сначала так и хотели сделать, но тогда ведь не удастся никого поймать и злоумышленник останется на свободе. Надо его спровоцировать, говорили они между собой, они вспомнили про случай, о котором я им рассказал, где речь шла про некий гараж с инструментами, раз он уже однажды звал меня туда, рассуждали они, почему бы не напомнить ему, главное, чтобы вы вышли из детского сада, а мы за вами проследим, тогда уж он не выпутается. Их напористость насторожила меня, в смысле моего героя, но ему и положено было не понимать до конца всю серьезность ситуации, он удивлялся, что всё это гово-

рится о поедателе рисового супа, который в сущности ничего плохого и не сделал. Мне и самому не хотелось заканчивать эту историю с детским садом, вряд ли кто еще будет уделять мне столько внимания и посвящать в секреты взрослого мира. Но какой-то внутренний маячок подсказывал, что затягивать тоже не стоит, ведь бесплатным бывает только сыр в мышеловке.

Последний день был самым сложным, все происходящее приходилось снимать с разных точек. Помимо нас самих, орудующих в детском саду, я еще показывал полицейских, которые, в свою очередь, наблюдали за нами. Они окружили детский сад со всех сторон, спрятавшись за забором, за изгородью, за гаражами, а я изо всех сил старался не выдать их и себя, и вести себя как обычно. Не помню уж как, но я, преодолев себя, спросил про те инструменты. Наверное, это было в самом конце дня, когда мы собирались разойтись, наши наблюдатели уже замучились сидеть в укрытиях к тому времени. Я напомнил о его предложении и сказал, что хотел бы прогуляться с ним, ведь времени до вечера еще много. Он удивился моим словам, а я занервничал еще больше, потому что теперь отступать было некуда. Некоторое время он колебался, смотрел на часы, оглядывался по сторонам, а потом сказал, чтобы я вышел из сада через боковые ворота и ждал его там. Это было неожиданно, я не замечал, чтобы он пользовался боковыми воротами, я всегда уходил через заборчик, а он через главные ворота. Но делать нечего, я согласился и потопал куда мне сказали. Главное, подумал я, чтобы нас заметили полицейские. Но сам я никого не замечал, хоть и вертел головой во все стороны, пока ждал его. Видимо, так и должно быть, ведь иначе всё могло сорваться. Он наконец вышел, и мы пошли в сторону, противоположную от моего дома. Сначала всё казалось более или менее знакомо, но постепенно я понимал, что не узнаю дворы и улочки, и старался не показать свою растерянность. Иногда я смотрел назад, рассчитывая увидеть наше сопровождение, думал, может, они подадут мне знак, чтобы я не волновался. Но никого не было и, что странно, даже в моей голове пропала связь с ними, я больше не видел, где они сейчас, и зрители тоже видели только меня одного рядом с высоким сутуленным человеком. Ладно, размышлял я, ведь главное дойти до места назначения, а там они уже появятся. Правда, я тут же понял, что так и не договорился сам с собой насчет того, как проводить финальную часть операции, учитывая, что один из нас не актер. Я смотрел на проходящих мимо людей и пробовал представить, как будет выглядеть со стороны, если я обращусь к ним и попрошу помощи. Но даже вообразить этого не получалось, ведь не мог я просто крикнуть, а нужные слова не шли в голову, в нее уже ничего не шло. Мы приблизились к автомобильной дороге, и прежде чем стали ее переходить, он крепко взял меня за руку, я подумал, что теперь при всем желании не вырваться. Другой рукой я стал нащупывать по карманам свой черный револьвер и никак не мог найти. Его не было ни в переднем кармашке, ни в заднем. Нигде, как будто никогда и не было.

*Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ*

---

ЧАСТИ ГОЛОВОЛОМКИ

III

Ветка, рогатка, крестик  
Связкой в пыльном чулане,  
Полузабытый трепет  
С маятниковыми часами.

Рокот хриплый, негромкий  
В горле у старой меди,  
Части головоломки  
С вечностью на примете.

Ветка, рогатка, крестик  
В поле галльской эмали,  
Дряхлой пружины скрежет –  
Ей и тогда внимали.

Лилии стрелок бравых,  
Ветка, рогатка, крестик.  
Жить в золотых державах,  
Ждать безнадежной вести.

Час-то который? – Рано.  
Правда ли? – Нет, неправда.  
Радуешь, время? Радуй.  
Рядом держись, рядом.

**ВЫХОДЕЦ**

*памяти Иоганнеса Брамса*

Гражданин портового города,  
Где все непродажное дорого,  
В городе-бутерброде,

---

*Рафаэль Шустерович родился под Москвой, жил, учился и работал в Саратове, с 1993 года в Израиле. По профессии инженер-физик. Поэт, переводчик стихов с английского и других языков. Публиковался в журналах «Крещатик», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Зарубежные записки». Автор «Волги» с 2010 года.*

Где вроде море – а вроде  
Небо, и вся недолга –  
Заболоченные берега,

Куда тебе эти горы,  
Куда тебе сабли, шпоры,  
Куда тебе эти залы,  
Где рдеет золото Запада –

С дирижерским небесным патентом,  
С окающим венским акцентом,  
С хором синичьим,  
Веселым величьем,  
Несвойственным инсургентам.

### **Тэд и Сильвия**

Тэд спускается в ад.

Ад – это Сильвия.

Тэд поднимается в рай; рай – Сильвия, рай первоцвета, рай первых цветов, рай Блэйка, рисующего рай. Сюда выпускают парами чистых и нечистых, приводят детей: вот обезьяна, тигр, павлин, черепаха – и змеи, змеи, змеи (некоторых не высмотреть во тьме, в глубине вольеров).

Сильвия восходит в ад. Ад – это Тэд. Тэд – это рай.

Тэд это Тэд это Тэд.

Так, на холме первоцвета, сошлись они,

змеи сновали в траве.

Сильвия спускается в рай – черный, голубой, белый.

### **нарды**

И вот тебе, дружок, Восток, триктрак.

Набросишь кости – выпадет не так;

Гранатовая зернь уйдет в песок.

Еще бросок.

Играют боги, каперс на ветру

Тычинками трепещет, и нутру

Не верится, что расточится цвет,

И снова – нет.

Немые камни грудятся в столбцы,

Недоеных овец зудят сосцы,

И ладится свирепая рука

Сыграть наверняка.



Зубасты заведения доски,  
Гривасты волны, сумерки резки,  
И ненависть безмолвных голосов  
По конусам часов.

**КИО**

Он интересуется обманом,  
Разрабатывает теорию лжи.  
Мир оказался странным –  
Не разобрать ни зги.

Он в историю, ищет наживы –  
Переименована вся;  
Вы живы – значит, вы лживы –  
Так оборачивается.

Фигуранты крикливы, игривы,  
Учат Фому уму:  
Вы лживы – значит, вы живы,  
Вы смерть обманули саму.

**озеро ведьм**

Аз, буки, вязы,  
Клен, ольха, барбарис.  
Не исполняй приказы,  
Не отступай, борись.

Лиственницы, шиповник,  
Склон в черничном огне.  
Ева, дополни словник,  
Чтобы хватило мне.

Аз, буки, ведьмы –  
Три, на озеро ведьм  
Из королевства Верди  
Мчат, не смыкая вежд.

Папоротник, крапива,  
Гордый еловый мрак.  
Что-то случалось криво,  
Что-то вовсе не так.

Глупое сердце, не ведай:  
Ты не вместишь никогда –  
Аз, буки, ведьмы,  
Свет голубого льда.

Настя ЗАПОЕВА

\*\*\*

*...Как об этом смачно сказал Бодлер –  
мне приятель пересказал.*

Денис Новиков

нам недоступен возвышенный слог  
пересказал нам приятель Бодлера  
но как-то ближе Ива́нов и Блок  
были всегда да и жизнь пролетела

значит оставим по-старому всё  
скучно обидно нелепо и жалко  
снег укрывает чужое бельё  
и рыжеватые в пролежнях шапки

хочется плакать но нечем уже  
пиво хлебаешь без хлеба на ужин  
как же ты слаб человек в неглиже  
как ты озлоблен и как безоружен

вспомнишь Ива́нова ясный его  
стиль стоицизм человека в пижаме  
жизнь укатилась всего ничего  
старым трамваем в чужой панораме

значит оставим по-прежнему всё  
здесь где музЫка всего лишь расплата  
за вероломство и за волшебство  
песенка тра-та-та-травиата

здесь батареи не держат тепла  
и ничего от обид не спасает  
и утешает музЫка одна  
только музЫка одна и спасает

---

*Настя Запоева родилась в городе Абакан в 1976 году, училась в Томском государственном университете, с 1998 года живёт в США. Публиковалась в журналах «Крещатик», «Волга», «Артикль», на литературном сайте TextOnly и других. Автор книг «Почти красиво» (2016) и «Холод согреет» (2018).*

\*\*\*

**(лисичкин хлеб)**

*Приидут дни последних запустений.*  
В. Брюсов

Как там у Брюсова «дни последних запустений»  
«приидут» так и есть наступили  
любые последние наши  
денёчки нечего сказать  
мёртвые ещё не завидуют живым  
но уже жаждут хлеба больше чем золота  
и то хлеб хоть и лисичкин  
венка на запястье тикает так как будто  
взорвётся не сердце оно-то из камня  
но будильник  
будет и девкам на конфеты  
и алтынный под языком  
распадётся за ненадобностью  
на железный привкус лавровишни и не отданных долгов  
поживём ещё  
скрипнем бумагой начерно  
капнем на коленку замертво  
и дождь покроем моё нечестие  
камень за камнем размочит  
в основании моей могилы камни долги не отданные  
платежом красные  
рясные

и только в зеркале будет идти снег

\*\*\*

похоже ущербен слегка  
итог этой жизни недолгой  
тоска оказалась светла  
и жёванной плёнки короткой

хватало на порно и джаз  
с допискою из Джой Дивиден  
свет кажется был но погас  
и голос за кадром не слышен

но вечная стройка стоит  
труба заводская дымится  
подобранный в ванной дрожит  
котёнок ему не отмыться

от горькой полыни галдят  
у хлебного сонные дети  
по дому пискливых котят  
разносят пожалста возьмите

а то их утопят у нас  
их много и давят на жалость  
свет кажется был но погас  
да в общем не света хотелось

а просто на сдачу купить  
на палочке звёздочку если  
осталось с рубля воскресить  
котят но они не воскресли

\*\*\*

мне кусочек хлеба  
божия коровка  
не приносит с неба  
я прошу немного

если не сидится  
да на табуретке  
профиль строгой птицы  
да на голой ветке

домик из бетона  
да мотив тоскливый  
да стена напротив  
и на том спасибо

если захвораю  
от больнички ксива  
кто-то сядет с краю  
и на том спасибо

\*\*\*

*И оба говорят мне мёртвым языком  
О тайнах счастья и гроба.*

А.С. Пушкин

здесь подобает только ртом  
которым замолчим

о тайнах гробогематом  
удерживая дым

петь пой же пей же пыль и прах  
не в рану и не в пасть  
по горло в гибельных местах  
попробуй не упасть

следы заживших гематом  
воспроизводят страх  
к себе подобным вещим ртом  
в неприживых местах

восславить тайны гроба и  
несчастья быть никем  
Никто как девка по грибы  
по гроб до первой незвезды  
уходит насовсем

о неприкушенный язык  
слюны предсмертный вкус  
морозки запоздалый бзык  
я так тебя боюсь

как будто гибели порок  
неисправим зане  
лежит не мёртвый не пророк  
по горло в неглиже

уже не должен Никому  
ни дара ни вины  
о пой же пей же посему  
вместилище тщеты

ОБИТАТЕЛИ ДОМА

**Вступление**

Корректору поведения, Джули, нелегко. Ей нужно создавать учебные программы для всех обитателей дома, собирать статистику участия и прогресса, модифицировать программы, следуя реакциям жильцов, создавать специализированные и развернутые поведенческие планы для тех, кто наблюдается у психиатра.

Работники смотрят волком: им платят мало, у них не хватает базового образования и элементарной выучки, они перегружены ответственностью, и их не разорвать на огромные нужды обитателей дома. Они держат корректора за злостного дурака, затрудняющего существование, а оно и без того скрипит по швам.

Джули предлагает модификацию плана на общем еженедельном собрании: «Когда Ронни ляжет на пол и сделает вид, что умирает, предлагаю покинуть помещение на пять минут: он любит играть на публику, а если вас нет рядом, ему быстро надоест изображать». Ей отвечают, что из этого ничего не выйдет. Но почему же, интересуется Джули, не выйдет? А ты, говорят, проведи побольше времени вне своего кабинета, тогда, может, и поймешь. Шестидесятилетний координатор программы, широкоплечий крепкий Том Маклири кивает головой, как китайская статуэтка, щеки у него красные, сам старается не заснуть. У него высокое давление. Руководитель резиденции, Костас, поджимает губы и смотрит оленем – бессмысленно и тревожно.

Когда Джули находит время наблюдать за поведением клиентов в общих помещениях резиденции, становится понятно, что дело не в том, что ее предложение было скверное, а в недоверии работников. Они убеждены, что Джули просто не хочется марать руки грязной работой, не хочется сталкиваться с агрессивным поведением. Работники ее не уважают.

Джули надевает резиновые перчатки и моет обгаженные туалеты, помогает принимать душ Артуру, который в очередной раз не донес до унитаза. Артур спрашивает, что будет, если он погладит ей грудь. Джули обдает Артурикин задний проход из душевого шланга и отвечает, что такой вопрос неприличен, поскольку может оскорбить человека. Она, помогая натирать Артуру шею мылом, предлагает обсудить этот вопрос с психотерапевтом. Ладно, огорчается Артур, но, может, ты хотя бы купишь мне пиццу? Работники наблюдают за усилиями Джули с отсутствующим выражением лица. Вечером после работы Джули плачет, сдерживая голос, а слезы крупно льются по ее щекам. С Артуром и его соседями по резиденции она проводит сексуально-разъяснительную работу, устраивает лекции по безопасному сексу; с энтузиазмом рассказывает, что перед оральным сексом партнеру нужно надеть презерватив на эрегированный член. Также сообщает вникающим медленно слушателям, что есть и женские презервативы, но ими пользоваться несколько тяжелее – ведь устройство вагины отличается от устройства пениса. «А есть у

---

*Борис Ильич Ильин родился на Украине в 1974 году, закончил факультет психологии Публичного университета Нью-Йорка и консультативный факультет Лонг-Айлендского университета. С 2010 года печатается в литературных изданиях – «Ното Legends», «Крещатик», «Новый Журнал», альманахе «Артикуляция». Живет в Нью-Йорке.*

тебя вагина?» – спрашивает Артурик и застает корректора врасплох. «Если есть, – быстро добавляет он, – то можно у ее буду лизать?» Артуруку сдержанно и неинтересно отвечают, что задавать такие вопросы неприлично, поскольку они могут оскорбить человека, но здесь вступает Артурикина соседка по резиденции, Сюзи; она говорит, что своему бойфренду сразу поставила условие – или лизать, или до свиданья навек. «И он как пошел лизать, – рассказывает смеясь, – так уже остановиться не может. Всегда рад стараться». Сюзи – веселая лысая женщина, но насмерть стоит против другой соседки – мускулистой Милдред, которая старается над всеми верховодить.

Работники заканчивают дежурство и в большинстве своем перемещаются на следующую работу с еще одной восьмичасовой сменой. Мало у кого есть только одна работа – у большинства две или три: нужно кормить семью с множеством детей, в семье не все работают, и профессионального образования нет ни у кого.

Все сказанное выше – вступительное объяснение жизни – жизни людей с умственной задержкой, с психиатрическими диагнозами: система ухода скоро записать получающих услуги к психиатру для того, чтобы таким образом проконтролировать поведение медикаментозным способом – несмотря на то, что, может быть, психиатрические заболевания и их проявление среди людей с диагнозом умственной задержки не так широко изучены, как принято думать. Обитателям дома, о которых пойдет речь, ничего не известно о тяжелой динамике отношений между ухаживающими работниками и клиническими специалистами. Их жизнь разнообразна, и главное вот что: мало кто из них чувствует себя неадекватным из-за диагноза. И это в своем роде достижение.

## Старухи

О них невозможно рассказывать отдельно, связавших друг с другом свои жизни через несчастье расплывчатого диагноза, в который и не верили, и не вспоминали о нем. Они были просто две старухи, ухватившиеся друг за друга перед суровой реальностью и оборонявшиеся от нее общими усилиями. Одна была старуха еврейская, Джен, а другая – протестантка Руфи с английской фамилией. Обе связали свою веру, если таковая и была у них, только с праздниками в быту. На Песах ходили в русское кафе «Обжора» (Джен называла его «Обзохора» выговаривая таким образом сложно транслитерированную в английский язык русскую фонетику, а в канун Рождества посещали греческий дайнер. Джен говорила много и за обеих, но ей приходилось замолчать, когда Руфи собиралась что-нибудь произнести. У Руфи была очень плохая дикция, говорила она строго и скоро, и первый год нашего общения я почти ничего не понимал. Но привыкнув однажды, мне было странно вспомнить этот прежний языковой барьер.

И подумать, от чего им было обороняться, этим женщинам? Ведь и жили они в отдельном крыле резиденции, обустроенном под квартиру с двумя спальнями с собственной кухней и санузелом, и денег им хватало на еду, одежду и проезд в общественном транспорте, и доступ к медобслуживанию у них был полный. Да еще эти походы в кафе-рестораны... Кто так живет, у кого такое есть на старости лет? Но ведь дело здесь не в бытовой реальности, а в ощущении от жизни. Джен всю жизнь работала на мелких должностях – грубо говоря, на перекладывании бумажек из одной стопки в другую – откуда ее постоянно увольняли, и если бы не родители и братья, быть ей бездомной. Но вот умерла ее мать, и каким-то невозможным образом, устроив психологическое тестирование, Джен определили умственную задержку – клинически низкий уровень интеллекта, и – чудо! – приняли в соответствующую систему ухода, а затем поселили как раз в квартире с Руфи. Джен плевать хотела на все эти византийские ходы; она говорила, что ее упекла сюда племянница, и теперь племянницу и знать не хочет.

Не то было у Руфи. Она с детства жила со знанием, что с ней что-то не так, и с ранней юности участвовала в программах поддержки, куда ее определили по диагнозу: работала в специализированных мастерских, бравших подряды у крупных концернов или фирм – то складывала презервативы от «Глаксо-Смит-Кляйн» в пластиковые пакеты, то собирала пишущие ручки для фирмы



«Бик», и прочее всякое. За работу ей платили доллар за сто собранных ручек, за двести упакованных презервативов, в неделю у нее получалось пять-семь долларов, но и работала она четыре дня. Жила она в юности в огромном психиатрическом заведении на Лонг-Айленде на пятьсот коек, а в ее палате было пятьдесят человек. Из-за такой жизни Руфи была приучена к строгому распорядку и минимуму удобств. Она и прежде не любила ныть, и теперь, живя в трехкомнатной, включая гостиную, квартире, она никогда не жаловалась на бытовые обстоятельства – на то, что в ванной вода не течет, на мышей, на то, что зимой плохо топят. Напротив, она была весела и, как прежде, строга.

По-настоящему раздражающая сторона этой жизни для обеих заключалась в том, что они стали частью системного механизма, цель которого – воспроизвести себя посредством получения государственных дотаций. Для их получения система устроила большое количество всяких специалистов, приходивших к Джен и Руфи, толкущихся у них в квартире каждый день, заставляющих то и дело подписать непонятные бумаги. Та же система подвергала учениям по пожарной безопасности, когда в три часа ночи их, в нижнем белье, выгоняли по учебной тревоге на улицу в любую погоду, и в ведомость записывалось, что теперь старухи умеют защититься от пожара. Кроме того, приходил специалист по поведению и всячески учил – учил Руфи, как словесно передавать мысль с большей эффективностью (попросту, говорить медленнее), как меньше раздражаться (сделать несколько глубоких вдохов), как разнообразить досуг (сходить в кино вместо похода в кафе). И Джен учил не нервничать (переключать внимание на любимые занятия – и было тяжело понять, какие она любила), готовить новые блюда (курятину не только вареную, но и в духовке запеченную).

В мои же обязанности вменялось просто их проведать, свежим взглядом оценить, все ли в порядке, расспросить, не нужно ли чего, выполнить просьбу, если таковая будет. Мне было проще, приходил я раз в три месяца, и старухи радовались моему приходу. Нет, не было в наших встречах ничего по-домашнему приветливого, ничего особо теплого. Джен часто жаловалась на работников и специалистов, вела меня в ванную комнату и с раздражением демонстрировала протекающий кран. Нет, вру – теплота была, но всегда исходящая от Руфи: она зазывала меня к себе в спальню, закрывала дверь и долго показывала старые фотографии; они, эти фотографии, все были в неважном состоянии – гнутые, искривленные, и словно приправленные дымкой времени. Конечно, это была никакая не дымка, а вьезшаяся пыль.

Через завесу пыли видны были женские фигуры – три молодых сестры на фоне зеленого подстриженного куста. Какие прежние прически и моды угадывались в фотографии? Были ли все три напомажены духами Элизабет Арден «Schoolhouse Red»? Что там еще было привычно носить и чем краситься во второй половине пятидесятых? Три молодых задорных девичьи фигуры в простых платьях с повторяющимся узором, все так далеко во времени, словно в дымке, а если бы не было времени? А если его нет совсем? Что там за зеленым подстриженным кустом? Приличные садовые дорожки, присыпанные гравием? Куда же они ведут? К другим кустам, деревьям и дорожкам. А за этими что? Что там виднеется? Неужто шоссе и прилегающая к нему лесополоса? Если пройти к шоссе, нужно осматриваться – крупные семейные автомобили проезжают на большой скорости, все больше черные и белые, но встречаются и вызывающе-красные, и серые. Перейти через шоссе осторожно. В начале леса усматривается тропинка, но этим летом никто здесь не ходил, она, насколько хватает глаз, заросла легкой травой, подзасохшей уже – погода три недели стоит жаркая, и осадков нет. Идти вперед через лес, и ни высокие кроны сосен с зелеными иглами, ни кривые канадские березы с прозрачной своей салатовой листвой не спасают от припекающего жара: солнце стоит высоко, как только бывает в летний полдень, и человеку от него не укрыться и в лесу. Жарко, и хорошо одно: если голову не поднимать, ничто не слепит глаза, а мир между тем ярк и звучен: шелест листьев и древесные скрипы переходят от участка к участку то ли эхом, то ли всякое дерево перенимает эстафету и звучит – шелестит листьями или иглами, скрипит негибким своим стволом, но эта работа деревянных тел – вот всё, что флора себе по-

звонит привнести в звучащий мир. Почему-то здесь птицы не поют; может ли быть, что близкое присутствие шоссе спугнуло птиц однажды и навсегда? Но все не то: если продвинуться в лес на километра два глубже, здесь дорога начинает идти заметно в гору, и вся она каменистая, да и до роги в общем нет никакой – то и дело приходится отгибать ветки, перешагивать через коряги по мягкой, устеленной мелкими веточками и выжившими прошлогодними листьями почве, и стопа утопает – словно шагаешь по живому телу, и почва поскрипывает под ногами, и ломается под стопой то веточка, то еще одна. А если есть в лесу кто-нибудь еще, то ему слышно приближение человеческих шагов за полкилометра. А вот уже обнаружили и покрытые лишайником валуны, а древесные корни как огромные жилы огибают камень и стремятся достигнуть земли, и тогда валун похож на круглый напряженный бицепс, по которому прошла вздутая синяя жила. Так и выходишь на ровную поверхность, и дыхание умеряется, становится ровным, и когда перестаешь его замечать, вдруг напоминает о себе жажда. Пить хочется, а воды нет. Но впереди ведь должны подать о себе знак приметы человека – однородный шум шоссе, проявляющиеся одноэтажные домики – что-нибудь. А уже и солнце ушло, и холодно, и белый подоконник грязный, с черными вкраплениями пыли, полки покосившиеся, потолок облупленный, но тяжело не глядываться в фотографию – через пыльную дымку, где мир молод и живет юношеской бодростью, и все здорово, красиво и живы. Как перестать глядываться?

У Джен двое старших братьев; они не виделись десять лет – у одного нет денег приехать из Миннесоты, а другой полностью ослеп за это время. Джен звонит им на праздники, но повторяет как заклинание: «Главное – забота о себе». Она очень переживает за братьев, но еще хуже ей – вдаваться в подробности их обстоятельств. И она не знает, кто помогает самому старшему, слепому, и как именно выживает средний – без средств к существованию.

Руфи раз в несколько лет летает к сестре во Флориду. Она очень экономна, и получается собрать на билет в оба конца. Мне об этом обо всем рассказывается сухо, подчеркнута неэмоционально.

И вот в очередной раз прихожу к ним. На лице Джен тяжелая улыбка. У Руфи лицо смазано, движения суетливые, варит картошку, голова перехвачена черной повязкой. Зазывает к себе в комнату, запирает дверь, скрываясь от внимания соседки, и говорит быстро, неразборчиво: знаешь, что у меня случилось? Сестра умерла, Френсис. Обнял ее, постояли так с минуту. Потом с усилием перешли к пустым бытовым разговорам, вопросам.

## Ронни

Есть и для поэзии практические применения, хоть их, кажется, немного. Случается, что люди, прежде не писавшие ничего и не интересовавшиеся поэзией, вдруг прочитают свои стихи, записанные таким катреном, где две первых строчки и строчка четвертая – трехстопный ямб с переменным женским-мужским окончанием, а третья – четырехстопный хорей с мужским. Они, эти люди, и не узнают никогда о просодических подробностях, но всё здесь производит эффект: комната, набитая народом, две женщины – одна филлипинка средних лет, а другая – молодая шотландка, задержавшаяся у нас по рабочей визе – со слезами в голосе читающие вслух. И не в меньшей степени производят суровое впечатление сами стихи о потере человека в пользу смерти, и сама смерть, и сам мертвый человек, Рональд, Ронни, совсем высохший, ярко-белый – лежащий в открытом гробу, как положено по религиозному обряду.

Начнем с того, что Ронни умер, а затем заглянем в его жизнь, кто-то ведь должен заглянуть, и, видимо, придется нам. А вот и сами стихи в приблизительном русском переводе, передающем ритм и общее настроение, но не инстинктивную естественность, им свойственную, свидетельствующую о том, как свое чувство переходит в слова для всеобщей скорби. Их никто и не просил, этих женщин, ни сочинять, ни зачитывать, но иначе и быть не могло – они теперь поэты на час, и забудут, каково это, как только прочитают свои строки:

Наш добрый милый Ронни,  
ты всех оставил нас.  
Мы работали с тобой,  
и плачем мы сейчас.

Решали все проблемы,  
ну а теперь их нет.  
От тебя осталась лишь  
коробка сигарет.

Собираясь записывать эту жизнь, я почти вижу, как для русского изложения ее обернули в упаковочные прозрачные материалы – какой-нибудь жесткий целлофан; через него все видно, но цвет потускнел и запаха не слышно, если не считать удушливого запаха самой упаковочной пленки. Оговаривая такое обстоятельство, я всего лишь хочу сообщить, что вся жизнь Ронни, как и мое в ней мелкое участие, происходила по-английски, а слова о ней, высказанные по-русски, – непривычны и заставляют чувствовать, что само повествование, каковому развернуться далее, имеет мало общего с его героями, да, собственно, и вообще ничего общего не имеет. Ни Ронни, похороненный на семейном участке не где-нибудь, а в Кенсико, ни сам дом с оставшимися обитателями в бруклинском Грейвсенде не будут потревожены, это я могу вам обещать.

Мне рассказали сразу, как только я устроился на работу, что у Ронни сильные перепады настроений. То он ласков и мил, а то вдруг обрезает все телефонные провода в резиденции, выбрасывает оконный кондиционер на улицу со второго этажа, то ляжет на пол и часами будет хрипеть, пускать слюни и умирать. А как придет скорая, поднимется резво – и словно не было умирания. Он был высок и худ, его пошатывало. Врач порекомендовал ходить с палочкой, но Ронни наотрез. Раз в неделю он собирал мелкие учетные деньги в пяти окружных резиденциях под началом нашего агентства, а затем отвозил их на метро в главное управление. Заработок его был за это пять долларов – большие деньги для человека в его ситуации. Куда с ними? Больше всего на свете Ронни любил играть на удаленном тотализаторе скачек. Раньше в Бруклине существовал ряд заведений именно под таким названием, Удаленный Тотализатор, где, в залах просмотра, собирались неопрятные серолицые мужчины, уставившиеся в телевизор в ожидании результата. Ронни среди них ничем не выделялся. Вообще, описывать Ронни непросто – все его действия, движения, лица выражения требуют заезженных унылых эпитетов и сравнений – как то: ухмылка у него была хитрая, улыбка беззубая и веселая, глаза словно карие щелки, морщины мудрые, и тд. Кто пожелает, может дополнить список, а здесь это ни к чему. У него были рыжие от сигарет пальцы, а поскольку руки он мыл редко, и вообще предпочитал не освежаться лишний раз ни под душем, ни как-либо вообще, то и дух от него стоял такой, который бывает лишь в «заведениях», что есть эвфемизм для разнообразного типа жилищ под нужды всяких нездоровых людей, у которых нет денег на частный уход. В таких местах пахнет гниющей кожей и смертью, и я не разберу – быть может, это один и тот же запах. Так пахло и от Ронни.

Сомнительная гигиена не мешала Ронни ходить в сердцедах, даже если только в собственных глазах. Он названивал в соседнюю резиденцию, где жила Джейн, его платоническая любовь, и все сокрушался, что дальше телефонных разговоров дело не шло. А я не имел права рассказать ему, что Джейн не интересуют вопросы плотской любви, хоть она и выполняет исправно упражнения Кегеля. Но ведь Кегель-то в ее случае был упражнением не для последующих утех, а просто чтобы уменьшить недержание мочи.

Когда я познакомился с Ронни, он курил красные «Мальборо», а с повышением цен перешел на «Маверик». Когда и те стали слишком дороги, он стал брать сигариллы Dutch Masters (35 центов за штуку) и прованивал ими всю округу. От меня он хотел следующего: чтобы сообщил

куда надо, так он говорил, о рабочих, смотрящих телевизор во время смены, мусорящих соседях, а ведь Ронни сам мыл везде полы, каждый день. Это была странная комбинация: личная нечистоплотность и неуклонное тяготение к порядку и гигиене жилья. Возможно, он просто не видел себя со стороны, но когда ему говорили, что у него на губе сопля или что вот уж совсем пора в душ, ибо вокруг уже собираются мухи, а они понятно на что собираются – в общем, Ронни принимал эти прямые намеки легко и мало беспокоился. Абсолютно чистым и выбритым я его видел однажды – когда его навещали братья и сестра – крепкая польская семья, и не только по фамилии польская, но и как-то на вид, несмотря на то, что из Польши приехали родители родителей. Никто из них по-польски не знал, и даже собственную сложную фамилию Бржежицкий вся семья выговаривала на упрощенный американский манер. Но что мне было известно о семье Рональда? То, что братья его высоки и кряжисты, что сестра сдержана и серьезна? К Ронни они явно относились как к равному, а он и был равен всем и на иное не претендовал, и у кого еще я знал это ясное ощущение независимости и самоуважения, простоты в общении и требовательности? А что он ходит грязным и неопрятным – разве это само по себе диагноз?

Комбинация лития и оланзапина долгие годы помогала Ронни не срываться в резкое поведение, о котором мне рассказывали при поступлении на работу. Но случились сильные почечные колики, и Ронни отправили по скорой помощи. А в больнице не проследили за медикаментозным рационом. Вообще, подсудное дело, человек может и умереть, а судиться у нас любят. С другой стороны, такая морока искать сутягу, обстоятельно все конспектировать для судебных разбирательств, а Ронни в это время успел вырвать у себя капельницу, дотянуться до телевизора на высокой стенной стойке и разбить его. Ронни был найден на полу в своей палате сжимающим подушку в руках, грызущим ее голыми деснами.

Возвращение в поведенческую норму далось Ронни очень тяжело и заняло примерно полгода. За это время он успел разбить окно, выпрыгнуть туда, ударить прохожего, оказаться в наручниках в полицейском участке. Теперь он наблюдался у психиатра раз в две недели, что в три раза чаще, чем обычно, и тот не торопился, ждал, когда лекарства произведут нужный эффект.

В какой-то момент Ронни ходил в несколько туманном состоянии, много спал и ел, и даже поправился. Виделся я с ним раз в месяц, и однажды после нашей встречи в резиденции я услышал слабый стон: Рональд лежал в коридоре на полу и отчетливо говорил: «На помощь!» Я подошел и увидел, как заострился его нос; Ронни издал еще один хриплый стон. Затем повернулся в мою сторону, хитро глянул и беззвучно засмеялся. А дальше с тяжестью встал и поплелся к себе в комнату.

## Милдред

Конечно ее звать не Милдред – так звать только совсем пожилых людей: скажи Милдред и Руперт – и сразу видишь сутулого старика в выглаженных темных брюках, туфлях-лодочках, в серой рубашке, в тяжелых очках, сидящего у телевизора, а рядом с ним Милдред – широкая в бедрах, с отсутствующей талией, с тонкой шеей, поддерживающей тяжелую большую голову с морщинистыми щеками, пергидролевой пышной прической. Обычно такая Милдред занята обедом, а в прочее время читает очередную книгу Даниэль Стил. Но мы отвлеклись. Наша Милдред – подвижная крепкая женщина лет пятидесяти, на расставленных ногах, сама плотная. Ее лицо с крупным носом картошкой и разведенными широко глазами свирепо и недоверчиво, но это пограничное состояние, и оно само по себе не означает угрозы. Ее внезапная улыбка обезоруживает и ослепляет. Милдред резко подскакивает, обнимает, кладет голову на плечо и с легким недовольством говорит несколько протяжно: «Я скучала по тебе, ты где пропадал?» И если в этот момент в подвальный офис спускается работник, чтобы напомнить, что пора бы уже и душ принять впервые за два дня, Милдред поспешно покидает объятия, хватается за первый попавшийся предмет на столе и пронзительно кричит: «Покалечу, сука!» Здесь повторяются одни и те же игры, и вот как примерно выглядит сопутствующий им диалог (М – Милдред, Р – работник):

М: (размахивая крупным швигателем): Урою, покалечу!

Р: Милдред, держи себя в руках, я просто пришел поговорить.

М: Чтоб ты сдох, козлина! Сам принимай свой долбаный душ!

Р: Давай присядем, поговорим, положи швигатель, он нам сейчас не нужен.

М: Я не пойду в душ!

Р: А я разве тебя заставляю?

М: А тогда какого хрена тебе нужно, мудака?

Р: Мне просто нужно поговорить. Хочешь, вот Боря тоже будет участвовать в разговоре.

М: Хочу, он хороший, я его люблю, а ты мудака и подохнешь мудаком.

Р: Я просто вижу, что ты волнуешься или злишься, хочу понять, в чем дело, может, я могу чем-нибудь помочь?

М: Мне очень плохо, мама умерла уже восемнадцать лет как, а мне ее так не хватает! У меня депрессия, а ты ведешь себя как мудака!

Р: Я понимаю, должно быть, очень тяжело так жить.

М: Очень!

Р: Но тосковать ведь тоже надо, это ведь твоя мама, и ты правильно тоскуешь. Без этого, видимо, не бывает. Вопрос вот в чем, что мы можем сделать, чтобы как-нибудь помочь тебе? Может быть, организовать поездку на кладбище?

М: Ненавижу кладбища – они меня пугают, там все мертвые! И вообще, что у нас на ужин?

Р: Спагетти с тефтелями и салат.

Милдред лет двадцать сожительствует со своим соседом Рональдом, худым и высоким стариком. Оба не закликаются на взаимных отношениях и активно ищут новых встреч. Рональд жалуется на долгое отсутствие нового романтического интереса, а Милдред делит хахалей с Сюзи. У Милдред есть младшая сестра с семейством и собакой в комплекте. Время от времени, вот уже много лет Милдред рассказывает мне, что она теперь тетя нового племянника по имени Владимир, и какой это чудесный младенец. Из-за этих повторений у меня складывается странная и желаемая картина замедленного старения семьи, в которой и младенец остается таковым семь лет подряд, и сестра долгие годы мать новорожденного. А если картина правдива, сколько лет до смерти было отведено матери Милдред?

## Артурик

«Так ты что, точно женщина? – спрашивает Артурик, – значит у тебя есть писька и сиська?» Обычно с Артуриком работают студенты или без образования семейные на трех работах люди. Здесь мало платят. А тут он как раз вопрос свой задал студентке-работнице, да еще в людном месте, в Макдональдсе. Ей бы безучастным голосом перенаправить его внимание на что-нибудь – например, на прейскурант заведения, но эмоция ей овладела быстро – покраснела, растерялась, не нашла что ответить. Но Артурик сам знает: на неприличном долго не задерживаться. «Мне, – говорит, – бигмак с картошкой и диетическую колу». Ест резковато, смотрит, уставившись студентке в грудь. «Мися, мися, мися, мися! – сначала бормочет жуя, но бормотанье скоро переходит в крик: – Мися – я буду лизать твою мисю!!» Раньше-то он говорил «пися», но его научили, что говорить «пися», а тем более орать прилюдно – неприлично, и если уж ему совсем невтерпех, то лучше произносить «мися».

Артурик очень послушный, никогда не перечит, и только осведомляется, зачем выполнять, что от него просят. Он любит автомобили своего детства – выпуска середины пятидесятых, все эти громадные бьюики и доджи, любит шоколад, умеет сразу назвать день недели, если ему сообщить год и дату рождения. Если нервничает, ногтями чешет кожу на лице – так, что постепенно

образуются кровоточащие ранки. Артурикина сестра, сама женщина не без явных эмоциональных проблем, уверена, что это все побочные эффекты психотропных препаратов. При ней Артурик чешет сильнее и больше, он ее боится, а потому нервничает.

Артурик всегда хочет, чтобы сестра сводила его в кафе – и она водит – покупает с ним сосиски в Nathan's на Кони-Айленде, берет его в дайнер, а там кормит курятиной в соусе Альфредо. У Артурика рефлюкс, и она требует, чтобы пиццу ему не покупали. Костас – нежный грек, управляющий резиденцией – волнуясь, напоминает сестре, что Артурик – взрослый (даже пожилой!) человек, и ему решать, что есть, пусть это противоречит медицинским предписаниям.

Соседи по дому побивают Артурика, но тот зла не держит. «Чтобы матери ваши захлебнулись в дерьме, чтобы дети ваши сохли от тифа, чтобы отцов ваших оскопили», – скороговоркой отвечает Артурик на любые оскорбления обитателей резиденции.

Сам Артурик из хорошей семьи и до тридцати лет имел слуг и личного шофера. Но родители умерли, а незадолго до смерти определили его в резиденцию, где люди подобраны по диагнозу. Иногда Артурик не успевает в туалет, и ему помогают принимать душ те же студентки-работницы; в эти моменты он выглядит как ошипанный беспомощный старый цыпленок, а желтые сохранившиеся его зубы выделяются на фоне тонкой, серой, в пузырьшках от холода кожи.

## Сюзю

Я уже упоминал Сюзю, но надобно сказать о ней больше. Помимо того, что была она лыса и весела, отличалась также плохим зрением, носила очки с толстыми линзами, а еще у нее сильно росла кучерявая подростковая бородка. Ей выбривали подбородок и остаток волос на голове трижды в неделю, семья пробовала парики – от синтетических дешевых до дорогих еврейских ортодоксальных, пошитых из человеческих волос. Но и принадлежность к еврейству не помогала, все было напрасно: Сюзю покрывалась красными аллергическими пятнами. Парики пришлось отменить, но ни облысение, ни борода, ни вставная челюсть, ни очки не мешали ей привлекать всестороннее мужское внимание. От одного она принимала самодельное колечко из нержавеющей стали, другой приходил с цветами и тортом, третий водил в Макдоналдс, и каждому была открыта спальня Сюзю на втором уровне резиденции. Одному только важному правилу Сюзю следовала всегда: пользоваться презервативом, а к разным звукам телесной страсти все соседи были привыкшие. Работники же не вмешивались – не положено.

Сюзю часто навещала младшая сестра, серьезная и вежливая женщина, подробно выяснявшая медицинские обстоятельства ухода, предлагавшая свою помощь. Увидев сестру, Сюзю улыбалась во весь свой пустой рот и сразу переходила к жалобам. «Эта сука Милдред спрашивает, почему я сегодня не пошла на программу, а какое ее судье дело? Я, может, к врачу ходила». В таких случаях работники напоминали о том, что бывают плохие слова, а бывают хорошие, и что сука – слово скорее плохое. Сюзю с непонимающей улыбкой слушала, но принимала к сведению: «Эта блядь Милдред все время лезет в мои дела, – жаловалась Сюзю и тут же угрожала: – Я эту блядь покалечу».

Однажды я оказался свидетелем, когда Сюзю пришел навестить ее брат – двухметровый, похожий больше на скандинава, чем на еврея, в дорогом костюме-двойке, крупного размера вишневых туфлях, немолодой, ухоженный господин прямиком с Уолл-стрит. Маленькая Сюзю бросилась к нему в объятья, и он вобрал ее в себя будто целиком, а и без того малоподвижное его лицо вовсе окаменело. Было понятно, что брата застали в интимный семейный момент при свидетелях, что в его жизни бывало, наверно, редко, и действительно – зрелище казалось нетипичным: лощеный высокий сдержанный господин обнимает лысую беззубую в тяжелых очках женщину, смеющуюся громко и легкомысленно. Вдруг кончики его рта поднялись вверх, и лицо украсили две глубокие привлекательные складки – обнажившие природную теплоту, которую он так тщательно скрывал.



## Персонал и Потребители

Одна из особенностей американца – способность на внезапный мелкий радушный разговор в общественной ситуации. Так со мной разговорился немолодой негр на станции метро в Бронксе после того, как мы сверили расписание поездов и поняли, что наш задерживается. «Восточноевропейский, – сказал он, недолго думая, – но очень легкий, прикрытый американским акцентом. Вы из Украины?» «Точно, но неужели так слышно?» – я был все-таки удивлен, хоть и не заблуждаюсь насчет моей английской речи. «Невестка из Тернополя», – отвечал негр, а дальше вошел в вагон подоспевшего метро.

Или вот еще. Нет, никакого еще – незачем рассказывать, и так ведь все понятно про эту американскую особенность. Ведь понятно же, да?

Скорее вот что: полные лодыжки, и сама женщина корпулентная, молодая, негритянка с бледно-розовым в веснушках лицом. Курносый нос, волосы выкрашены в рыжий цвет. Юбки носит джинсовые и длинные, на ногах вьетнамки. Я помню ее – лет тринадцать назад – на лекциях по экспериментальной психологии в университете, в негритянской шапочке разноцветной; такие я видел и на мужчинах и на женщинах – сначала думал, что это знак принадлежности к Нации ислама, а потом ничего не думал. Так толком и не выяснил. Теперь на ней не было никакой шапочки, и я знал, что зарабатывает она 22 тысячи долларов в год на полную ставку, и что беременна, хоть и было сказано вида не подавать, что мы все знаем. Звали ее, допустим, Джеки.

Рассказывает Джеки:

*Говорю, Марвин, чего ты плачешь? А он плачет и плачет, а говорить-то, мы знаем, – не умеет. Взяла его на руки, на кровать положила, раздела всего, смотрю – опять головка хуя вывалилась – мне самой больно от одного вида. А Марвин плачет, даже воет как-то. По лбу его погладила, говорю, ну потерпи, милый, сейчас по скорой поедем. Вызвала скорую, потом позвонила нашей медсестре, как полагается, а эти приехали медики и – не хотят его брать! Я говорю им, что же вы, не люди, что ли! Посмотрите, он старый человек, ему больно, вам не стыдно? А эти отвечают, мисс, не беспокойтесь – взяли его положили – давление, то да се. Я и не увидела, но быстро вправили ему. Зафиксировали и сказали записаться к врачу. Марвин уснул, а скорая уехала. Потом проснулся, пришел ко мне и руку поцеловал. Мужчина! Не то что эти нынешние дятлы – только детей строгать умеют, а дальше поминай!*

А вот еще Кевин рассказывает – на такой же должности, что и Джеки:

*Марвин – веселый старикан. У нас с ним особые отношения: он меня дубасит, а я делаю вид, что мне больно. Иногда мне уже и надоест, а он только в раж входит. Перехватывает мою левую руку, заворачивает за спину, и лупит по животу изо всей дури. Но дури, прямо скажем, в нем осталось немного, поэтому получается скорее щекотно. Вот только надо делать вид, что меня от боли просто выворачивает. Ну, ору дурным голосом. А что делать? Зато у Марвина потом хорошее настроение и он со мной не спорит, делает все, что прошу.*

Кевина как раз потом за это все и уволили: а не нужно было создавать агрессивную ситуацию. Соседи-то за всем наблюдали, и когда Милдред пыталась врезать Кевину, результат мог быть нешуточный. Она потом жаловалась: почему Кевин позволяет Марвину лупить себя, а мне не позволяет? И вопрос хороший: хотела справедливости.

Вообще, чувство справедливости – главное чувство всех этих подневольных людей: и жильцов дома, и работников, выполняющих свои обязанности за мизерные деньги. О нем и пойдет речь. Если кому-нибудь достались сверхурочные часы, но не были предложены на выбор всему коллективу – значит случилась несправедливость. Если у Сузи двадцать таблеток в день от раз-

ных болячек, а Милдред принимает только пять ежедневно – то это несправедливо, ей тоже нужно увеличить до двадцати. Если Артурика навещает сестра каждый месяц, то пусть она, сволочь, подохнет – ведь Сюзия сестра навещает реже. Похоже, всем этим людям недодано чего-то самого главного – и не понять, чего именно – но такого недодано, что позволило бы не усомниться в чувстве собственного достоинства. Скучная жизнь без просвета – быть может, вот главный механизм, толкающий на поиск сиюминутной справедливости любой ценой. И в этом смысле все они равны – и люди служащие, и те, кто услуги получают. Равны в том смысле, что твердо знают себя винтиками единой системы. И даже придуманы для них слова, определяющие обе группы. Работников называют Персонал, а получающих услуги – Потребителями. И всякий человек с умственной задержкой знает, что он Потребитель, но не в том смысле, который предлагает социология или, например, экономика, а в сугубо жаргонном значении. Потребитель – человек с умственной задержкой, получающий услуги, и главное: Потребителем он является только с точки зрения Персонала. Вот на пробу предложение: «Персонал и Потребители вышли на прогулку». И сразу понятно: люди с низким интеллектом вышли погулять, а работники за ними следом присматривают, чтобы помочь, ежели вдруг что.

А зачем я завел про негра в начале да про особенности американского характера? Я и сам не знаю. Но повествование тем не менее продолжается. Эта борьба за названия людей и групп, их объединяющих, постоянно и сравнима с упорным ношением воды в дуршлаге. Как только людей не называли – Потребитель уже был упомянут. Пациентом – нельзя, поскольку тогда за основу берется медицинская модель подхода к человеку, у которого ничего не сломано и не болит. Пациенты, все же, у врача. И клиент не годится: вот слово, привязанное к психотерапевтической практике, а о ней в системе речь не идет. Клиенты у психолога. Думали назвать субъектом, но уж больно бесчеловечно, и тогда придумали такое, что хуже всего. Назвали человеком. Если сильно не задумываться, то все правда – человек и есть человек, с умственной задержкой или без. Но система-то хочет и рыбного съесть, и чтобы в вопросах половых отношений все было как надо. С одной стороны – люди, а с другой – как их словесно отличать от тех, кто за людьми ухаживает и учит их? Вот, на пробу, то же предложение, несколько видоизмененное: «Люди с Персоналом вышли на прогулку». Сразу понятно, что слово «люди» здесь уменьшается до эвфемизма, но вряд ли этого эффекта пытались добиться переименованием. В чем же причина вечных неудач с терминологией? А в том, что вся бодрая замена слов есть внешнее суетливое движение, призванное скрыть, что система меняться и не собирается. И для нее нормально платить мизерные деньги за сложнейшую, ответственнейшую работу, для нее в порядке вещей относиться к людям, за которыми закреплен уход, как к дойным коровам, приносящим государственные дотации для воспроизведения самой системы.

Знает ли об этом обо всем Марвин? Скорее всего нет, но он знает, что бывало хуже: вырос он в психиатрической лечебнице, где жил в помещении на двести человек, и работник на них был один: он и жрать разносил скучную кашу трижды в смену, и из шланга поливал их, под себя ходящих, в качестве единственной гигиенической процедуры.

Нужно жить долго, чтобы иметь возможность полноценно сравнивать. Эта возможность добавляет доброй мудрости человеку, сообщает ему о зыбкости любой ситуации – скверной, как и прекрасной, помогает не осудить чрезмерно, но радоваться, когда выпадут счастливые времена, или не терять полностью надежды, когда приходит время горевать горе.



Изольда БАУМГЕРТНЕР / Isolde BAUMGÄRTNER

(1961–2019)

Из книги «РАФАИЛ»

**Перевод с немецкого Ф. Чечика, Ю. Лариной**

В 91 году, чудом оказавшись на стажировке в институте славистики в кёльнском университете, я познакомился и подружился с удивительным человеком – Изольдой Баумгертнер.

В те годы она была правой рукой знаменитого слависта В. Казака и под его руководством работала над русским вариантом «Лексикона» (энциклопедией русской литературы XX века), а я, как стажёр, выполнял рутинную работу, выискивая опечатки и стилистические погрешности в этой книге.

Кроме того что мы с Изольдой были ровесниками – нас сблизила любовь к русской поэзии, и в первую очередь – к поэзии И. Бродского.

Она переводила стихи нобелевского лауреата на немецкий и писала о нём диссертацию, впоследствии вышедшую отдельным изданием (*Wasserzeichen. Zeit und Sprache im lyrischen Werk Iosif Brodskijs*. Böhlau Verlag Köln, Weimar, Wien, 2007).

«Впоследствии» заняло ни много ни мало – почти двадцать лет, что лишний раз подтверждает основательность и трепетность её отношения к поэту. Я, конечно, догадывался, что Изольда и сама пишет стихи, но на все мои просьбы: «прочитай что-нибудь из себя», – она всегда отвечала улыбкой.

Спустя годы, в возрасте пятидесяти шести лет, у неё вышла первая книга стихотворений (*Raphael. Gedichte. Mnemosina-Domisdatt*, Köln, 2017).

В своём предисловии к книге она написала: «...Во времена, когда стихи больше пишут, нежели читают, даже такая маленькая книжка (90 страниц, из них треть – переводы. – Ф.Ч.) кажется самонадеянностью. Эти немногие сочинения, как дневные и ночные бабочки, выпущены из сачка на волю, чтобы, может быть, чуть дольше – какое-то мгновение – попорхать на солнечной лесной поляне. Они посвящены людям, которые мне дороги, – с кем дружба неразрывна, с кем связаны мысленно, через расстояния».

Спасибо тебе, дорогой друг! Наша дружба неразрывна, а мысли связаны навсегда, через расстояние и время!

Феликс Чечик

**Летний дождь**

J. K.

Был, как глаза ребёнка, этот день,  
а нити солнца – золотоволосы.  
И стариковско-детские вопросы  
душа не задавала, прячась в тень.

Все эти «почему» – сошли на нет,  
оставив привкус счастья и незнанья.  
И плыли облака-воспоминанья,  
как бархат персика и августовский свет.

### **Кошмар Иакова**

*F. Ch.*

Я бился с ангелом? Нет-нет, с самим собой!  
И проиграл, как будущему горы.  
И падший духом и едва живой  
иду, жуя коренья мандрагоры.

Вокруг одни пески, и Ханаан  
растаял, как мираж и сновиденье.  
И первородства горестный обман,  
как с лестницы ужасное паденье.

Один на целом свете навсегда,  
такая тьма вокруг: ни звёзд, ни солнца.  
И лишь во сне бредут мои стада  
и лишь во сне моя Рахиль смеётся.

От жажды умираю и тоски  
и сердце разрывается от страха.  
Пески, пески, пески, пески, пески  
безмолвно шепчут: – Это сын Ицхака.

### ***Из цикла «Рафаил»***

#### **Товит и Анна**

В огонь очага, молча уставились  
слепой и Анна, его жена. Круговерть дня  
вращается медленнее. Вечер.  
Ни шума, ни суеты на улицах.  
Лишь медленный сумрак,  
как шахтёр спускается к молчащим  
пластам.  
Отбойный молоток высекает имя –  
слог за слогом; шершавые руки  
смочены сукровицей,  
несущей чёрную пыль из раны.  
Откуда-то вдруг – просвет  
или протьма; не понять:  
день вновь берёт начало там,  
где только что закончилась ночь.

Надо принести хворост и воду.  
 Загрубевшими жёлтыми ступнями  
 шаркает она к колодцу.  
 Её взгляд ползёт по дороге  
 вверх и, передохнув у горизонта,  
 останавливается:  
 силуэт – ветви деревьев,  
 словно тонкие пальцы, устремлены в пустоту.  
 Она медленно спускается по дороге,  
 касаясь крыш, заборов, свернувшихся  
 клубком собак – к колодцу.  
 Тяжела вода.  
 Она возвращается домой,  
 где слепой по-прежнему смотрит на огонь, –  
 слеп, как все, неподвижно смотрящие на огонь.  
 Он слышит льющуюся из ведра воду.  
 Ощущает дыхание Анны – слабое,  
 как её рука, которая ложится на его плечо,  
 слышит, как захлопывается дверца печи  
 и треск становится громче,  
 слышит крик глашатая и дальний звон колоколов.  
 Его трясёт, как дитя в лихорадке, при смене  
 постельного белья. Порыв ветра из окна  
 охлаждает пылающее лицо.  
 Проникая во все щели, шумит тьма –  
 вечный свет, сулящий надежду и возвращение.

Товия, её сын и отрада, – далеко.  
 Время – измеряется не в месяцах и годах,  
 а количеством седых волос и безмолвием  
 уст матери.

Наступающее утро начинает говорить скрипом колёс,  
 лаем собак и руганью уличных торговков.  
 Слепой, прислушиваясь, слышит  
 октавы ветра, приходящие и уходящие  
 без вести о сыне.  
 Он дует, где ему заблагорассудится:  
 гонит по полю листву или бросает горсть  
 мелкозернистого жёлтого песка  
 в глаза и песочные часы.

\*\*\*

Пока соборный город за ночь  
 не постарел, как белый лунь,  
 от снегопада и покамест  
 не показалась тьма  
 в конце туннеля –

я поплыву без остановки  
по Рейну, что оглох от шума,  
а значит и мои проклятья  
ему, конечно, не слышны.  
Зато он вспомнит размазанный отпечаток  
сложенных бантиком губ:  
мимолётный черничный поцелуй.

*Перевод Ф. Чечика*

-----

### **Хроматика осени**

Небеса свирепы, серы и блеклы.  
Каждый ангел – Писающий мальчик.  
С каждой кровли, дерева, ограды  
капает и льёт. Всё бурлит и бушует.  
Один человек похож на другого  
без зонтика: мокрый пёс.  
а рядом с ним – лица дамы и господина,  
а под ними – мокрые комья глины  
с полинявшими красками.  
Тот, кто сможет держать эти тучи –  
беспреданно клубящиеся,  
у того плечи и мускулы из металла.  
Но я говорю: прекращай  
держат над головой мешки с картошкой.  
Когда небо решит  
низвергнуться,  
пусть оно рухнет  
с неимоверным плеском.

### **Маленькая ода роялю**

*R. J.*

Чёрно-белыми зубами  
ты вытащил меня из египетской ночи,  
как сука щенка.  
В конусе света латунной лампы:  
книги, ваза для цветов –  
ты и я – натюрморт.

Нежные, как ушные раковины, акварели:  
девушки с дивными косами на берегу,  
весенние песни, чай с рисом,  
парчовая тишина в церкви  
и пёстрые солнечные блики на мраморе

или тёмные тучи Средневековья,  
танец в деревянных башмаках,  
прыжки акробатов  
и кроткое лицо леди Зелёные Рукава,  
увы, с длинным, острым носом.

Все тайны человеческого сердца  
гибнут,  
когда на виноцветном море  
бушует ураган –  
бесконечное к бесконечному.  
Но как же тебе легко удалось  
запрячь эолийские паруса  
в мою печаль – мои мечты.

### Парк Блюхера <sup>1</sup>

Громовой вал автобана,  
шлейф пота бегунов  
и их пыхтенье: неопишуемо.  
Осеннее воскресенье: пруд,  
оперение лебедей,  
насыщенные декокраски.  
Первое причастие  
обитателей Земли  
в колясках.  
Спущенная с поводка собака –  
некий Йокль –  
на утиной охоте.  
И вновь возникло  
забытое чувство:  
бездомность,  
пустующие скамейки,  
вместо писем –  
рекламные проспекты  
и низкий градус Эксле  
в жилах у того,  
кто неутомимо  
даёт дням тянуться, как облака.

*Перевод Ю. Лариной*

---

<sup>1</sup> Парк в Кёльне, возникший в начале XX века и названный в честь фельдмаршала Гебхарда фон Блюхера.

Александр ШАРЫПОВ

ОХЛОМОНЫ И АНАХОРЕТЫ  
меланхолическая парафрения в двух частях  
с прологом, эпилогом и интермедией

**Публикация, вступление Владимира Орлова**

Александр Иннокентьевич Шарыпов родился 24 ноября 1959 года в Великом Устюге Вологодской области. Окончил Владимирский политехнический институт. После службы в армии жил в г. Радужный и работал в научно-исследовательском лазерном центре. Печатался в различных журналах и газетах в России и за рубежом. Лауреат литературной премии им. Н. Лескова и премии международного фонда «Демократия». Награжден Пушкинской стипендией Гамбургского фонда Альфреда Тенфера. Умер 22 декабря 1997 года. В 2001 году во Владимирском издательстве «Фолиант» издана посмертная книга его избранных произведений «Убийство Коха». Наиболее полное собрание прозы А.Шарыпова – книга «Клопы» увидела свет в 2010 году в издательстве «КоЛибри».

Публикуемая пьеса писалась в расчете на постановку во Владимирском театре, однако была отклонена. В пьесе использованы (помимо классиков) стихи многих владимирских поэтов из литературной группы «Два двенадцать» (название отсылает не только к дате создания группы – 2 декабря 1988, но и к строчкам из песни Высоцкого). Авторство конкретных стихотворений указано в конце пьесы.

**Действующие лица:**

Майор

Сестра

Поэт (актер, играющий роль)

Голоса Поэтов (настоящих) (хриплые)

Барышня

Хулиган (его роль должен играть актер с врожденной интеллигентностью речи, желатель-но еврей)

Физик

Супруг (с остатками кудрей за ушами)

Супруга (актриса должна быть молодая и с тонкой талией)

Павел Владимирович

Мария Владимировна

Старушка (работница театра)

Жилец, Жилица и другие Жильцы

Действие происходит в разваливающихся декорациях, напоминающих не то дом, не то храм. Детские надписи на стенах соседствуют с фресками. Везде валяются обломки статуй с торчащей наружу проволокой.

Действуют живые люди и чучела, а также, отчасти, предметы.

Часть действующих лиц исходно сидит в зале. Человек обеспокоенный сидит в зале до конца.

Декорации несколько раз оседают, крелятся в сторону зрительного зала, но очевидным это становится только во второй части.

Жильцы образуют своеобразный хор. Их позвали помочь, но плохо объяснили, поэтому костюмы их разнородны: кто в тунике, кто в ватнике, кто – с большим барабаном и т.п.

Пролог

*Эфирные шумы.*

Голос Поэта. Сестра! Сестра...

*Морзянка, замирания.*

Голос Поэта (*громкость то нарастает, то падает*). Ты – мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Моя жизнь вся без изъятий принадлежит Тебе с начала и до конца. Нет Тебе имени. Ты – Звенящая, Великая, Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне дано видеть Тебя неизреченную, потому что моей любви нет границ, преград, пределов ни здесь, ни там. И Ты везде бесконечно Совершенная, Первая и Последняя. И я везде для Тебя блаженный и без сомнений, в конечном безумии, в последнем сумасшествии совершу все, что ты велишь... Мои мысли все бессильны, все громадны, все блаженны, все о Тебе, как от века, как большие, белые цветы, как озарения тех лампад, какие я возжигал Тебе. Если Тебя посетит уныние, здешняя, земная, неразгаданная скорбь, тайна земная и темная, я возвеличу Тебя, возликую близ Тебя, окружу Тебя цветами великой пышности, обниму Тебя и буду шептать Тебе все очарования, и шепот мой, и голос мой будет, как шум водный. Я найду все и вскрою все тайное, ибо я недаром ждал Тебя, звал и тосковал о Тебе и провидел смутно, но наяву, близко и далеко вместе – Твои откровения, то, что Ты назвала мое имя и сошла ко мне. Я не могу видеть Тебя, потому что болен и жар, но я знаю Тебя и чувствую Тебя. Все проникнуто Тобой, и моему счастью нет границ и меры, как у меня нет слов и логики, один оглушающий звон, благовест, звуки Любви...

*Шумы, помехи.*

Голос поэта (*громкость резко нарастает*). У меня громадное, раздуваемое пламя в душе, я дышу и живу Тобой, Тобой, Солнце моего Мира. Мне невозможно сказать всего, но Ты поймешь, Ты поняла и понимаешь, чем я живу, для чего я живу, откуда моя жизнь (*громкость падает*). Если бы теперь этого не было, – меня бы не было. Коли этого не будет – меня не будет. Глаза мои ослеплены Тобой, сердце так наполнено и так смеется, что страшно, и больно и таинственно, и недалеко до слез...

*Голос тонет в шумах. Морзянка, музыка.*

Голос поэта (хрипло). Сестра! Сестра! Друзей так мало в мире...

*Радиопозывные: «Родина слышит, Родина знает».  
Удары колокола, переходящие в удары в дверь.  
Выходят сонные, недовольные жильцы.*

Жильцы (*вразнобой, нехотя*).

Московское время никто не знает.  
Автомобили ездят, подпрыгивая через метр.  
Окна запотели яблочным соком,  
Завелись белые черви, ползали по стеклу.  
Месяц не убывает четвертый месяц.  
Дети рождаются стиснув зубы и молча.  
Много меньше простудных заболеваний,  
Потому что ветер не дует.  
Мы стали краснеть фиолетовым цветом.

Куда-то исчезли собаки и кошки.  
Что ни говори, жизнь продолжается.  
Каждый день что-нибудь новое.

Ж и л е ц. Куда исчезли собаки и кошки?  
Ж и л и ц а. Тише!

*Радиопозывные: «Родина слышит, Родина знает».*

Ж и л е ц. Мы стали краснеть фиолетовым цветом!..

Г о л о с П о э т а. Здесь в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи. Бегают бледные, старые и молодые люди, предчувствуют перевороты и волочат за собой, по торжищам и утонченным базарам, и по салонам и по альковам красивых женщин, и по уютам лучших мира сего – знамена из тряпок и шелка, и из неведомых и прекрасных тканей Востока и запада, и волочат умы людей – и мой тоже. Но сердце, сердце незабвенное и все проникающее, знает Тебя. Мое тамошнее треплется в странностях века. И все оно собирается здесь, у Твоих ног.

Ж и л е ц. Мы стали краснеть фиолетовым цветом,  
Потому что ветер не дует!

Ж и л и ц а. Да тише ты!  
Г о л о с П о э т а. Сестра...

*Дверь срывается с петель и падает. Из двери выходит лошадь из белого гипса, волоча за собой гипсового же упирающегося «Укротителя коней» с торчащей проволокой.*

*Пауза.*

Г о л о с П о э т а. Здесь, очевидно, судьба, дело какого-то светозарного бога, ангела, благо-склонного ко мне. Из сердца поднимаются такие упругие и сильные стебли, что часто кажется, будто я стою на пороге всерадостного познания – и хочу говорить: «Приидите ко мне, вси труждающиеся и обремененнии – и Аз упокою вы. Ибо бремя Мое легко».

## Часть первая

*Ночь. Храп, стук часов. Квартира Поэта. Дверь взломана. Беспорядок. На полу, невидимый в темноте, лежит Поэт.*

*Майор курит, меряет расстояния между предметами, управляет лампой. Рассматривает рисунки на стенах и надписи.*

*Звучат сигналы точного времени. Под звуки гимна сдвигается с места и едет табурет. Майор спешно меряет расстояния, фотографирует.*

*Неуверенно входит Сестра.*

М а й о р. И опять, нахрен, обнаженные тела!  
С е с т р а. Что? Кто здесь?

М а й о р. Здравия желаю! Очень кстати! Мне нужен судмедэксперт и понятые обоего пола.

С е с т р а. Как вы меня напугали!

М а й о р. Вы пришли к Поэту?

С е с т р а. Да. То есть нет... Я сестра. Кто тут сестру кричал?

М а й о р. Видишь, какое дело, сестра. Он... как это... Отдал Богу душу.

С е с т р а. Опять!.. *(стопыкается в темноте).*

М а й о р. Осторожно. Там тело.

С е с т р а. Что с ним? *(достает резиновый молоточек, бьет Поэту под коленку, водит перед лицом).* Он не реагирует... Дайте лампу! Нужно проверить реакцию зрачков на свет... Слушайте, у него же лоб расколот!



М а й о р. В этом все дело.

С е с т р а. Расколота лобная кость в районе: вечный шов – левая височная линия – правая височная линия. Удар нанесен тупым предметом...

М а й о р (*поднимает кувалду*). Этим?

С е с т р а. Очень... Очень похоже.

М а й о р. Чужало мое сердце.

С е с т р а. Разрушен задний отдел средней лобной извилины. А, так вот откуда все эти рифмы... Речевая область... Открыто белое вещество.

М а й о р. Черт! Самый тихий Дом! Собор! Два самогонварения – все, что было. Что еще было? Ну, взрыв эротики. На прошлой неделе. А этого не было... Не было же? Не было.

С е с т р а. А кто вам сообщил?

М а й о р. Голоса!

С е с т р а. Как это...

М а й о р. Так. Я ночью не сплю. Слушаю. Стараюсь разобраться. Пи-пи, пи-пи... Поэта убили. Записываю. Мой город. Мой переулок. Мой номер дома! Ах вы, думаю, сволочи! Бросил все, пошел... Правда.

С е с т р а. Нет, вы... это напрасно... Его не убили.

М а й о р. Я разберусь... Я разберусь с этой поэзией. Я узнаю, кто виноват!

С е с т р а. Это раньше было – убийства, самоубийства... В лагерь еще сажали... Теперь ничего этого нет, они теперь попадают в психоневрологический диспансер. Я ведь изучала поэзию в литературной студии, когда в школе училась, а потом еще специально в медицинское училище пошла. Бывает, конечно, суицидальный шантаж... Вот нет ли порезов рук?

М а й о р (*подумав*). Если б не дверь... Дверь взломана! Все разворочено. Стены изгажены. И вообще...

С е с т р а. Это бывает! Депрессия, потом вдруг возбуждение. Меланхолический раптус.

М а й о р (*подумав*). Если б другим чем... Ведь молотом. Как он мог... Ведь вот что они имеют в виду! Не-ет. Сволочи. Я найду...

С е с т р а (*поднимает руку поэта; рука остается в том положении, в каком она ее оставляет*). Видите? Видите... Восковая гибкость. Это кататонический ступор с явлениями восковой гибкости. (Поэту) Что с вами? Что с вами, хороший мой? Вы меня слышите?.. (*Майору*) Давно у него мутизм?

М а й о р (явно не слушая). Что?..

С е с т р а. Он с самого начала не говорил? Когда вы пришли?

М а й о р. Давно... (*отвечая своим мыслям*) Понимаешь, сестра? Есть негативные обстоятельства. Поэт убит. Удар нанесен в лоб. А я исследовал ногти – полное отсутствие борьбы. Неясна поза в момент удара. Нет крови на кувалде. Отмыли? Я исследовал... Отстойник совершенно сухой. И вот еще что... Обстановка в целом и каждый предмет в отдельности ведут себя крайне странно и угрожающе. Есть опасность разрушения улики.

*Падает стакан со стола.*

М а й о р. Я принял решение действовать без санкции.

С е с т р а. Отчего же они гибнут... Чего им не хватает...

М а й о р. И нет следов. Пыль, а следов нет. Как же так... Одни негативные...

*Чайник поднимается над столом и, покачиваясь, плывет к потолку.*

М а й о р (*встряхнувшись*). Ладно. (*Загибает пальцы*). Корысть. Хулиганство. Ревность. Еще что? Мечь. Убрать свид... Так. Нужен допрос свидетелей. Сестра, пойдем со мной. Черт, надо бы охрану места происшествия. Нет людей! Совершенно никого нет...

*Уходят с лампой (которая продолжает гореть) и идут по некоему подобию лестницы.  
Храп. Стук часов. Радиопозывные: «Над страной весенний ветер веет».*

Г о л о с П о э т а (глухо).

Я был маленький и богатый,  
У меня было две мечты:  
Или поступить в солдаты,  
Или разводить съедобные цветы...

Ж и л ь ц ы (*перебивая, поют – громко, на мотив «Широка страна моя родная»*).

Хочется не бурь, а постоянства!  
Надоело это – КТО-КОГО!  
Чтоб ни времени и ни пространства –  
Дайте мне кусочек НИЧЕГО!  
В этом очень миленьком кусочке  
Я свернусь калачиком внутри  
И скажу тогда, дойдя до точки:  
Знаешь, Бог, и душу заberi!

*Кто-то кричит во сне: «А-а-а-а... А-а-а-а...»  
Звук упавшей монеты.*

*Майор останавливается, прислушивается к двери.*

М а й о р. Один. Хорошо. Не спит. Ходит... Старый. Выронил деньги! Странно звенят...  
Ж и л е ц .

По лестнице запрыгала копейка –  
Вот так и я вертелся и звенел,  
Покуда в ровный возраст не вошел.  
Ж и л и ц а . Тише.  
М а й о р. Сестра! Заходим. Твоя задача...

*Слышен стон.*

С е с т р а . Там кто-то стонет! На улице!  
М а й о р . За мной!

*Бросаются вниз по лестнице.*

*Двор. Забор. Свет лампы на секунду выхватывает из темноты нарисованное мелом сердце; но, выбежав из дверей, майор наступает на воздушный шарик. Звук выстрела. Майор падает. Опять слышен стон. Сестра бежит к забору. Как бы навстречу ей распахивается калитка. Сестра падает.*

М а й о р . Именем закона! (*Вскакивает, открывает калитку.*) Кто стрелял?

*Пауза.*

*Майор уходит за забор.*

*Сестра осторожно приподнимается. Притрагивается к сердцу.*

Ж и л е ц .

Осторожно по лезвию пальцем  
Проведи, ощутив остроту  
И какое-то жуткое чувство.

Ж и л и ц а . Да тише ты!

М а й о р . Здесь никого нет.

*Сестра нерешительно подходит к краю сцены и всматривается в темноту зрительного зала. После некоторых колебаний идет в зрительный зал.*

М а й о р. Сестра!

*Сестра осторожно идет по залу. Резко оборачивается на малейшие звуки.*

С е с т р а. Кашляют?..

М а й о р (выходя из-за забора). Сестра! Где ты?

*Прислушивается. Оседание декораций. Майор припадает к земле, слушает землю. Сестра водит молоточком перед лицами. Бьет под коленку мужчине.*

С е с т р а (облегченно). Не реагирует...

*Ощупывает мужскую голову. Тянет ее вверх. Голова отделяется от туловища.*

Г о л о в а. А-а-а...

*Сестра водит молоточком. Нюхает женскую голову. Осторожно тянет ее. Голова отделяется.*

Г о л о в а. А-а-а...

*Сестра быстро идет с головами на сцену.*

М а й о р (*найдя обрывки шарика*). Черт знает что! (*увидев сестру*) Где ты была?

С е с т р а. Товарищ майор... У вас не было такого? Выходить из дома... Ночью... Такое ощущение, что во дворе кто-то сидит...

М а й о р. Не понял. Кто это?

С е с т р а. Не знаю... Растения... Но как люди! Особенно в темноте.

Ж и л е ц.

*Издаലെка листы алоэ  
Напоминают лапы осьминога,  
Закопанного в землю головой.*

Ж и л и ц а. Перестанешь ты или нет?

С е с т р а. Говорят, есть такие цветы – анютины глазки... Может, это они? Понюхайте!

М а й о р. Некогда. Поставь куда-нибудь... Стой! (*ощупывает головы*). Это же хулиган, черт бы его побрал. Это протезы! Вот гад... Я из-за него один раз вот так на фонарь лазил. Иду тоже ночью, смотрю – нога висит. В ботинке, думал – расчленение трупа. Полез... Сказалось – протез. Хулиган – отцов протез повесил, гад.

С е с т р а (*ставит головы на подоконник рядом с цветами*). Вы такой смелый. А я так испугалась... Я отличницей была в школе. В училище... Добро... совестная... В меня ведь еще никто не стрелял!

М а й о р. Выстрелов не было. Просто что-то бабахнуло.

С е с т р а. В меня стреляли, но промахнулись! Там, у забора!

М а й о р. Да ты что! Как это может быть (*идет к забору*), подумай сама! (*Видит дыру. Нагибается*). Слушай: пуля. Вот так да. Семь шестьдесят два. Штанцмарка... отсутствует. (*Сует в дыру палец*) Отщеп снизу! (*Отрывает листок бумаги, сворачивает в трубочку, просовывает в дыру и смотрит через нее*).

Ж и л е ц. Осел...

Ж и л и ц а. Тише!

*Майор уходит за забор. Возвращается с обломком стрелы.*

Сестра. Я упала (*показывает, как*), а они...  
Майор. Секунду!

*Очерчивает контуры лежащей Сестры. Светит лампой. Сидит на скамеечке, курит, думает.*

Жилец.

Осел и заяц – разница большая,  
Но у животных, внешне столь далеких,  
Есть сходство несомненное в ушах!

*Звук удара нотами по голове.*

*Майор шарит на земле. Замечает нарисованное на заборе сердце. Вставляет обломок стрелы в дыру. Думает. Садится. Сестра подходит сзади к Майору и бьет ему под коленку.*

Майор (*вздрагивает*). Ты что?  
Сестра (*удовлетворенно*). Реагирует...  
Майор. Еще под землей что-то происходит! (*Светит на землю*).  
Сестра. Что?

*Под Майором разваливается скамейка.*

Майор. Угрожающие изменения!  
Сестра. Но ведь у нас сейсмичная зона! Нам нечего бояться, правда?  
Майор (*рассеянно*). Да...

*Слушают землю.*

*Гул.*

*По залу к рампе катится пустая бутылка. Хулиган встает, идет следом за бутылкой.*

Старушка. Вы что? Куда?  
Хулиган. Это ни к хуям не годится! Ой, мама, что это я говорю... Тзыс из но а... Ой, блядь, как это будет... но а факин гуд... Они же головы крутят!

*Встает Человек обеспокоенный.*

Хулиган. Че те надо, мужик?

*Человек нерешительно садится.*

Старушка. Сядьте сейчас же на место!  
Хулиган. Мама! Я восемь лет в театре не был, я новый смокинг специально купил – а вы мне в карман насрали!

Старушка. Я вас сейчас выведу отсюда!

Майор. Вы кто такой?

Хулиган. Я?! Да я кормлю вас всех, а вы мне в компот серете! Россия гибнет, Хам грядет, Поэта убили... Вот он я, на, возьми меня, это я протез вешал! Это когда было, афедрон в фуражке? А теперь же я атташе по культуре! А ты, актер, даже не знаешь, кто я такой... Я уже восемь лет в Белом доме сижу, а ты говоришь, что я Поэта убил!

Майор. Я провожу расследование...

Хулиган. Еб твою в книгу мать! Ой, мама, извини... Расследование! Так и проводи расследование, а ты тут уже полчаса клопа ебешь! Ой... *(искренне страдая)* Позоришь меня перед публикой... Че ты вспомнил? Эти твои воспоминания нужны сейчас как пизде будильник! Ой, то есть это как е... Это же, блядь, комплетели юзелес, понимаешь ты или нет?

Старушка. А ну-ка, выйдите немедленно из театра!

Хулиган. Мама! Как это... Я сейчас всю феню вспомню, это за восемь лет просто... Но твоя точка зрения – несколько обывательская, надо подняться выше. Но так нельзя. Чуть что – сразу Хулиган виноват... *(увидев жильцов)* А вы по кой хуй тут стоите?!

Жилец. Мы – хор.

Жилица. Нас позвали помочь, но плохо объяснили...

Хулиган. Плохо объяснили! Если вы хор, то это вы должны тут все объяснять! А ну, пошли все к Поэту, пердячим паром, *(поднимаются по лестнице)* что это за Поэт, может, он Блок, блядь, сто лет уже там лежит... А вы тут головы крутите...

*Заходят в квартиру Поэта.*

Хулиган. Ну, что... Ну...

Сестра. Расколот лоб в районе речевой области мозга. Удар нанесен тупым предметом... Наблюдается ступор...

Хулиган. А где мозг? Это мозг? А я вам окажу, что если «мозг страны» будет питаться все теми же ирониями по отношению к нам, или рабскими страхами, то он перестанет быть мозгом, и его вышвырнут...

Старушка. Это я вас сейчас вышвырну!

Хулиган. Мама! Вы поймите, куда они гнут – интеллигенция на народ... Народ всегда выше! Я выше интеллигенции, потому что я – власть, – а народ выше меня! Я сижу в Белом доме... Я чувствую охуи... страшное одиночество, потому что ни один интеллигент не может меня понять. А народ понимает! Я не удивлюсь, что и это все сделал народ – умный, спокойный и все понимающий. Я нисколько не удивлюсь, если он начнет вешать и грабить интеллигентов – именно для того, чтоб очистить от мусора мозг страны... Откуда вы знаете, что это мозг?

Сестра. А у вас в голове что?

Хулиган. У меня? А вы думаете... Вы думаете, если я власть... А это что? *(нагнув голову, показывает шишку)* Да там, наверху, все как здесь – вхуя... *(бьет по столу)* – то есть это... пизда-нешь!.. это... ту хит! – сюда – а оно – хуяк!.. э-э... как это... смэш *(бьет себя по затылку)* сюда!.. Это государственное строительство! Оно выше поэзии! Почитайте этого, блядь, как его... *(берет в руки чашку)* Платона...

Жилец.

На довоенной чашке самолет,

А ниже полустершиеся буквы:

«БУДЬ НАЧЕКУ!»

Хулиган *(удивленно)*. А откуда здесь моя чашка?

Майор. Чья чашка? Не прикасаться!

Хулиган. Э-э, не-не-не-не-не, подожди, подожди, подожди... Сейчас я все вспомню... Я здесь был... диссонансы... Как пили чай, помню... Я же тоже поэт... Мы все любили диссонансы... И когда я пошел во власть... по убеждению... По внутреннему убеждению это было соглашение музыкальное. Да, музыку надо! Там и здесь звучала одна музыка... Череп – это хуйня...

Старушка. Вы прекратите выражаться или нет? При женщинах! Как вам не стыдно!

Хулиган. Мама, что вы хотите? Музыка ведь не игрушка... Я вспомнил. Майор, слушай. Блажен, кто посетил сей мир... Как это, бля, там дальше... Не менжуйся, падла, не менжуйся... Не-не-не, подожди, подожди... *(ложится на пол; подняв руку, быстро читает)*

Не менжуйся, падла, не менжуйся!

Разве ж мы с тобою фраера?

Не про нас паскудное буржуйство,  
Наша жизнь – дешевая игра!

Так, так... *(поет)*

Мы мотали сроки за Уралом,  
Мы легавых брали на перо,  
К нам марьяны клеились, бывало,  
Краше, чем Мерлин Монро.

Измордую стерву, измордую!  
Кочумай, шалава, и не ной!  
А не то найду я молодую,  
Буду целоваться с молодой.

Все, майор, я все вспомнил.

Милая, ведь я уже не отрок,  
И не затем родила меня мать,  
Чтобы каждый к херу сучий потрох  
Норовил мне в бельмы намарать!

И блажен... кто... нет, подожди, как это... И призвали... в душу... всеблагие... что-то там... подожди, подожди... всеблагие... Его призвали всеблагие... Не менжуйся, падла, не... Нет, это уже было... Что-то там – как собеседника на пир... А!

В Каина и в Бога душу, Таня,  
Не крути моей дурной башки,  
А не то на руку намотаю  
Я твои кудрявые кишки!

Отвечала Таня: да я не трушу!  
Разве ж мы с тобою фраера?  
Даром под окном по нашу душу  
До рассвета стыли мусора!

*(Вскакивает, обращается к майору).* Вот так, майор, у меня память как у совы, я все помню – а тебе скажу: враги человека – домашние его. Шерше ля фамий! Ищи нелюбимую жену. Он жил с нелюбимой – бял буду! – отсюда все и пошло, семья, будь она проклята! Может, у нее ноги были волосатые, или дура какая-нибудь... Слушай! Я его видел с одной б... барышней... Во! *(показывает на стену)* Это она! Бял буду! Видишь – восемнадцать?

М а й о р. Совершеннолетняя?

Х у л и г а н. Она раньше в восемнадцатой квартире жила. Это... Если бы я с ней не расстался и до сих пор бы любил ее! Она бы довела мою маму, совесть мою до болезни. Отогнала от меня людей. Испортила мне столько лет жизни, измучила меня... Довела бы меня. Потому что любовь, майор – как только она коснется жизни... Нет, ты не поймешь.

М а й о р. Что она вам сделала?

Х у л и г а н. Именно что ничего не сделала, потому что я ушел от нее. Это... хуже, чем дурной человек – это страшное, мрачное, низкое, устраивающее каверзы существо. Любовь на земле – это страшно, она послана для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Пойду покурю. Что-то меня в вашем театре до слез проебло. М!.. *(хватается за голову, как от зубной боли)* Дипли тачед! Айм фелт дипли тачед – глубоко тронут я, мама, прости... *(уходит)*.

Жилец.

Ни уток, ни коров, ни поросят.  
И другом стал ребенку городскому  
Штампованный пластмассовый осел.

Жилица. Тише.

Хулиган (с сигаретой выходит из дверей) Куда-то я не туда ушел... Где тут у вас... А то, что ты, майор, на меня накатил... Это... Я конечно, понимаю, злоба дня, хуе-мое; но это ни в пизду, ни в Красную Армию. Ой... (*приседает, страдая*) извините, извините все... Да где у вас тут... (*ища выход, открывает какую-то дверь – оттуда торчит огромная белая ступня; он закрывает дверь, сигарета падает у него изо рта*) Что там такое...

*Майор решительно идет к двери, открывает ее. Ступни нет.*

Старушка (*Хулигану*). Ну, что же вы? Идите!  
Майор. Все вниз! По местам! Следствие продолжается!

*Хулиган, подняв сигарету, с минуту стоит неподвижно.  
Старушка уходит, вслед за нею жильцы.*

Хулиган (*решившись*). Няню Пушкина мать! Да какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа? (*Уходит.*)

Сестра (*Майору*). Куда мы теперь?  
Майор. В восемнадцатую. Этажом ниже.

*Сестра хочет идти; Майор задерживает ее, услышав шаги.  
Звучит песня на мотив Клуба знаменитых капитанов:*

Лишь бы были кости –  
Мясо нарастет.  
Гривенник подбросьте –  
Рубль упадет.

А орел ли, решка –  
Дело разве в том.  
Лишь бы только пешка  
Сделалась ферзем.

*Белая нога, с торчащей наружу проволокой, то возникает, то пропадает за декорациями.  
Наконец, четыре жильца выходят из парадной двери, неся ногу на плечах, и поют.*

Мы не волки – агнцы,  
Истинны слова...

Майор. Граждане! Давайте будем петь после семи ноль-ноль!

Жильцы.

...Вегетарианцы –  
Все нам трын-трава.  
На земле мы гости,  
Ну, да все равно.

Лишь бы были кости  
Домино.  
Лишь бы были кости  
До-ми-но.

*Уходят за забор.*

Сестра. Ну и жильцы здесь...  
Майор. Какие-то агнцы... Черт, не успел записать...

*Спускаются по лестнице.*

Человек обеспокоенный (*соседу*). Что у них за декорации... Все трясется... Упадёт ещё...

*Квартира № 18. Звонок в дверь.*

Барышня. Нет! Это кошмар какой-то! Некогда мне!  
Голос Майора. Именем закона!

*Барышня выходит к двери, открывает ее. Майор фотографирует.*

Барышня. Я же говорю – некогда! Что вы все взбесились! Бешены! Разорваться мне, что ли?

Жилец.

Чтоб раскопечгарить эту печку –  
Виды повидавшую буржуйку –  
У тебя, парнишка, дров не хватит.

*Удар нотами по голове.*

Барышня (*увидев Сестру*). А вы-то сюда зачем?

Майор. Боюсь, что вы меня не поняли, гражданка. В нашем доме найден мертвый Поэт. Ввиду опасности разрушения улики я веду дело без санкции. Если вы желаете проходить по делу в качестве подозреваемой – в таком случае вы можете не отвечать. Если же в качестве свидетеля – вы обязаны отвечать!

Барышня. Какой поэт? При чем тут я?

Майор. Не делайте вид, что вы незнакомы. Он ваш сосед сверху. Один хулиган видел вас вместе.

Барышня. Ах, эти... Два идиота. А почему именно я должна отвечать?

Майор. Вы были ему дороже других, как я понимаю.

Барышня (*хохочет*). Ой... не смешите меня. Ну да! Однажды он... Как бы это сказать... Вызвал во мне волнение. Я выбежала к нему... Ну, потом переспали. А наутро смотрю: он же совсем чужой. Может так быть: ночью все хорошо, а наутро чужой? А?

Майор. Он говорил с вами о чем-нибудь?

Барышня. Он? Да он вообще не умеет говорить! Он только одно слово знает: «блядь».

Майор. Пойдите... вы о ком сейчас говорили?

Барышня. Об этом... о Хулигане. А о ком надо?

Майор. Меня интересует Поэт.

Барышня. А при чем тут я?

Майор. Да вы любили его, в конце-то концов, или нет?



Б а р ы ш н я. Ну, любила один раз. Или два... А что? Это жизнь.

М а й о р. Поподробнее.

Б а р ы ш н я. Разделись, легли... А тут у него везде еще эти бумажки шебуршатся, я их сметаю, он за ними; вдруг – бац! Открывается дверь, заходит сосед, и они начинают про корону спорить. Представляете? Ой, как я испугалась!

М а й о р. Про какую корону?

Б а р ы ш н я. Почему я знаю! Я сижу, как дура, совсем голая, а они... Пошла в ванную, в темноте на стол наткнулась... Видите, какой синяк?

М а й о р. Нас не интересуют интимные подробности.

Б а р ы ш н я. То интересуют, то не интересуют...

М а й о р. С Поэтом вы говорили о чем-нибудь?

Б а р ы ш н я. Сколько угодно. Когда гуляли.

М а й о р. О чем?

Б а р ы ш н я. Разве я упомяну! Это же в вертикальном положении. Вертикальное положение – оно ведь, как бы это сказать... для связки только!

М а й о р. Может быть, о короне?

Б а р ы ш н я. Нет... Что-то такое... А! В последнее время он говорил, что ничего не понимает.

М а й о р. Что не понимает?

Б а р ы ш н я. Почему я знаю! Сядет на диван и талдычит: ничего не понимаю! Ничего не понимаю!

С е с т р а. Мучительно?

Б а р ы ш н я. Что – мучительно?

С е с т р а. Мучительно не понимаю?

Б а р ы ш н я. Почему я знаю!

С е с т р а (*Майору*). Если он мучительно не понимал, то это аффект недоумения.

М а й о р. Из-за чего вы разошлись?

Б а р ы ш н я. Ему было наплевать на все.

М а й о р. А поподробнее?

Б а р ы ш н я. Терпеть не могу, когда путают мои платья! Сядь, говорит, я буду тебе стихи читать – помнишь, ты была в этом же голубом... Совсем и не в этом! То с сеточкой, и поясок, и талия косяя, и...

Ж и л е ц. Красив воротник из бобра!..

Ж и л и ц а. Тише!

Ж и л е ц. Где-то горюют бобрята,

Отца вспоминая и мать.

М а й о р. Так он читал вам стихи?

Б а р ы ш н я. Он остохуел мне со своими стихами!

М а й о р. Не выражайтесь!

Сестра. В чем это выразалось?

Б а р ы ш н я. Что?

Сестра. Как он читал стихи?

Б а р ы ш н я. Ну, произносил вслух... Разные слова...

С е с т р а. Тихо или громко? Выкрикивая или нараспев?

Б а р ы ш н я. То тихо, то громко, то выкрикивая, то нараспев!

С е с т р а (*Майору*). Это аменция. Вид помрачения сознания. Бессвязное речедвигательное возбуждение, аффект недоумения... (*Барышне*). Речь ведь состояла из отдельных, не связанных по смыслу слов?

Б а р ы ш н я. Совершенно не связанных! «Ночь! Улица! Фонарь! Аптека!»

С е с т р а. Что он при этом делал? Размахивал руками?

Б а р ы ш н я. Размахивал.

С е с т р а. Раскачивался из стороны в сторону?

Барышня. Ага.

Сестра. Все ясно. Аменция.

Майор. Подожди, сестра...

Сестра. Больной должен знать свою болезнь. Если бы он знал, это бы его спасло.

Барышня. А! Еще он говорил, что я его могу спасти.

Сестра. Это уже бред значения. Молодая женщина символизирует спасение.

Барышня. Да... Красота, говорит, мир спасет...

Сестра. Слушайте, но вот неужели он был вам совсем не интересен? Такая красочная, мозаичная картина! Синдром накладывается на синдром!

Барышня. Я просто живу своей жизнью, и не собираюсь смешивать ее с чьей-либо еще. А от семейной жизни дичаю, на луну начинаю вить... Да вы уж не сватать ли меня пришли? Он послал!

Майор. Он же мертвый.

Барышня. Ну и что.

Майор. Как же...

Барышня. Подумаешь, мертвый. Это он вам сказал, что мертвый? Я знаю, это модно сейчас. Течение такое. Некрореализм. У них там Юфит главный. Весь в шерсти.

Майор. Что вы тут... Какой Юфит?

Барышня. Они будут забору стихи читать.

Майор. Поэт лежит над вами, у него лоб расколот!

Барышня. Да у меня тоже голова... Ой! Как лоб расколот? Он чокнулся, что ли? Потолок же протечет!

Майор. Вы... Вы хоть знаете, что такое смерть?

Барышня. Ой, только не надо, это опять какая-то отвлеченная идея. Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы даже идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо.

Сестра (*Майору*). Бред Котара. Больная убеждена, что лично у нее смерть никогда не наступит. (*Барышне, ласково*) Скажите, весь мир на вас держится?

Барышня. А что? Да если этот дом еще не разъехался к черту – это потому, что я тут живу. Я жизнь даю! Понятно вам?

Майор. Всем даете?

Барышня. Да, всем!

Жилец. Мы вечно эту жизнь по буквам учим,

Попутно в чем-то пачкаясь вонючем.

*Удар нотами по голове.*

Жилец (*запевает на мотив «Там, вдали за рекой»*).

Я плыву по реке, обтекает вода...

Майор. Бот что. У вас там, я вижу, носки сохнут. Если не секрет – чьи?

Барышня. А! Это ученого. Соседа того! Он такой смешной! Я к нему захожу...

Жилец. Мое сильное, бодрое тело!

Майор. Пожалуй, достаточно. Всего хорошего!

Барышня. Хм...

*Захлопывается дверь.*

Жильцы (*подхватывают песню*).

...Буду вечно я жить, не умру никогда,

Жизнь моя не имеет предела.

Я не буду травой, я не буду землей,  
Я не буду больным и убогим.  
Разбиваю я волны своей головой  
И руками сдвигаю с дороги.

М а й о р. Ну и груди ж у нее! Как бицепсы.

С е с т р а. Куда мы теперь?

М а й о р (*открывает блокнот*). Носки стирала... Я так и думал. Стирай не стирай, а экспертиза кровушку найдет... Ревность! Вот что. И корона у него! Чует мое сердце. Идем наверх. Сестра! Твоя задача: следить, чтоб он не выбросил чего-нито в окно или...

*Хотят идти; натываются на Барышню.*

Б а р ы ш н я. Не буду вдаваться в формальности по поводу того, что мне не стоило бы говорить. И все-таки копнем эту самую суть. Всего проще, по-моему, поднять руки вверх и крикнуть: «Вы дура, мадемуазель!» Это всего проще!

М а й о р. Барышня, мы с вами все вопросы решили.

Б а р ы ш н я. Но тогда я не поняла, чего ты приходил. Признаюсь честно, я была удивлена, что ты выбрал меня в качестве собеседника. Отвечала я весьма дурственно, лишь бы ответить. Я просто не поняла. Но ты, как я вижу, не воспринимаешь такого равнодушия по отношению к себе.

М а й о р. Я не...

Б а р ы ш н я. Нет, я скажу. Ты хотел, чтоб я говорила? Я тебе скажу. Почему трудно понять тебя мне? Во-первых, ты углублен в себя, в свое собственное я, ты предоставляешь людям понять в тебе то, что хочешь, что считаешь нужным. Ты говоришь об искренности, а на самом деле получается набор умных фраз, на которые очень трудно ответить. Мне было бы легче общаться с тобой, если бы ты молчал и был как-то проще, доступнее.

М а й о р. Я боюсь, вы тут простудитесь.

Б а р ы ш н я. Ничего ты не боишься, не лги. И не надо меня сбивать. Во-вторых, ты умен, проныцателен, начитан; но ты судишь обо всем со своих позиций. Ты принимаешь возражения, но ты их тут же опровергаешь, ты очень требователен к людям, но эти требования исходят от тебя самого, а не от того, как может быть, как должно быть.

М а й о р. Барышня...

Б а р ы ш н я. В-четвертых, ты, по-моему, примитивно относишься к женщинам. Видишь их извне, но не хочешь принять их мир, их игривость, чувственность, непостоянство в мыслях и поступках. Я уверена, что любая на моем месте женщина, не деловая, конечно, недоуменно пожала бы плечами на некоторые твои высказывания. Я пожимала плечами, но думала, что ж будет дальше, из любопытства. В-пятых, ты очень нетерпелив, хочешь, чтоб было «да» или «нет», а для нас более присуще «не знаю», «подумаю».

М а й о р. Это все очень хорошо, но – честное слово, нам некогда. Важное дело ждет, вы в самом деле не понимаете...

Б а р ы ш н я. Зря, очень зря, считаешь, что для тебя ценно – для меня нуль. Нет уж изволь! Я очень люблю искусство, люблю поэзию, театр, музыку. Ты даже не представляешь, насколько мне дорого все прекрасное. Слышишь, не заносишь высоко, не думай о нас плохо, я не позволю тебе!

М а й о р. Убит Поэт... А может, вы хотите подняться, посмотреть?

Б а р ы ш н я. Ты, извини за выражение, но ты втаскиваешь меня, постоянно тащишь в свой мир. Возможно, я на данный момент нетактична – но туда, куда ты меня хочешь втащить, надо, по-моему, входить спокойно и осторожно – чтобы потом не разочаровываться.

М а й о р. Слушайте... а не принимаете ли вы меня за кого-то другого?

Б а р ы ш н я. Эх... Вот ты же сам противоречишь своим же высказываниям. Какая же, к черту, это искренность. Это переливание из пустого в порожнее. Знаешь что? Как я поняла, люди – некоторые – для тебя марионетки. Вы с Поэтом – два сапога пара. Он тоже говорил мне – «очистим

память». Какое он имел право решать за меня? Нет, извольте, я сама буду решать – очищать или не очищать то, что я берегу в себе, как самое сокровенное – потому что это я, это мое...

М а й о р. Сестра, пойдём.

*Уходят по лестнице. Шумы эфира.*

Б а р ы ш н я (*Майору вслед*). А может, ты взревновал? Из-за этих носков? Да на кой мне эти носки? (*Выбрасывает носки.*) Они тут меня полюбивают страшно, но надо же быть такими идиотами, чтоб серьезно воспринимать то, что я пьяная несу! (*прислушивается*). И все-таки прискорбено, что ты послал все к черту. Больше никак не скажешь! (*В сердцах захлопывает дверь.*)

*Майор, вздохнув тяжело, садится на ступень.  
Морзянка, музыка, треск.*

Г о л о с П о э т а (*еле слышно*). Ужасно странное чувство – исполнимость невозможного. Внезапно, точно из какого-то откровения, появляется, возникает и опять пропадает: мысль непривычная еще, мысль небывалая, Неизреченного Света, простейшая в красоте, торжественная в величии (*тонет в шумах*).

Г о л о с П о э т а (*очень хриплым*). Вранье. Просто голос пропил. Я на Кавказе в снег с открытым воротом бегал, простудиться хотел... (*тонет в шумах*).

Г о л о с П о э т а (*неожиданно отчетливо*). Настал вечер, и я нашел себя. Нашел великую, бьющую волнами любовь, сердце, как факел, все дрожащее и бьющееся. Нашел Твою песню в воздухе. Ты, Ангел Светлый, Ангел Величавый, Ты – Богиня моих земных желаний. Я впился в Твою жизнь и пью ее. Вся тебе знакомая сложность, может быть вычурность моих рассудочных комбинаций временами бросается в сердце, там плавится и пылает, и все это как огромный бушующий огонь, я чувствую и знаю, все будет по-земному, по-здешнему – Твое без конца, без разделений. Будет время, которое оглушит меня самого. Я понимаю, я знаю любовь, знаю, что «ума» не будет, я не хочу его, бросаю его, забрасываю грязью, топчу ногами. Есть выше, есть больше его. Ты одна даешь мне то, что больше. Все лучшее покрывает один зовущий звук Твоего голоса. Только пусть Ты около, Ты, гибкая, как стебель, влюбленная, зовущая в ночь – и знать, что замолчит голос, потушат огни – и мы уйдем, и будет ночь, и мы будем вдвоем, и никакие силы не разделят, и будет упоение и все – забвение, сила сплетающихся рук, Твои поцелуи, Твои плечи, Твое благоуханное дыхание, замирающие движения, красота, страсть и безумья долгих мгновений. Чтобы знали оба, что принадлежат друг другу во всем, и был ответ на вопрос без слов и без мыслей. О, я знаю, что это может быть!

*Удар колокола.*

*Квартира Физика. Полумрак. Физик сжимает что-то в тисках.*

Ф и з и к. Кто там?

Г о л о с М а й о р а. Именем закона!

Ф и з и к. Заколебали... (*шаркая, идет открывать*). Вы заколебали со своими законами! (*открывает*).

М а й о р. Так!..

Ф и з и к. Я занимаюсь не законами, дорогие, милые мои, законы в школе! В школе! А нарушениями законов. Нарушениями, понимаете? Отклонениями...

М а й о р. Мы в этом не сомневались. Разрешите пройти. Чем же конкретно вы занимаетесь?

Ф и з и к. Вообще – спикулами.

М а й о р. Это по новой фене?

Ф и з и к. Да, по новой теме. Впрочем, какая же она новая! (*Сестре*). Возьми тапки, что ли. (*Отдав шлепанцы, остается босым.*)

М а й о р. А в частности?

Ф и з и к. М?

М а й о р. Это вообще, а в частности?

Ф и з и к. Так... Один любопытный опыт. Что вы делаете?

*Майор разжимает тиски; оттуда выскакивает монета.*

М а й о р. Хороши опыты, гражданин физик...

Ф и з и к (*ищет монету*). Что с ней?

М а й о р. Может, вы нам сразу и корону покажете?

Ф и з и к (*встает столбом*). Что... Корону?..

М а й о р. Что вы так испугались?

Ф и з и к (*подумав, показывает пальцем на Майора*). Нарушение первого закона?

М а й о р. И первого, и второго, и сто второго...

Ф и з и к (*подняв руки*). В короне я профан. Так вы физик! Я СРАЗУ догадался. Когда вы полезли в установку. Есть! Есть у меня и корона. У меня есть прекрасная корона. Уникальная корона.

*Включает свет.*

*Стены увешаны огромными, крупномасштабными фотографиями пятен. Напоминает что-то онкологическое.*

Ф и з и к. Значит, вы тоже... Я так рад, коллега! Живу анахоретом, никого не вижу... А где еще искать, верно? Энергия... Пятна вас не интересуют? Во какой красавец! (*показывает фотографию*).

М а й о р. Кто это?

Ф и з и к. Локхид, Мэйд ин Локхид. Во спиккулы пошли... Хр-р... Видите... Спиккулы не интересуют? Грануляция... Супергрануляция... Прекрасные снимки... А! Вот она! Вот ваша корона. Ну, это у всех есть. Классика. А вот Ньюкирк. Полное затмение. А в рентгеновских лучах? Во прелесть какая!

С е с т р а. О Боже!

Ф и з и к. Ха-ха! Это, мать, самые спокойные протуберанцы. «Частокол» называется. А вот смотри: дедушка. Вот он пошел. Пошел, пошел, пошел...

М а й о р. Вы что... Вы хотите сказать, что это... что это наше...

Ф и з и к. Ну, что вы! Наше... Обсерватория Сакраменто Пик... Ну как? Прелесть?

М а й о р (*мрачно*). Прелесть.

Ф и з и к. Ха! Кстати! Знаете, мой сосед...

М а й о р. Поэт?

Ф и з и к. Да! Вы тоже знаете? Слушайте: какой к черту поэт? Он физик!

М а й о р. Разве? (*Открывает блокнот.*)

Ф и з и к. Я вам говорю! Так вот. Заходит и говорит...

М а й о р. Стоп! Он первый пришел или вы к нему?

Ф и з и к. Он... Или я... Нет, он пришел. Да какая разница? А! Он приходил мириться.

М а й о р. Мириться?

Ф и з и к. Ха! Я тоже обалдел. Коллега, говорю, разве мы ссорились?.. Кстати! Вот, попробуйте. Вода. Вы когда-нибудь пили настоящую воду?

М а й о р. Потом! Что было дальше?

Ф и з и к. Да... На чем я остановился... Да! Я говорю: разве мы ссорились? Он говорит: как же!

Ты физик, я лирик. Нам нельзя не ссориться.

М а й о р. А вы, значит, отрицаете, что между нами была вражда?

Ф и з и к. Нет, как-то все... некогда.

М а й о р (*подумав*). Хорошо. И что же Поэт?

Физик. Ну вот. Он и говорит: анахореты должны любить друг друга! Я говорю: коллега, я профан в данной области, поэтому мы рискуем оказаться во власти существующих теорий. Помоему, эти э-э... Как они? Люди! Вообще любят друг друга, и тут уже все открыто. Он говорит: а знаешь, кто я? Я говорю: кто? Он говорит: король лир. Я говорю: да? Он, знаете ли, посмотрел на меня... И говорит: король я или не король. Я говорю: хрен с тобой. Он говорит: нет, скажи «до конца ногтей». Я говорю: до конца ногтей.

Майор (*записывая*). Не так быстро.

Физик. Он говорит: тогда я имею право чеканить монету. Я говорю: давай. Зачеканим. Он говорит: но я хочу такую монету, чтоб она имела хождение в королевстве любви. Я говорю: тут я профан. Он, знаете, посмотрел на меня... И ушел.

Майор. Он был встревожен, взволнован?

Физик. Нет, он был... грустен? Да, грустен.

Сестра. Не жаловался ли он на тягостные ощущения в области груди? Живота? Нет? А не делал он так... (*вдыхает*).

Физик. Ты знаешь, мать: делал! Но в другой раз. А что?

Сестра. Он жаловался, что видит все как бы сквозь пелену...

Физик. Да! И... тягостные ощущения. Он жаловался на тяжелое положение в литературе. Я говорю: в гравитации я профан. Некуда, говорит, идти. Я говорю: ты ж король! Он говорит: я уже не король, я Божья дудка.

Майор. Это как? Что он имел в виду?

Физик. Ну, это когда он тратит, а не пополняет. Пополнять нечем и неинтересно.

Сестра. Понятно. (*Майору*) Гипотимическая депрессия.

Физик. Да. Больцман в таком положении застрелился.

Майор. Ваш знакомый? Тоже анахорет?

Физик. Да... То есть...

Майор. И что дальше?

Физик. Ну вот. Я, говорит, не король. Я говорю: ну вот, а я тебе монету зачеканил.

Майор. То есть вы не отрицаете, что делаете монеты?

Физик. Да... Я загорелся... Я бросил все! Это же... Я был в тупике. Эти спикеры... Эта «горящая прерия»... (*Сестре*) Представь, мать: язык пламени поднимается на десять тысяч километров вверх... И гаснет через две минуты. Вот они. Что это? Какая энергия! И где она? Куда она делась?... И тут он с этой монетой. (*Быстро рисует на доске мелом.*) Это же так просто. Пятно, пятно. Плюс, минус. Ведущий, ведомый. Да – нет, истина – ложь, любит – не любит – все это съезжает к экватору. Поле скручивается, выгибается... И схлопывается вот так... (*показывает рукопожатие*). Я взял две монеты и стиснул их в тисках.

Сестра (*Майору*). Первичный бред периода инкубации.

Физик. Например, вы не знаете, куда идти. Кстати, мой учитель для определения этого использовал трепет длинных ресниц. В буквальном смысле. Надо лишь завязать ресничку в узелок. Я недавно пытался... Пальцы не те.

Майор. Разрешите взглянуть.

Физик. М? Ради Бога. Да! Но этот компас всегда показывает два направления. И вот с помощью этой монеты, на данном пространстве событий, можно определить, куда идти.

Майор. Да, не те...

Физик. Дайте сюда. Смотрите. Ап! (*подбрасывает монету и ловит*). Что? Орел. Еще раз. Ап! Орел. Ап! Орел. И снова орел. Видите? (*Майору*) Вам ничто не приходит в голову?

Майор. Мне приходит в голову...

Физик. Если б знал коллега Больцман! Увы! Он брал во внимание обычные системы.

Майор (*мрачно*). Я чувствовал, что к этому идет.

Физик. Ну конечно. Все дело в энтропии. Тяжелое положение. (*Сестре*) Вот мел. Почему он лежит и не взлетает вверх? Здесь же столько молекул! Если бы они собрались и ударили в него

снизу... Но! – им все равно, куда лететь. Вот в чем дело... Так вы поняли? *(подбрасывает монету)*. Ап! Орел. Ап! Что? Орел...

М а й о р. Вот что! Мне не нравится этот ваш опыт.

Ф и з и к. Почему?

М а й о р. Потому что! Понятно, почему. Вы что? Такие вещи... Надо же быть очень осторожным в этих вещах!

Ф и з и к. Да! Да! Я понимаю. Есть опасность. Но...

С е с т р а. А у них как с этим делом?

Ф и з и к. У кого?

С е с т р а. У них... В... необычных системах?

Ф и з и к. О! Необычные системы! Там нет ничего невозможного!

М а й о р *(мрачно)*. Понятно.

Ф и з и к. В системе, которую образуют ядерные спины, температура может быть ниже абсолютного нуля!

С е с т р а. Правильно ли я поняла... Что этот ваш друг застрелился оттого, что мел не подпрыгивает?

Ф и з и к. Он пришел к выводу, что вероятность этого все уменьшается, и данная тенденция необратима.

С е с т р а. Не мог ли и Поэт прийти к такому же выводу?

Ф и з и к. Какой поэт? А! Да! Ты знаешь: когда в одну залу – там у них была какая-то коронация – не пришел весь город, он очень переживал. Да, но это же обычная система!

М а й о р. Понятно.

Ф и з и к *(пишет на доске)*. Вероятность попадания равна ширине дверей делить на суммарную ширину всех тротуаров плюс коридоры, помноженные на средний этаж... А если бы направление и порыв... А как говорил физик Лев Толстой... *(продолжает писать)* то даже если б не было дверей... стена, как говорил сосед... то... отношение интенсивностей падающей и проходящей волн... примерно равно е в степени минус четыре пи на аш на корень квадратный из два эм у минус е помножить на а, где у и е отсчитываются от дна потенциальной ямы. А туннельный эффект состоит в том...

М а й о р. Да все понятно! Смотрите сюда! *(показывает фотографию)*. Вам знакома эта ба-рышня?

Ф и з и к *(улыбаясь)*. Да... Она физик! Вы тоже знаете?

М а й о р. Прекрасно!

Ф и з и к. Ха! Я угадаю, на какой почве вы сошлись.

М а й о р *(показывает носки)*. Ваши носки?

Ф и з и к *(хлопает в ладоши)*. А я думал, волны Россби... Собственно, я сам хотел испытать. Черт его знает! Я все не верил, что это настоящая вода. Но он так просил...

М а й о р. О какой воде вы все время говорите?

*Физик отдергивает ширму. За ширмой разные предметы, у которых есть прорезь: телефон, турникет, урна для голосования и т.п. Физик, набрав горсть монет, с торжествующим видом свет их в прорези, подставляет стакан. Из предметов в стакан бьет струя воды.*

Ф и з и к. Я сам удивился...

С е с т р а *(с совершенно ошарашенным видом)*. Что... Это...

М а й о р. Нет. Я больше не могу.

Ф и з и к *(виновато)*. Но я же... только начал... Он пришел, сказал: духовной жаждою томим...

С е с т р а. Дипсомания.

Ф и з и к. В пустыне мрачной я влачилс...

С е с т р а. Ступор.

Ф и з и к. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился...

С е с т р а. Делириум тременс.

Физик. Перстами, легкими, как сон...

Сестра. Патологическое просоночное состояние.

Физик. Моих зениц коснулся он – отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он – и их наполнил шум и звон...

Сестра. Слуховые иллюзии в форме акоазмов.

Физик. И внял я неба содроганье, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье...

Сестра. Гиперестезия.

Физик. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый...

Сестра. Ипохондрия.

Физик. И жало мудрая змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угль, пылающий огнем...

Сестра. Дисморфобия.

Физик. Во грудь отверстую водвинул. Как труп, в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал: «Встань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моею...»

Сестра. Навязчивое состояние.

Физик. ...и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».

Сестра. Все ясно. Синдром Кандинского – Клерамбо.

Физик. Ну вот. Скажи, говорит, чего тут не хватает. Я начал с начала: взял жажду, начал искать... Сейчас все ищут в щелях между науками... И мне казалось... я думал, что я попал в щель... между физикой и...

Майор. Я вас понял прекрасно. Вы гнете в одну сторону.

Физик. И лирикой...

Майор. Вы хотите расшатать наши законы. Вы хотите нашу, обычную систему превратить в необычную.

Физик. Не знаю, удастся ли мне... Я только хотел бы, чтоб горение не приводило к смерти, а за творчество не надо было платить...

Майор. Тем временем кто-то кому-то пробивает лоб вот такой вот кувалдой... Где тут выход?

Физик. Что...

Майор (*уходит и возвращается*). А вот насчет этого (*показывает вокруг*) – я вам не верю. Я не верю, что это солнце. Это не солнце, понятно?

Физик. Подождите... Коллега...

Майор. Я вам не коллега! А это не солнце. Я вам...

Физик. Подождите. Подождите, ради Бога! Что... Что вы сказали про кувалду?

Майор. Кувалдой убит ваш сосед, ударом по лбу.

Физик. О Господи...

Майор. А это не солнце. Я вам докажу, что это не солнце. Солнце такое не бывает. Сестра!

Физик. Подождите...

*Майор и Сестра уходят.*

Голос Поэта. Так будет волнующаяся жизнь, и мы будем опьяненные высоко, на гребнях волн, и будем стремительно, в вихре и пене нырять до самых глубоких и тайных проникновений в жизни друг друга. Оттого мы совсем узнаем и поймем друг друга только тогда – и во все остальные мгновения будет памятно это стремительное и бурное познание друг друга без мыслей и разговоров, без слов и рассуждений. Так Ты хочешь, я знаю, но знай, что и я хочу именно так, не иначе. Я хочу быть без конца влюбленным в Тебя.

*Морзянка, шумы.*

*Меркнет свет. Физик стоит в растерянности. Идет в грустном раздумье, натывается на предметы. Смотрит в окно.*

*Музыка. (Мотив «Гренады»).*



Г о л о с П о э т а.

Голубчик товарищ, из наших ребят  
В живых мы остались одни, говорят.

И мы не выходим, ведь падает снег,  
Мы слушаем радио, выключив свет.

Нам кажутся, мнятся в закрытых стенах  
Ребят голоса на коротких волнах.

Как будто за кнопкой включенья в эфир  
Неумный и подлый скрывается мир.

И наши ребята смущенно и зло  
Глядят, будто в бездну, на нас сквозь стекло.

*Удар колокола.  
Пауза. Тишина.*

Мужская голова. Эй, кто там за начальника! Привертьвай обратно! Курить пора!  
Хулиган (открывает калитку). Э...

Мужская голова. Кончай притворяться! Антракт!

Женская голова. Ой, что вы кричите! Не можете вежливо попросить? Молодой человек,  
будьте добры! Скажите вашим... электрикам, пусть хоть фонарь погасят. Меня еще так поставили  
неудобно: светит мне прямо в глаз! Будьте добры.

Хулиган. Ноу проблем!

*Подкидывает бутылку. Звон. Гаснет свет, когда из дверей выходит Майор.*

М а й о р. Черт!

*конец 1-й части*

### **Интермедия**

*Окно у парадной двери. Головы разговаривают на подоконнике.*

Мужская голова. Хе-хе... То-то я слышу... Извините, если не секрет... Хе-хе... гражданочка... Как вас величать?

Женская голова. Мария Владимировна.

Мужская голова. Да что вы говорите... Хе-хе... Я ведь тоже Владимирович... Павел Владимирович...

М а р и я. Давно без болвана?

П а в е л. Простите... Без чего?

М а р и я. Без телесного болвана.

П а в е л. А! Без корпуса-то... Так а первый день сегодня.

М а р и я. Ну, и как вам?

П а в е л. А я как чувствовал, что не надо сюда идти! Это на работе билет всучили – Димитрич, тые... Ох, я ему... Надо же – башку ни за что открутили и на блюдо поставили!

М а р и я. А вам что, не нравится?

П а в е л. Да нет, раз надо для искусства – пожалуйста! Но обидно ж. Чуть что – сразу Паша. Паша туда, Паша сюда! Вон, отворачивай у этого: у длинного! Молодого нашли, тые...

М а р и я. А мне нравится... Хоть какое-то разнообразие...

П а в е л. Так а... А вы, Мария Владимировна, извиняюсь за бестактность... Не замужем?

М а р и я. Странный вопрос. Чего бы я тогда в театр пошла. Просто одной скучно...

П а в е л. Понятная психология... Да нет, я ничего – валяйте, откручивайте. А может, и было за что – случайностей ведь не бывает, я так понимаю... Мне-то больше всего коньяку жалко. Я в буфете принял, а он там, в корпусе остался. Один, без меня...

М а р и я. Деньги зря платили?

П а в е л. Не в том дело! Что вы! Тут моральная сторона. Чего... Чего зря-то дулить... Это ж коньяк!

М а р и я. А вы замечаете, Павел, как вкусно пахнет земля в горшке?

П а в е л. Очень даже замечаю... Обоняние обострилось. Нос стал как у собаки. А вон, смотрите, букашка ползет. Стало быть, нора у нее тут...

М а р и я. А хорошее имя – Павел... Какую-то струнку задевает...

П а в е л. Как курить-то охота...

М а р и я. Тише... Кажется, начинается...

П а в е л. Хоть бы папироску кто принес!

*Открывается калитка. Входит Хулиган с гитарой.*

Хулиган (*поет*).

Жизнь полна и невзгод и тревог  
и забот и утрат – сам не рад –  
и любой это знает.  
У порога плевков – извините меня –  
замерзает...

*Осматривает забор. Вытаскивает из сердца стрелу.*

На плаву поплавок,  
пока глыба, унылая рыба, ко дну не потянет.  
Но плевков одинок,  
и никто, кроме нас, идиотов, его не помянет...

*Осматривает подоконник. Дает Павлу Владимировичу закурить.*

Что-то холодно стало на этой воспетой планете.  
Вот замерзнет плевков на боку у нее и никто не заметит.

Сам-то ты хоть ловок,  
И такой и сякой, весь ученый-перченый –  
смачный Божий плевков,  
коченеющий полночью черной.

*Уходит.*

П а в е л В л а д и м и р о в и ч. Вот теперь можно начинать.

## Часть вторая

*Ночь. Храп, стук часов. Включается лампа Майора.  
Лестничная площадка. Майор сидит у стены, обняв лампу, мрачен.  
Появляется Супруг.*

Супруг. Извините...

М а й о р. Кто такой?

Супруг. Осмеливаюсь беспокоить... Я из 14-й квартиры...

М а й о р. Что вы здесь делаете? Почему не спите?  
С у п р у г. Весьма признателен за заботу о сне моем, но...  
М а й о р. Стойте! Что это у вас?

*Светит лампой. У Супруга на лбу синяя клякса.*

С у п р у г. Лысею... Но... Не в этом дело... Надобно вам сказать, я женат около семнадцати лет. И... расходы свадебного обзаведения... соединенные с уплатою долгов... Дела мои совершенно расстроены. Осмеливаюсь прибегнуть... Три рубля, данные вами взаимобразно на пять лет или менее...

М а й о р. Что вы такое несете?

С у п р у г. Как вам будет угодно. Во всяком случае. Супруга моя просила вас подойти к ней.

М а й о р. Ничего не пойму. Супруга? Что с ней?

С у п р у г. Ничего... Просила подойти.

М а й о р. Что же она сама не подошла?

С у п р у г. О! Что вы! Она давно не выходит.

М а й о р. Что-то много анахоретов...

*Идут по лестнице.*

*Дверь в № 14 открывается; за порогом стоит очень толстая Супруга. Некая сила тянет ее назад, но она упирается.*

С у п р у г. Женка, ангел мой, позволь тебя познакомиться. Товарищ майор с супругу... Товарищ майор.

М а й о р. Очень коротко: что вы хотели?

С у п р у г. Да... Не знаю, как начать... Я так волнуюсь...

С у п р у г. Женка моя имела удовольствие случайно слышать...

М а й о р. Какой-нибудь шум? Вчера вечером?

С у п р у г. Да! Нет. Не вчера. Сегодня... Я слышала. Я так взволновалась! Я хотела спросить вас... Иначе я не усну!

М а й о р. Успокойтесь. Что вас так взволновало?

С у п р у г. О, эти специи... Ради Бога, объясните мне...

М а й о р. Какие специи?

С у п р у г. Вот те, о которых вы говорили здесь... С этой... Ведь я когда-то же знала все... Я помню запах... Это что-то такое... О, я с ума сойду!

М а й о р. Да объясните толком! Что вы имеете в виду?

С у п р у г. Вот: *(читает по бумажке)* по – э – ты... Или это не специи? Но это что-то божественное... Я не могу вспомнить...

М а й о р. Гражданка! Это совсем не то!

С у п р у г. Я вспомнила! Это типа фейхоа?

М а й о р. Чего?

С у п р у г. Мы варим варенье из фейхоа.

М а й о р. Ну и что? Какое, к черту, варенье!

С у п р у г. Но я точно помню, что это старинная кухня! Мы сейчас полностью переходим на старинную кухню. Я помню, в детстве нам давали эти поэты на десерт. И у нас они были в доме, в кладовой, я помню запах... Мой организм помнит, то есть они были в организме; но мы их, видно, вывели вместе с токсинами.

С у п р у г. Ангел мой...

С у п р у г. Что ты будешь со мной спорить? Когда мы начали кофейные клизмы, они вывелись.

М а й о р. Да ну вас... *(хочет уйти)*.

Супруга. Вы не можете так уйти! Вы должны сказать, как с ними сочетаются: *(готовится записывать)* первичные белки, вторичные белки, жиры, крахмалы, бахчевые, овощи, и отдельно сладкие фрукты, кисло-сладкие фрукты и кислые фрукты.

Майор. Пошли бы вы... Это совсем не жратва!

Супруга. А... *(пораженная)* что же тогда вы ищете?

Майор. Вас не спросили *(уходит)*.

Супруга. Что может быть важнее продуктов? Хлеб – всему голова! Еще в Библии сказано: хлебом единым жив человек! *(тицетно пытаясь пролезть в двери)* И партия! И партия говорила: накормите страну! А потом уже!.. Занимайтесь!.. Человек должен стать частью природы!

*Некая сила втягивает ее в квартиру. Дверь захлопывается.*

*Майор, мрачнее тучи, выходит во двор.*

*Сестра бросается к нему с бутербродами и лимонадом.*

Сестра. Товарищ майор! Товарищ майор! Где же вы были? А там так здорово! Все блестит! Ковры, перила! Как будто в театре! И буфет. Вот, покушайте, а я пока подежурю за вас. Вы только скажите, что делать. Товарищ майор! Товарищ майор... Что с вами?

*Майор недвижим.*

Сестра. Зачем вы меня пугаете...

*Хочет дотронуться до его головы. Майор медленно, в мрачной задумчивости, снимает ремень и фуражку. Молча и все более ожесточенно проделывает упражнения ритмической гимнастики. После всего ложится на спину, задирает ноги за голову и стоит некоторое время в такой позе.*

*Постепенно светает.*

Жилец.

*Жених нечаянно на свадьбе,  
В зеркальную взглядевшись чашку,  
Увидел страшное лицо.*

Жилица. Тише!

*За забором слышен звук размешиваемых костей домино, потом стук.*

*Майор встает, приводит в порядок форму.*

Сестра. Как вы меня напугали...

Майор. Что такое?

Сестра. Мне... показалось, что вы... Я вдруг подумала, что я одна, совсем одна! Так страшно!

Майор. Что за глупости.

Сестра. Товарищ майор! Не оставляйте меня одну! Я не знаю, что делать. А вы... всегда знаете. Я вам покушать принесла.

Майор. Поставь куда-нибудь, я не хочу.

Сестра *(кричит)*. Я вас очень прошу!

Майор. Да что ты кричишь, в самом деле! Ну, давай...

*Майор ест бутерброд. Сестра успокаивается.*

Сестра. Товарищ майор... А можно мне...

Майор. Что?

*Сестра прижимается к нему и кладет руки на плечи. Оба садятся.*

Сестра. Вот так... хорошо...

Майор (жуя). Попался судмедэксперт... Что уж ты? Боишься – ищи другую профессию.

Сестра. Нет... Я с детства мечтала. Мне так жалко людей!.. Почему они все ненормальные?

Майор. Ну, уж ты тоже...

Сестра. Нет? Скажите, нет?

Майор. Ну, не знаю. Вас этому учат; ты же – вон – отличница!

Сестра. Да, отличница! Но в жизни так сложно... Так все перепутано! Симптомы, симптомы я вижу, а надо связать их в синдромы, понимаете. Я их связываю... а получается мешанина какая-то. Читаю «Клинический архив гениальности и одаренности» – там все ясно. Если эпилептик, то это эпилептик. Белая горячка – так белая горячка. А в жизни... Иллюзии – да. Галлюцинации. Слуховые обманы в форме акаозмов. Наплывы мыслей. Потом, этот ментизм...

Майор. Что?

Сестра. Ментизм. Ну, когда мышление поверхностно убыстряется... «Мета-лето-литая-листая-листок-исток-свисток-мосток-лоток-глоток...» И тут – заторможенность. Он делает одно и то же движение. Вставляет и вынимает ключ. Или сидит и раскачивается из стороны в сторону... Чувство неустойчивости. Сердцебиение. Ну, думаешь, аура. Предвестник судорожного припадка... А он хватается авторучку. Значит, уже частично ориентируется! Полного помрачения нет. Что? Abortивный припадок? И еще эта развороченная дверь...

Майор. Ах, черт!

Сестра. Ну, хорошо. Хватает авторучку. Если бы он бросился бежать или острым концом стал наносить ранения. Но нет! Он просто пишет какие-то дурашливые слова – и, умиротворенный, загибает. Что это? Ничего, ничего не сходитя! Мне плакать хочется, я ничего не умею. Ведь если б вылечить основное заболевание – они избавились бы и от одаренности, этого побочного явления, за которое приходится платить! Я бы все отдала, все. Трудовая терапия... Шоковые методы. Лечебный гипноз! А лекарства для мозга какие сейчас есть хорошие! Аминалон, ноотропил, и этот... Пирацетам...

Майор. Платить... За что платить? Я понимаю, Лев Толстой. Граф. Было за что. А теперь?

Сестра. Как хорошо... Говорите еще, говорите! Как я вам завидую... Вы знаете, куда идти...

Майор. Да! Я знаю, куда идти! Обнаружен труп! Все! Идти надо от трупа к периферии. По спирали. Все жилые помещения обошли! Все подсобные обошли. Коридор, балкон, лестница, вход в дом. Далее – двор. Здесь уже по фронту. Потому что большая площадь. По фронту! Далее – свидетели. Главный принцип – внезапность! Почему сначала вниз? А потому. Знал сосед, что мы придем? Возможно, знал. И ждал. А она? Не знала и не ждала. Значит, надо идти сначала к ней. Теперь, если стонет пострадавший – бросай все, иди к пострадавшему.

1-й жилец. О-о-ой, ребята! Козлы.

2-й жилец. Что ж ты делал-то, друг ситный?

4-й жилец. Да я думал, у него четверошный!

2-й жилец. Как же у него, когда он двойку ставил под своего!

1-й жилец. Рубить надо было пустишкой.

3-й жилец. Правильно.

2-й жилец. Чего правильно? Он же на азах ехал, вот же у меня аз-два, и он заходчик!

4-й жилец. Так он же кончал!

2-й жилец. Как он кончал, когда у него две фишки на руках!

4-й жилец. Как две?

2-й жилец. Так!

Майор. Я знаю, куда идти. Но я веду дело без санкции. Потому что разрушаются улики. (Встает от волнения.) В суточный срок я сообщу прокурору. Но как быть, когда предметы сдвигаются с мест? Как действовать? Скажи. Я же должен хотя бы знать, куда они движутся и с какой скоростью. Чтобы хоть что-то предвидеть. Нет! Этот туда. Этот сюда. Завтра – наоборот. Я не вижу системы! Ладно. Черт с ними. По крайней мере, стул – это стул. Всегда. Свидетели! Вот ведь

что. Скажи! Внутри-то у них должно быть что-то? Процессуальный кодекс! Пусть у каждого свой. Но чтоб можно было предвидеть! Что в данных обстоятельствах данный человек пойдет туда-то. Я уж не говорю, чтоб он шел по нашему кодексу. Ладно! Иди по своему. Но ведь нет его! Своего. Нету!

*Выходит Супруг с ковром и хлопалкой.*

М а й о р. Как жить, если свидетель... Сегодня ковер, завтра... Как жить? Как вести допрос? Пишут: индивидуальный подход. Да где она, индивидуальность? Кто ее видел? Вот он. Кто он? Мультфильм!.. А самое поразительное то, что у меня от этого факта есть трудности, а у него нет трудностей. Вот у него, действительно, нет никаких трудностей!

С у п р у г. Что с вами, душа моя? Откуда это? Не хандрите ли вы? Чего доброго. Хандра хуже холеры!

2 - й ж и л е ц. Пять дуплей.

3 - й ж и л е ц. Ну вот.

*Звук размешиваемых костей домино.*

М а й о р. Иногда хочется плюнуть на все – и уйти. Ведь я тут не нужен. Что я, когда им уже и Генеральный секретарь не нужен стал!

С у п р у г. Напраслину! Напраслину возводите. С глубокой... С глубочайшей благодарностью вспоминаем мы о свободе, смело дарованной нам... Когда всякие другие партии и правительства старались бы стеснить и оковать нас...

М а й о р. А эти? (*показывает на зал*). Взяли, погасили свет... Встали, пошли кто куда. Ну... Ведь труп найден. Ну, разрешили вам. Ну, есть такое право – встать и уйти. Но ведь должна же быть и обязанность! Какая? Наблюдать! Может, кто-то заметит хоть что-нибудь... Вот хожу же я с лампой, как дурак. Что мне – не хочется иногда лампу бросить? Но вот не бросаю! Стараюсь разобраться сначала... И не могу. Не могу! Главное, такое чувство, что все это уже было. И что я уже приходил вот буквально на прошлой неделе и разбирался... Но если я опять пришел – значит, не разобрался прошлый раз. Значит, ничего не получилось? Дайте мне разобраться хоть теперь. Помогите мне. – Нет, погасили свет, пошли, кто куда... Ведь завтра опять найдут. Ведь если так, значит, что-то же не в порядке? Что-то же не в порядке у вас в доме? Правильно она говорит – зло берет. Нет, даже не зло, а жалко мне вас. Жалко! Охломонов...

С у п р у г. Вот это напрасно. Напрасно. Понимаю, что в раздражении, но...

М а й о р. Да я не вас конкретно имел в виду под охломоном...

С у п р у г. Ну как же. Я и есть охломон. Самый настоящий. Отец мой был охломон, и дед, и... Мы – охлос! А вот жалеть нас не надо. Не надо! Зачем жалеть? Нас уважать надо. Охломон! Это звучит гордо! Слава Богу, правительство это понимало во все времена и теперь более, чем когда-либо.

М а й о р. Да я о чем говорю? Почему они все уходят? (*показывает на зал*).

С у п р у г. Миль фуа пардон! Надо ж покушать. Если б было, что кушать – я бы всю жизнь прожил в своей квартире. Припеваючи. Канализация у нас есть. Деток бы с женой нарожали... растворились бы в природе... Нам ведь то и любо. Знаете, что такое просветление?

М а й о р. Никому, никому ничего не надо...

С у п р у г. Да что вы все хандрите, душа моя? Я лично всегда уважал вас как человека, принимающего столь снисходительное участие... Нижайший и покорнейший слуга ваш... Ну, что? Что вас беспокоит?

М а й о р. Меня больше всего беспокоит, что это вас не беспокоит!

С у п р у г. Я, душа моя, живу в равновесии с природой. Что? Клизма? Вазелина нет?

М а й о р. Он же ваш сосед... Да ладно бы... Так ведь завтра же будете кричать: Солнце Поэзии! Не уберегли!..

С у п р у г. Кто? Что? Солнце? Сосед? Что с ним? Плохие обстоятельства?

М а й о р. Умер.

С у п р у г. Эки страсти. Вздор, душа моя! Не хандрите! Один умер, другой, умрем и мы когда-нибудь. Но жизнь-то богата! Вырастут детки! Славные, веселые; будут повесничать, сентиментальничать... А мы будем старые хрычи, женки наши – старые хрычовки... Вы женаты? Может, он не был женат? Я женат – и счастлив. Умер... Если не был женат, то и поделом! Единственное, что: не посоветовавшись. Надо было посоветоваться. Ведь с нами даже Сократ советовался. Что же мне, говорит, делать, любимые мои афиняне? А мы говорим: да ничего! Выпей и ходи, а потом ляг. И знаете, что? Его как рукой сняло.

М а й о р. Хорошо. Я с вами советуюсь.

С у п р у г. Весь внимание.

М а й о р. Тут три версии.

С у п р у г. Три.

М а й о р. Убийство, самоубийство, несчастный случай.

С у п р у г. Да.

М а й о р. Четыре: инсценировка.

С у п р у г. Четыре.

М а й о р. Если убийство... Не можете ли вы кого-нибудь заподозрить?

С у п р у г. Ну как же, душа моя, конечно, могу. А кто именно вам нужен?

М а й о р. Мне нужна правда.

*Начинает звонить телефон.*

С у п р у г (*подумав*). Правда сегодняшнего дня или вчерашнего? Или завтрашнего?

М а й о р. Вам нечего сообщить?

С у п р у г. Ну, что вы. Я обязательно сообщу. А откуда у вас информация, что он умер?

М а й о р. Я видел своими глазами.

С у п р у г. Один видел одно, другой другое...

М а й о р. Все видели одно. У него лоб расколот. И взломана дверь...

С у п р у г. Ну, что я могу вам предложить? (*подумав*). Наверное хулиганствующие молодчики...

М а й о р. Это мы проходили. Версия проработана и отброшена.

С у п р у г. Ах, отброшена! Вот оно что! Тогда... Знаете, какой феномен? Душа моя! Поэты ломаются к нам. Не знаю, зачем. Я без его стихов проживу. А он без меня не может. Вот ведь какая штука. И он ломится к нам. Так надоел, честное слово: я уж хотел в деревню удрать, да вот женка... И ведь при этом могут быть несчастные случаи! Вероятно, когда они ломились к нам через дверь, один из них пострадал в возникшей давке.

М а й о р. Нет соответствующих следов.

С у п р у г. Тогда... дверь сломалась, и его смертельно ранило осколком. Несчастный случай.

М а й о р. Нет соответствующего осколка.

С у п р у г. Ну, знаете... Душа моя! Удивляюсь вам. Нет следов. Нет осколка... Что же вы скажете народу?

М а й о р. Вот я и советуюсь с вами.

С у п р у г. Ну, знаете... Я не думал, что...

М а й о р. Удар нанесен кувалдой.

С у п р у г. А! Мы ввели кувалду по его просьбе? Он сам настойчиво требовал?

М а й о р. Что это вы несете?

С у п р у г. Душа моя... У меня даже температура поднялась. И давление. И влажность... Вот что: повышенная ранимость. Никто не знал, что у него повышенная ранимость. Кувалда была в

двадцати сантиметрах от его лба. У обычных людей это не вызывает... А у него из-за повышенной ранимости возникла смертельная рана. Ведь на кувалде тоже не было следов?

М а й о р. Следов крови? Не было.

С у п р у г. Ну, вот. В общем, надо сказать так: мы все виноваты...

М а й о р. Это мы скажем в конце, в частном определении. А теперь мне нужен один человек.

Убийца.

С у п р у г. Если один человек – это Сталин. Он палач, он и убил. Он во всем виноват.

М а й о р. Таким образом, вам нечего сказать?

С у п р у г. Что... Уже и... Уже... Эх, душа моя! Неужели вам не ясно, что вы зашли в опасный тупик?

М а й о р. Почему?

С у п р у г. Неужели вы не понимаете? Вас вводят в заблуждение? Вас используют силы, которые хотят разыграть поэтическую карту. Надо остановиться.

М а й о р. Прекратить дело?

С у п р у г. Пока не поздно.

М а й о р. Для прекращения дела нет оснований. Напротив: я все более убеждаюсь...

С у п р у г. Эх, душа моя... Вы говорите, что вам меня жалко. Это мне вас жалко! В конце концов окажется, что вы и убили этого Поэта!

М а й о р. Раньше я найду настоящего убийцу.

С у п р у г. Да как вы не понимаете, что уже все? Что уже негде искать? Есть только один выход.

М а й о р. Уж не застрелиться ли?

С у п р у г. Напрасно вы иронизируете.

М а й о р. Я не застрелюсь и не дам закрыть дело, пока не будет на то веских оснований.

С у п р у г. Значит, надо создать эти основания! Надо вызвать на помощь Большую Беду!

М а й о р. Не понял.

С у п р у г. Придет Большая Бедя! Мы оставим, забудем все дела! Забудем, кто за кого! Кто на какой стороне! Забудем поэтов! Обнимемся и сплотимся! Это единственный выход.

М а й о р. Ну и каша у вас в голове!

С у п р у г. Что? Да. Мне вас жаль. Другого выхода... Э! Расколот лоб, вы говорите?

М а й о р. Точно так.

С у п р у г. Тогда вам повезло. Тогда и думать нечего. Это космос.

М а й о р. Что?

С у п р у г. Космос. Главкосмос. Это они его убили. Это, знаете, душа моя... Отъявленные мерзавцы! Я бы их!.. Вот так!.. Вот так!.. М-мерзавцы. А следующей жертвой буду я. Помните мое слово. Я уже чувствую: ничто в голову нейдет. Хуже и хуже, с каждой ракетой, душа моя. Как-то это все... Непонятно. Но-о, знаете, что я вам скачу? Наро-од, о-он теперь не тот... Люди прямо говорят: надо кончать с ними. Я думал, это будет хороший шаг.

М а й о р. Какой шаг?

С у п р у г. А прекратить все эти ракеты. Свести на нет. Ликвидировать. Это же сколько денег можно будет раздать! Космос – разве это наш путь? Разве это совместимо?

М а й о р (*волнуясь*). Это невозможно.

С у п р у г. Почему, душа моя? Мы уже советовались – с Николай Ивановичем, и Валентин Сергеичем, и с Виктор Степанычем...

М а й о р. Послушайте. Нельзя. Оставьте космос. (*Встает на колени.*) Это же последнее светлое пятно!

С у п р у г. Что с вами? Душа моя? Привстаньте. Привстаньте, прошу вас.

М а й о р. Оставьте космос!

С у п р у г. Не могу.

М а й о р. Сколько вам надо денег?

С у п р у г. Ну, что вы. Зачем? Привстаньте. Уважайте себя и меня. Я вижу тут много эмоций. Вы же подумайте. Сначала невесомость, потом... Подумайте! Это же все неспроста. Знаете? Они



хотят улететь от нас. Они думают, что где-то там... Будут вот эти вот межпланетные!.. А то, что здесь у нас нарушится равновесие – это...

М а р и я В л а д и м и р о в н а. А я бы тоже с кем-нибудь улетела.

С у п р у г. Ну? Разве это по-нашему? *(Вешает ковер и оборачивается; в этот момент – оседание дома, перекладина падает вместе с ковром.)* Разве... Что это? Ну, знаете! Это... Женщина без головы – это еще куда ни шло, но женщина, состоящая исключительно из одной головы! Это, знаете ли... Не одобряю! Куда это ведет? Любезная! Что же вы делаете? Вам же деток рожать. Как вы можете? Знаете, кто вы после этого? Вы... Вы просто чудовище!

*Павел Владимирович плюет в него.*

С у п р у г. Извините... *(Павел плюет)*. Извините... *(еще плюет)*. Еще раз извините... Я никогда... Я всегда... Нижайше и покорнейше... Не больше... не меньше... И супруга моя... Кстати! Если вы будете столь снисходительны... Одолжить мне один или два рубля на шесть месяцев...

С е с т р а *(смотрит на головы)*. Товарищ майор... Я с ума схожу...

*Звонит телефон.*

Ж и л е ц. Звонит телефон, но не стану к нему подходить,  
Потому что обычно меня  
В это время нет дома.

*Стук домино становится громче. Оседание дома. Человек Обеспокоенный привстает.*

С у п р у г. Ангел мой! Сейчас я вас познакомлю... Ангел мой! Тут господин Голова с супругой!

*Стук домино переходит в стук топора. Скрип.*

*Супруга приближается к окну; одновременно дом, трещина, начинает открываться и заваливаться в сторону зрителей. Супруг орет. Из-за забора выскакивает ошалелый Хулиган.*

Человек Обеспокоенный *(встает)*. Я же говорил, что упадет!

*Супруг бросается в дверь, но выбегает обратно с поднятыми руками.*

*Верещат будильники и телефоны. Жильцы выбегают из дома, кто в чем.*

*Майор, спохватившись, начинает спешно фотографировать и измерять расстояния, направление и силу ветра.*

Г о л о с и з д о м а. Дуй, ветер, дуй. Пока не лопнут щеки... Да будет так. Я буду их судить.  
Куда? Держи! К оружию! Огня!  
Подкуплен суд! Зачем, судья лукавый,  
Ты дал ей улизнуть?

*Жильцы выбегают. Выходит Барышня в купальнике, в темных очках, с номерком на руке.*

Г о л о с и з д о м а.

Пусть небеса обрушат месть свою  
Ей на голову. Пламя лихорадки,  
Спали ее. Ты, гром!  
В лепешку сплюсни выпуклость Вселенной  
И в прах развей прообразы вещей  
И семена людей неблагодарных...

М а й о р. По краю! По краю, граждане! Прошу сохранять дорожку следов!  
Человек Обеспокоенный. Фу, черт... *(садится)*.

*Падает горшок с цветами. Крики. Треск. Грохот.  
В дверях показывается Супруга. Орет, как недорезанная.*

С у п р у г. Ангел мой... Помогите!

*Сестра бросается на помощь, но Супруга, втянутая некоей силой, проваливается в темноту.*

М а й о р. Сестра!  
Ж и л и ц а *(Жильцу)*. Это все понарошку, да?  
С у п р у г а. А-а! Колбаса! Моя колбаса! Я-а-а-ай-ца-а-а! Конец! Всему коне-е-ец!

*Часть жильцов бежит обратно.  
Пытаются просунуть в окно сейф. Выносят обломки белых статуй.*

Г о л о с и з д о м а. Говори пароль. Душистый майоран. Проходи.  
С у п р у г а *(появляется в дверях)*. А-а-а!.. Ма-айонез!.. Мой майоне-ез!.. *(сила утаскивает ее обратно)*.

*Из дверей выходит Поэт с расколотым лбом.*

Г о л о с С у п р у г и. Фундук!.. Фундук!.. Фейхоа-а!..  
П о э т *(глядя на Барышню)*.  
Бездомные, нагие горемыки... *(его сбивают с ног)*.  
Не делайте вреда мне. Будет выкуп.  
Я попрошу врача. Я ранен в мозг.  
Сестра. Что с тобой? Тебе плохо?  
П о э т. Провал возьми вас всех!  
Седлать коней! Собрать в дорогу свиту!  
С е с т р а. Ты во что играешь? В Кибальчиша? В Гавроша?  
Хулиган *(Поэту)*. Сергеич, ты чего вылез раньше времени?  
П о э т *(тихо)*. Пускай он сам там лежит! Еще упадет на башку декорация! *(громко)* Тут темно.  
*(Майору)* Скажите, вы не Кент?  
Хулиган. Нет, он мент..  
М а й о р *(не слушая)*. Ничего не понимаю. *(Вытаскивает из пролома череп, засовывает в полиэтиленовый мешок, измеряет расстояние между предметами, записывает в блокнот)*.  
С е с т р а *(Поэту)*. Давай, как будто я тебя вылечу.  
П о э т. Скажи, я нахожусь во Франции?  
С е с т р а. Да, это баррикада в Париже.  
П о э т. Прошу вас не обманывать меня.

*Летят перья. Падают цветы. Все трещит.*

С е с т р а. Вставайте! Лучше умереть стоя. *(Жильцам)* Помогите мне.  
Ж и л ь ц ы *(запевают; мотив – что-то среднее между «Марсельезой» и «Слезами залит мир безбрежный»)*.

Когда горбатые дельфины  
Приостанавливают бег,

Выходит из морской пучины  
Высокий голый человек.

ОН на тебя глядит, нахмурясь,  
Он изможден глубоким сном,  
Он подает тебе папирус,  
Свое заветное письмо.

Ты что-то говоришь с участием,  
Когда письмо в твоих руках  
Дрожит, расходится на части  
И рассыпается во прах.

И нарастает ветер дальний,  
Стареют небо и земля,  
И волны бьются лбом о камни,  
Чтоб зацепить, задеть тебя.

Сестра (*Барышне*). Помогите мне.

*Барышня помогает Сестре поставить Поэта на ноги.*

Поэт (*Барышне*). Твои глаза мне памяты. Что ты косишься на меня? Недобро и косо. Я знаю, у меня ладони-налимы и лицо абрикоса.

Барышня (*сняв очки, смотрит на Поэта – и шарахается от него*). Товарищ майор...

Майор (*выбегающему из дома жильцу*). Стой! А ну, статую сюда. Подопрем. Граждане! Давайте подопрем. Статуи сюда! Ничего, сейчас подопрем, все будет нормально!

*Жильцы подпирают дом обломками статуй, среди которых встречаются бывшие атланты и кариатиды.*

Поэт (*Барышне*). Теперь ты видишь, как идут дела?

Майор. Сестра! Я сейчас иду на место преступления. Кто-то пытается замести следы... Черт, пленка кончилась!

Поэт. Виновных нет, поверь, виновных нет:

Никто не совершает преступлений.

Купи себе стеклянные глаза

И делай вид, как негодяй политик,

Что видишь то, чего не видишь ты.

Снимите сапоги с меня. Тащите.

Майор. Помолчите, гражданин... А вы кто, собственно, такой?

Супруг. А! Так вот же он! А вы говорили – умер! Вот же он, Поэт, живой и невредимый. Надо прекращать это все. Женка, ангел мой!

Майор. Спокойно! Здесь я решаю.

Супруг. Ну, если и это для вас не является веским основанием... Душа моя! Душа моя! Я теперь все вспомнил. У него это так и было. Это, видимо, какой-то врожденный недуг. Об этом в газетах писали: что происходит где-то утечка мозгов. Видимо, вот через это отверстие она и происходит. Утечка мозгов в Израиль, а также в Соединенные Штаты. Надо прекращать дело. Мы уже дали этим явлениям соответствующую оценку.

Майор. Что вы мне вешаете лапшу на уши? Всем оставаться на местах! Это какая-то инсценировка.

*Делает шаг по направлению к дому.*

*В этот момент – статуи разваливаются, дом резко оседает и начинает погружаться.*

Хулиган. Это конец... Черепные коробки поехали.

*Треск. Грохот.*

*Майор бросается измерять расстояния и собирать предметы в полиэтиленовые мешки.*

Майор (*отпиливая кусок вставшей торчмя декорации*). Черт... Самый тихий дом... Два самогонварения...

Супруг (*в отчаянии*). Но ведь было же равновесие! Кто его нарушил? Кто пошел не туда?

*В дверях появляется Супруга и, кричя, пытается пролезть.*

Супруг. Женка, ангел мой, смотри: не брюхата ли ты? Береги себя в таком случае!

*Супруга проваливается в темноту.*

Супруг. Ангел мой!

Барышня. Мужчины, сделайте что-нибудь!

Поэт.

Она ушла навеки.

Да что я, право, мертвой от живой

Не отличу? Она мертвее праха.

Сестра (*вздвигнув*). Что же я! Матушка настоятельница послала меня вытирать пыль, а я... (*ищет тряпку*).

Супруга (*появляется в дверях*). М-м-м-ы-а-а-а...

Хулиган (*Поэту*). А ты говорил – навеки. Да ей просто надо сбросить века два. (*подняв с земли обломок стрелы, показывает Супруге*). Ну?

Барышня (*взяв стрелу у Хулигана, вставляет в сердце забора; забор при этом сжимается, как меха гармони*). Вспомни детство!

*Пауза.*

Жилец.

Лежит у обомшелого забора,

Оторванная варварски от куклы,

Пластмассовая детская рука.

Жилица. Тише!

Забор (*шепчет*).

Красная кирпичная стена

Резко выделяется на белом

На снегу, а на стене видна

Исповедь, написанная мелом:

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» – и этот след

Не смогли стереть ни снег, ни ветер.

А внизу приписанный ответ:

«НУ И ЧТО?» – уже едва заметен.

Хулиган. Ну!

*Долгая пауза.*

*Забор растягивается; громко звучит гармонь.*

Забор (*поет на мотив «Раскинулось море широко»*).

В одной современной квартире  
Ковер, каких много, живет –  
когда-то супруги купили –  
а то был ковер-самолет.

*(ковер шевелится)*

Небесного дивного цвета,  
он целую тысячу лет  
летал, как орлы и поэты,  
над морем житейских сует.

И вот облака проплывают,  
и стаи летят журавлей,  
и только его не пускают  
семь накрепко вбитых гвоздей.

Гудят за окном самолеты, –  
но с ними ему не летать...  
И внутренний голос: – Ну что ты!.. –  
ковру начинает шептать.

Тут что-то ковер вспоминает  
и силится ветер поймать.  
Он бьется и вдруг понимает,  
что он разучился летать.

*Жильцы радостно хлопают.*

*Супруга кричит.*

Хулиган. Я давно уехал из вашего дома – почему я все помню, а вы не помните? Ну, вспомни! Корми меня рогаляком... Пои меня нарзаном... Ну же! Пои меня! Корми меня! В моем тяжелом имени... Ну! Ну давай!

Супруга. Что... в имени... тебе моем...

Хулиган. Давай, ну... милая... давай...

Супруга. Что в вы... в в-выме... вы-ыме... А-а-а-а-а!.. Вы-ымя-а-а-а-а-а!.. Вымя в холодильнике-е-е-е-е!.. (*застряв в дверях, не может двинуться ни туда, ни сюда*) Вы-ы-ы-мя-а-а-а-а-а!.. (*наконец, лопнув, вываливается за порог и идет с волочащимся сзади унитазом и трубами к Поэту, истошно причитая, как плачя-вопленица и постепенно утоньшаясь*).

Ты скажи, мое дитяtko удатное,  
Кого ты сполохался-спужался,  
Что во темную могилушку собрался?  
Старичица ли с бородою,  
Аль гуменной бабы с метлою,  
Старухи ли разварухи?  
Суковатой ли во играх рюхи?

Знать, того ты сробел до смерти,  
Что ноне годочки пошли слезовы,  
Красные девушки пошли обманны,  
Холосты ребята все бесстыжи...

Поэт.

Отдаем тебе  
Всю эту жизнь от той черты до этой,  
С лесною тенью, полноводьем рек,  
Полями и лугами. Ей отныне  
Владей навек с супругом и детьми.

*Из оболочки Супруги вылезает стройная девушка.  
Жильцы в восторге: кричат, хлопают в ладоши, бьют в барабан.*

Супруг (Поэту). Душа моя! (*растроганно*) Дай руку поцелую я тебе.  
Поэт. Вытру сначала. У нее трупный запах.

*Супруг ходит по сцене, размахивая руками от полноты чувств, и вдруг запекает на мотив  
«Нет, не тебя так пылко я люблю».*

Супруг.

Нет, никогда скалистый этот гул  
Мне не внушал покоя или страха!  
Но холодом наполнилась рубаха,  
Как я на небо черное взглянул.

Не ужас ли сады охолодил,  
Все придавив своей пернатой тенью?  
Молниеносный воздух вдохновенья  
Меня опять, как в детстве, просквозил.

Волнения божественная мгла  
Почти уже на грани прорицанья.  
Как всяческого страха отрицанье,  
И белья  
И белья небесных тела!

*Жильцы кричат и хлопают в восторге.  
Сестра, не найдя тряпки, рвет одежду.*

Майор. Сестра!

Сестра (*поет на мотив «Калина красная»*).

Стерильно-белая  
спущусь по лестнице.  
Кто в Бога верует,  
должно быть, крестится.

На темя – обухом,  
по сердцу – холодом:  
«А ты попробуй-ка  
сходить к онкологу...»

И сразу – падалью,  
надеждой – скальпельной,  
больничным садом и  
вороньим карканьем...

Как будто воздуха  
струя защемлена  
в груди. Смерть? Просто как!  
Жизнь? Есть вообще она?

(переходит на речитатив)  
Жизнь? В дверь, на улицу!  
И – Боже их спаси –  
такси. Целуются.  
Целуются в такси!  
Есть.

*Раздаются неуверенные хлопки.*

Поэт (*подходит к Сестре и обнимает ее*). Что-то ты не то спела, сестренка.

М а й о р. Гражданин!

Поэт.

Ни слова, мент! (*показывает на стрелу в заборе*).  
Ты видишь, лук натянут. Прочь с дороги!

М а й о р.

Стреляй, не бойся прострелить мне грудь.  
Мент будет груб, покамест Лир безумен.  
А ты как думал, взбалмошный старик?  
Что рядом с лестью смолкнет откровенность?  
Нет, честность более еще нужна,  
Когда монарх впадает в безрассудство.  
Убей врача, а плату за лечение  
отдай болезни!

Поэт (*отшатнувшись от Сестры*). Ты шутишь жизнью, мент!

М а й о р.

Своею жизнью  
Играл не раз я на войне с врагом  
И снова для тебя играю ею.

(*опускается перед Сестрой на колени и обнимает ее*)

О лоно женское! –  
Как тяга велика  
Вновь оказаться в первой колыбели!  
Но рост велик – мы вырасти успели,  
И счастье – только части мужика.  
Он троелик, девический избранник:  
И сын, и муж, и навсегда изгнанник.

(*встает*)

...И лучшая из ветреных девиц,  
Не убоюсь признаний и участия,

О наконец, вошла среди зарниц  
В мой юный бред, в мой сад из небылиц, –  
Я потянул за тонкие запястья.  
Слепила тьма, и кровь моя, шумя,  
Рвалась наверх, пружинила, летела...  
И ангел был, и небом было тело  
Прилегшей, не отринувшей меня.  
Забыл, что ночь, что хмурятся и ждут,  
И рук ее благословлял ловушку...  
Но нежности протяжный парашют  
Нас опускал на хвойную опушку.  
И встали мы под сводный шум вершин.  
– Куда бежать? Куда мне с этим деться?  
И прах мечты чуть ветер ворошил,  
И обжигал восторг первовладельца.  
Так вел ее, смиряя торжество  
И наших душ улавливая сходство...  
Еще мое уснувшее сиротство  
Не превратилось в долгое вдовство.

*Жильцы хлопают в восторге. Поэт подходит к Сестре.*

Поэт.

Даем тебе с потомством эту жизнь  
В прекрасном нашем королевстве.

Хулиган (*поэт под Утесова*).

За городом вырос пустынный квартал  
На почве болотной и зыбкой.  
Там жили поэты – и каждый встречал  
Другого надменной улыбкой.

Напрасно и день светозарный вставал  
Над этим печальным болотом:  
Его обитатель свой день посвящал  
Вину и усердным работам.

Когда напивались, то в дружбе клялись,  
Болтали цинично и пряно.  
Под утро их рвало. Потом, запершись,  
Работали тупо и рьяно.

Потом вылезали из будок, как псы,  
Смотрели, как море горело.  
И золотом каждой прохожей косы  
Пленялись со знанием дела.

Разнежась, мечтали о веке златом,  
Ругали издателей дружно.  
И плакали горько над малым цветком,  
Над маленькой тучкой жемчужной...



*(Запевает под Утесова)*

Так жили поэты. Читатель и друг!  
Ты думаешь, может быть, – хуже  
Твоих ежедневных бессильных потуг,  
Твоей обывательской лужи?  
Твоей обывательской лужи.

Жильцы *(качаясь, подпевают)* У Черного моря...

Хулиган.

Нет, милый читатель, мой критик слепой!  
По крайности, есть у поэта  
И косы, и тучки, и век золотой,  
Тебе ж недоступно все это!..  
Тебе ж недоступно все это.

Жильцы. У Черного моря...

Хулиган.

Ты будешь доволен собой и женой,  
Своей конституцией куцой,  
А вот у поэта – всемирный запой,  
И мало ему конституций!  
И мало ему конституций.

Жильцы. У Черного моря...

Хулиган.

Пускай я умру под забором, как пес,  
Пусть жизнь меня в землю втоптала, –  
Я верю: то Бог меня снегом занес,  
То вьюга меня целовала!  
То вьюга меня целовала.

Жильцы. У Черного моря... *(аплодируют сами себе)*.

Поэт. Что-то не то... Я пить хочу.

Барышня.

Странное чувство перетерпеть  
Дано мне шутя ли, в игру,  
Что будто вот-вот я должна умереть,  
Но что-то никак не умру.

*(Пробует напеть)*

Кажется странным знакомых взгляд.  
Во взгляде вижу вопрос.  
Но рада, что мне еще кто-то рад,  
И снег меня не занес.

Жильцы *(качаясь, пробуют подпеть)*. У Черного моря...

Барышня.

А что-то в домашних застенках ждет,  
Чему ни встать, ни вспорхнуть.  
Я лавок, ларьков обхожу черед,  
Свою проверяя суть...  
Через порог так шаги легки,  
(Так человек живуч)  
Но в щели крыльца вдруг впились каблуки,  
В замке перегнулся ключ.

Жильцы. У Черного моря...

Поэт *(садится)*. Теперь стучись в ту дверь, откуда выпустил ты разум *(бьет себя по голове)*.

Хулиган. Нет, в самом деле что-то не так! Мы про кого-то забыли!  
Голос Поэта. Сестра! Сестра...  
Хулиган (*оглядываясь*). Но про кого?

*В зале встает Человек Обеспокоенный и машет руками.  
Видя, что его не замечают – свистит.*

Человек Обеспокоенный. Сюда, товарищи, сюда! Вы забыли про чучела! Я уже два часа тут сижу, смотрю, чтоб не утащили! Мне от этого, честно говоря, немного не по себе!

Хулиган. Да! Головы-то надо привернуть!

Человек Обеспокоенный. И дом поднять! Я, конечно, понимаю, театр и все такое – но ведь поэты – они же как напророчат, так и будет! Чего доброго. Дома начнут падать, тут, понимаешь, головы!..

Сестра. Я... Я сейчас... Я приверну... Я попробую...

Павел Владимирович. Не подходи!

Мария Владимировна. Мы не хотим!

Сестра. Как?

Мария. Здесь так хорошо! Такое разнообразие! Такая... трудная судьба!

Павел. Не в том дело! Мы не под законом! Дела плоти известны: вражда, ссоры, зависть, пьянство, бесчинство и тому подобное. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Я давно замечал: доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! – думаю. – Кто избавит меня от сего тела смерти? И вот на тебе – здесь, на окне, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Я себя чувствую, как церковь Покрова-на-Нерли! Мария. И я расцветаю, как из зерна. Полейте меня!

Супруг. У нас, душа моя, воды нет. Я вчера грим одеколоном смывал.

Павел (*вдруг заевает на мотив «Что так жадно глядишь на дорогу»*).

Ты торжественно, неосторожно  
Широко раскрываешь окно,  
А на улице сыро, тревожно,  
Неуютно и просто темно.

Словно листья огромных растений  
В ясном свете окна твоего  
Оживают неясные тени  
Неизвестно кого и чего.

И хотя ничего не случилось,  
Все же будь осторожна, а то –  
Здесь свирепствуют старость и сырость  
И тебя здесь не любит никто.

Сквозь туманы и глюки разлуки  
Взгляд твой тихий тревожно ловлю,  
Я люблю твои тонкие руки  
И тяжелые груди люблю.

Может быть, ты об этом не знаешь?  
Разумеется, знаешь давно...

Что ж ты так широко раскрываешь  
В уютную полночь окно...

*Бурный восторг.*

М а й о р. Граждане! Посмотрите на дом – он стоит совсем перпендикулярно!  
Ж и л ь ц ы. Ура-а! Да здравствует любовь! (*разбрасывают листовки с каракулями Поэта*).  
С у п р у г (*Майору*). Ну что, душа моя? Следствие окончено?  
М а й о р. Да, да! Конечно! Я многого не понимал...

*Вспышка молнии. Удар грома. Шум дождя.*

П о э т. Наконец-то!

*Жильцы пляшут, поют частушки.*

Ж и л е ц.

От натуги цепenea,  
тянем цепи Гименея.

Ж и л и ц а.

Помогите нации  
выйти из стагнации!

Ж и л е ц.

Там, где были колоннады,  
разыгрались клоунады.

Ж и л и ц а.

Дали много мы зерна,  
да вот отдача мизерна!

Ж и л е ц.

Вот живем мы, жизнь ругая –  
только есть ли где другая?

Ж и л и ц а.

А на погосте жители  
да сплошь все положительные!

Ж и л и ц а (*Хулигану*).

Сразу видно дипломата –  
Говорит почти без мата.

Ж и л е ц.

И у етих, и у тех –  
Много тайных есть утех!

Ж и л и ц а.

Заявляет кум куме:

Ж и л е ц.

– Да в уме ли ты?!

Ж и л и ц а.

– В уме!

Ж и л е ц.

Поругались, подрались –  
вот и весь и плюрализм.

Ж и л и ц а (*Жильцу*).

Хоть ободран ты, как одр –  
только б дух остался бодр!

Жилец.

Помогите нации  
Выйти из стагнации!

1 - й жилец. Предавались идеалам!

2 - й жилец. Да под теплым одеялом.

1 - й жилец. Выдавали по звезде!

2 - й жилец. Но не всем.

3 - й жилец. И не везде.

Жилец.

Нагадала «да» ромашка,  
да, увы, опять промашка:  
в телогрейке, в кирзачах  
вкус к эстетике зачах!

Жильцы.

Как показывает опыт –  
время терпит, но торопит.  
Поменьше лейте вы воды,  
нам интересны выводы!

*Поэт, стоявший все это время зажмурившись, с поднятым кверху лицом, удивленно открывает глаза, рассматривает ладони. Дождя нет, только шум.*

*Мария Владимировна поет – весело, кокетливо, в духе шлягеров 60-70-х. Жильцы танцуют и подпевают.*

Мария.

Ливнем прорвавшись, дождь  
Напомнил, как день был труден,  
Что ты навсегда уйдешь  
Из этих промокших буден –  
И больше тебя не будет.

Жильцы. Пара-рам-пам.

Мария.

Зайдут на вечерний свет  
«Он дома?» – какие-то люди,  
А я им отвечу: «Нет!  
И никогда не будет!»

Жильцы. Никогда.

Мария.

И станет канатом нить,  
(Рубить – так с плеча) и даже  
Не Жизнь будет, чтобы жить,  
А так! лишь купля-продажа.

Жильцы. Пара-рам-пам.

Мария.

Печатей вечных базар.  
И память – торговым грузом,  
И знать наперед все дар  
Вверен мне лишь в обузу.

Жильцы. Дар в обузу. Дар в обузу. Дар в обузу. Дар в обузу

М а р и я.

Стану бояться слов  
Недолговечных, кратких,  
И-и-и-и неровных шагов  
На лестничной площадке.

Ж и л ь ц ы. Пара-рам-пам!

М а р и я (*подмигивая*).

Есть ли такой судья,  
Кто воровство осудит,  
Когда душа моя  
Себя у тебя забудет  
И больше ее не будет?

Ж и л ь ц ы. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда...

*Звуки дождя переходят в быстрый стук сердца.*

П о э т.

Меня задушит этот приступ боли!  
Тоска моя, не мучь меня, отхлынь!  
Не подступай с такою силой к сердцу!

*Из-за забора доносится:*

Лишь бы были кости –  
Мясо нарастет.  
Гривенник подбросьте –  
Рубль упадет.

*Дружные шаги жильцов.*

А орел ли, решка –  
Дело разве в том.  
Лишь бы только пешка  
Сделалась ферзем.

*Распахивается калитка. Четыре жильца несут на плечах розовый гроб и поют.*

Мы не волки – агнцы,  
Истинны слова.  
Вегетарианцы –  
Все нам трын-трава.

На земле мы гости –  
Ну, да все равно.  
Лишь бы были кости  
Домино.  
Лишь бы были кости  
До-ми-но.

г - й ж и л е ц. Для кого гроб?

П о э т. Для меня.

*Жильцы дают ему в руки гроб.*

М а й о р. Поэт! Опомнись! (*хочет отнять у него гроб*).

Поэт. Не надо вынимать меня из гроба...

*Общее замешательство.*

Ф и з и к (*сверху*). Коллега! Вы просили пить?

П о э т. Что это, солнце? – Я обманут всеми...

М а й о р. Сестра! Воды!

Поэт.

Не смейтесь надо мной...

Мы плакали, пришедши в этот мир,

На это представление с шутами...

(*снимает с Майора фуражку*)

Какая шляпа славная! – Вот мысль!

Ста коням в войлок замотать копыта

И – на зятьев! Врасплох! И резать, бить

Без сожаленья! Бить без сожаленья!

(*нахлобучивает фуражку Майору на глаза*)

Стреляй, Купидон, с завязанными глазами.

*Выходят все действующие лица.*

С е с т р а (*Поэту*). Я омочу вам губы. Вы просили пить?

П о э т.

Дай, я потрогаю. Да, это слезы.

Не плачь! Дай яду мне. Я отравлюсь.

Я знаю, ты меня не любишь. Сестра

Твоя меня терзала без вины,

А у тебя для нелюбви есть повод.

С е с т р а. Нет, нет его!

П о э т. Скажи, я нахожусь во Франции?

С е с т р а. Ну почему? Почему обязательно во Франции?

Х у л и г а н. Сергеич... Брось придураться.

П о э т. Но так же не бывает. Люди не обнимаются. И дома не падают. И... Я же понимаю, что это бред! Самый элементарный бред!

М а й о р. Нет, это инсценировка!

Х у л и г а н. Это Родина!

Человек Обеспокоенный. Я тоже протестую! (*встает*). Что значит бред! Разве я – бред? Я не бред!

Поэт (*задрав голову, кричит*). Физик! Я живой? И на родине? Скажи, что это не бред! Скажи!

П а в е л В л а д и м и р о в и ч. Дома падают, потому что проходит образ мира сего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего.

П о э т. Что ж ты молчишь! Анахорет! Скажи хоть что-нибудь!

П а в е л В л а д и м и р о в и ч. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Не обратель ли Бог мудрость мира сего в безумие?

П о э т. Физик!

*Пауза. Эфирные шумы.*

Голос Поэта. Все мучение, и ревность, и тяжесть в том, что мне, может быть, суждено только находить, а потом я, как рыбак, не умею ничего сделать с тем, что нашел, и могу потерять в том самом мире, где она мне засияла, и море станет опять пустым и темным, и я останусь таким же нищим, как был. Главное, что в этом (чего я боюсь всегда) есть доля призвания; доля правды, значит, доля моего назначения; потому что искусство там, где ущерб, потеря, страдание, холод. Эта мысль стережет всегда и мучает всегда, кроме коротких минут, когда я умею в Вас погрузиться и забыть все...

*Шум эфира, ткань часов.*

Голос Поэта.

Изобретатель был  
Знакомым моих знакомых.  
Я был не в настроении,  
Сказал, что зашел просто так.  
Он вытащил из-под шкафа  
Что-то ж свое, самодельное,  
И ручку повернул –  
И стало хорошо.  
Я оживился – надо же,  
Какая чудесная механика.  
Изобретатель скромничал,  
Это, мол, так, пустяки.  
И была беседа  
О странностях нашей жизни.  
И было хорошо,  
И тикал механизм.  
Настала пора уходить.  
Я спросил, а нельзя ли  
Мне самому  
Выключить эту штуку?  
Он разрешил. И я  
Горжусь, что вот этой рукой  
Я прикасался – сам –  
К чудесной машине будущего.

*Внезапно прекращаются все звуки.  
Поэт стоит одной ногой в гробу.*

*конец 2-й части*

### Эпилог

*Все стоят неподвижно. Сверху падают белые хлопья.  
Под тихие звуки музыки («Вы жертвою пали...») вверх начинают всплывать обломки белых статуй.  
Ходит белая лошадь, волоча «укротителя коней», и тычется ко всем мордой.*

Голос поэта.

Выпадают снега, и дома холодеют снаружи,  
 Это явственный знак, что что-то случится еще.  
 Из подъезда выходит изможденная белая лошадь  
 И костлявую морду кладет на мое на плечо.

До свиданья, друзья. Наше время – сварливое время.  
 Время скажет – иди, и я подчиняюсь, иду.  
 Мимо сел, городов, мимо материков, континентов  
 Я белую клячу поведу за собой в поводу.

Я умею насвистывать и напевать со словами,  
 И не есть, и не спать, появляться всегда и везде.  
 Никогда не заплачем, никогда никого не помянем,  
 Мы оставим следы – на снегу, на песке, на воде.

К нам привыкнут и будут смотреть насквозь, как в окошко,  
 Нас не будут любить, как утренний привкус во рту.  
 Но когда мы исчезнем, это будет настолько заметно,  
 Что новые люди поведут лошадей в поводу.

В с е поют (сначала – похоронный марш; постепенно сбиваясь на «Варяг»).

Вы жертвою пали в борьбе роковой,  
 В любви беззаветной к народу.  
 Вы отдали все, что могли за него,  
 За жизнь его, честь и свободу.

И лист, отрываясь, встает на ребро –  
 Крутится ему до упада,  
 А кто-то глядит, улыбаясь хитро,  
 Сквозь ломкую логику сада.

Он знает, куда паутина летит,  
 И видит, в какие провалы  
 Спускается лист, где терпенье скрипит  
 И красные дышат мангалы.

Он смотрит туда, где за дальней чертой  
 Гуртом собираются тучи,  
 И воздух, в цветное стекло налитой,  
 Становится злее и круче.

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!  
 Кипящее море под нами.  
 Не думали мы еще с вами вчера,  
 Что нынче умрем под волнами.

Но пал произвол и восстал весь народ  
 Великий, могучий, свободный...  
 Прощайте же, братья, вы честно прошли  
 Свой доблестный путь благородный.

конец



*Использованные первоисточники:*

*Письма:*

Александра Блока – с. 216-217, 229, 233, 256

Любови Менделеевой – 227

Александра Пушкина – 236, 239, 240

Надежды Холоповой – 228

*Зап. книжка* Блока – 223

*Реплики* Сергея Есенина – 216, 229

*Стихи:*

Александра Блока – с. 249-250

Алексея Добрынина – с. 222-223

Вадима Забашкина – с. 219, 224-225, 245, 246, 254

Николая Клюева – с. 246 («Плач по Есенину»)

Светланы Корневой – с. 247

Ивана Макарова – с. 251-252

Владимира Пражина – с. 248-249

Владимира Пучкова – с. 247

Александра Пушкина – с. 232-233

Павла Сергеева – с. 219, 220, 221, 222, 224, 225, 227, 242, 245, 252-253

Анжеллы Сорокиной – с. 250, 253-254

Андрея Филинова – с. 235

Леонида Шваба – с. 216-217, 219, 234, 243-244, 256, 257

В. Шекспира в пер. Б. Пастернака – с. 242, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 255

*Послания св. Апостола Павла:*

Гал. 5, 19-23 – с. 251

I Кор. 1, 20 – с. 255

I Кор. 7, 31 – с. 255

I Кор. 15, 44 – с. 251

I Кор. 15, 51 – с. 255

Рим. 7, 19; 7, 23-24 – с. 251

Рим. 12, 2 – с. 251

Кроме того, в парафрении использованы отдельные реплики Горького и Маяковского, нерифмованные тексты Пушкина, Блока, Сенеки, сведения из учебников: «Судебная психиатрия» Морозова, «Криминалистика» Пантелеева, «Спокойное Солнце» Гибсона и отрывки из песен российского пролетариата.

## Лада БЕЛАНОВСКАЯ

## ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Из книги «Путешествия за грань»

Дом, где я родилась, стоял на тихой астраханской улице, на той невидимой границе, что отделяет обширную татарскую часть города от его центральной части.

Название *улица Тихомировская* очень подходило этой относительно широкой улице, по которой мирно двигались арбы и повозки, не производя шума, благодаря мощному слою пыли на мостовой. Они курсировали мимо нашего дома между большим районом Татарбазара и другими частями города, широко и бестолково раскинувшегося между рукавами и протоками дельты. Полуденную тишину нарушали разноголосые певучие призывы водовозов и торговцев арбузами, дынями и всем прочим, что привозилось из районов.

Когда я подросла и стала разбирать написанное, меня очень удивило, что на почтовых конвертах нужно писать *улица Тихомирова*, а не привычное слово *Тихомировская*. В этом было что-то очень неправильное, тем более что взрослые про Тихомирова мне тоже объясняли не очень понятно. (Кстати, я узнала совсем недавно, что был он на самом деле видный революционер-народоволец, убежденный сторонник террора, что совсем не соответствует ни его фамилии, ни облику нашей тихой улицы.)

В те годы все быстро менялось, и время ставило новые вехи этих изменений. Я уже не удивилась, когда в тридцать пятом или тридцать шестом году бабушкина улица стала называться *Челюскинской* (вернее, *улицей Челюскинцев*). Тогда в стране не оставалось города, или любого населенного пункта, где не имелось бы улицы, названной в честь героически спасенного экипажа затертого льдами парохода «Челюскин».

Появилась табличка с названием, но в обиходе все жители продолжали называть ее по-старому. Так же, как ближний к нам мост через Канаву, пыльный городской садик и большая улица, ведущая в центр города, как в прежние времена, все еще назывались Губернаторскими. Самые большие и красивые городские бани так и продолжали называться Черновскими, и никто не называл их так, как было написано кривоватыми буквами на новой вывеске, кое-как приделанной над входом поверх красивых букв старого названия. Я совсем недавно освоила грамоту и находилась в периоде острого интереса ко всему, написанному крупным печатным шрифтом. На новой вывеске значилось, что это «Санитарно-пропускной пункт №1 Городского банно-прачечного треста». Старинная кондитерская на центральной улице обычно именовалась *Шарлау*, или, если быть точным, *У Шарлау*. Никто не называл это чудесное место «Кооператив № 4 Горторга», как значилось на вывеске. Я теревала взрослых и тоже не получала ответа, они целовали меня и отшучивались. И дедушка говорил что-то о «многих знаниях, умножающих беды». Все смеялись, а я немного дулась на них.

Бабушка навещала своих пациенток в любое время года и в любую погоду, мне же удавалось поехать с ней далеко не всегда, а только вечерами ранней осени или весной, когда страшный

---

*Лада Белановская родилась в Астрахани, с шестилетнего возраста живет в Москве (за исключением лет Великой Отечественной войны). Имеет высшее техническое образование, работала над проектированием объектов связи. С 1985 года стала профессиональным художником, член МОСХ России. Участвовала в пленэрах и выставках в России и за рубежом. Сфера интересов – восточно-христианская медиевистика и ее памятники в Восточной Европе; по результатам путешествий есть публикации в сборниках Санкт-Петербургского музея истории религии. Автор повести «Свет каждому. Поездки по Сербии» (изд-во «Русский Путь», 2016).*

астраханский зной отступал или еще не полностью набирал свою силу. Возвращаясь из дома пациентки, мы выходили на угол, где обычно в ожидании стояли извозчики. Подойдя к одному из них, бабушка говорила заветное слово: «На Тихомировскую!», и мы ехали, уже не спеша, под розовым закатным небом, через весь город. По улицам и через дороги сновали горожане, гуляющие или спешащие по своим вечерним делам.

Наша пролетка раскачивалась на рессорах, преодолевая ухабы и выбоины старой мостовой. От этого глубокого качания было немного страшно, моя душа замирала от радости, и хотелось в такт качке подпрыгивать и взлетать еще выше, до самого неба. Бабушка посмеивалась, но ее руки крепким кольцом держали меня сзади и не давали вырваться и взлететь.

\*\*\*

В то время, в конце двадцатых годов, я была еще совсем мала, мне еще предстояло вырасти и открыть для себя все, что было вокруг. Самой освоенной для меня областью мира был бабушкин дом и двор, его обитатели и те наши знакомые, кто часто к нам приходил.

Собственно, наше довольно просторное жилище было не отдельным домом, а половиной большого деревянного дома, длинным фасадом с высокими арочными окнами смотревшим на Тихомировскую улицу. Дом был разделен на две половины каменной стеной-брандмауэром, и каждая его половина имела свое отдельное парадное с двустворчатыми входными дверьми. Двери были массивные, с красивыми медными ручками; наша ручка всегда сияла, она была предметом особой заботы нашей домоправительницы Мани. Выше, на полотнище двери, недоступная для моих глаз, висела красивая медная табличка; будучи поднятой на нужную высоту, я любила гладить пальцем завитки еще не понятных для меня букв. Мама мне читала:

**Акушерка**  
**Евгения Павловна Климентьева**

Я давно подозревала, что главный человек из всех, кто окружает меня, это моя бабушка Евгения Павловна. Табличка подтвердила это окончательно и бесповоротно. Мне, как и всем маленьким детям, было почему-то очень важно выстроить для себя субординацию окружающих меня людей. Как всякому живому существу, в жизненной системе координат мне нужна была единая, доступная пониманию точка отсчета.

Детская душа изначально настроена на *абсолют* во всем, и не признает никакой относительности. Кстати или некстати, но тут же приходит мысль о точно таких же повадках собак и многих других братьях наших меньших, но это так, к слову пришлось.

В другой, не нашей, половине этого длинного дома проживал его владелец, у которого бабушка снимала нашу большую квартиру вместе с частью двора и дворовых построек. Хозяин дома был необщительным человеком, его редко можно было увидеть во дворе. Обычно, он выходил из дома вечером, и соседи с ним здоровались, называя по имени-отчеству, он же, молча глядя в одну точку перед собой, лишь приподнимал соломенную шляпу и молча кивал головой. В облике и поведении этого человека, которого все за глаза называли непонятым словом *дьякон*, для меня было что-то таинственное. Мне думалось, что дьякон это такой человек, вроде колдуна или волшебника, и я глядела на него во все глаза, когда он проходил. Совершенно не представляю, откуда залетела мне в голову эта фантазия, и почему его внешний вид запомнился мне так невероятно подробно.

Мне до сих пор не понятны такие странности человеческой природы. Какой смысл заложен в том, что я так подробно помню этого чужого мне человека, и в то же время столько нужного так легко и безвозвратно улетает из памяти.

Играя во дворе, я видела, как дьяконовы дети плющили свои носы и ладошки на стеклах веранды, и с интересом следили за носящейся мимо их окон детской стайкой. Только став взрослой, я узнала, насколько тяжела и опасна была жизнь этих внешне неприметных людей. После установления в Астраханской губернии власти большевиков духовенство подверглось

особенно жестоким расправам со стороны властей и ЧК. Служителей культа расстреливали без суда, как врагов революции. В 1919 был расстрелян вместе с епископом идущий вокруг собора пасхальный крестный ход.

Шли двадцатые годы, в Верхнем и Среднем Поволжье население выкашивал голод, и у властей еще не доходили руки до «социально чуждых» граждан. Позже, в середине тридцатых, о них еще вспомнят. Наш домохозяин, бывший дьякон кафедрального собора, старался никак себя не обнаруживать. Чудом избежав расправы во время смены власти, он теперь тихо жил со своим семейством в самой небольшой части своего прежнего дома, выходя только по необходимости.

Двор, расположенный вдоль внутренней стороны дома, был вытянут и состоял из двух половин, на каждую из них выходило свое дворовое крыльцо и застекленная терраса.

В самом конце длинного двора, против всегда распахнутых массивных ворот стояло каменное строение красильни, бывшее когда-то каретным сараем. Красильней владел процветающий в то время меховщик и шапочный мастер, татарин по имени Гаряй.

Когда Гаряй, отец моих друзей Сугута и Раузы, появлялся в дверях бывшей каретной, вся наша детская стайка собиралась вокруг, ожидая привычной игры. Вся фигура красильщика была припорошена чернотой, особенно узловатые руки, где в складках кожи черный цвет приобретал сине-металлический оттенок. Гаряй поднимал чёрные клешни рук и делал вид, что идет ловить нас.

Это была обычная наша игра. Мы прекрасно знали, что Гаряй добрый, и всё же внутри все обмирало от страха, и мы с визгом, налетая друг на друга, неслись от этих черных рук в дальний конец двора.

Дом, где жила семья красильщика, тоже выходил в наш двор. Отсюда начиналась татарская сторона, и все дома до самого Татарского Базара уже отличались высокими сплошными заборами с низкими калитками в воротах. Словно отмечая эту границу зримо, под уклон от красильни по пыльной земле текла, извиваясь блестящими змейками, вылитая из чанов отработанная краска.

Краска стекала к воротам в большую, очень красивую, сверкающую на солнце зеркальную лужу. Меня притягивал как магнит ее блеск, но от этого соблазна меня сразу уносили по воздуху крепкие руки нянь-Маруси. Душа сладко замирала в полёте, в сильных руках я высоко взмывала над зеркальной гладью и приземлялась уже на «нашей» стороне двора.

Во дворе, между двумя половинами дома росла старая мощная глициния. Её многочисленные серые стволы как канаты обвивали нашу террасу, и весной в высокие окна заглядывали гроздья лиловых цветов. В душистых цветах жужжали пчелы, а на деревянном полу террасы играли тени перистых листьев. Наступил год, когда глициния вдруг погибла, вся эта красота сразу исчезла, и привыкнуть к новому, оголившемуся виду террасы было трудно, хотя гибель её была неизбежна. В астраханском крае все кусты и деревья живут только до той поры, пока их корни не доберутся до глубин, где лежат засоленные грунты.

Мой дедушка был музыкантом, в семье все играли на разных инструментах, а у мамы, к тому же, был сильный и чистый голос. Музыкальные вечера в нашем доме были частью его жизненного уклада и до моего рождения. Продолжались они и в те годы моего детства, когда этот дом был для меня родным гнездом. Позднее взрослые, как могли, мне объяснили, что раньше, когда меня еще не было на свете, жизнь вообще была совсем другой, и вся семья жила тогда не в доме дьякона, а совсем в другом месте и другом большом доме, в котором тоже часто вечерами собирались и играли музыканты.

В двадцатые годы, о которых здесь идет речь, Нижнее Поволжье понемногу возрождалось после страшных лет кровопролития, голода и разрухи, когда вся прежняя жизнь сгинула и остались только заботы о том, чтобы не пропасть от голода и холода. Новая экономическая политика, или НЭП, как ее все именовали, спасла страну и оживила Нижнее Поволжье, сохранившее своё значение и прежние ресурсы для выживания в эти трудные и голодные годы.

Верные друзья, уцелевшие в этой буре, стали опять собираться в бабушкином доме, и эти встречи для всех, включая хозяев дома, были спасательным кругом, скорее даже плотом, помогающим не утонуть в море новой реальности. Необходимо было продолжать жить в ней,

иногда через силу преодолевая себя. Инстинкт заставлял их держаться вместе, чтобы не утонуть, подавшись отчаянию от понесенных и надвигающихся потерь. Все, кто собрался в доме на Тихомировской, знали друг о друге если не все, то очень многое, и не было необходимости в разговорах на болезненные темы прошлого.

В какой-то момент почти полностью иссохшие в людях ростки жизни потянулись к свету. Робко возвращалась память о прошлой, казалось бы, навсегда ушедшей жизни, и вновь приходила тяга к музыке, которой она всегда была наполнена.

Все это я узнала от бабушки и поняла значительно позже, уже в сознательном возрасте, а тогда я только пивывала весь окружающий мир, вполне по-младенчески полагая, что я и являюсь его центром.

Кстати, это было не так уж далеко от истины. Мое несколько незапланированное появление на свет изменило уклад жизни семьи, повернув его к соблюдению того порядка, который образуется, когда среди взрослых ее членов растет маленький ребёнок. В этом порядке никто из окружения не остается свободным от забот. Все векторы прежней жизни сразу оказываются развернутыми в сторону ежедневно образующихся неотложных дел.

Далеко не все наши гости были профессиональными музыкантами, хотя многие из них были исполнителями в том инструментальном ансамбле, лидером и вдохновителем которого был мой дед. Кто-то из друзей приходил реже, но на концерты, где программа исполнялась в «отыгранном» звучании, собирался довольно большой круг слушателей. Бывало тесновато, сдвигалась мебель, но в конце концов размещались все пришедшие, музыканты настраивали инструменты, поправляли пюпитры, и наступала тишина ожидания.

Мне передавалась необычность общего настроения, и я, умерив нетерпение, замирала в своём любимом углу, за фортепьяно, у зеленого кресла. Здесь, за креслом, была уютная впадина, откуда я видела всю комнату и всех слушателей. Особенно же я ценила то, что здесь можно было потихоньку сползти, скользя по кафелю печки, на пол и укрыться от няни, бдительно ждущей момента моего укладывания спать.

Сегодня нам странно представить себе приход кого-то из близких нам людей или знакомых без предварительного телефонного звонка, а тогда еще не было телефонов, но была привычка живого общения, и нравы были куда проще, гости приходили без оповещения, и это никого не смущало.

Каждый вечер в одно и то же время непременно ставился самовар. Для жителей Астрахани, с ее зноем и сухостью, самовар был естественной и необходимой частью домашнего обихода, к тому же всегда кто-нибудь забредал в гости. К вечернему чаю в доме всегда имелось нехитрое угощение – ягодные пироги, пареная айва, варенье. Если хозяева были чем-то заняты, гости могли откланяться, либо остаться и помочь хозяевам в делах, либо, не испытывая никакой неловкости, провести в доме время за книгой или фортепьяно и закончить вечер за чайным столом. В провинции тогда еще не расцвел буйным цветом «квартирный вопрос», но уже близко было время, когда это завоевание революции сметёт в небытие и домашние концерты, и все прочие «буржуйские выдумки».

В столицах «уплотнение» квартир пошло сразу же после победы революции, и даже одновременно с ней, и коммуналки вошли в жизнь как неизбежное дополнение.

Среди вечерних наших гостей самым близким и постоянным был доктор Кораблёв. Кажется, его звали Иван Павлович, но для меня он всегда был «доктор», когда я говорила с ним, и «доктор Кораблёв», когда в его отсутствии говорили о нём.

Доктор Кораблёв был известным, много лет практикующим в городе детским врачом и близким другом семьи. В среде городских медиков он славился как уникальный «слухач». Его стетоскоп спасал детские жизни в те времена, когда еще не так повсеместно имелся рентген и еще не было антибиотиков. Дружбе с доктором Кораблёвым был уже не один десяток лет, только ему доверялось здоровье бабушкиных детей, племянников и всех детей родных и друзей.

Он был из тех врачей, что не только лечат своих маленьких пациентов, но и выхаживают тяжелобольных, иногда несколько дней оставаясь в доме, пока малышам не станет лучше.

Не следует забывать о таких особенностях города, как гнилые ветреные зимы и страшный летний зной, в котором мгновенно начинается разлагаться всякая органическая съедь, особенно рыба. Была еще близость степи с чумными грызунами и транзитный порт – все это вместе было субстратом, на котором бурно росли самые разные инфекции. В бабушкиной практике, когда ей случалось принимать трудные роды и под угрозой оказывались жизни матери и младенца, всегда посылали за Кораблёвым. Он сразу приезжал, даже если это случалось глубокой ночью.

Таким же давним и верным нашим другом была Марья Александровна Годт, тоже врач, причём потомственный, из семьи немцев-колонистов, обосновавшихся в Поволжье с екатерининских времен. В далеком прошлом, когда бабушка, выпускница женских медицинских курсов, только начинала свою работу в городе, её наставником был известный доктор Годт, отец М. А. Дальнейшая жизнь поворачивалась разными сторонами, наступили тяжкие времена для всех, а каждую семью в отдельности повсюду подстерегали свои тупики и свои собственные потери. Холерная эпидемия унесла родителей – Годтов, но Марья Александровна каким-то чудом тогда выжила. С тех самых пор она, закончив женские медицинские курсы, вернулась и уже всегда была рядом с нашей семьей, где бывала когда-то с родителями. В самые безнадёжные периоды, когда на нашу семью обрушивались тяжкие беды, она была одна из тех, на кого можно было положиться всегда и во всём.

Во времена, о которых я пишу, Марья Александровна мне запомнилась, прежде всего, своей непохожестью на остальных наших знакомых и на всех членов нашей семьи. Она была всегда очень сдержана, даже суховата, и я, растущая в живом и эмоциональном общении, всегда ее немного стеснялась.

Внешне эти ее качества проявлялись и в манере одеваться. На ней никогда не было ярких или вообще каких-либо цветных одежд. Она была недурна и стройна, но одета она была всегда во что-то бесцветное, обычно это было тщательно отглаженное парусиновое, или другого материала, платье тусклого цвета и простого покроя. Такая же аккуратная панاما с опущенными полями была на голове.

От меня не утаилось, что мама и тётя между собой потихоньку подшучивали над этим странностями М.А. В нашем доме все женщины, независимо от возраста, включая бабушку и Маню, любили красивую одежду. Исключением была моя няня, нянь-Маруся. Она ничего не понимала в «фасонах», но зато любила делать «настоящую», то есть мужскую работу и читать книги, особенно предпочитая стихи. В общем же, ни малейшего намека на аскетизм в быте и привычках нашей семьи никогда не наблюдалось.

У Марьи Александровны была еще одна особенность совсем другого свойства. У неё была редкая болезнь – она не могла переносить шерсть животных, в частности кошек, тогда медицине еще не столь много было известно об аллергии и о борьбе с ней. Можно представить себе, как трудно жилось человеку с этим заболеванием в пропахшей рыбой Астрахани, где не только на пристанях, но и в каждом дворе вольно жили и плодились многочисленные поколения кошек.

Когда на пороге возникала фигура М.А., бабушка, громогласно отдав команду убрать котов, выдерживала гостью в парадном, плотно прикрыв двери в дом. Тем временем Маня кидалась по всем углам и комнатам, ища и выволакивая оттуда наших кошек, спящих после ночных трудов.

Несмотря на манеру держаться, почти не участвуя в общих, иногда довольно бурных беседах, было ясно, насколько было сильно влияние М.А. в доме. Самый главный наш человек, бабушка, относилась к ней как-то особенно, не так, как ко всем.

Между ними бывали долгие беседы вдвоем, с глазу на глаз за чаем на террасе, и никогда никто из взрослых не пытался их нарушить. Я из любопытства все норовила остаться, прижавшись к бабушкиным коленям, но меня всегда уводили, пока я не смирилась и не поняла, что лучше самой исчезать вовремя. Характер бабушки порой приводил ее к поспешным выводам и решениям, о них она потом жалела, но признаваться в этом даже себе самой не любила. Она знала, что необходимый противовес этому она всегда могла найти в спокойной рассудительности Марьи Александровны.

Почти всегда вместе с М.А. приходила ее дочка Нилочка, полное ее имя было Неонила, такое старинное и необычное имя дала М.А. своей единственной дочери. Девочке этой в тот год было лет восемь, и мне очень хотелось с ней подружиться, но это всё как-то не складывалось. Нилочка, приходя к нам, держалась около своей мамы, слушала музыку и разговоры, и когда я звала её играть, улыбалась, но отрицательно качала кудрявой головой. Это меня огорчало, мне очень нравилась эта девочка, мне было обидно, что я для неё всё еще совсем малышка, ведь она на тот момент была вдвое старше меня.

В годы гражданской войны М.А. как врач была мобилизована и работала в передвижных воинских лазаретах в степи, на линии недавно построенной Кизлярской железной дороги. Осталось навсегда неясным, на чьей стороне, белых или красных, были госпитали в этих наспех оборудованных полуразбитых санитарных поездах. Вполне вероятно, что и сами медики не всегда могли определить, кому они помогают. Санитарные поезда переходили из рук в руки, пока все окончательно не потонуло в неразберихе отступления и общей обреченности.

Тогда там, в безводной степи, смешались отступавшей на Астрахань Одиннадцатой армии красных с белоказачьими частями, выступившими им наперерез с флангов. Бывшие противники сбивались в общие толпы. Потеряв лошадей, без воды и пищи, дойдя до истощения и обезумев в тифозном бреду, тащились они по голой степи, не разбирая пути. Отставшие падали и оставались лежать. Сама собой исчезла важность того, кто за что и на чьей стороне воюет. Медики, как могли, пытались помочь людям, потерявшим человеческий облик, но еще живым, оказавшимся у своего последнего предела.

В один из промозглых дней астраханской зимы М.А. появилась на пороге прежнего, неизвестного мне, бабушкиного дома, в сбитых опорах, и каких-то невообразимых лохмотьях. Еще до того, как она сняла слои намотанного тряпья, бабушка, взглянув на ее лицо, поняла всё, и безошибочно определила количество недель, остающихся до родов. Случай был не из лёгких, роды были поздние, и тем не менее в положенный срок бабушка приняла в свои руки хорошую здоровую девочку и выходила обеих, и мать, и ребенка. Она даже сумела достать вакцину и сделала ребенку оспопрививание, что было тогда совсем не просто.

Пришло время, когда я узнала эту историю и многое другое о нашей семье из рассказов бабушки и сохранившихся старых писем. Лет в двенадцать меня стало занимать то, что было написано на этих желтоватых листках, ломающихся на сгибах. Ветры времени разметали и унесли эти листки из другой жизни, от них осталось совсем мало, если не считать того, что сохранила крепкая детская память.

Они всегда приходили к нам вместе – Марья Александровна с Нилочкой, и их присутствие для меня неотделимо от дома на Тихомировской. Когда в тридцатые годы бóльшая часть нашей семьи уже переселилась в Москву, эта дружба не прерывалась, она продолжала жить в письмах. В то время люди активно писали друг другу, ждали письма, беспокоились и посылали телеграммы, когда они долго не приходили.

До войны мы с бабушкой, а иногда и с дедом, почти всегда летом приезжали в Астрахань, жили у тети Нины и опять встречались со всеми дорогими нам людьми. Бабушка весь год готовилась к этим встречам, ее неудержимо тянуло в город, где столько пришлось пережить и где это помнил каждый камень. Здесь остались труды, потери и заботы, определились ее непростой характер. С нее всегда был спрос за всё и за всех. И за тех, кого лечила, и за благополучие семьи, и за мужа и подрастающих детей.

В самом конце войны, когда уже не было на свете ни нашего дедушки, ни Марьи Александровны, Нила, ставшая военным врачом, бывая проездом в Астрахани, не переставала навещать бабушку и тетю. Она и моя нянь-Маруся всегда оставались для нас настоящими родными. Старых друзей и знакомых, собиравшихся когда-то в «зеленой» гостиной на Тихомировской, с годами становилось все меньше.

Ссамого начала войны, сразу по окончании мединститута, а может быть, даже не успев окончить последний курс, Нила была призвана в армию. Всю войну она прослужила в эвакогоспиталях,



санитарных поездах, вывозивших раненных с боевых позиций в тыл. В последний раз я ее видела в доме тети, сразу после ее демобилизации, году в сорок седьмом; она пришла к тете Нине. Были каникулы, и я тоже была там.

Мои тогдашние приезды в Астрахань были скорее вынужденными; в Москве было очень голодно. И, что совсем уж не оставляло выбора: на лето нужно было освобождать койко-место в общежитии.

При встрече мы с Нилой крепко обнялись. Я смотрела и поражалась ее сходству с матерью. Исчез пласт времени, и передо мной стояла прежняя Марья Александровна.

Только минуту могла длиться иллюзия, прошедший временной пласт был так плотен, что и мы, пройдя через него, были уже и сами совсем другими. Очертания той, *другой* жизни, просвечивая сквозь него, казались теперь совсем далёкими.

Передо мной была стройная женщина в форме майора медицинской службы, с планками боевых наград. Лицо был молодым, но следы накопленной усталости лежали на висках и под глазами.

...Музыкальные вечера в бабушкиной «зеленой» гостиной различались и по количеству гостей, и по их составу. Бывали вечера, когда собравшихся было так много, что приходилось распахивать двухстворчатые двери в коридор. Как я понимаю теперь, это были репетиции перед какими-то концертами, которые проводились в разных городских залах. Со времён прежней, как ее тогда называли, *довоенной* жизни, были еще живы в городе прежние устоявшиеся традиции, хотя многие из них ушли навсегда. Так же, как и те места, где когда-то прежде собиралась городская публика.

В годы НЭПа, когда стало легче жить не только нэпманам, но и горожанам, что-то из прежней жизни, хотя и в неизбежно измененном виде стало возвращаться. В городских садах и набережных, где вечерами гуляла публика, с маленьких деревянных эстрад опять звучала музыка. Репертуар состоял из тогдашних шлягеров и мелодий из оперетт, а их исполнение кое-как собранными оркестриками было похоже на пародию. Но это был знак, что жизнь еще может вернуться!

Чтобы понять, почему это было важно, придется еще немного вернуться во времени и залезть в историю. Астрахань с середины девятнадцатого века становится музыкальной столицей Поволжья, городские театры и концертные залы были построены хорошими зодчими на средства богатейших меценатов. В этих стенах с прекрасной акустикой шли выступления местных певцов и музыкантов, сюда же ежегодно съезжались на гастроли столичные знаменитости. Приглашения на гастроли в Астрахань были знаком престижа и охотно принимались. Здесь всегда был обеспечен прием публики, полные сборы и чествования с памятными подношениями.

Самую многочисленную основу городской культурной публики, посещавшей концерты и спектакли, помимо дворянского и купеческого сословий, составляла образованная часть горожан. Центрами притяжения интересов интеллигенции были известные передовые люди, высланные сюда из столиц и университетских городов за свободомыслие и «неблагонадежность».

В городе процветали городские музыкальные классы под патронатом Императорского Русского музыкального общества, в них позднее в качестве преподавателя трудился мой дед, и учились дети – мои дядя и тётя.

Все это было и отошло в прошлое задолго до моего рождения, а теперь пора опять вернуться в тот вечер моей жизни, когда, сидя на полу в углу гостиной, я, замерев, вслушивалась в тишину и ждала чего-то, что вот-вот должно было начаться. Было радостно, немного тревожно и хотелось куда-то спрятаться от этого ожидания. Передо мной темнела внутренность фортепьяно, в эту темную пещерку я любила залезать, меня туда неудержимо манил строжайший запрет что-либо потрогать. Когда кто-то садился за инструмент, перед моими глазами начинали оживать молоточки, обитые грязно-белым фетром, и гулкий звук шел со всех сторон сразу. Долго выдержать в этом звучащем укрытии было невозможно, и я выползала, пятась на четвереньках, пока мой тыл не упирался в заветный угол.



Самой яркой из всех гостей была всегда Софья Григорьевна Домерщикова. Она приходила не особенно часто, но почему-то было ясно с самого первого раза, что ее приход был важен для всех и что она вообще человек особенный. В моей голове возникала ревнивая догадка, что в музыкальных делах она даже главнее моего дедушки.

Внешность и манеры Софьи Григорьевны были необычны, я никогда еще ничего похожего не видела. Все в ней меня удивляло и даже немного пугало, особенно низкий властный голос. Когда она входила в гостиную, звук голоса и особенно смех совсем не совпадали с любезными словами приветствий, и невольно хотелось расположиться где-нибудь в сторонке, подальше от ее взгляда. У нее было крупное, очень белое лицо с сильно подведенными глазами и крашенными в неестественно-черный, даже скорее темно-синий цвет волосами. Таких прямых, жестких и отливающих металлом волос я не видела никогда. В детском моем невежестве мне было невдомек, какие сложные опыты приходилось тогда проделывать над собой женщинам, чтобы закрасить раннюю седину. До появления нормальной краски для волос в нашей стране оставалось тогда еще не менее полувека.

У Софьи Григорьевны с детства был деформирован позвоночник, и во всей ее жизни необъяснимым чудом природы явилась ее блестящая пианистическая техника. Здесь я позволю себе опять отступить от хронологии и вставить то, что узнала позднее. Софья Домерщикова обладала ярким талантом, он развивался и набирал мощь, вопреки всему, даже явному физическому недостатку. Есть тайны природы, непостижимые для нас, вместе с физическим изъяном С. Г. была наделена тончайшей музыкальностью, в сочетании с необычной для женщины силой длинных рук и крупных кистей.

Ее необыкновенный дар сразу выделил ее среди учащихся Петербургской консерватории, где ее заметил молодой С.В. Рахманинов. Известно, что их совместная концертная деятельность продолжалась и в Московской филармонии, и в гастрольных поездках по России. Вероятно, она продолжилась бы и далее, но революция положила конец всему ходу и устройству прежней жизни, в том числе и жизни музыкальной.

Сергей Васильевич, отправившись в гастрольную поездку, не вернулся на родину и навсегда остался за рубежом, а С.Г. по здравому размышлению решила уехать из Москвы, надеясь переждать лихолетье в городе, где она неоднократно бывала с гастролями, и где ее имя было хорошо известно и почитаемо. Это «переждать» было в тот период очень характерным для интеллигенции стремлением временно уехать, пока привычная жизнь не вернется «на круги своя».

Если меня не подводит память, в армянской диаспоре Астрахани были у С.Г. и родственные связи, и это обстоятельство в те беспокойные годы могло иметь решающее значение.

Не углубляясь в биографические подробности, отмечу только, что Софья Домерщикова всю дальнейшую свою жизнь связала с Астраханью и здесь, в этом городе, несмотря на тяжесть вживания в непривычную обстановку, расцвел ее редкий педагогический дар. В течение многих лет, вплоть до сороковых годов, ее трудами воспитывались замечательные исполнители, чьи имена известны в мире музыки.

В числе ее учеников была когда-то и моя тетя Нина, у нее, кроме врожденной музыкальности, были воля и сильный характер. Преодолевать ей приходилось многое: маленькая кисть с коротковатыми пальцами требовала особых упражнений, а её небольшой рост был дополнительной проблемой. Но в её небольшом крепком теле была физическая сила, а в характере – редкое упорство в утверждении себя. Софья Григорьевна угадала перспективы, поверила в свою ученицу и стала, не считаясь со временем, всерьез работать с ней, готовя для поступления в столичную консерваторию. В самый разгар подготовки тетка вдруг, ничего никому не говоря, перестала приходить на уроки к С.Г.

У Нины случился роман, изменивший всю ее судьбу; главная любовь ее жизни. Но это уже совсем отдельная история, и здесь я не коснулась бы её, если не хотела бы отметить благородство С.Г., которая в конце концов простила свою ученицу. Случай, когда ученик без объяснений оставляет наставника, это одна из самых тяжело переносимых нами измен.

Музыка была главным содержанием жизни С.Г., все остальные составляющие жизни и быта существовали для нее вполне условно, на самом дальнем плане и в той единственной проекции, что могла повлиять на занятия музыкой.

Многое, что случилось с нашей семьей вслед за этим, сильно изменило весь ход её жизни и состав её окружения, рядом остались только немногие истинные друзья. В числе оставшихся была и С.Г. Все обиды и недоразумения были забыты, они не замутили верность отношений.

Укрывшись за креслом, в своем уголке, я понемногу сползала по стенке на прохладный пол. Напротив меня в кресле сидела Софья Григорьевна, и я глядела на нее во все глаза и не могла оторваться. Все ее лицо, особенно глаза, словно жили вместе с музыкой, были ее частью и каким-то образом управляли ей. Мне становилось не по себе, когда на это лицо вдруг набегала тень и оно становилось каким-то совсем чужим. Словно случилось что-то неправильное и уже нельзя было ничего с этим поделать. Но вот, через секунду, музыка уже лилась так, как нужно, и лицо главной её повелительницы вновь оживало, и все вокруг сразу светлело.

От позднего времени мои веки становились всё тяжелее. Ярko светили лампы-молнии, подвешенные высоко под потолком, и постепенно из моих глаз к ним начинали протягиваться тонкие лучи. Эти светящиеся дугообразные нити, отразившись от моих глаз, уходили куда-то вдаль, далеко за пределы стен дома и там, в дальней дали, пересекались, образуя причудливую сеть. За эту светящуюся сеть стали уплывать звуки, за ними растягивались и плыли все предметы и лица. Все они уже были словно отделены от меня и друг от друга, и между ними уже начинали оживать какие-то неясные образы из побеждающего меня, понемногу, сна. Я чувствовала, как меня уносят тёплые руки, и уже в полутьме спальни, проснувшись на мгновение, слышала приглушенный закрытой дверью чистый мамин голос:

Не пой краса-а-авица при мне...  
 Ты пе-есен Гру-узии печа- а- альной,  
 Напомин-а-ают мне-е оне-е-е-е-е-е-е-е-е-е...  
 Другу-ую жизнь и бе-ерег далеко-ой...

Для меня этот романс остался навсегда связанным именно с теми вечерами моего детства. Никаких прямых аналогий не было. Наш волжский берег, по любым меркам, не был дальним; да и печаль Грузии, вдохновившая поэта в дни ссылки, не были частью той жизни, которой мы жили в те годы. Она была просто *другой*, эта жизнь, не похожая на всю, что была позже.

Перекрёсток древних торговых путей в дельте Волги было пронизан влиянием Востока, пришедшим из глубин многих тысячелетий. Самые разные народы проторили пути на этот торговый перекресток, они шли с российского севера и с прикаспийского юга, с востока из Индии и Средней Азии. На запад уходил путь в Причерноморье, и далее в юго-восточную Европу и Малую Азию.

Население города состояло из представителей самых различных осевших здесь национальностей и конфессий. Может быть, и не всегда мирно, но в конце концов все они уживались, мудро обходя причины для вражды. Кроме наиболее многочисленных русских, казачьей и татарской диаспор, в Астрахани с незапамятных времен уживались кавказцы, калмыки, кайсаки (прикаспийские кочевники), персы и другие представители всех народов, живших вокруг Каспия.

По астраханским улицам валяжно вышагивали верблюды в клочьях свалывшейся шерсти, запряженные в скрипучие арбы, с которых шла торговля арбузами, дынями, овощами и всем на свете, и далеко разносились певучие призывы торговцев. Я подбегала к окну, сквозь щели ставен была видна выбеленная солнцем, расчерченная почти черными тенями часть улицы. Днем меня не выпускали из затемненной прохлады дома, и только поздним вечером, когда отступал зной, начиналась настоящая жизнь.

В благодатных сумерках распускались душистые цветы, пели цикады, а с наступлением темноты начинали свою переключку сверчки. Трели сверчков, такие робкие с вечера, постепенно набирали силу и ближе к ночи звучали неправдоподобно громко. Я долго не знала, пока не увидела, что они на самом деле совсем маленькие, эти громкоголосые ночные певцы.

До этого я их представляла себе существами вроде сказочных гномов, настоящими невидимыми хозяевами домов и всего вокруг, что было скрыто темнотой. Слышать их можно было только ночью, и невозможно увидеть днем.

Бытовая культура обывательской жизни была далека от сказки, если смотреть из наших сегодняшних дней, отстранив ностальгический флёр. Не следует забывать, что при долгом знойном лете в большинстве городских домов не было ни водопровода, ни канализации.

Новые солидные дома строились с особой системой вентиляции, сделанной по немецкому образцу. Она делала почти не ощутимым присутствие в доме клозета и кухни. Такое устройство имело и у нас, в доме дьякона, но далеко не все владельцы домов в нашей округе могли себе это позволить. Неизменной принадлежностью улиц Астрахани были обозы золотарей с огромными бочками и ковшами. При их появлении улицы и дворы надолго пустели, двери и окна захлопывались.

В Астрахани, в татарской ее части, где мы тогда жили, было немало действующих мечетей. Утром и вечером на балконах минаретов появлялись фигурки муэдзинов, казавшиеся очень маленькими, и над крышами домов разносилась переключка их высоких голосов.

Когда мне было года три, моя тётя Нина, старшая мамина сестра, вместе с мужем, дядей Лёшей, переехали от бабушки в свою квартиру. Новый дом, где они теперь жили, был совсем недалеко от нашей улицы Тихомирова, и мы часто навещали друг друга. Обычно с вечерним визитом от нас отправлялись дед с бабушкой и, как правило, прихватывали с собой и меня. От прилива радости я всю дорогу прыгала и кружилась, изображая балетные па, пока меня крепко не брали за руки с двух сторон. Прыжки мои замедлялись в местах, где на низеньких скамейках сидели татарки, продающие сладости. Перед ними были разложены бумажные фунтики с сахарной халвой, золотистой мушмулой, *чилимом* и прочими прекрасными вещами.

Я соединяла обе взрослых руки и робко заглядывала снизу:

«Ну, пожалуйста!» – Мне было хорошо известно, что на улице мне ничего не купят, но здесь и сейчас всё казалось совсем другим и страшно заманчивым. Появлялась надежда – а вдруг! Но мои страдания не находили отклика у бабушки – она была непреклонна. Дед молчал, хотя сам факт отказа мне в чём-то слегка портил ему настроение. Так на каждом углу возникала и тут же улетала маленькая тень конфликта.

На наш звонок калитку открывал дворник. Недавно отстроенный трехэтажный дом был необычным для Астрахани. Какой-то совсем нездешний у него был вид, с его обширным двором и садом. Дом был построен акционерным обществом, в котором работал дядя, и своим видом и размером он резко выделялся среди улочек и покосившихся домов старого квартала. В сотне метров от дома из серой мешанины крыш уходил вверх стройный силуэт большой мечети. Из окон тётиной гостиной можно было хорошо разглядеть ее высокий минарет, узорчатые кованые балконы и прекрасные изразцовые узоры, украшающие все здание.

Я, не отрывая глаз, смотрела на этот силуэт, парящий, как мираж, в вечернем небе над убогим окружением серых домишек. Мне объяснили, что мечеть эта персидская, и поэтому она стоит отдельно, не там, где обычные татарские мечети. Я это приняла на веру, не поняв по сути, но была абсолютно поражена подробностью, что в какой-то определенный день не следовало выходить на улицы, близкие к этой мечети, чтобы не попасть в толпу выходящих из неё людей. Мне запомнился рассказ кого-то о том, что люди в этот день выходят из мечети, бьют сами себя железными цепями до крови, и называется это страшное дело «шахсей-вахсей». Вскоре эти ритуалы, как многие другие, более безобидные, были пресечены антирелигиозными законами.

Отблеск прежней жизни, не понятной лично для меня, давал о себе знать через огромный старый бабушкин сундук. Эта была пещера Аладдина, замечательная уже тем, каким чудным и

мелодичным звоном отзывался ее замок на поворот ключа. Ключ тоже был необычно большой, резной и красивый. Этот звон всегда отмечал начало волшебного праздника, которым бабушка баловала меня не часто. Я, замерев от восторга, получала из бабушкиных рук дивные сокровища, давно мне знакомые, но всегда желанные. Крепкий запах нафталина, шедший из этой бездонной пещеры, опьянял и обещал мне что-то еще никогда не виданное. Из глубин полупустого сундука появлялась череда волшебных вещей: огромные помятые шляпы с перьями и цветами, вышитые стеклярусом кружевные накидки, корсеты, невиданные высокие ботинки и перчатки из тончайшей лайковой кожи. Всё это великолепии было последним, что сохранилось, не было пущено в ход и перешито из-за его полного несоответствия новым временам. Мне до конца не верилось в то, что такие удивительные вещи можно было видеть когда-то на моей стоящей рядом бабушке, а не только на ее старых снимках.

Эти вещи, свидетели лучших дней, были, несомненно, европейского происхождения и качества. Понятно, почему рука не поднималась выбросить такую красоту. Хотя и непоправимо устаревшая, она всё ещё была красотой. Я примеряла на себя её остатки и разглядывала себя в зеркале старого трюма.

Подозреваю, что эти примерки выглядели вполне уморительно и служили забавой для всех. Получалась игра в маленький и смешной театр.

В этот момент в дверях обычно возникала голова любопытной Мани. Увидев всё происходящее, она залилась хохотом:

– Ой, не могу-у!

В коридоре с перепугу заходила лаем тётиня собачонка. Недовольная суматохой бабушка отправляла всех, прикрывала двери, и мы всё укладывали в сундук обратно. И как-то всё веселье этой затеи уходило, прощально и нежно звенел замок от поворота ключа. Бабушка брала меня за руку, наклонившись, целовала в макушку, и мы уходили от сказочного сундука в обычную жизнь.

В начале тридцатых годов мои родители окончательно переехали в Москву, но вначале жили там неустроенно по разным съёмным углам. Родное наше астраханское гнездо еще долго не отпустило нас в чужой московский мир, и мы с мамой продолжали приезжать к бабушке каждый год.

Я повзрослела и не могла не замечать, как с каждым очередным приездом всё больше меняется моя *другая жизнь* и моя прежняя Астрахань. С каждым годом что-то уходило из её облика, и терялась его яркость и необычность.

Однажды прозрев, я подумала, что время уносило то, что делало её *восточным городом*. Знакомые места и здания словно понемногу заносились слоем серой пыли, обесцвечивающим и стирающим знакомые очертания.

В городе многое подновлялось и ремонтировалось, но при этом городским хозяйственникам почему-то особенно нравились серые, тускло-синие или коричневые цвета масляной краски. Густыми слоями этой краски каждую весну покрывалось всё, что потрескалось, облезло и могло попасться на глаза начальства.

Под слоем краски оказывалось всё чуждое и буржуазное, что еще оставалось от проклятого прошлого – затейливая лепнина и роспись бывших особняков и магазинов. В число «капитально обновлённых» попали: кондитерская Шарлау, интерьеры Черновских бань, уютные павильоны и бывшие модные лавки. Прежнее лицо города стёрлось, уступая требованиям новых стандартов. На пустырях и окраинах появлялись новостройки, возрождались трамвайные линии, проводились водопровод и электричество, в центральной части города появилась канализация. Жизнь и быт менялись по объективным законам времени. Изменения шли медленно; почему-то их ход иногда надолго замирал или сводился на нет.

Мне удалось застать многое из того, что в последующие годы навсегда затонуло во времени. Моя *другая жизнь* жила во мне всегда как нечто, отдельное от всего другого и не связанное с последующими событиями.

С каждым разом, когда я приезжала, город и жизнь в нем становились все более безликими, удивительно схожими с жизнью многих других советских городов. Названия астраханских улиц,

гостиниц, кинотеатров и магазинов за редким исключением были абсолютно такими же, как в Вологде, Саратове, Хабаровске, Свердловске и далее по списку. Никакой *восточности*, всё как везде, без отступления от принятого стандартного набора. Многих новых астраханцев именно это и радовало, в смысле «и мы как все, и мы не хуже других».

\*\*\*

Я давно стала взрослой, жила в Москве, там были мой дом, моя семья, моя работа. Астрахань становилась мне все более далека, она была уже совсем не той, которую я знала и любила и где когда-то жили мои самые близкие люди. И всё же я не могла отделить себя от этого города. Корни моей памяти, несмотря ни на что, всё еще держались за его солончаковую почву. Здесь мне было суждено много пережить в разные годы моей жизни. В том числе в те дни, когда мне пришлось хоронить живших здесь одиноко и умерших в течение одного года моих тётю и дядю. Теперь здесь не оставалось у меня даже знакомых, если не считать немногих соседей в тётинном доме. Многих из них вспоминаю добром, а иных даже и помнить не хотелось бы, слишком много есть всякого в этих воспоминаниях.

Через восемь лет после ухода тётки случилась смерть мамы. Оглушенная смятением, я чувствовала себя выпавшей из жизненной обоймы, чужой себе самой и не нужной никому. Несколько месяцев я никак не могла с этим справиться и была совсем плоха. Показалось, что мне будет легче, если я съезжу в Астрахань, схожу на родные могилы и во все те места, где мы когда-то бывали вместе с мамой.

Был конец августа, время жестокой астраханской жары, я прибыла в город, и сложилось так, что трудно было с обратными билетами, и в моем распоряжении оказался всего один день. Я сошла с теплохода утром, и в моей сумке уже был обратный билет на ночной московский поезд. Я сдала багаж и поехала на трамвае в город. От центра, знакомым путём, по Кировскому мосту перешла Канаву, и на углу Спартаковской улицы меня словно какая-то сила затянула в проём полуразрушенных ворот. С прошлого моего приезда во дворе мало что изменилось. Так же в углу громоздились мусорные ящики среди мраморных разводов высохающих вокруг помоев. Все так же часть двора, в давние времена бывшую садом, занимали ряды дощатых сортиров. Система канализации, ранее работавшая в доме, всё ещё не была восстановлена, и теперешние новые жильцы не утруждали себя хлопотами, их устраивал этот вполне привычный вариант «удобств во дворе». Каждый маленький сортирчик был принадлежностью одной квартиры, и поэтому на дощатых дверцах зримой гарантией порядка красовались разнокалиберные висячие замки. Длинная многоногая скамейка у крыльца и растущие около неё лохматые кустики кохии и «ночной красавицы» – всё было таким же, каким было уже много лет. Таким же, как в тот памятный день, когда мы с мамой, сдав ключи от тёткиной квартиры, уезжали отсюда навсегда.

Приближался полдень, жара уже набрала силу, и я поняла, что не рассчитала свои возможности и вряд ли смогу добраться до кладбища и без чьей-либо помощи разыскать могилы. С учётом времени на ожидание трамвая в оба конца, я просто не смогла бы это сделать в оставшиеся часы.

Стараясь держаться теневой стороны улиц, я, потеряв определенность цели, пошла вдоль сильно заросшей камышом Канавы, в сторону, где начинался когда-то татарский квартал. С непривычки я раскисла от жары, и даже узнавание каких-то памятных мне строений, таких как моя первая школа или еще сохранившиеся старые ворота с тумбами, не нарушало моего нарастающего равнодушия и недовольства своими действиями. Я брела по мало изменившимся улицам, думая, куда мне деть время до вечера, и вдруг меня что-то остановило и притянуло взгляд. Напротив, на другой стороне улицы я увидела серый от времени деревянный дом, его декор отличался плавной кривизной провинциального модерна и каким-то особенным фронтоном с овальным отверстием посередине. Это отверстие и видные сквозь него овальные куски вечернего или утреннего неба я столько лет видела из окна своей детской. Я огляделась, и мне вдруг стало ясно, я нахожусь у бабушкиного дома, на улице, бывшей Тихомировской, позднее ставшей Челюскинской.

С трудом веря самой себе, я начинала узнавать некоторые сохранившиеся рядом старые дома. Мне до мелочей были знакомы эти двери, лестницы и когда-то нарядные, а теперь тёмные и обветшавшие фронтоны. Наш, «дьяконов» дом я сначала не узнала, а узнав, долго не могла поверить, что этот, сильно вросший в землю старый дом и есть тот высокий и солидный особняк с двумя красивыми парадными.

Бывшее наше парадное было заколочено, низ двери, чуть покосившись, ушел в землю, но дом всё еще сохранял признаки когда-то добротного жилья. Кое-что было подновлено; ставни исчезли, и на серых стенах, подчеркивая их возраст, ярко белели современные стеклопакеты.

Я провела рукой по створке бывшей двери, пытаюсь в осыпающихся слоях краски найти следы от винтов, когда-то державших здесь медную табличку. Ко мне, опираясь на палку, подошла и поздоровалась старая татарка. До этого она подозрительно поглядывала на меня, сидя на лавочке у ворот. То, что происходило дальше, было неправдоподобно и похоже на сон. Тем не менее, всё было именно так.

Старуха вполне хорошо и почти без акцента обратилась ко мне по-русски, спрашивая, кого я ищу. Интонации её голоса и манера держаться что-то мне напоминали, но я никак не могла понять, что именно. Мы понемногу разговорились, и только тогда мне стало ясно, что она и есть та наша бывшая соседка по двору Фатима, жена давно умершего красильщика Гаряя. Трудно было поверить, что такое может быть в наше время, но они никогда отсюда не переезжали. Фатима помнила нашу семью, всех жильцов и обстоятельства той нашей общей *другой жизни*.

Мы смотрели друг на друга и обе не верили, что такое может быть.

– Как же не помнить! Здесь жил «акушерка», к нему ходили. Тут это помнят все женщины! – и, поворачивая ключ в замке ворот, совсем тихо добавила: – кто еще есть живой...

В нашей старой квартире теперь жил с семьей ее сын Сугут, тот самый, когда-то бегавший с нами во дворе бритоголовый карапуз. Теперь он стал человеком состоятельным, процветал в торговле и, по словам матери, был «начальник». Фатима радушно пригласила меня войти, у нее были ключи от бывшей бабушкиной квартиры. Я внутренне преодолела себя, но отказаться было невозможно, хотя чувствовала, как это не нужно. Обижать Фатиму в ответ на её радушие мне не хотелось. Я уже знала, что если жизнь являет чудо, его нельзя гнать, проявляя свою волю.

Зайти в дом, где уже ничего не было из того, что сохранялось в моей памяти, и видеть все переделки, делавшие его неузнаваемым, было невыносимо тягостно. Все это полностью навалилось на меня, когда я вышла из дома и простилась с Фатимой. Она всё приглашала приходить в гости вечером, когда придут с работы Сугут и его жена. Я оценила её внутренний такт и поняла ненужность любых возвращений в прошлое.

Я уезжала на ночном скором. Лежа на жёстких комьях матраса и вдыхая от влажного белья смесь запахов хлорки и железной дороги, я пыталась уснуть. В такт колесному ритму, в голове стучали всплывшие неожиданно слова

Не приходи по старым адресам  
Не возвращаясь в те места, где...

По несчастью или счастью  
Истина проста –  
Никогда не возвращайся  
В прежние места...

Господи, как же там дальше? И чьи это строчки?.. Кирсанов?.. Светлов?.. Заболоцкий?.. Нет, совсем не похоже...

Я погружалась в дремотное забытё. Просыпалась от пробегавших по вагону встречных огней, толчков состава и колёсного скрежета, все не могла отделаться от этих, неизвестно откуда прилетевших строк. Они стучали в голову в такт колёсам.

Чьи они, я так и не вспомнила.

ЕВА ЛИСИНА:

## ГЕННАДИЙ АЙГИ И РЕЛИГИЯ – ВОСПОМИНАНИЯ СЕСТРЫ

*В сентябре 2019 года мне выпало счастье побывать на родине чувашского поэта Геннадия Айги, где проходила юбилейная конференция в честь его 85-го дня рождения. Там я познакомилась с его сестрой, писательницей и переводчицей Библии на чувашский язык Евой Лисиной, но разговор между нами так и не состоялся тогда из-за очень насыщенной программы. Поэтому она обещала письменно ответить на те вопросы, которые мне хотелось ей задать. Они касались религиозной жизни Геннадия Айги, его отношения к христианству, к исламу и к старым чувашским верованиям. Здесь публикуются ее ответы, из которых мы вместе с ней составили самостоятельный рассказ<sup>1</sup>.*

**Ангелика Шмитт, Трир 24.01.2020**

Надо учесть два обстоятельства: мы – брат, сестра и я – родились в советское время. Царствовали безудержный атеизм и культ Сталина. Мы были и пионерами, и комсомольцами. В школе активно учили, что бога нет. Мне казалось, если произнесу такое, я умру на месте. Поэтому, если в школе возникал такой момент, что нужно было сказать подобное, у меня «заболевал живот», и я ускользала из класса. Как выходил из этой ситуации Гена, не знаю. Но в нашем доме никогда такого не говорили.

Очень большое значение имело то, что мы были детьми учителя. Хотя мы были обыкновенными детьми (как-то Гена сказал: «Нас воспитал народ» – имеется в виду соблюдение вековых обычаев, нравственных требований народа, во многом совпадающих с христианскими заповедями), все же дети учителей составляли как бы высшую касту. И всегда чувствовали главную обязанность: нам надо хорошо держаться, быть воспитанными, одним словом, стать высокопорядочными людьми. Если случались детские ссоры, некоторые матери сразу же с жаром бросались защищать своих детей, а наша мама поступала по-другому: сначала разберется досконально, узнает, как вел себя ее ребенок (после того, как в 1943 году погиб наш отец, все воспитание легло на ее плечи). «Свою вину не взылавив на других» – это было главное правило в подобных ситуациях. Конечно, мама любит нас, защищает, но бывало, она оправдает чужих «обидчиков». Поэтому мы знали, что наша мама справедливая, и мы могли рассказать ей все без утайки.

Конечно же, мама была крещена в самом младенчестве в первые месяцы после рождения, при крещении дали ей христианское православное имя в честь святого Феодосия Великого. Во всех

<sup>1</sup> Спасибо Эдуарду Фомину, который обеспечивал наше общение электронным путем.



документах она – Феодосия (сейчас это имя носит моя дочь, названная в честь бабушки Феодосией), чуваши это имя превратили в Хведусь. В нашей деревне я никогда не слышала языческого имени, все носили христианские имена (с изменением на чувашский лад), значит, все были крещены.

Деревня наша была большая, около двухсот дворов. Может быть, среди взрослого населения (не считая двух-трех учительниц) там было несколько женщин, умеющих хотя бы подписаться. Моя же мама Феодосия Егоровна (1905–1960), будучи семилетней девочкой, сама пошла пешком в соседнее село и записалась в двухгодичную церковно-приходскую школу. Окончив ее, она прекрасно писала, к тому же понимала и по-русски, и по-татарски. Молитву «Отче наш» читала на русском и чувашском.

Мама держалась в лоне Церкви. Но близлежащие храмы были разрушены, священники арестованы (многие погибли в сталинских лагерях). Может быть, в деревне были одна-две Псалтири, одно-два Евангелия. К обладателям этих книг народ относился с уважением. Все знали, что они владеют бесценным богатством. Было несколько семей, живущих истинно по-христиански. Даже воспоминание об одной верующей женщине доносит до меня чистое веяние. Она была вдова (в сущности, мы жили в деревне вдов, как писал Айги)<sup>1</sup>, жила на нашей улице с больной дочерью. Проходя мимо, я всегда останавливалась у ее крыльца: ступеньки, по которым ходили ежечасно, сияли такой чистотой, что казались только что выскобленными. И всегда мне в голову приходила одна и та же мысль: «Если у нее крыльцо такое чистое, как же должно быть внутри дома!». Мне очень хотелось попасть туда, но повода для этого так и не нашлось. Говорили, что у нее много икон. Безусловно, один экземпляр Евангелия принадлежал ей. Она жила уединенно, тихо, в деревне ее любили. Нельзя сказать, что она была красива (в них, сиротливых, изможденных непосильной работой и непомерными налогами, трудно было найти следы физической красоты), но на ее лицо хотелось смотреть и смотреть. Теперь я понимаю, что за красота отражалась на ее лице: это были свет и кротость...

Такое же лицо было у ближайшей подруги моей мамы. После освобождения из тюрьмы наш отец несколько лет преподавал в школе деревни Шигали в пяти километрах от Шаймурзино. Там мама познакомилась с одной женщиной, Варварой, и дружила с ней. У некоторых глубоко верующих христианок лицо будто светится. Именно такой была тетя Варвара. Она работала в церкви села Туруново, что совсем близко от Батырева. В нашем краю это была единственная действующая церковь. Наша Луиза родилась в 1937 году в Шигалах. Конечно, она была крещена. Не сомневаюсь, что в этом действии важную роль сыграла тетя Варвара. По всей вероятности, она и была крестной Луизы. Потом уже, после гибели отца на фронте, когда мы жили в родной деревне Шаймурзино, она часто приходила к нам, приносила просфоры. Гена дружил с ее сыном Иннокентием<sup>2</sup>. Мне кажется, наша мама именно ей рассказывала про все наши радости и горести – они всегда долго беседовали, при этом обе словно светились.

Если говорить об отцовском роде, известно, что дед Эндри Айги был верующим человеком и что у него было Евангелие. Он учил читать своего сына Николая, нашего отца, пользуясь Евангелием на чувашском языке.

В 1941 году летом вся семья (включая и папу) из Карелии возвращается в Шаймурзино. Все мужчины отправляются на войну. Но нашего отца не брали, потому что у него один глаз плохо видел. Мама рассказывала, что он очень переживал, стыдился, что остался в стороне от общего горя, «от стыда даже в школу ходил через огороды» (это мамыны слова, а папа в это время преподавал в школе родной деревни). Он два раза ходил в военкомат, просился на фронт. Наконец, добился своего: в 1942 его отправили на фронт, а в 1943 он погиб при освобождении г. Демидова Смоленской области.

<sup>1</sup> См. Айги Г.: Тетрадь Вероники / Собрание сочинений в семи томах. Т. 4. М., 2009. С. 13: «В деревне, в которой я рос, было 200 дворов, а с войны не вернулось более двухсот мужчин».

<sup>2</sup> См. Лисина Е. Н.: Двенадцатилетний Айги. Чебоксары, 2019. С. 197.



В советское время детей крестить было довольно сложно. Во-первых, церкви почти все разрушены: если раньше церковь была совсем рядом, то теперь надо было ехать далеко. Во-вторых, это для многих было опасно: простым семьям крестить детей было легче, чем служащим – если соответствующие органы узнают, что тот или иной служащий, в том числе и учитель, крестил ребенка, то ему грозили большие неприятности вплоть до увольнения с работы.

Гена родился в то время, когда отец сидел в тюрьме: его, образованного человека, назначили еще и бригадиром колхоза. Колхоз разваливался, арест бригадира был неминуем. Младенца крестили, когда ему было всего-навсего несколько месяцев. Для конспирации действие было тщательно взвешено. Я уверена, в этом деле маме помогла ее любимая племянница Серафима – имя-то какое! По-чувашски ее звали Серахви. (Сейчас такое имя носит моя младшая внучка.) Она вышла замуж в соседнюю деревню Атыково. Родители ее мужа были уважаемые, крепкие духом люди. Они были верующие, открыто исповедующие православие; в колхоз не вступали. Но Серафима и ее муж были колхозниками.

Для крещения была выбрана самая дальняя церковь. Это уж точно, наши односельчане, шаймурзинцы, туда не ходили. И крестную выбрали обдуманно: не из нашей деревни, а из Атыково. Это была глубоко верующая женщина из уважаемого рода Остроумовых. Мама сообщила будущей крестной, что если родится мальчик, отец ребенка хотел дать ему имя Лев (конечно же, в честь Льва Николаевича Толстого), но ей такое имя не нравится (наверное, это имя напоминало ей диких зверей – льва, тигра и т.д.). Остроумова поняла, что отец хотел назвать своего сына не обычным, а многозначимым именем, и предложила свой вариант: мол, есть такое прекрасное древнее имя – Хунади (в переводе с чувашского – сын гунна). Маме такое понравилось. А при крещении священник по аналогичному звучанию превратил его в православное имя Геннадий. Вот так и крестили.

Гена очень любил свою крестную. Часто посещал ее, знал членов ее семьи. Остроумовы любили этого искреннего, любознательного мальчишку, а через много лет они гордились своим крестником-поэтом.

Гена всегда говорил: «Напиши про Луизу повесть».

Луиза – инвалид первой группы с детства. Диагноз – олигофрения. Мама никогда специально не говорила мне когда-нибудь стать опекуном своей сестры (она старше меня на два года). Но я с самого детства знала, что я никогда не брошу ее, в моем сознании это означало: никогда на дам ее в обиду. После смерти мамы в 1960 году Луиза всегда живет со мной.

Был такой случай. Однажды, в 1980 годы, к нам постучалась одна пожилая женщина. Представилась, оказывается, она живет в соседнем доме. Обращается ко мне: «Говорят, у вас есть инвалид первой группы. Я тоже живу с инвалидом первой группы, с внуком. Наша жизнь просто невыносимая – он кричит, бьется, не спит ночами, прячется под кровать. Как вы управляетесь со своим инвалидом? Покажите мне его, пожалуйста». А Луиза в это время гуляла на улице. Тогда старухи любили сидеть на скамейке перед домом. Луиза (все звали ее Лизой) любила сидеть с ними, всегда садилась рядом с одной старушкой, сидит себе – тихая и приветливая. Вот и говорю этой соседке: «Она сейчас на улице. Перед домом на скамейке сидит». – «А кто это?» – «Лиза». Соседка просто остолбенела: «Так это Лиза?! Да это же ангел божий! Это счастье жить с таким человеком!»

...Однажды, уезжая в командировку, я оставила ее у близких друзей, в семье священника. Конечно, живя там, она часто посещала храм. Вернувшись, я узнала, что прихожане называли ее блаженной Лизой...

Работая над переводом Библии на чувашский язык, я в одно время жила в Спасо-Преображенском женском монастыре в г. Чебоксары. Конечно, Луиза была со мной. Через некоторое время игуменья обращается ко мне: «Отдайте нам Лизу, она у нас будет блаженной!» Я, конечно, отказала: «Как она без меня? А я как без нее?» А она: «Тогда я готова постричь вас обеих в монахини.»

...Мы были в церкви. Это могло быть в 1963-1964 годах. Луиза стоит (уже долго!) не шелохнувшись. Я брату говорю: «Смотри, как стоит наша Луиза!» Гена: «Она же в родном доме!»...

Конечно, Гена очень любил ее. Посвящал ей стихи и на чувашском, и на русском. Знал ее место в этой жизни. Но у нее многому можно было научиться. Можно сказать, что она обладала врожденной религиозностью, и этот дар воочию показал бы глубинный смысл многих понятий и действий. Но чтобы видеть это, нужно было жить вместе с ней изо дня в день. Для Гены это было невозможно. Я сожалею, что из-за этого он упустил многие поистине дорогие и бесценные моменты.

Насчет ислама. Айги был широко образован. Конечно, ислам, одна из мировых религий, был интересен для него. Тем более, мы, чуваша – тюркский народ. Но из тюркских народов только мы – христиане. В нашем Батыревском районе много татар: есть татары, принявшие христианство, но есть и чуваша, принявшие ислам. Сохранились песни (печальнейшие!) чувашей, переселяющихся в Стамбул. В Батыревском педучилище (1949–1953) Гена учился вместе с татарскими мальчиками, дружил с ними, под их влиянием начал переводить с татарского на чувашский стихи Г. Тукая, Х. Такташа и А. Кутуя. Знакомство с народом через стихи его великих поэтов! В нашей деревне к татарам относились с опаской. Но произошла одна история, и очень многое изменилось (я описываю эту историю в своем рассказе «Брат Садри, или Я не хочу, чтобы Фатима плакала», который основан на реальном событии; герой рассказа Ягур – это наш дед Егор)<sup>1</sup>. Самое интересное, из вон выходящее – одна из дочерей Серафимы вышла замуж за татарина!.. А Серафима говорила: «Это лучший зять на свете! Самое главное – каков человек, а человек он – благороднейший!»

Айги как-то сказал: «Мы – народ пантеистический». Действительно, природа для нас, чувашей, – живая, одушевленная, и земля, и небо, и камни – все-все – живое!

Языческие верования ощущались в быту, в повседневной жизни. Элементарными знаниями в этой области владела любая мать (она же защищала своих детей!). Допустим, ребенка взяли в гости, там на него смотрели, любовались им, а когда вернулись домой, ребенок заболел, – значит, его сглазили (есть заклинание на такой случай, только надо уметь, как его читать). Допустим, двое сильно поссорились, а потом один из них почувствовал себя плохо; в таком случае говорят: «На него зло напало». Чтоб отвести это зло, могли читать заклинание. Еще один пример: девушка нравится какой-то парень, а он не обращает на нее внимания. Девушка может обратиться к гадалке: чтобы та приворожила парня, чтоб он влюбился в девушку. Но для нашей мамы подобное было неприемлемо. Я помню такой случай: при пахоте огорода мы нашли «заговоренные» монеты. Не сомневаюсь, многие бы побоялись прикоснуться к ним, некоторые бы обратились к знахарю. Мама же взяла эти монеты в руки: «Какая пакость! Откуда появились, туда и отправляйтесь!» – и швырнула в сорняки. Под крылом такой мамы мы выросли без суеверия и страха.

В нашей деревне была гадалка – полуслепая женщина, некоторые ходили к ней. Я никогда в доме этой гадалки не бывала, может быть, Гена из-за простого любопытства заглядывал туда (там молодежь устраивала посиделки: девушки занимались рукоделием, наверное, парни рассказывали разные прибаутки).

В дневнике Айги за 1947 год (ему 13 лет) я встретила любопытную запись: «Слепая Елюсь обратилась ко мне за помощью». Подробно не пишет. Мне кажется, у нее произошел какой-то вопиющий случай: может быть, обидели ее дочь. Вот за защитой она обратилась к «власти»: ведь Генины заметки о нашей деревенской жизни частенько публиковались в районной газете «Ком-

<sup>1</sup> В рассказе «Брат Садри, или Я не хочу, чтобы Фатима плакала» речь идет о татарине, который был конокрадом, всю округу держал в страхе. Синьяловцы поймали его и избили до полусмерти. Но лесник Ягур (отец Феодосия Егоровны) случайно спас его. Рассказ напечатан в журнале «Таван Агӑл» («Родная Волга») в №10 за 2016 год.

мунар». Может быть, Елюсь хотела, чтоб Гена написал об этом случае и таким образом защитил ее (но это мои домыслы, хотя я уверена, что было именно так).

Все эти случаи – из обыкновенной будничной жизни, ничего особенного они для нас не знали.

Иногда какая-то мелочь раскрывает всю жизнь. В дневнике 1946 года (12-летний мальчик!) пишет: он победил на конкурсе чтецов, ему подарили самый лучший подарок – одну тетрадь и один карандаш! Он был рад необычайно, но радость омрачилась: из тетради вырваны были две страницы. В те годы любой клочок бумаги был ценнейшей вещью!

В такой поразительно бедной жизни было истинное богатство, которое дарило нам красоту, радость, утешение: это чувашское устное народное творчество. В нем были мудрость, страдания, сострадания человека, народа. Его единение с природой. Оно не было отстранено от нас, мы жили с ним, в нем, без него нашу жизнь невозможно представить. Сейчас есть многотомные издания этих текстов, тогда их не было, а мы же видели и слышали это в первозданной чистоте. Прежде всего, это касается песен, которые передавались из поколения в поколение бережно, без изменения, без всякой обработки – те же напевы, мелодии, те же слова. Можно сказать без преувеличения – каждая песня шедевр. Наше детство окрашено ими, сейчас, вспоминая их, конечно же, в первую очередь приходят на память хороводы, хороводные песни. Хоровод – древний праздник, проводят его в строго намеченное время после окончания сева до косьбы. У него свои напевы. В другое время их не поют. Образно говоря, поют в свое время, а потом их «запирают» в сокровищницу, чтобы хранились там в неприкосновенности. Песни сургури (зимний молодежный праздник), свадебные песни, плач невесты, песни ссыльных, песни переселенцев, песни солдат, трудовые песни... – их тысячи, они все древние, выстраданные... Поражает одно: как это можно, чтобы простыми словами добиться такой образности, которая потрясает душу...

Конечно же, мальчик – рожденный поэтом, восприимчивый, эмоциональный – питался народным творчеством. Чувашский язык богат звукоподражательными словами, поэтому любое действие мы не только видим, но и «слышим» (это очень трудно передать в переводе). Особо блистали этими звуками трудовые песни<sup>1</sup>.

В дневнике 1947 года Геннадий пишет, что в школе прочел доклад «Дореволюционная чувашская литература». В книге «Плач по брату» есть такие строки: «На столе же его – “Песни низовых чуваш”»<sup>2</sup>. Это было в то время, когда он писал «Поклон пению».

Насчет нашего «шаманизма» многое надо уточнить.

О подобном мы раньше не слышали. Заговорили об этом в 1960 году. Касаясь этой темы, обычно ссылаются на старшую сестру нашей мамы – на тетю Маттюк: дескать, она владела особыми знаниями в области язычества. Наша мама Феодосия Егоровна родилась в 1905 году, а тетя Маттюк – в 1897 году. Обе сестры были красивые, умные, волевые, одним словом, это были самодостаточные личности. У них было пять братьев; два старших брата: самый старший, Павел (будущий отец нашей двоюродной сестры Серафимы) был гренадером в царской армии (известно, в гренадеры отбирали рослых, статных красавцев), второй старший брат – Михалькки<sup>3</sup> и три младших брата (один из них, Клементий, погиб в немецком концлагере недалеко от г. Мюнстера. В моем рассказе «Предзимье»<sup>4</sup> есть отрывок: «Тарье инге несколько минут лежала тихо... потом она говорила с давно умершими матерью и братом». Вот этот брат как раз Клементий и был. Тог-

<sup>1</sup> Маленьким примером являются стихи «Уборкăра» («На уборке») двенадцатилетнего Айги, см.: вуниккёри Айхи / двенадцатилетний Айги. Сост. Е. Н. Лисиной. Чебоксары, 2019. С. 162-163.

<sup>2</sup> Лисина Е. Н., Лисина Л. Н. Плач по брату. Чебоксары, 2020. 81 с.

<sup>3</sup> См.: вуниккёри Айхи / двенадцатилетний Айги. Чебоксары, 2019. С. 201.

<sup>4</sup> Лисина Е. Н. Предзимье // Чувашский рассказ. Дети леса. Чебоксары, 2016. Т. 1. С. 247-255.

да мама назвала его по имени – Клемук). Наши дяди были очень простые и добродушные люди. У самой тети Маттюк было три сына. Ее мужа на фронт не брали (наверное, из-за возраста), а старший сын их погиб на войне. Это была зажиточная семья, они содержали пасеку – признак зажиточной семьи! Пасека располагалась в лесу, что давало возможность тете часто и подолгу бывать в лесу: она знала каждую тропинку, была отличный гомеопат (она не практиковала, но членов своей семьи и личный скот лечила превосходно).

В 1960 году я немного коснулась древних обрядов. В том году умирала наша мама. Ей было 55 лет. Диагноз – рак матки. Она предполагала, что эта страшная болезнь развилась из-за одного события. Они, женщины нашей деревни, – мужчин же нет, почти до одного погибли на войне – валили лес. Была зима. Стояли морозные дни. А у мамы шла менструация. Когда она рассказывала об этом, произнесла жуткую фразу: «Я тогда заледенела до пояса...»

Когда мама болела (она уже не вставала с постели), к нам несколько раз приходила ее старшая сестра Маттюк. Мама лежала, а тетя сидела у ее изголовья, они долго беседовали. После одного такого визита мама мне сказала: «Надо сходить на Кашла, принести жертву киремет – мы же там мучились с коровой»<sup>1</sup>.

Я интуитивно чувствовала, что ничего нельзя расспрашивать. Мама сообщила мне, куда и к кому идти. Вот отправилась я в соседнюю деревню к знахарке (значит, в нашей деревне не было знахаря?). Это была пожилая женщина, можно сказать, старуха. Я не смела смотреть на нее внимательно, поэтому не знаю, как она выглядела на самом деле. Она пришла в назначенный день вечером. Шел снег. Я вывела ее из деревни и повела по тропинке, по которой можно было добраться до киремет (это место, где приносили жертву злему духу). Киремет находился вдали от дороги в излучине реки Кашла в трех километрах от деревни. Там стоял громадный дуб, которому, наверное, тогда было больше ста лет.

Был очень красивый, но жуткий, вызывающий тревогу вечер. Я ждала знахарку в стороне. Шел такой густой снег, что на обратном пути мы заблудились. Плутали долго. Когда наконец-то добрались до дома, узнала, что в наше отсутствие маме стало плохо. А она нам сказала: «Что-то вы не так сделали – ваша жертва не принята». Что это означало, я до сих пор не понимаю...

Уже в 2003 г. нашего киремет не было. Конечно, дуб не срубили, он разрушался постепенно. Сейчас там все проросло травой. Обычно киремет обходят, без надобности к нему не подходят. В детстве я только раз видела его вблизи – хотела кратким путем добраться до больницы, расположенной на опушке леса недалеко от села Тарханы. Там стоял громадный дуб, на нижней ветке висело полотенце, внизу были рассыпаны какие-то монеты.

После смерти мамы брат уехал в Москву. Мы с сестрой остались в деревне. В это тяжелое время Маттюк аппа стала для нас самым близким человеком. Большая умница, жесткая, волевая, – меня тянуло к ней, мне хотелось говорить с ней.

Я воочию увидела ее силу. Произошел такой случай. Мне надо было вернуться в Москву – продолжать учение, прерванное из-за болезни матери. Я готовилась к отъезду – надо было продать дом, убрать урожай с огорода. Уже выкопала картофель и продала его. Деньги за продажу, немалые деньги, положила за наличник. Это видела одна девушка по имени Валя. Вот эти деньги пропали. Конечно, деньги могла украсть именно эта девушка. Но не пойманный вор – не вор. Что делать? Я пошла к Маттюк аппа. А она так просто: «Я научу тебя, как вернуть эти деньги». И рассказала, что делать. Я все исполнила так, как она научила. В действии было два участника: пылающий огонь и фраза-заклинание (это должна была произнести я), чтобы выявился тот человек, который украл мои деньги. Но при произнесении этих слов я ощутила, именно ощутила, что они абсолютно пустые, они – как шелуха, а в них, конечно же, должна быть сила огня. Было еще

<sup>1</sup> Ева Лисина описывает этот случай в рассказе «Предзимье» (см. сноску 4 на с. 276): в тяжелое послевоенное время их корова, кормилица семьи, застряла в весенних водах Кашла, рядом с киремет. Чтобы спасти ее, героиня рассказа входит в ледяной поток.

одно ощущение – неприятие этого. Я видела грозную силу, но это было неприемлемо для меня (выявилось мамино воспитание!), таким делом заниматься нельзя.

Я пошла к тете. Она меня ждала: «Я знаю, что у тебя ничего не получилось. Этим придется заняться мне. Иди домой, жди».

А через полтора-два часа ко мне прибежали посланцы от Вали: оказывается, у нее страшный жар, лежит при смерти.

Деньги вернулись. После этого и девушка выздоровела...

Тогда, в 1960 году, Маттюк аппа рассказала мне удивительную историю. Это звучало так: «Я тогда была совсем маленькая. Я запомнила большое поле. Туда собралось много народу. Наверное, вся деревня. Впереди стоял мой дедушка (она сказала *асатте*, это означает дедушку с отцовской стороны). Дедушка стоял впереди, он что-то говорил, говорил четко и ясно. Весь народ внимал ему». Этот рассказ поразил меня. Мне ясно представилось собрание народа в честь сбора урожая, благодарственное моление и общая трапеза. А человек, который управлял народом, представлялся мне физически сильным и красивым (он же был из рода Юман<sup>1</sup>), умным, владеющим ясной и убедительной речью (вот что увидела умная девочка с пронзительно голубыми глазами, потом всю жизнь хранила это в своей памяти). Я была потрясена. Конечно, вернувшись в Москву, я об этом рассказала своему брату. Тот тоже был потрясен. В какой форме и кому сказал он об этом, я не знаю. Но вскоре чувашские средства массовой информации всполошились, словно каждый первым хотел сообщить «разгадку» поэзии Айги. Из СМИ я узнала много «нового». В первых публикациях сообщалось, что Айги еще в младенчестве слышал колыбельные песни от своих бабушек (действительно, бабушки нянчат внуков). К великому сожалению, по отношению дедушек и бабушек мы были сиротливы: еще наш папа рос сиротой (мама его умерла рано, потом скончался и отец), мама наша осталась без отца еще ребенком, а наша бабушка с двумя сыновьями еще до нашего рождения выехала в Сибирь, где скончалась на какой-то железнодорожной станции. Так что дедушек и бабушек своих мы не видели. Думаю, и колыбелек-то не было: в 1933–1937 годах наш отец, уже раз арестованный, спасаясь от преследования, со своей семьей переезжал из одной деревни в другую. Своего дома у них не было, жили на квартире. Колыбелька, висящая с потолка, занимает полкомнаты, так что позволить себе такую роскошь они не могли... Но мы знали эти прелестнейшие колыбельные песни из устного народного творчества. Фантазии журналистов разрастались. И вот в одной газете появилась статья, где черным по белому было написано, что наша мама была гадалкой. Это было прямым оскорблением нашей матери. Наша двоюродная сестра Серафима, любимая племянница мамы, высказалась прямо: «Мы – уважаемый род, негоже говорить про нас такие небылицы».

Надо было заступиться за честь мамы. Мне пришлось поговорить с братом и высказать свое несогласие со СМИ. Гена соглашался со мной, буквально сказал так: «Я и сам не знаю, как обновить их. Попробуй ты, у тебя должно получиться». И я написала статью в эту же самую газету. Статья была не резкая, доброжелательная, автор понимала, что Айги сложный поэт, конечно же, его творчество требует исследования, но в этой области надо быть осторожным, чтобы не случилось нелепые казусы, как статья про нашу маму и т. д. И как отрезало. Сразу все прекратилось, больше таких нелепостей я не читала.

Вскоре после этого на каком-то вечере в Чебоксарах Айги объяснился довольно просто: «Когда говорят *жреческий род*, *жрецы* могут возникнуть какие-то ассоциации с египетскими жрецами. Конечно, это неправильно. Наш апӑс (жрец) был обычный крестьянин, жил обычной крестьянской жизнью, безусловно, он знал слова молений, в необходимых случаях управлял обрядами. Это не передается по наследству, поэтому совсем не обязательно, что дети его занимались тем же». Это означало вот что: в деревне не было такого понятия как род жрецов, знахарей. По сути апӑс мог появиться в любом роду. Это зависит от личности, от ее способности.

<sup>1</sup> Юман – рус. дуб.

Ясно одно: наш прадед, простой крестьянин, был неординарный человек, чтобы народ внимал, как говорила Маттюк аппа, ему надо было передать народу власть слова.

Безусловно, воспоминания тети повлияли на нас. Я говорю о себе. Изменилось мое отношение к словам: я начала видеть, что они несут силу, словно они обладают физической силой. Вместе с этим будто появилась осторожность в обращении со словами.

Но... в 1973 г. произошел странный случай. Гена приехал ко мне под вечер. Было видно, что он чем-то взволнован. Вытаскивает какую-то книгу и показывает мне: «Вот у меня книга вышла». Книга называлась «A saman fia». Я спрашиваю: «Это книга твоих стихов?» – «Да», – отвечает он спокойно. – «А книга как называется?» – «Сын шамана». (Потом он признался, что вначале не хотел показать своего возмущения, потому что хотел видеть мое первоначальное восприятие от этой книги – а наши впечатления совпали!) Я была ошарашена: «А при чем здесь шаман?» – «Вот именно! Вот именно! При чем тут мои стихи?! Значит, они совсем не понимают моих стихов! Считают мои стихи какой-то непонятной игрой?!»

Чего только он ни говорил. В его словах сквозила и обида. Надо было что-то делать, как-то успокоить его. Я сказала: «Давай обсудим. Это мы так принимаем. Может быть, они воспринимают эти слова спокойно, может быть, это означает “Волшебные стихи”, “Стихи волшебника” – что-то вроде этого. Надо спросить об этом хотя бы русского читателя». И я решила позвонить кому-нибудь из друзей. Тогда дома телефона не было, и я пошла на улицу позвонить из автомата.

Позвонила я своему коллеге Г. Крокову, медику, умнице, который очень любил Айги и его стихи. Когда я сообщила ему, что у Айги вышла книга на венгерском языке, название книги на русском означает «Сын шамана», он очень удивился: «А при чем тут шаманство? Насколько я знаю, чувashi не имеют отношения к шаманству». Когда я рассказала коллеге о состоянии Айги, он, подумав, ответил: «Что написано пером, то не вырубишь топором. Выход один: не акцентировать внимание на это название, ни с кем не обсуждать, делать вид, что ничего не произошло. Быстро переверните обложку и читайте! Думаю, они и на венгерском языке звучат прекрасно!»

Мы так и поступили. Никогда не говорили о названии этой книги. Вполне возможно, и название было нормальное...

Оказывается, «шаманство» внедрилось. 24 сентября 2017 года я получила письмо от Сергея Бирюкова. Он прислал мне статью «Вулкан Парнас», опубликованную в журнале «Зеркало»<sup>1</sup>. В этой статье есть отрывок «Чувашский шаманизм» (автор Валентин Хромов), который так поразила меня, что я написала Бирюкову большое письмо, доказывая, что я совсем не шаманка.

В интервью 1993 года, когда спросили Айги о его мнении по поводу попыток возродить древние верования среди чувашской интеллигенции, он ответил<sup>2</sup>: «Это хвастовство, самообольщение. Если сказать прямо, тут есть и желание обмануть самих себя. Некоторые любят хвастаться, жаждут славы. Говорят: “Мы поведем народ”. А народ их и не знает, и не просит их: дескать, поведите нас. Сейчас у нас есть и такие, которые считают чувашское язычество самой высшей мудростью в мире. Они хотят христианизированному народу заново вернуть язычество. Такого никогда не может быть. Прошлое не сделаешь настоящим. В древних чувашских верованиях были истинные силы. Что было хорошего, это верование дало народу. Я глубоко почитаю древнее верование. Но то, что хотят его сделать сегодняшней верой, это очень плохо».

А на вопрос «Бог для Вас что значит?» он говорил: «Бог – сила, которая сотворила мир, вседержущая сила (эти слова – Вседержитель, Творец неба и земли – есть в самом начале Символа

<sup>1</sup> Хромов В.: Вулкан Парнас. Самография // Зеркало. 2017. – № 49. – URL: <https://magazines.gorky.media/zerkalo/2017/49/vulkan-parnas-3.html>. – Дата обращения: 03.03.2020.

<sup>2</sup> Айги Г. «Сын тёнчене хисеплесен, пётём тёнче пуялнлэхэ унён аллинче пулэ...» // Айги Г. Собрание сочинений. Т. 4. Чебоксары, 2019. Т. 4. С. 56–60. Пер. загл.: «Если человек почитает мир, то все богатство мира будет в его руках...».



веры). О том, какая это великая сила, очень хорошо сказал Сёрен Кьеркегор: «Бог за единое мгновение может уничтожить весь мир. Мы не можем шутить с этой силой. Это невыразимо великая сила, которую невозможно объяснить. Вот эта сила в истории человечества впервые стала целовеком и пришла к людям и открыто и напрямую говорила с ними. Это – Иисус Христос. Я верю каждому слову Нового завета и всему, что говорил там Христос про Себя». Про Бога нельзя говорить много и красиво. И во время разговора в душе должен быть покой, как во время молитвы. Хочу сказать еще это: я верую во Христа, поэтому не могу принять древнее чувашское верование. Я почитаю его, но не могу считать его сегодняшней истиной».

Поговорим о Церкви и христианстве. Уже по факту крещения Гена был христианином. Так как все церкви были разрушены, то мы в детстве в Чувашии в церкви не бывали. Может быть, Гена несколько раз заходил в церковь села Туруново (это село расположено рядом с Батыревом, а Гена учился в Батыревском педучилище). Один мальчик – Леонид Лялькин, необычайно талантливый – учился в этом училище, Гена с ним дружил, иногда ходил к нему. Дом Лялькиных стоял рядом с церковью. Гена мог заходить туда. Позже Леонид принял монашество, а сестра его стала монахиней. Интересное совпадение: в 2006 году на похоронах Айги его отпевал священник именно из этой церкви. Духовного отца, у которого он исповедовался и причащался бы, у него не было. Айги пришел к христианству «благодаря чтению Кьеркегора, русских theologов»<sup>1</sup>. Я думаю, что это не совсем так. Конечно, чтение таких книг помогает. Но чтоб укрепиться в христианстве, ему нужны были практические шаги. Такая помощь у него была: в конце 50-х годов Айги в Москве познакомился с семьей Эрастовых (см. стих «Дом друзей. К. и Т. Эрастовым»<sup>2</sup>). Это были высокообразованные, верующие христиане. Айги бывал у них очень часто. Айги крестил одну из их дочерей, я же была крестной их второго сына. Кстати, сейчас их старший сын Дмитрий – Архиепископ Австралийской православной епархии. Прийти к вере – это тайна (коснется ли человека такая благодать?).

В начале 70-х произошел поразительный случай. Гена заехал ко мне. Я тогда находилась в трудном материальном положении. Гена посмотрел на меня внимательно и сказал: «Как же тебе тяжело!.. А я ничем не могу тебе помочь. Но я научу тебе одному средству, благодаря чему я жив и живу. Это молитва». Я сказала: «Подожди, я возьму бумагу и карандаш – запишу». Он: «Не надо. Это очень короткая молитва. Ты ее сразу запомнишь. Повторяй за мной». И он научил меня Иисусовой молитве.

Через много лет, уже в 1990 годы (именно в 1996 или же 1997 году) я сделала Геннадию прекрасный подарок: из книги «Силуан Афонский» пересняла фотоснимок святого и подарила его брату в день рождения. Брат восторженно воскликнул: «О, отец Силуан! Как же он помог нам! Тогда вся Москва читала его!»

В 1960-1965 годы мы все трое жили в селе Троице-Голенищево в 15 минутах ходьбы от Мосфильма. В те годы чаще всего читали стихи К. Батюшкова, И. Анненского и В. Хлебникова. Гена много говорил о книге Н.Ф. Федорова «Философия общего дела», читал В. Розанова и «Мысли» Паскаля.

Гена любил такие «экспромты»: что-то спросит или скажет, и начинается нечаянный разговор. Однажды он спросил: «Ева, ты чувствуешь в себе благородную кровь?» – «О да!» – ответила я. – «Я – тоже», – сказал Айги, довольный. И мы рассмеялись. В ту минуту он был спокойный и сильный.

<sup>1</sup> См.: Робель Л. Айги. М., 2003. С. 60.

<sup>2</sup> Айги Г. Собрание сочинений. Чебоксары, 2009. Т. 2. С. 45.

Святые в нашей жизни – мы чтим, любим их, мы обращаемся к ним в молитвах, читаем их житие. Ведь такое общение происходит в тайне, в тишине. Поэтому боюсь говорить об этом. Конечно, к Серафиму Саровскому Айги относился с великим почтением, но тайна пусть останется тайной. В 1990 годы мы часто говорили о двух святых. В основном потому, что они были чувашами, а Гена радовался, что из нашего народа вышли святые. Постараюсь объяснить.

В 1990 годы меня пригласили в Казань на презентацию книги Нового завета, переведенного на татарский язык. Я тогда заканчивала перевод Библии на чувашский язык. В Казани много татар, принявших православие. У них есть и своя церковь. Там я увидела, как глубоко почитают они святого мученика Авраама Булгарского. К стыду своему, я почти ничего и не знала о нем. Настоятель церкви отец Павел (Павлов) с великой любовью рассказал мне про него, дал литературу о нем, подарил его иконы.

Вернувшись в Чебоксары, я написала большую статью. Когда писала, изучила всю литературу про него: будущий святой родился и жил в Волжской Булгарии (XIII век), – он вполне мог быть чувашом (сейчас все думаю так). Айги тогда так и воскликнул: «Да это же наш первый святой!» Он очень любил этого святого, когда провожали Айги в последний путь, я положила к нему икону этого святого.

Рядом с селом Туруново есть деревня Алманчино. Там построили новую церковь. Настоятель этой церкви отец Серафим (Лялкин) обратился ко мне с просьбой, чтобы я написала статью про бывшую жительницу этой деревни Анисию Петрову, истинно верующую, за это арестованную в 1937 году, сосланную в Магадан и там расстрелянную, которую теперь все почитают как святую. Мне удалось поработать в архивах Министерства внутренних дел, своими глазами увидеть протоколы допросов, увидеть (услышать!) ответы этой простой крестьянки, увидеть ее подпись (буквы «падают» в разные стороны), подпись будущей святой!.. Статья была напечатана. Айги относился к святой с глубочайшим почтением, когда подходил к ее фото, висящему у меня на стене чебоксарской квартиры, с нежностью называл ее Униçе аппа (сестра Анисия).

В связи с переводом Библии на чувашский язык, чтобы быть в гуще родного языка и быть рядом с чувашскими священниками, я с 1991 года живу в Чебоксарах. Поэтому с Геннадием встречалась только здесь, в Чебоксарах, когда он приезжал сюда. А лето мы проводили вместе в деревне Денисова Горка. Наши разговоры (скажем, бесконечные разговоры) в основном касались библейских тем (см. «Плач по брату»: «Именно на этом поле»)<sup>1</sup>.

Российское библейское общество хотело, чтобы Айги участвовал в переводе Библии на чувашский язык. Для обсуждения этой темы сотрудник РБО приезжал сюда, в Чебоксары. Разговор происходил при мне. Сотрудник РБО предложил Айги перевести Псалтирь. Айги ответил сразу: «Пусть переведет Ева Николаевна, а я посмотрю». Сотрудник РБО: «А мы хотели бы наоборот: чтобы перевели Вы, а Ева Николаевна просмотрела бы». Последовала маленькая пауза, и разговор на этом закончился. РБО больше к нему никогда не обращалось. Псалтирь пришлось перевести мне, а просмотрели перевод вместе с богословским редактором. Айги живо интересовался библейскими делами. Но не упускал из виду и мои литературные дела. Видя в деревне, что я все время занята переводом, сказал однажды: «Нельзя же все время заниматься одним переводом. Не забывай, что ты большой прозаик».

В следующий раз он сказал: «Хорошо, что я не согласился переводить, я не смог бы выделить на это столько времени, как ты».

Я попыталась одновременно заниматься и литературными делами, и переводом. Вскоре это было положено. Можно сказать, после того, что я испытала в Чечне, я действительно стала переводчиком Библии. Я не хотела рассказывать об этом – слишком дорого было это событие. Но мой духовный отец сказал, что это свидетельство, это не надо скрывать. Поэтому я написала статью. Статья была напечатана в Чебоксарах в местной православной газете. Это читали все, в том

<sup>1</sup> См. сноску 2 на с. 276.



числе и Айги. После этого он никогда не упоминал мне о литературных делах. А через некоторое время сказал: «Ты выбрала правильное»<sup>1</sup>.

При переводе Библии возникла очень сложная проблема. Новый завет был переведен на чувашский еще до революции (1917). Были переведены и некоторые книги Ветхого завета. Тогда еще и литературного языка не было, поэтому теперь надо было перевести все 77 книг Библии. Но сложность была в том, что до сих пор не было переведено слово *Господь*: и *Господь*, и *Бог* перевели одним словом *Турă*. Вот теперь переводчица Ева Лисина считает, что это слово непременно надо перевести и предлагает новое слово, которого не было в нашем языке. Разгорелись ожесточенные споры, священники опасались, что среди верующих произойдет раскол (а это поистине страшное явление!). В такое критическое время меня первым поддержал Айги. Этот человек умел радоваться. На сей раз он радовался восторженно. Был такой случай. Айги находился у меня. В это время зазвонил телефон. Звонил мой главный оппонент протоиерей Илия (Карлинов) – пожилой священник, умнейший человек, который пользовался у народа огромным авторитетом. Он очень любил Айги, звал его Геннади. Отец Илия был уроженцем села Атыково, может быть, он видел и запомнил того мальчика, который ходил в Атыково к своей крестной. Узнав от меня, что в сию минуту Айги находится здесь, он позвал его к телефону. Разговаривали они долго, в основном – про Библию. Айги говорил, что никакого раскола не будет, потому что, конечно же, слово *Господь* надо перевести, и переведено оно сейчас (через сотни лет!) абсолютно точным словом *Сӹлхуса* (Сюльхузя), и оно звучит мощно, – и этому надо только радоваться и надеяться, что оно будет угодно самому Господу. После разговора Геннади воскликнул: «Какой замечательный священник! Он говорит, чувашская Библия получается лучше, чем на русском языке». В конце концов, священство приняло и благословило это слово.

В моей жизни было два-три случая, когда я в жизненно важные моменты действовала совершенно неосознанно, просто механически. Потом выяснялось, что это было единственно верным решением. Именно так произошло 19 февраля 2006 года. Я сидела за письменным столом и редактировала библейский текст. Дальнейшее происходит механически. Вдруг я встаю и подхожу к телефону, звоню близкому родственнику Герману, внуку Маттюк аппа, и говорю ему, что я срочно – сегодня же – уезжаю в Москву к брату, нельзя ли оставить Луизу у них (при любой поездке у меня возникает такая проблема). Герман охотно соглашается. Еду на железнодорожный вокзал, беру билет, возвращаюсь домой, собираю Луизины вещи и везу ее к Герману. Оставляю ее там и выезжаю в Москву. Все это делается механически, быстро и четко.

Вот так я прибыла в Москву 20 февраля рано утром и сразу же поехала к брату в больницу. Ему оставалось жить одни сутки. Как только подошла к его кровати, он спросил: «Как Библия?» Мне предстояло работать еще целых четыре года, но я ответила: «Перевод закончен». Он сказал: «Слава Богу!» и перекрестился – руку поднимал еле-еле. Потом попросил: «Ко мне никого не пускайте».

Была здесь и Галина Борисовна. Она предложила мне поехать с ней домой, чтобы я отдохнула после дороги, а потом уже приехала сюда еще раз. Услышав эти слова, брат обратился ко мне и сказал тихо-тихо (в голосе чувствовалась мольба): «Тăванăм, ан кай» (Родная моя, не уходи). Русские слова не передают всю нежность слова *тăванăм*. И я осталась. Я была с Айги неотлучно целый день и ночь на 21 февраля.

Сказав, что ей нужно идти в банк, Галя сразу же ушла и в этот день больше не приходила. Это была Божья милость нам – брату и сестре. Мне кажется, тогда он нуждался в родном по крови человеке, хотел иметь рядом с собой родного человека, верного и надежного, так ему было спо-

<sup>1</sup> См.: Лисина Е. Н. Исповедь переводчика // Лик. – 2014. – № 2. – URL: <http://hypar.ru/ru/eva-lisina-ispoved-perevodchika-esse> – Дата обращения: 23.01.2020. В исповеди автор описывает случай в Чечне, когда она оказалась одна в темноте и пережила сверхъестественное явление, которое ее укрепило в убеждении, что ей суждено заниматься переводом Библии на чувашский язык.

койнее. И для меня эта встреча – ведь это было прощание! – была милостью: я видела его в последний раз, если бы не было этой встречи, я горевала бы всю жизнь.

Этот день был очень тихий. Кроме нас двоих никого не было. Я никогда раньше не видела своего брата таким красивым. Невозможно было наглядеться на него. Лицо его сияло. Трудно описать такое сияние. Этот свет был тихий, какой-то «глубинный» свет.

Пусть Господь простит меня (может быть, я говорю не верно), но я могу сказать только одно: если коснулась его Божественная Любовь, то эта тайна посетила его именно в этот день.

День был долгий, тихий и светлый. Я несколько раз подавала брату кислородную подушку, встречая каждый раз благодарственный взгляд – тихий, любящий, всепрощающий взгляд...

Несколько раз звонила Галя. На ночь она прислала сиделку, кажется, это была студентка. Она была недовольна, что здесь нахожусь я, даже не скрывала этого.

Наступило 21-е февраля. Чуть-чуть рассвело, и сиделка ушла. Мы остались вдвоем с Геней. Пришла Галя. Вскоре приехал Алексей Айги. Появился какой-то врач, он пробыл всего несколько минут. После этого Айги срочно перевели в реанимацию. Проводил его туда, мы трое возвратились в ту же самую палату. Шли не вместе, кто-то впереди, кто-то в середине. Я шла последней. Мне стало невыносимо тяжело расставаться с братом, и я повернулась обратно. Подошла к нему, поцеловала его и сказала по-чувашки: «Тете, халь эфир каятпёр, кáштахран сан патна килетпёр» (Брат, сейчас мы уйдем, а чуть погодя придем к тебе). Когда пошла обратно, вдруг резко повернулась и увидела его прощальный жест – он махнул рукой.

Должны были подъехать дети Айги, но они попали в пробку. Мы ждали их в палате. Наверное, прошло около часа. Я почему-то вышла в коридор и увидела лечащего врача Айги. Она стояла у стола дежурной медсестры – они о чем-то говорили и посматривали на нашу палату. Я подошла к ним и спросила: «Доктор, как мой брат?» Она ответила: «Он умер». Я вбежала в палату (а доктор мне вслед: «Ева Николаевна! Ева Николаевна!»), упала на колени и кулаками била об пол и кричала: «Гена умер! Гена умер!» Галя и Алеша заплакали... Мы плакали долго...

Через несколько часов я позвонила в Чебоксары, в Министерство культуры, сообщила трагическую весть. Из Администрации Президента сообщили: чтобы перевезти гроб, вышлют в Москву машину, для прощания с поэтом гроб поставят в Большой зал филармонии (когда хоронили известных людей, поступали именно так). Я не согласилась с таким предложением, сказала: «Айги – христианин, надо хоронить его по христианским правилам. Гроб надо поставить в храм». Так и решили.

22 февраля вечером прибыла из Чебоксар большая машина. Мы, четверо – я, старший сын Айги – Андрей, Алексей Лазарев – муж Наталии Азаровой, которая устроила Айги в хорошую клинику, и сотрудник министерства культуры М.Н. Краснов, поехали на этой машине, сопровождая гроб поэта. Остальные поехали на легковых автомобилях.

Ехали всю ночь. Была холодная, звездная ночь. С рассветом 23 февраля прибыли в Чебоксары, остановились прямо у церкви Воскресения Христова. Заупокойная служба была организована очень хорошо. Как только вошли в храм, сразу же совершили заупокойную литию (совершали ее несколько раз), после литургии 23 февраля совершили отпевание, всю ночь читали Псалтирь (читали семинаристы духовного училища).

Произошла такая история. Я все время была при гробе, иногда что-то поправляла там. Вдруг вижу – на Гене нет креста. Не знаю, с какого года он начал носить нательный крест. По крайней мере в Денисовой Горке я всегда видела его с крестом, – это был прекрасный крест на черном кожаном ремешке, Айги носил его не снимая. Вот его не было. Может быть, он остался в морге. Я тут же купила новый крест и повесила ему. У меня с собой была маленькая икона святого мученика Авраама Булгарского (Айги считал его первым чувашским святым), вот эту икону я положила ему на грудь. Вот так с новым крестом и с иконой святого он и был похоронен. А за несколько дней до кончины Айги исповедался и причастился.

Для общего прощания гроб потом несколько часов стоял в Большом зале филармонии. Похоронили Айги в Шаймурзино рядом с могилой мамы. Отпевал его протоиерей Анатолий (Со-рокин) из Туруновской церкви.

Изменилось ли отношение Айги к христианству в течение жизни? Думаю, что не изменилось. Просто оно стало ясным. Всеобъемлющим.

Что для Айги значило христианство? Свет, Истину и Любовь. Одно дело – знать это умозри-тельно, но главное – войдет ли это знание в твою кровь и плоть, станет ли живительной силой, руководящей твоей жизнью. Думаю, человек, который учил меня спасительной Иисусовой мо-литве, знал этот путь, стоял на этом пути. Мне кажется, Айги 20 февраля 2006 года, когда его лицо сияло, узнал и великую тайну. Если происходило так, он должен был испытать великое счастье.

Я сейчас вспомнила его слова, сказанные мне при последней встрече: «Мне ничего не страшно – я с Богом».

Слава Богу за все!

*Е. Лисина.*

04.01.2020.

### **Печаль<sup>1</sup>**

*Сестре Еве*

В Армении,  
в окрестностях Татева,  
спустившись с гор, я увидел издали  
семь-восемь мужчин-жнецов, –  
и, идя по полю, я вспомнил  
сельских детей, себя и маму,  
как мы возвращались с поля  
со серпом на плече, –  
по-прежнему несчастлив?.. разве сейчас и земля –  
не мать ли?  
На сердце с давних пор – невыносимое...  
Но – кажется, кто-то есть в этих полях, –  
родной человек, кажется, вот-вот встретится он:  
как в здешних пустых храмах  
чувствуется Твое присутствие, Иисус,  
как будто в поле есть кто-то утешающий...

*1967 г. 4 сентября  
Татев*

---

<sup>1</sup>Неопубликованные стихи Г. Айги, в подстрочном переводе Е. Лисиной.

Сергей БОРОВИКОВ

КОГДА ПИСАТЕЛЬ РЯДОМ

**Михаил Бару. Мещанское гнездо. – М.: Захаров, 2020. – 256 с.**

Я хотел бы уметь писать так, как Михаил Бару.

Такого желания у меня не возникает при чтении Гоголя или Чехова, но Бару не гений, он современник на десять лет меня моложе, и я чувствую в нём родство. При чтении других современников у меня не бывало подобного чувства, а страницы Михаила Бару не хочу покидать, хочу сам читать и другим давать. И без конца цитировать. Правда, цитата всегда покушение на смысл целого, однако ж случай Бару особенный, потому что многие его тексты так кратки, что их легко воспроизвести целиком.

«Трескучий мороз. Далеко в поле, в засыпанной снегом колее, сантиметрах в двадцати от входа в мышиную нору лежат три заледневших и скрюченных обрывка ещё прошлого года, осеннего, разговора. Тот, что подлиннее – “Включай пониженную, Санёк!”, а тот, что покороче – “за трактором”. От третьего – и вовсе ничего не осталось, кроме местоимения “твоего”».

Или вот: «Порывистый черный ветер, наполненный белым шумом ледяной крупы; чёрные вороны на черных ветках черных деревьев, бесконечно бредущих по берегу черной реки в черную заброшенную деревню; черный дом на краю черной заброшенной деревни; черные рыбаки, варящие черную уху и ждущие черную водку; черная водка на колёсиках черного трактора, задушившая тракториста и застрявшая в трех километрах...»

Но вот и цвет другой: «Снежинки падают так медленно, как будто девочка, которая их рисует, время от времени откладывает кисточку в сторону, подпирает щеку ладошкой, вздыхает и долго смотрит в окно, прежде чем нарисовать еще одну».

Как много содержат эти несколько десятков слов, живо распространяясь вширь и

ввысь, вбок и вглубь, во вчера, в сегодня и в завтра. Здесь, кажется, вся наша жизнь, несмотря ни на что, любимая.

Но вот еще.

«Заметает. Над сухой осиною невидимая в белой мгле кружит и кружит, вырабатывая топливо, ворона».

Если бы я прочитал подобное у писателя безъязыкого вроде Романа Сенчина, проскочил бы, но текст своим рождением обязан исключительно уподоблению вороны самолёту, и в нём отсутствует столь важная у Бару многозначность. Да и не стоит на одну фразу взваливать смысловую нагрузку рассказа. Думаю, это неизбежная издержка метода писателя, который я не буду пытаться определить, лишь отмечу, что по старой привычке везде искать традицию, здесь её не обнаружил. Возможно, по недостаточному знанию отечественной словесности, но утверждаю, что до Михаила Бару в нашей прозе *так* не писали.

Разницы между его т.н. *хокку* и короткими рассказами не вижу. С завидной точностью причину их почти тождества сформулировал поэт и редактор журнала «Арион» Алексей Алёхин: «Среди мириадом “хайку”, “танка” и прочих японесок – кто их только не пишет теперь, на всех языках! – стихи Михаила Бару выделяются не только тем, что хороши, но и своей полной, безнадежной обруселостью. Собственно, потому они и хороши. Генеалогия этих маленьких творений восходит не только, да и не столько к классическим образчикам Басё и Иссы, но и ко всему нашему отечественному литературному хозяйству, да хоть к “деревенской прозе” – особенно если понимать ее широко, например, с охотничьих баек Ивана Тургенева. <...> получилась чудесная русская поэзия. Умная, ироничная, наблюдательная, добрая, лукавая. Крайне необходимая измученному постмодернизмом организму нашей словесности» (Предисловие к книге: Михаил Бару. Скрипичный снег. Издательские решения, 2016).

Книгу «Мещанское гнездо» невозможно пролистать, а то может показаться, что всё одно и то же, но когда неторопливо погрузишься в

чтение, окажется, что сменяющие друг друга не просто картины, а сцены русской природы, и столь же чередующиеся дачные застолья, где только домашних наливок и варений десятки, рядом с мрачными сценами идиотизма, как говаривал тов. К. Маркс, деревенской жизни – всё необъятное содержание нетолстой книги, крепко объединённое нескрываемым присутствием автора, властно, но по-приятельски легко, втягивает читающего в текст, делая его чуть ли не соавтором.

Когда я впервые обратил внимание на публикации в «Волге» автора с редкой фамилией, ещё не вчитавшись, счёл их добротным краеведением. Но о таком заблуждении точно сказал Владимир Домбровский: «Краеведения в этих записках не больше, чем в щедринских городских летописях. А вот самого Бару – через край». Щедрина критик вспомнил неслучайно: при мнимой безмятежности рассказчик хитер и коварен. Его насмешки внезапны, сарказм прячется за простодушием, приёмы неожиданны. Вот якобы забракованные слова. Например, «купите по приказу совету жены...» Прелестным лукавством полны и частные авторские примечания.

В кратчайшем формате писатель умеет напомнить о национальном характере. Вот всем нам понятный пассаж о необъяснимом чувстве зависти, даже и тогда, когда его и быть никак не должно. «Из окна моего на работе видны какие-то автобазы, ржавые грузовики, будки сторожей. Склады до самого горизонта и на горизонте белые многоэтажные дома. Каждый день я смотрю на эти дома, еле виднеющиеся сквозь московский смог. И мне кажется, что там хорошо – ведь там нет меня. Там тепло, там никто не работает, все сидят у окошек, пьют чай с коньяком и шоколадными конфетами “Грильяж”, читают старые толстые книжки с рассказами Чехова, забравшись с ногами в большие и уютные кресла. Там – это в Бирюлёво. Если бы Бирюлёво не было так близко, то я бы, наверное, поехал туда посмотреть».

Но едет писатель не в Бирюлёво.

Повесть Евгения Замятина «Уездное» (1912) некогда открыла читателям целую социальную общность русской жизни, которую литература, даже и Чехов, сосредоточась на столицах и деревне, ну еще губернских цен-

трах, преимущественно обходила. Разве что Лесков...

И вот в наши дни явился Бару с его редкой приверженностью не к столицам или к селу, и не к «центрам», а к тому, позволю себе сказать, *градскому сословию*, какое широко разбросано по нашей пространной Отчизне: райцентры, бывшие некогда уездными городами, не успевшие стать промышленными, зато сохранившие исторический облик, да во многом и нравы. Хорошо знаю, что там жизнь во всех отношениях экономически тяжелее, чем где бы то ни было в России, и тем интереснее там люди.

Уездные очерки писателя, хорошо знакомые читателям «Волги», были собраны в книге «Повесть о двух головах, или Провинциальные записки», (М.: Livebook, 2014), а недавно вышли в издательстве НЛО «Непечатные приятели», с предисловием Анны Сафроновой.

В своих уездных историях и летописях писатель, кроме кропотливо освоенного местного исторического материала и личных впечатлений, щедро даёт волю своей ироничной фантазии, проявляя присущую ему яркую *историческую мечтательность*.

Она притягательна и в филологических сюжетах книги «Мещанское гнездо», где хорошо нам известное вдруг взрывается буйной и очень смешной фантазией. В разделе «Свидетели второго тома» он предлагает читателю побывать в роли «филолога-попаданца» и прямо-таки куражится над распространившимся обычаем последних ничтоже сумняшеся вмешаться в историческую реальность, как в известной шутке Пастернака, что по мнению пушкинистов Пушкин должен был жениться на Щеголеве и жить до 90 лет. Уверенность подобных господ в собственном уникальном знании и понимании истории нестерпима для Бару: «...попал в позапрошлый век. Ударил по руке с пистолетом Дантеса или Мартынова. Изменил траекторию пули и был таков. <...> Как сделать так, чтобы расстроить свадьбу Пушкина с m-elle Гончаровой и женить его на Анне Вульф, которая его действительно любила или отучить самого Александра Сергеевича играть в карты, или научить... да в жизни Пушкина не знаешь, за что и хвататься. Подстеречь в темном переулке Булгарина...»

Эту беспощадную эскападу не хочется прерывать: «Ещё не забыть закодировать Апол-

лона Григорьева и Есенина. Лилю Брик познакомиться с Ольгой Леонардовной, купить им два билета в каюту первого класса на пароход, идущий в Австралию или в Японию, и пусть себе плывут...»

Мне кажется, что здесь в авторе просыпается профессиональный химик и технар, которому очень не по душе филологическая брехня.

Однако ж и сам он филолог не из последних, и немало точнейших наблюдений разбросано во многих его текстах. Подметил, что в «Анне Карениной», где «всё ужасно серьёзное, требующее внимательного, вдумчивого чтения. Толстой, Толстой и еще раз Толстой. И внезапно, в сцене, где адвокат Каренина <...> вдруг молниеносным движением ловит моль и снова почтительно замирает... Ну ведь Гоголь же...»

Здесь я чуть покушусь на приоритет Михаила Борисовича и вспомню, что на эпизод с адвокатом и молью когда-то обратил внимание мой покойный друг доктор Илья Петрусенко. И он же указал на место в «Анне Карениной», где на слова Левина об измене жене «...всё равно как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач», Облонский отвечает: «Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься».

Вспомнил я своего покойного друга к тому, что при чтении Михаила Бару постоянно чувствуешь присутствие автора как человека близкого понимания жизни и литературы, словно сам готов в знак согласия толкнуть его локтем или чокнуться. Это проза, близкая русскому сердцу, проза современника, который видит и чувствует ну совсем как я, как мы, только видел побольше, осмыслил поглубже и рассказать умеет получше.

*Ольга БУГОСЛАВСКАЯ*

КРУПНЫМ И ОБЩИМ ПЛАНОМ

**Владимир Сотников. Холочье. Чернобыльская сага. – М.: АСТ, 2020. – 224 с.**

Книга Владимира Сотникова состоит из двух частей. И та и другая – мемуары. Первая – воспоминания автора о детстве, проведённом в

белорусской деревне Холочье. Вторая – своего рода приквел, автобиографические записки, оставленные его дедом и матерью, Леонидом и Антониной Карпекиными.

Село Холочье, центр романного действия, просуществовало в течение ста лет до чернобыльской катастрофы, после которой «дома разрушили и закопали под землю, люди разбежались кто куда». История происхождения и названия деревни отсылают к восточному образу реки жизни: «...сто лет назад деревня появилась вокруг почтовой станции и стала называться Холочье, потому что на местном наречии это слово означало паводковое гнездо из мусора, плывшее весной по реке и прибывшее к берегу. Первые поселенцы согласились с тем, что их прибило к этому берегу течением жизни». Здесь мало что зависит от людей, деревня появляется и умирает по воле судьбы.

Сам рассказчик прежде всего созерцатель, внимательный и бережный. В его повествовании отсутствуют следы пресловутой активной жизненной позиции в вульгарном смысле. Его задача – вглядеться в поток времени и рассмотреть сигналы из прошлого, чтобы «понять, для чего появился» на свет.

Само место действия – пропавшая, исчезнувшая, как будто заколдованная деревня – вызывает ассоциации с мистической литературой. Но если герои мистических повестей попадают во внешнее заколдованное пространство, то автор «Холочья» ищет такое пространство в своей памяти, внутри своей души.

Замкнутый столетний жизненный цикл, память детства, история рода, таинственный край, финальная катастрофа и другие мотивы заставляют вспомнить о самом знаменитом романе Маркеса. Только, в отличие от него, главной темой произведения Владимира Сотникова стало не одиночество, а любовь.

Мысленно возвращаясь в своё детство, повествователь совмещает две точки зрения – детскую и взрослую. Впечатления ребёнка всегда ярче. Детское восприятие сродни увеличительному стеклу, оно укрупняет образы. Эту остроту, жар и царапающую шершавость детских впечатлений автор сглаживает и охлаждает ретроспективным взглядом взрослого. Получается что-то похожее на эффект кипящего котла, накрытого крышкой.



Кроме того, есть ещё один фактор, придающий цветам на этой картине дополнительную интенсивность. Сама деревенская жизнь, описанная в романе, довольно далека от привычных представлений о цивилизованности. Здесь изображена жизнь и человеческая природа в их первозданном виде и в прямых, непосредственных проявлениях. Почти без искажений и исправлений. Поэтому роман, спокойный и созерцательный, полон спящих красок и броских образов, вырастающих в символы, олицетворения, архетипы, а также событий, рассказы о которых приобретают черты мифа или притчи. Например, странная женщина, носившая с улицы мусор в дом и не понимавшая назначения предметов, предстаёт живым воплощением абсурда и бессмысленности, обыденных и при этом пугающих. Соседские братья-подростки, чья взаимная неукротимая ненависть и повторяющиеся драки достигают в глазах ребёнка эпического размаха, обретают черты демонов слепой вражды и упрямого соперничества: «Было непонятно, как они не убивают друг друга, ведь дрались не только кулаками, но и колями, впечатывали друг в друга камни, прыгали на распростёртое тело обими ногами. Драка перекатывалась по всей деревне... Кого-то из них запирали, но они были неудержимы, разбирали стены сарая и появлялись с другой стороны, как будто прилетев откуда-то... Любый удар каждого из них мог быть смертельным». «Как они не убивают друг друга?» Но ведь демоны бессмертны. Один из близких друзей рисуется мальчику всемогущим волшебником, носителем особого дара: «Коля умел всё, что хотел. ...Не учился ездить, сидя задом наперёд на велосипеде, а просто садился так и уже ехал; не преодолевал страх, а просто неожиданно вспрыгивал на огромного быка... устраивая перед нами родео...». Женский образ, олицетворяющий материнскую любовь, амбивалентен и двулик: мать любит своего ребёнка и ненавидит всех, кто потенциально может причинить ему вред. Именно материнская любовь более всех прочих проявлений близка к природному инстинкту: «Братья... вызывали у своей матери такую бешеную любовь, какой я не встречал и в животном мире. Если кто-то... обижал Олега или Мишу, тётя Лиза влетала в любую толпу, как слониха или носорожика,

разбрасывая в стороны свидетелей и добираясь до обидчика».

Те первые детские впечатления отражаются и воспроизводятся в течение всей последующей жизни: «...люди, которых я потом встречал, о которых читал в книгах – в их обликах и характерах всплывали черты моих соседей».

Автор сделал очень точное наблюдение и описал наше общее свойство: в людях, которых мы встречаем в детстве и в которых видим их одно главное, наиболее проявленное свойство, становится кем-то вроде наших персональных богов – любви, заботы, справедливости, мести, войны...

Воспоминания деда и матери рассказчика углубляют временную перспективу до начала XX столетия, охватывая времена Первой мировой войны, революции, Гражданской войны, военного коммунизма, НЭПа, террора, Отечественной войны... В целом это рассказ о призвании, которое становится для героев судьбой, смыслом жизни и спасительным маяком. И дед, и мать рассказчика видели своё предназначение в том, чтобы стать учителями. К своей цели им пришлось идти буквально через огонь и воду.

Драматичное и напряжённое повествование распадается на несколько актов. Начинается оно с того, что отец героя, то есть прадед автора романа, в силу обстоятельств и вопреки внутреннему желанию отказывается от учительского поприща. Этот вынужденный отказ превращается в то, что сейчас принято называть психической травмой, последствия которой ложатся на плечи его близких, прежде всего детей. Жизнеописание Леонида Карпекина начинается как грустная сказка или повесть в духе Диккенса: «По рассказу бабушки Анны, появление моё на свет не принесло радости в семью. Особенно печален был отец». Противовесом демонстративной отцовской нелюбви становится столь же выраженная любовь матери. Ребёнок оказывается на разрыве, как будто под контрастным душем: «Так я был в семье и любимым, и нелюбимым сыном». Дальше всё большую роль в судьбе героя начинают играть исторические обстоятельства – военный коммунизм, НЭП, коллективизация, голод и, худшее из всего, террор, во время которого «люди напоминали беззащитных птицеподоб-

*Нина АЛЕКСАНДРОВА*

ЖИЗНЬ БЕЖИТ ВПЕРЕДИ

**Евгения Риц. Она днём спит. – М.: Русский Гулливер, 2020. – 120 с.**

ных существ, когда в их стаю ворвался орёл и безнаказанно стал истреблять ценнейших из их породы», и «в каждой организации, в каждом учреждении, в каждом доме сидел тайный агент или информатор, готовый поймать тебя на каждом твоём слове». Судьба то сталкивала героя с пути, то возвращала на него. Единственной твёрдой опорой молодому человеку служило отчётливое понимание и видение своего предназначения.

Взволнованный рассказ матери посвящен главным образом участи белорусских беженцев, пытавшихся в начале войны уехать на восток и тем самым спастись от немецкого наступления.

Автобиографии деда и матери написаны принципиально иначе, чем первая часть романа. В них не воспроизводится детский взгляд снизу вверх, они, что называется, безыскусны, то есть в них нет литературных приёмов и фигур речи. О таких произведениях принято говорить, что они «написаны простым языком». Масштаб описываемых событий, их трагизм, сила эмоций, которые они вызывают, и простота языка и стиля создают контраст, образуют воронку. Попадая в неё, читатель полностью включается в повествование, мысленно достраивает всё недосказанное, переживает с рассказчиком целую бурю не до конца описанных чувств.

Крайние жизненные обстоятельства и близость смерти – тоже своего рода увеличитель. В этих условиях возрастает цена любого поступка. В воспоминаниях деда и матери на первый план выходят люди, которые в отчаянной ситуации оказали им помощь, то есть в буквальном смысле спасли. Это и незнакомый старик, который в 25-м году купил юному тогда Леониду, оказавшемуся в дороге без денег, билет до Минска, и женщина, пригласившая к себе в дом семью беженцев, и коллеги, помогавшие осваивать профессию. На страницах этих воспоминаний запечатлена прежде всего благодарная память.

Короткий роман Владимира Сотникова заполнен мощным и тёплым потоком жизни, в котором ничто никогда не заканчивается, не забывается и не пропадает зря: «Я не верю мудрецам, говорящим, что всё проходит. Всё, что было, есть в человеке».

У книги пять мини-предисловий (совершенно лирическая аннотация тоже одна из них) – и все они удивительным образом единодушны. Ни один из очень разных авторов не пустился в аналитику по поводу стихов Евгении, все писали только об очень интенсивном чувственном, не вполне вербальном опыте («это мир, еще более плотный – и, одновременно, тонкий и нежный – чем сама жизнь», «это лепет, пьющийся из опыта, и опыт, лепечущий свои провидческие откровения», «от внешнего наблюдателя эти стихи, кажется, совершенно ничего не хотят, как не хотело бы облако или дерево»). То, что совершенно разные люди переживают опыт от взаимодействия с этими стихами как нечто совершенно не рационализируемое, крайне любопытно.

Видимо, дело все-таки в абсолютно мифологическом мышлении, в рамках которого построены все тексты книги.

Люди, предметы, стихии плавно перетекают друг в друга, все время изменяясь и трансформируясь. Этот мир полон «овеществленных деревянных детей, переходящих в галоп», здесь «в глазу электрический лес», и «люди были деревьями, деревья были людьми», а «трава пробивает с изнанки поверхность мира».

Метаморфозы всего во всё, где это все максимально неузнаваемо и постоянно преобразуется прямо на наших глазах – совершенно метареалистская концепция. Здесь каждый объект становится субъектом, чтобы потом снова потерять свою субъектность – или продемонстрировать читателю, что между субъектом и объектом нет никакой разницы, любая часть содержит в себе целое и одновременно остается его частью. Бесконечная фрактальная рекурсия.

В этом смысле реальность вокруг можно переоткрывать сколько угодно раз и вступать с ней в какие угодно отношения – они одина-



ково возможны: «Восьмилетняя девочка с куколкой наперевес / Прозревает духов. Презирует духов / За лишний вес».

Постоянное переоткрытие мира, на который автор смотрит удивленно, будто бы впервые, тесно связано и с переоткрытием, переизобретением языка. Ведь если реальность после каждого взмаха ресниц новая – то и фиксировать ее в языке нужно по-новому.

В этот момент в как будто бы совершенно силлабо-тонических текстах вдруг появляется движение: неточная (дверь – смотреть), внутренняя (стратосфера – страстотерпцы) или визуальная (имена – меня) рифмы. Строфы расшатываются – в текстах возникает гиперметрия и липометрия, намеренное удлинение или укорачивание строки – визуальный ритм, характерный скорее для классической английской поэзии, чем для русской («Зимний день переходит в другой порядок, / Весь разрезан, разрезан на горловой подложке, / Как аспирин и сода / Неисцелимо»). Как будто приметы ритма также флюидны, неточны, как и все окружающее.

В фольклорных жанрах заговора, заклинания, ритуальной поэзии ритм становится важнее значения слов. Именно он делает текст чем-то большим, придает словам ту самую магию. Стихотворения Риц основаны на этом ритме дыхания и ассоциативном письме. Евгения перебирает слова как ребенок, видящий вещи впервые – они теряют смыслы, оставаясь просто набором звуков, становясь круглыми бусинками, колдовскими оберегами («Брат Олежек, / Блат олешек, / Плат орешек / Сколь-ко платьев у дерева»).

Ученая и философ Элен Сиксу писала о женском письме как о поэзии тела и дыхания – внелогоцентрической. В стихах Евгении Риц это ритмическое мерцание совершенно органично, рифма может вдруг появиться в как-будто-бы-верлибре – и исчезнуть через некоторое время, а потом снова появиться и сложиться в сложную, витиеватую и изящно построенную строфу: «Пусть и не в нашей, в другой. / Тени весь свет потеряли, / Нервно рассвет потирали / О земляную ладонь. / Ложь, говорю, в свой светильник / Честное пламя могилы, / Чтоб языками тугими / Жарить язык до кости. / Если бы знали – могли

бы, / Если бы встали – легли бы / Длинные плоские глыбы. / Вечно теперь им брести».

Телесности в этих текстах очень много, но эта телесность фольклорная, тотемическая, анимистическая («Солнце захочет меня обглодать, / Глядь – / Я над ним же жирую /», «Сама земля моя смотри / Глазами изо рта», «родина с севера до лобка», «голое тело планеты»).

При этом в текстах практически всегда отсутствует лирический субъект, это часто максимально остраненное наблюдение, фиксация. В стихотворениях почти нет личных местоимений: «В школе выходили во двор при любой погоде, / Слушали зимний двор, как его неслышно, / Наблюдали свои заметки». То есть само воспоминание становится как бы неличным, а всеобщим переживанием. Память такая же материя, как остальное, приметы времени равнозначны дереву, солнечному блику – и так же не принадлежат никому, существуют для каждого.

Несмотря на то что книга композиционно разделена на четыре части, это цельный монотекст – первобытный взгляд в сомнамбулическое вокруг, на мир, с каждой частью которого ты на равных. Где «какая-то жизнь» бежит «одновременно впереди и позади».

*Екатерина ХРАМЕНКОВА*

СЛЕПОК ЧУВСТВ

**Анна Грувер. Демиурги в фальшивых найках / Пер. с украинского В. Коркунова. – М.: UGAR, 2020. – 68 с.**

Поэтический сборник Анны Грувер «Демиурги в фальшивых найках», вышедший в 2020 году, обрушивает на читательниц/-лей вопросы, на которые не все захотят ответить даже себе.

Как отразить боль, которая еще не изжита?

Как вырваться из кокона, подобного тому, которым запеленывали мертвых? Он сковывает человека, закрывает рот и уши, – не различить слов поддержки и дружеских голосов, не попросить о помощи, и только глаза остаются широко открытыми, воспринимают, пока не

появится желание ослепнуть от невыносимой картины, от собственного присутствия в пространстве страдания, или их не закроет мило-сердная рука.

Сборник состоит из четырёх частей, четырёх кругов Грувер, ведущей нас от одинокого «Я», в части «Монстров (не) бывает», через подростковое одиночество внутри общности: «Ор. № 1 на четыре детских голоса и сломанный автоответчик». Здесь перемежаются темы потребности человека в других и жестокости группы, в которой оказывается тот или иной ребенок. Но и эти минисообщества людей, как и каждая/ый в отдельности, страдают от общего чувства непринятости, от холода действительности условно взрослого, бессмысленного в своем равнодушии мира. Это выводит читателей к третьей части: «Одна из нас»<sup>1</sup>. В ней, за трагизмом поднятой темы насилия в жизни женщин, раскрывается другая значимая тема – потенциальной силы общности, которая способна послужить преодолению страдания. В четвертой части: «Демиирги в фальшивых найках» продолжают темы подростков – и студенток, войны в Донеске, напоминающей о второй мировой и фашистах. Прячется еврейский ребенок в шкафу – выходит старик, встречает соработницу и слышит об обстрелах, что, как и прежде, идут, и можно вновь прятаться и ждать родителей, которые уехали много-много лет назад и еще не вернулись. Проблемы антисемитизма перекликаются с буллингом, направленным против гомосексуалистов. Жестокость по отношению к непохожим, ксенофобия не исчезают целиком, а лишь меняют субъектов преследования и чуть затихают. Но любое длительное неблагополучие вновь формирует эту энергию ненависти в людях, и от этого становится страшно. И противостоять этой ненависти пытаются все те же подростки:

он умеет рисовать мутантов я умею  
рисовать людей  
а лучше всего у нас получаются тушканчики  
мы двое и есть та самая анонимная  
редколлегия

<sup>1</sup> Часть «Одна из нас» в оригинале называется «одна з нас», а в переводе, с согласия авторки, «#однаизнас».

но школе не нужны мутанты школе  
не нужны люди  
нужны отравленные шприцы СПИДУ НЕТ  
нужна бутылка в огне АЛКОГОЛЮ НЕТ  
школе не нужны тушканчики  
не нужны мы  
<...>  
а потом мы нарисуем так много  
тушканчиков  
что они заполнят всю землю  
и не останется места для долбовзрослых  
и зла  
полная земля тушканчиков и два  
демиурга в фальшивых найках

Как когда-то Холден Колфилд, сэлиндже-ровский подросток, современник второй мировой, двое героев Анны Грувер из приведенного отрывка готовы противопоставить свой голос миру «долбовзрослых» и зла, даже если это заведомо обречено на неудачу.

Все стихотворения переведены с украинского, ставшего языком высвобождения поэтической речи, по словам самой Грувер<sup>2</sup>. В них звучит возврат права на собственное проживание потери и ее личную интерпретацию, поиск того, что связывает прошедшее-невозвратное – с оставшимся-явственным.

До семнадцати лет Анна Грувер жила в Донеске – этот город имеет ее собственные внутренние карты, отличавшиеся от внешнего образа. Город, искаженный войной, совершенно изменивший свой облик. Даже восстановленный, он уже не сможет быть прежним. Он будет иным, самой новизной напоминая о войне. И возврат к знакомому образу возможен только изнутри. Это путь от себя к городу, через воссоздание его географии, маршрутов, странных диалогов, вымышленных или подлинных, обрывков слов, услышанных когда-то на улицах,

<sup>2</sup> «В 2014 году, после затянувшегося молчания, стихотворные строчки сами собой стали проговариваться на украинском языке. Это был странный неконтролируемый процесс, билингвальное от рождения сознание тяжело объяснять изнутри. Украинский язык меня освободил, я поняла, что прежде такая внутренняя свобода, честность и откровенность были невозможны» (Из интервью Анны Грувер онлайн-журналу «Литература», № 113, март 2018).

в которых переплелось прошлое и тревожное настоящее. В этом городе словно живут призраки и живые одновременно.

Он вовсе не связан со счастьем, скорее, наоборот, но это значимое место, так или иначе переплетенное со словом «Дом». И сохранить его можно, лишь воссоздавая в изменившейся действительности собственный внутренний город.

Первая часть сборника больше похожа на борьбу между воспоминанием, фиксацией прежнего впечатления и ужасом, безобразностью войны, которая не упоминается прямо, но кладет на все отпечаток. Ее невозможно вычеркнуть из памяти, потому что травма не прожита, и читатели видят ее как рану на теле города.

С первого стихотворения сборника мы оказываемся на одной из главных улиц Донецка, следуем за лирической героиней, замирая, следим за иллюзорностью внешних примет, кажущихся обычно столь надежными в своей материальности. Они «рифмуются» друг с другом, создавая противопоставления «высокого» и «низкого» с тем, чтобы внезапно оказалось, что ничего этого нет: ни города, ни улицы, ничего, кроме идущего человека:

иду по улице розы люксембург  
рифмую водосточную трубу с червяком  
канализацию с жёстким небесным диском  
<...>

и никто в торжестве не виновен  
ты хочешь сказать никто не именинник

иду по улице розы люксембург  
с корабля на бал скораблянабал скоро  
бля наебал  
концепты летают низко к дождю  
навстречу школьница на зубах брекеты  
не керамика просто скобки  
улицы нет города моего нет я иду  
и не вижу наёбки

Вторая часть переносит нас в эмоцию гнева. Мало кто умеет так яростно злиться, как подростки, которым и так сложно понять, зачем они здесь, найти опору и научиться пользоваться возможностью выбора ответственно.

Для этого нужно принятие мира, но в поэзии Грувер смыслы у них отобраны оружием и цинизмом происходящего. Подростки несут в себе, отражают и воспроизводят в личных отношениях отраву нелюбви, которой охвачен город. Быт в виде учебы, хаотичные запросы в гугл, воспроизводящие распространенные у тинейджеров страхи, агрессия и неизвестность завтрашнего дня, отбирающая надежды:

июль идёт  
расцветают танки  
станислав кириллович ходит в белом  
как на смерть  
я молчу второй месяц

и во мне отмирает уже вторая четверть

Здесь нет утешения, только фотография действия энтропии, порожденной людьми. Впечатление от этих стихов похоже на день с «Гражданской обороной» в наушниках. Это выплеснутая правдивость тяжелой стороны реальности, из которой немедленно хочется уйти. Она невыносима и требует изменения только тем, что существует. Авторка словно отказывается от выражения своего мнения о происходящем, действуя как свидетельница, позволяя увидеть обезображенную разрушением гримасу действительности. И от того, что здесь нет патетики или призывов, невысказанное обращение действует еще сильнее, это становится не голосом одного человека, но голосом всех подростков, невольно разделивших историю города.

«Одна из нас» посвящена женщинам. Все они оказываются одиноки, сталкиваясь с разными сторонами насилия, с передающейся историей женской боли, будь то выкидыш ребенка, домашний абьюз или домогательства. Но за этой разъединенностью, рефреном, объединяющим всю часть сборника, звучит, что каждая из них – одна из нас, каждая из нас, читающих это, имеет свою тайну или тень, роднящую с ними. Так создается сестринство и преодолевается изначальное одиночество женщины, которая одна против молчаливых стен, табуированности и чужих высокомерных оценок ее положения.

Наталия ЧЕРНЫХ

## ВУЛКАН В ЦАРСТВЕ ПРОТЕЯ

Евгений Волков. колОкол. Стихотворения. – М: Стеклограф, 2020. – 60 с.

*Полно мне тужиться, тяжбу с собой  
заводить.**Славно плывем мы, и много ли нужно ума  
В царстве Протея...*

Александр Миронов. Корабль дураков

может ли женщина на неоновой вывеске  
успешно скрывать вечные семейные  
ценности  
под тяжёлой оправой тяжёлого бренда  
а цены падают цены падают

вы сказали  
могу ли я вам помочь  
а чем вы можете помочь хотя бы одной

одной из нас

Несмотря на сходство в графическом способе письма и в проработке темы насилия, Анна Грувер не предлагает выхода, какой можно услышать в «Ветре ярости» Оксаны Васякиной. Здесь не слышится прямого ответа, как вырваться из этой темноты страдания, с которой веками сталкиваются женщины. У Оксаны Васякиной есть концентрированная сила преодоления, ее слово и метафорика наполнены особенной свободой, борьбой и утешением, в ее поэзии если не жизнь, то хотя бы смерть и мягкая колыбель земли способны успокоить боль женщин. Она берется остановить на себе этот круговорот, противостоять ему собственным выбором, несмотря на вовлеченность в этот цикл. Анна Грувер словно еще находится в не до конца отрефлексированном отрезке переживания, донося отчетливость снимка своих чувств или чувств своих героинь/ев без вывода, что с этим одиночеством, разобщенностью, войной или насилием в женской жизни можно сделать живому человеку, не теряя способности чувствовать. И это тоже самоценно – успевать передать сильное впечатление, находясь изнутри какого-то опыта. Но, как и в «Ветре ярости», здесь есть сострадание и признание в разделении этой общей боли, сочувствие к наиболее уязвимым в системе неравенства людям. А когда явления называются своими именами, прерывается чугунное, тягостное замалчивание, и стены ломаются словами. И чем больше появляется голосов, говорящих об этом, тем больше укрепляется этика, при которой равнодушие становится постыдным, а насилие – недопустимым. И властный мир, закрепляющий систему контроля и устрашения, – отступает.

«КолОкол» – книга автора со зрелым опытом исполнителя, который конфликтует с не меньшим опытом писателя; две корзины приблизительно равного веса, перетягивает то одна, то другая. В результате возникли мгновенно узнаваемые (так и хочется сказать в стиле автора: узнаваемые в лицо) стихотворения. Как это возможно, чтобы исполнительский опыт конфликтовал с писательским, вопрос не риторический. Евгений Волков начал в восьмидесятых, он художник и музыкант (что выражается в прихотливой звукописи стихотворений), затем произошла перезагрузка, но стихи остались. В этом «но» все дело. «За творчеством Волкова явственно видна программа, пусть и не концептуализированная явственно, но создающая смыслово нагруженный зазор между письменным бытованием его стихов и их представлением», – нахожу подтверждение в рецензии на «колОкол» Даниила Давыдова (Литература, №160, март 2020).

«КолОкол» – монолог поэта-одиночки, которому уютно в своем одиночестве. Но при этом его одиночество пористое, кишашее сквозняками чужих настроений («женщины дырявее небес рыдают»), странными персонажами («бога тырь», «чел овечий чел»), пейзажами («гуляет скот по полю в сапогах») – teeming emptiness, процитирую Джеймса Дугласа Моррисона, поэзию которого уже изучают в американских школах. «Иногда в ненагруженных, свободно исходящих в звук строчках Е. Волкова, стихах-монологах, насыщенных умело встроенными аллюзиями, перелицованными поговорками и расхожими фразами с порой расчлененными словами вдруг натывается на позу, нарочитый жест, как на рослый манекен за стеклами модного бутика. А

приглядевшись, замечаешь, как на месте этого “манекена” мысль поворачивается в два конца: одной стороной – лицом к театру, другой – к сокровенному божественному началу лирического героя», – цитирую поэта и критика Зульфию Алькаеву («Евгений Волков – погонщик рыб». Поэтоград, №8, 2017).

и выгрызаю волком пустоту  
чтоб оказаться с большей пустотой  
«Темноте»

Пустота, царящая внутри «колОкола», населена множеством отношений, вещей, сюжетов – множеством переполненных миров. Почти все стихотворения здесь критической плотности – так много в них смыслов и образов. Они отражаются один в другом, накладываются один на другой, и порой кажется, что сам автор сходит с ума, заговаривается от такого «наводящего ужас» движения, в котором нет паузы. Вещь изменяет свой облик на глазах (и автора, и читателя: «и кара мельно лоно между речей»; было Междуречье – стало лоно; история цивилизации наглядно), слово тоже (было одно, стало два; было два – стало одно), смысл мгновенно размножается. Вся тревожная картина звучит, у нее особенная и очень фактурная звукопись. Кстати, Междуречье, Месопотамия – это одно из часто упоминаемых пространств в стихотворениях «колОкола». Обнаружена звуковая клинопись. Полагаю, термин в духе поэтики Евгения Волкова.

театр теней и часослов цикад  
направит день в полуночное русло –  
где рядом с нами падает сна ряд  
накрыв меня ладошкой заскорузлой  
моя земля на трех китах стоит –  
мои киты опять плывут куда-то  
«театр теней...»

Новая поэтическая книга Евгения Волкова привлекла меня и тем, что в ней уместились все прежние находки этого поэта, известного особенным опытом работы с фактурой текста, и тем, что появилось нечто новое, более лиричное и одновременно мрачное, что придает книге стройность и завершенность. Образ, возникающей в ней – играющий горами

рыцарь-титан, смотрящий на человеческую цивилизацию с высоты своего роста, но в нем есть нечто от героев плутовского романа. И этот персонаж порой издает сардонический, но все же исключительно волковский хохот.

Название «колОкол» можно прочесть и как послание из-за некоей границы («Колокол», журнал Герцена, словечко Белинского), и указание на основные темы некогда культового романа Э. Хемингуэя (война и человеческие отношения в условиях войны), но очень важна и речевая составляющая: вокруг да около. Три «о» в названии и зовут, и предупреждают. Если попытаться продолжить словесную игру автора, можно записать смысл названия как «ООО Апокалипсис». Вернее, пост-пост-апокалипсис. Уже в названии смещенным ударением автор рисует перед читателем тревожное, идущее по эллипсу движение, – упругий круг, который то сплющивается, то распрямляется. «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал» – эта строчка из Павла Когана может служить ключом к странному названию. Однако долгий тягучий возвращающийся звук покоя не дает, ни автору, ни читателю. Есть еще одно выражение: колом о кол, встреча равных сил, уничтожающих друг друга. Есть уже в названии нечто катастрофическое.

Настоящий поэт располагает в культуре как у себя дома, перефразирую высказывание театрального режиссера Бориса Понизовского о поэзии Елены Шварц. Евгений Волков тоже располагается в культуре как у себя дома. Он по-шекспировски легко управляется с цитатами из Шекспира. Они всегда уместны и поданы без лишнего трепета и раздражающей серьезности. Из классической поэзии серебряного века автор близко чувствует, вероятно, Александра Блока (судя по эпиграфу «скрипят задумчивые болты»), Бориса Пастернака («Февраль. Достать чернил и плакать!»). Что не исключает того, что именно от их творчества автор «колОкола» отталкивается, осваивая свою собственную матрицу, основанную на их модулях. В этом вижу проявление подлинной интеллектуальности. Автор не боится центонности, умеет с ней обращаться и придает ей характерность и фактурность.

Я бы сделала осторожные параллели с поэтами-эмигрантами Георгием Ивановым и Юрием Одарченко. В «колОколе», почти в

каждом стихотворении, ходят inferнальные темные сквозняки, чуждые Блоку, видящему зори, пусть и холодные, и Пастернаку, по эту весьма религиозному, пусть и своеобразно. «Тот кто посуху ходит не бог / кто не бог тот меня не осудит» – намного ближе к Георгию Иванову, чем к Пастернаку.

«Камень имитирующий хлеб» – строчка, которая могла возникнуть у Георгия Иванова, а еще у ленинградского поэта Александра Миронова. В ней видна кропотливая, но оставляющая впечатление легкости наития, работа с культурой. Здесь и Новый Завет, Евангелие от Луки, притча о молитве, отце и сыновьях, и Лермонтов с его «Нищим».

В этой поэзии есть избыточность, даже опасная, гибельная маскарадность, влюбленность в игру едва ли не до смерти, до опустошения. Иногда кажется, что вечно-желанная возлюбленная, возникающая в большинстве стихотворений («любимая затерта до дыр») – это именно игра, женственная сущность азарта, который вместе с поэтом складывает новые слова из фрагментов старых. «Пресуществление обычного текста в поэтический происходит как будто прямо на глазах, в он-лайн режиме», – резюмирует Зульфия Алькаева («Евгений Волков – погонщик рыб»).

Игровое начало у Евгения Волкова мощное и страстное. Его энергия питает острую поэтическую интуицию, ведущую автора по тонкому канату над пропастью современных практик, где конкретизм, концептуализм, постконцептуализм и трансгуманизм сплелись как клубок змей. В «колОколе» возникают, как и в предыдущем «Погонщике рыб», образы постапокалиптической эротики, нежные и монструозные одновременно.

когда по всем справляет мессу память  
и отправляет нужды херувим

я занят сном –

и может быть едой

*«из бранных слов все избранные речи...»*

«Смысл здесь в другом: взлом конвенциональной структуры слова воспринимается как нечто безусловное, как живой языковой факт, но не как вторжение инородного тела в общий поток поэтической речи (а именно та-

кими инородными телами частенько выглядят каламбурные образы у немалого числа авторов)», – размышляет Данила Давыдов о звуковой клинописи Евгения Волкова. Добавлю, особо отметив снятие знаков препинания, что беззнаковая запись стихотворения у Волкова работает на восприятие читателя; поэт выходит к читателю без пунктуации – без лишних условностей, являя факт живой поэтической речи. Поэт Виктор Кривулин описал одно из сильнейших своих поэтических переживаний как слышание хора поэтов, где был различим каждый голос, который вел свою партию, но в целом голоса не мешали, а поддерживали друг друга. При чтении стихотворений Евгения Волкова это высказывание выскользнуло на мой внутренний экран.

Порой поэт хулиганит и сознательно прибегает к запрещенным приемам. Например, столкновение «эс» и «зэ» в этой строчке воспринималось бы как дурной тон в любом другом случае, но в этом – изображает лучистое светило зимой, когда искрится снег и под ногами вот-вот побежит лед: «и ждет небес звезда».

«КолОкол» составлен целно, без разделов, он идет от более тревожных – к более лиричным стихотворениям, хронологически более поздним. Но книга не строго хронологическая. Несколько стихотворений в ней – собственно «Погонщик рыб», «из бранных слов» и еще несколько – взяты из предыдущей книги, чтобы не потерялась связь и яснее виден был бы почерк автора. Полагаю, у «колОкола» появится много читателей.

«Резкие переходы, неожиданные отсылки, яркие образы, игра со звуком – характерные черты поэтики Волкова... И на этом непростом и даже опасном пути Волков неисчерпаем,» – так высказался Даниил Чкония («Я это я – и больше ни полслова». Эмигрантская лира, №4 (24), 2018). Опасная, гибельная самость, на изнанке которой есть только стремление быть самим собой, и «счастье с удовольствием и радостью не понимая самого себя» запускает сложнейший творческий процесс, который охватывает не только личный культурный багаж поэта, но и многие современные процессы, происходящие «на наших глазах» (цит. из Е. Летов) – в буквальном смысле, перемену точки зрения всей цивилизации, сколько бы не было попыток зафиксировать и удержать уходящее.



когда у правды нет литературы –  
куда ни плюнь все попадаешь в бровь  
«*неладно что-то в королевстве датском...*»

В этом ясном, самоценном двустии важнейшая страстная любовь, а не сарказм. Весь «колОкол» именно об этом – о любви. К языку, к красоте, к жизни.

«...и не буду народу любезен» – звучит почти как резиньяция проклятого поэта, творчество которых вдохновляет Евгения Волкова очень давно.

Закончу автоцитатой: «...любовь – жидкость без цвета и запаха, которая одна лишь может размочить сохшиеся после вселенской гуманитарной катастрофы бинты условностей. Но в этой книге любовь не вступает в схватку со смертью. Здесь любовь и смерть отлично друг друга понимают. Поэт выходит на такие высоты, что ему ничего не остаётся, кроме как сверху послать на читателя напалм.» (Волга, 2017, № 3-4).

### Борис КУТЕНКОВ

#### ДИДАКТ НА ГРАНИЦЕ ИНОБЫТИЯ

**Александр Переверзин. Вы находитесь здесь: Стихотворения / Предисл. В. Козлова. – М.; СПб: «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2020. – 133 с. – (Серия «Пальмира – поэзия»).**

Новая книга Александра Переверзина, помимо поэм «Плот на Волхове» и «Никола Вологодский», включает два раздела: первый, одноимённый названию сборника – «Вы находитесь здесь» (стихи 2011–2019 гг.), второй – повторяющий избранные вещи из дебютной книги «Документальное кино» (2000–2008), очевидно, не устаревшие для автора за десять лет. Напомним, предыдущий сборник вышел в 2009-м – и стал событием поэтического процесса, будучи отрецензирован буквально во всех заметных литературных журналах. На протяжении следующего десятилетия стихи из него словно проходили проверку на прочность: Переверзин непременно включал многие из них в свои поэтические выступления. Новую

книгу тем не менее ждали; автор не торопился, выступив в итоге с избранным, – и сам жанр неизбежно располагает к наблюдениям, как изменилась поэтика Переверзина за этот период.

Некоторые стихи нового раздела как будто движутся в русле проверенных «хитов» из «Документального кино»: скажем, «В Митине пустом под утро...» – одно из самых страшных в дебютной книге, об исчезновении человека, – словно множит свои подобию. Но сверхзадача такого развития – отнюдь не усилить декоративный элемент, иначе всё было бы слишком просто: Переверзин как мастер письма слишком знает цену эффекту, чтобы играть на эффекте. К примеру, нарочито прозаическое наблюдение в повествовании о фотографии убитого, случайно увиденной на могиле: «... Ходишь, думаешь: как, боже, мой, / он похож на Артура из Кратова, / что держал павильон с шаурмой!», эхо того же давно знакомого «Не увидеть человека: / вышел и пропал», – не только расширение пространства поэзии за счёт принципиально необязательного, области внутреннего бормотания, говорения словно бы из зоны бессознательного<sup>1</sup>, – но и нарочитое профанирование смыслов, связанных с погибшим. Память о случайном документальном снимке, растворяющая детали портрета, в итоге становится частью не только метасюжета разобращения – но и возникающего на самых разных уровнях сюжета пограничности *того* мира, предельно зримые призраки которого то возникают среди нас, то мгновенно оттесняются на обочину памяти в круговороте житейских дел и событий.

Особая сюжетная рифма между книгами угадывается и в двух стихотворениях о детстве: «Мне хотелось быть в детстве врачом...» (раздел «Документальное кино») и во втором

<sup>1</sup>Казалось бы, нет ничего более далёкого от поэтики Александра Переверзина, чем концептуализм, но именно при чтении этого отрывка вспомнились слова Михаила Эпштейна о Пригове – о его «живом, почти животном философизме на уровне бурчания, мычания, бормотания», о говорении «из той точки, где мыслительство ещё не отделилось от урчания в животе и от почёсывания в затылке» (М. Эпштейн. Из Америки // Все эссе в двух томах. Том 2. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 115).

стихотворении книги, из условно «новых» («Дед всегда говорил маме...»). Но их сравнение способно пролить свет и на важный сюжет эволюции – от довольно примитивного детского нарратива в «Документальном кино», разбавляющего пафос более «серьёзных» стихов калейдоскопом воспоминаний о прошлом, до цельного биографического эпизода. Хронологически поздний (он же – более глубокий) текст только на поверхностном уровне повествует о детской интровертности. Лирический герой, ребёнок (прообразом, очевидно, послужил сам автор), «дружит» с животными, которых его дед, зная, что их скоро «пустят под нож», считает дурной приметой называть человеческими именами. До четвёртого класса маленький герой предпочитает возню с ними – общению с людьми, располагаясь при этом как бы на границе между жизнью и смертью. Проницаемые границы между миром живых и миром мёртвых, о которых точно пишет в предисловии Владимир Козлов, в новой поэтике Переверзина становятся ещё более проницаемыми – во многом благодаря эффекту повествовательности, когда нетривиальным становится сам нарратив, а лирическое «я» с его оценочностью устранивается.

В другом из новых стихотворений, где покойника везут в морг, медсестра в это же время думает, «...где купить и что надеть / на старый Новый год». Рифма грядущего Нового года и неотменимой смерти сама по себе жутковата, но уверен, что ужас происходящему придаёт ещё и отсутствие авторской субъективации. Не менее важно, что стихотворение построено на последовательной смене семантических планов: предсмертные галлюцинации в первой части (которые сами по себе дают заораживающий простор веществу поэзии – тут и выход «в Латинский квартал по галерее крыш», и «языки костра», и полёт «из Мурманска в Париж»), и суховатая проза жизни, выраженная в передаче внутренней речи медсестры, во втором. Основным приёмом Переверзина в новых стихах становится отражение «здешнего» до полной идентификации с событиями, героем, пространством – и, в противоположность им, абстракции в их предельной размытости. В каком-то смысле это *поэтика осознанных*

*крайностей*, имеющая дело с функциональной ясностью предмета – и присутствием неведомого, которое начинает «работать» только на фоне этой функциональности. Переверзин оставляет «понятное» максимально понятным в контексте жизненного обихода, чтобы остранением довести картину до максимальной степени символической абстракции. Для автора «Вы находитесь здесь» важен вопрос, отсылающий к консервативной традиции (его любит задавать, например, Игорь Волгин на своих семинарах), *что происходит в стихотворении* на уровне обычного сюжета, – но если для апологетов советской традиции этого сюжета достаточно, то в постсимволистской поэтике Переверзина значим «трансцендентальный ветерок», по Адамовичу, та особая лирическая ситуация, когда стихотворение не отрывается от своих биографических корней (отсюда номинативные предложения с их особым эффектом достоверности), и в то же время неперенный второй семантический план, связанный с размытостью произносимого на разных уровнях<sup>1</sup>.

А вот как упомянутый контраст между зримым, предметным, и потусторонним работает в одном из лучших стихотворений книги – в котором метафора ухода (физического – или обычного расставания? Стихотворение не говорит об этом, обходясь полунамёками) сжигается до принадлежавшей человеку вещи:

Вот твой плащ,  
а тебя нет,  
год болящ  
и отпет.

Ходишь там,  
плащ ища,  
не отдам  
я тебе плаща.

<sup>1</sup> Впрочем, я выделил бы в книге и стихи, написанные как бы за чертой поэзии, отличающиеся намеренной «плохописью»: см., например, абсолютно достоверный «Разговор о сегодняшнем вечере» – Переверзину удаётся привести и в эту бесхитростную зарисовку максимум остранения и свойственного ему лёгкого, анекдотического – вопреки всему драматизму – отношения к жизни.



Нет, не нужней,  
просто здесь  
для твоих вещей  
плечики есть.

Стихотворение это поразило меня ещё при первой публикации – в «Арионе» (2014, № 4) – не только тем, как мастерски трансформирована отсылка к хрестоматийной «Балладе из харчевни» (другое название – «Баллада о гвозде») Новеллы Матвеевой (я люблю в поэзии подобную реминисцентную «соревновательность», но, в принципе, переверзинский текст преспокойно существовал бы в культурном обиходе и без этой аллюзии); не только пронзительным разговором с ушедшим, но и надмирностью этого «там», которое расширяет до инобытийного пространство разговора с исчезнувшим адресатом. Узнаваемая ситуация, предметно обозначены координаты, в то же время ситуация «там» (при этом ни одного намёка на смерть!) остаётся неопределённой, символически-потусторонней, что особенно чувствуется на фоне предметности: плащ, уход дорогого человека, довольно прозрачный ассоциативный ряд с трогательными, уютными «плечиками» – и не названными прямо, но явными мужскими поддерживающими плечами, которые в контексте «плечиков» и образа ушедшего, «болящего» и «отпетого» года переводятся в семантический план ослабленности<sup>1</sup>. Зацепка же за оставленное и, в общем, уже не нужное ушедшему, – «не отдам / я тебе

<sup>1</sup> В частной переписке, правда, автор оспорил мою трактовку стихотворения – довольно уверенную – сказав, что «год болящ и отпет» относится не к признакам года, а к самому адресату. Плечики, согласно его интерпретации, не свидетельствуют ни о каком «семантическом плане ослабленности», это всего лишь то, на чём висит плащ. Да и мужской образ адресата выражен, по его мнению, явно: мол, зачем бы держать у себя женский плащ? Этот разговор вновь заставил меня задуматься о трёх моментах: 1) о том, насколько видение читателя отличается от авторского и сколь непредсказуемы несовпадения; 2) о плодотворности обсуждения вместе с автором; 3) о том, что стихи «смысловика», тяготеющие к определённости содержания, всё же сами ограничены своим смысловым началом – в отличие от тех, что изначально допускают свободу интерпретаций.

плаща», – и создаёт пронзительную ситуацию беспомощности, и делает из обычной вещи – высшую ценность: то, что эта вещь теперь принадлежит лирическому герою неизменно, доставшись «по наследству», – спасает от смуты, а быть может, и от смерти.

Переверзин умеет говорить семантическим курсивом, «не повышая шрифта», но в нужный момент акцентируя внимание на соответствии читательского времени – наглядной реальности. Недаром так много обозначений времени («Электричка обратно в полпятого...») – тут сказывается, думаю, не только необходимость железного тайм-менеджмента для редактора популярного издательства и для отца маленькой дочери, вынужденного отсчитывать время с точностью до минут, но и пристрастие к документальной точности письма, сверенность с *авторскими* часами, обязательность слова, которая так заметна в книгах «Воймеги». Она же, эта обязательность, – известный ограничитель восприятия в том, что касается поэтики, исповедующей другие принципы: принципиальную размытость образа, амбивалентность смысла. Буквально в день, когда я получил от Переверзина рукопись «Вы находитесь здесь», у меня вышел спор с ним о знаках препинания в поэзии – впрямую не относящийся к рецензируемой книге. Поэт и издатель активно (как ему свойственно) доказывал некие незыблемые, явные законы, связанные с пунктуацией в поэзии; для меня всё было не столь очевидно, не сводимо к законам дидактики, чёткого представления о «паузе» или «точке в конце строки», внеположного законам индивидуальной авторской поэтики (речь шла как раз о «суггестивном» авторе, который не согласился с предлагаемой ему правкой). Спор этот живо вспомнился мне при чтении первого же стихотворения в книге с его пугающе незыблемым: «Я говорю, мой новый друг, / Старое слово, / Слово моё. / будь одиноким и тихим. / слово моё, / будь непонятным и диким». В этом «старом слове» есть что-то от дидакта, который остаётся на страже собственной позиции, не очень-то приспособляясь к требованиям меняющегося времени (в самом деле, если вернуться к нашему с Переверзинным спору и попытаться понять его точку зрения,

– много ли сегодня поэтических издательств, которые отстаивают законы редакторского профессионализма, – пусть и понимаемого не сколько общо?). И только в следовании «одинокому слову», негромкому, – непонятному дилетантам, *дикому* для тех, кто стремительно движется вместе со временем, – есть следование своему предназначению: привычный распорядок жизни, в который встроено понятие об этом предназначении, способен спасти от распада. Спасать – при этом оставшись в новом времени не приметой законсервированности, а живым представлением о собственной позиции. Для автора «Вы находитесь здесь» ещё жива функциональная польза поэзии – она не предмет научного исследования, а обращение человека к человеку, исподволь что-то меняющее и в говорящем, и в адресате. Но спасение не только в поэзии. Оставаясь на незабываемых постулатах стоицизма, – например, «вычитывая подборку» (когда уже, кажется, редкие издатели и редакторы «вычитывают»: публикуют как попало, опираясь или на релевантное имя, или на необходимость скорее заполнить рубрику), – можно и протянуть «двести лет», и поиронизировать над собственным консерватизмом (мне это стихотворение напомнило очень схожее у Слуцкого – о немке, переждавшей зиму в собственном доме, просто не открывшая никому дверь<sup>1</sup>).

Мне обещали: ты умрёшь.  
Но это ложь, да, это ложь.  
Ведь ночью, вызвав uber,  
я до утра не умер.

Мне обещали: погоди,  
всё впереди, всё впереди,  
заглохнет твой пропеллер.  
Но я им не поверил.

Катался с цирком-шапито,  
скакун в пальто,  
курил в авто,  
выглядывал за шторку,  
вычитывал подборку.

Так продолжалось двести лет,  
я незаметно стал скелет.  
Земля восьмиугольна,  
и мне смешно и больно.

Симптоматично, что в одном из лучших текстов книги отец с дочерью «едут, «где “му” и «где “бе”». Аллюзия к Мандельштаму и Ерёменко становится ироническим опрошением суггестивного образа до зримого и понятного детскому взору – а детский «беспорядок вчерашний» одновременно становится упорядочиванием взрослого хаоса: не «посмотреть, кто скорее умрёт», а начать «вторую жизнь», которая будет осмысленнее прежней – хотя бы необходимостью заботы о другом. В том же стихотворении возникают и страшные для ребёнка явления – подъёмный кран и гроза, отец же «отсчитывает удар за ударом» часов: образное пространство вновь движется в сторону документальной точности, но за какими-то пределами лирические герои над собой не властны – дочь в испуге перед грозой, отец – перед ходом времени. Поэтика Переверзина дидактична и уверена в своих ответах до встречи с *неведомым*: так, стихотворение, посвящённое Лете Югай «А что за этими коробками?», построенное на любопытствующих детских вопросах и внятных ответах, заканчивается в духе Георгия Иванова: «А что за ними, мне неведомо: / Ни разу не ходил туда. / Быть может, что-нибудь из этого: / Огонь, сиянье, пустота». Здесь видится переключка и с Дмитрием Веденяпиным, один из недавних текстов которого повествует о сомнениях скептически настроенного молодого литератора и завершается пост-символистским: «– Блик иного, мальчик, блик иного, – / Я скажу ему. / И взлетит непрошеное слово / И падёт во тьму».

Открывая книгу указующим и заклинаятельным жестом, в котором чувствуется программный постулат о слове, последнее в книге лирическое стихотворение автор вновь завершает обращением к слову – но с обратным знаком. В нём даётся рецепт, как отпугнуть призрака, искушающего славой: «Прочти ему в ответ стихотворенья. / Читай, читай. / И призрак пропадёт». Переверзин, вопреки известной формуле Галича, «знает, как надо» – и это

<sup>1</sup> <https://rupoem.ru/sluckij/lozhka-kruzhka-i.aspx>

знание способно спасти как в смутные времена, так и во внутренних потёмках подступающего релятивизма. Да и само название книги, переключаясь с «Документальным кино», – перст указующий: воистину, очень важно знать, что «вы находитесь здесь», и предельно важен человек, который если и не может утвердить стабильность, то хотя бы дарит утешение – а ведь эти дни, когда пишется рецензия, всё вокруг располагает к обратному.

### Ася АКСЁНОВА

#### В ТУННель РАССТАВАНИЙ

**Михаил Фельдман. Ещё одно имя Богу: стихотворения / Сост. Б. Кутенков, Н. Милешкин, Е. Семёнова. Предисл. Е. Абдуллаева. Послесл. Д. Давыдова – М.: ЛитГОСТ, 2020. – 100 с. – (Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались»).**

Михаил Артемович Фельдман, чья книга стала второй в книжной серии «Поэты Литературных чтений «Они ушли. Они остались», погиб в 36 лет в железнодорожной катастрофе под станцией Бологое 16 августа 1988 года.

Ольга Аникина, написавшая подробную статью про Михаила Фельдмана для антологии «Уйти. Остаться. Жить» (том II), отметила очень странную вещь: про этого автора невозможно было найти информации, как будто он погиб не в восьмидесятые годы двадцатого века, а лет триста назад. Не нашлось ни знакомых, ни воспоминаний о нем, ни друзей, ни возлюбленных, словно существовали только тексты, а человека не было. Это очень странно и очень символично именно для этого поэта. (Относительно недавно, уже после выхода в свет антологии, удалось выйти на брата Михаила Фельдмана, проживающего в Израиле, хотя образ поэта все равно остается расплывчатым и бесплотным.)

На данный момент существует не так много публикаций Фельдмана: стихи в «Антологии русского верлибра» 1991 года (составитель Карен Джангиров), книга «Миновало», выпущенная посмертно в Ленинграде в 1990 году,

книга «Ещё одно имя Богу», выпущенная в Москве в 2020 году, публикация в антологии «Уйти. Остаться. Жить». К первой книге написала предисловие Галина Гампер<sup>1</sup>, ко второй предисловие – Евгений Абдуллаев и фундаментальную статью – Данила Давыдов, к публикации в антологии блестящую статью – Ольга Аникина.

Поэт Фельдман – очень эфемерен, его как бы не существует, словно выдумана вся его жизнь. Этим начинается первое стихотворение его книжки «Миновало»:

Миновало, как будто бы не существовало  
Вовек тех дней и бед,  
Без которых и радость ничто,  
и нет никого, чтобы нас утешить.

В другом стихотворении – «Несу умершего в себе / поэта» автор говорит о смерти того, кто даже не родился, то есть о двойном несуществовании.

Очень характерный для эфемерной и бесплотной поэзии Фельдмана образ – птица в разных вариантах. Это имя Бога в стихотворении «Ещё одно имя Богу», давшем название книге: («<...> нужно сказать слову / доброе слово // нужно сказать солнцу / что оно называется / солнцем / птицу птицей назвать / подыскать / еще одно имя Богу»)<sup>2</sup>, и «Крыло праптицы касается небес» – в стихотворении о первобытном мире, и снежинки, сравниваемые с птицами («среброкрылые птахи / уже не тают в руке»). В стихотворении «Ничейная земля» – «птицы не знают / клеток». И дальше: «На этих пальцах не сидела / птица / она жила в них / желанием двигаться»; «весна моей весны... <...> словом – птицею пела»;

<sup>1</sup>Она же обратила внимание на пророчества в его стихах, в частности, в стихотворении «Поезд»: «Запылавшаяся встреча / вот я... вот я... // последнее слово / прямо в ночь / под колеса вагонов // и уходит... / отрезая пейзаж за пейзажем / в туннель расставаний / оставляя обнаженные / рельсы...»

<sup>2</sup>Тут вспоминается прежде всего Мандельштам:  
Божье имя, как большая птица,  
Вылетело из моей груди!  
Впереди густой туман клубится,  
И пустая клетка позади...

«Птицы ласково в небе кружат. // Грусть вплетается в это кружево // <...> Солнце скромно в тучах ютится // На прощанье запела птица. // Ее песня нежна до грусти»<sup>1</sup>.

Грусть, кстати, тоже является сквозной темой у Михаила Фельдмана. Но основная мелодия, образ и смысл его творчества – смерть. Рассмотрим очень характерное для автора стихотворение:

Хорошо, что не успел спрятать  
руки  
виноваты поспешные  
нетерпеливо сильные  
иначе не стоило бы жить  
иначе битву я проиграл бы  
От предплечья  
до запястья боль  
На этих пальцах не сидела  
птица  
она жила в них  
желаньем двигаться  
так чтобы на ощупь увидеть землю  
По самый локоть  
уязли руки в глине  
терзают мнут ее  
так сильно что ногти  
впиваются в мякоть ладони  
Линия смерти перечеркнута  
словно танк на детском рисунке  
Мой пейзаж рука  
с линиями прерывистыми  
как путь по минному полю  
Горизонт. На линии горизонта  
не горы и не долины  
скорбное изваяние Ники  
Под ним прах твоих рук  
что не обнимут  
не прикроют крик мой.  
Деревья без веток и без коры.  
грусть без эмоций просто грусть  
Обнаженные мускулы  
пульс обнаженной линии жизни  
Иначе не стоило жить  
Иначе я проиграл бы битву

Это линия высокого напряжения.

Здесь почти нет описания. И почти нет действия – только созерцание и мысли о действии. Обращается автор тоже непонятно к кому: то ли к себе самому, то ли к возлюбленной, то ли к матери, то ли к Богу (так же, как стихотворение Лермонтова «За все, за все Тебя благодарю» – обращено не к женщине, как может показаться, а к Создателю). Герой стихотворения, лепящий из глины – и безвольная игрушка в чужих руках, и демиург, создающий другую реальность, как Господь создал человека из глины.

Стихи Фельдмана бесплотны, элементы природы, люди и стихийные явления у него не наделены характеристиками – безмянные птицы, неизвестные растения, неатрибутированные географические объекты – просто море, просто лес, просто улица – без названия. Все это – как бы несуществующее в реальности, как элементы разрушенной мозаики, словно детали сна. Это связано и с сознательным отказом назвать – а значит, создать мир вокруг («В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»). Нет у поэта отсылок к реалиям эпохи, нет ощущения укорененности во времени и пространстве. Практически нет описаний, и потому очень мало прилагательных. Он и сам себя чувствует бестелесным:

ведь надо ж наконец  
решить  
Кому принадлежит она  
Теловозжелавшая  
из ада-рая сбежавшая  
бессмертие променявшая  
на эту жизнь

(«Эта душа не имеет тела»)<sup>2</sup>

Больше всего у автора существительных и глаголов, то есть голого бездетального действия. Стихи Фельдмана напоминают также рваный блюз, блюз с сорванным ритмом.

Единственное исключение, когда слово обрывается новыми, невиданными смыслами, а в бескровное существование врываются краски,

<sup>1</sup> Из кн. «Миновало», с. 11.

<sup>2</sup> Из кн. «Миновало», с. 18.

звуки и запахи конкретными географическими названиями и деталями, – стихи поэта о Грузии. Это было отмечено и Ольгой Аникиной, говорившей о связанной с Грузией темой воскрешения.

Грузия для поэта – некий рай, осмысленность, пробуждение из сна в жизнь, и потому в стихах о Грузии – страхивание с себя марева, и жизнь, идущая войной на смерть и вытесняющая, отталкивающая ее. Впрочем, у грузинской темы в русской поэзии – очень богатая и всем известная традиция – это и культурные связи, и убегание многих поэтов – Пастернака, Мандельштама и прочих – в грузинские переводы в эпоху, когда поэты утратили право собственного высказывания, и вечное радование жизни и свободе, свойственное грузинам («Грузия вдруг стала похожей на девушку, задремавшую в летний полдень»).

Я забыл  
откуда я родом и кто я  
захотелось стать сыном  
земли этой древней

В стихотворении «Грузинская речь» Фельдман переворачивает, выворачивает наизнанку сюжет о запретном плоде: вкусивший его, узнавший грузинскую речь, переносится из стеклянного прозрачного, ледяного ада-мороза в цветной и звучащий, чувственный рай.

Говорили они  
слова были для меня закрытыми  
как запертый сад

С моего языка  
сочилась зависть

Тогда один из них  
сорвал и протянул мне  
плод неизвестный

Мякоть плода сочилась соком  
сладость и свежесть  
наполнили горло

А ожиданье сменилось улыбкой  
произнесённой зубами языком  
словами о незнакомом вкусе

Здесь бесплотное обретает вкус, и возникают синэстетические ощущения, что вообще не свойственно для бесстрастного и бесплотного Фельдмана. Но даже и тут – плод – безмятный. Фельдман отказывается называть, воплощать, создавать этот мир, даже максимально приблизившись к такой возможности.

Есть поэты-визуалы (Пастернак), поэты-аудиалы (Лорка), поэты-синэстетики (Мандельштам), поэты-мыслители (Вячеслав Иванов). Фельдман – поэт-сновидец. Он жил, не просыпаясь, и умер, не проснувшись.

## Вячеслав ЛОПАТИН

## РАНЕЕ НЕ ОПОЗНАНЫ

– *Есть здесь специалисты по Борисову-Мусатову?* – дурацкий вопрос, специалисты и собрались на Боголюбовские чтения памяти Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова (Саратов. 2000 год. 11-14 апреля).

Подыграла мне, пошутила Гофман Ида:<sup>1</sup> встаёт, стучит себя в грудь и говорит: – *Я лучший в мире специалист по Мусатову!* –

– *А у меня три холста Мусатова. Пойдёмте смотреть!* –

Смотреть с Гофман – Герчук Ю.Я.<sup>2</sup> пошёл. Идём – дорогу перейти. Боголюбовские чтения проходят в подаренном Черномырдиным Радищевскому музею здании Высшей партийной школы (ВПШ).

Мои мусатовские картины в историческом здании Радищевского музея, в реставрационной мастерской. Повесил напротив окна, возле двери, впритык друг к другу. Их три<sup>3</sup>.

Натюрморт с цветами – подписан «ВМ 96». Другой холст – копия «Жёны-мироносицы» Башкирцевой, оригинал в экспозиции Радищевского музея. На третьем холсте женщина в синем платье – примитивистская манера исполнения. При боковом свете просматривается нижележащий красочный слой – изображение женщины в длинном платье, склонившейся над цветочной кадкой с фикусом.

**1967 год.** Принесли мне три холста, верёвочкой перевязаны. Пять лет думал, что они написаны тремя разными художниками – случайно не разрознились. Иногда верёвочку развязывал – смотрел, показывал, советовался. Подпись на натюрморте с цветами: «ВМ 96» – по сырому красочному слою, значит авторская – «*Виктор Мусатов 1896 год*».

Когда мерещиться стала рука Борисова-Мусатова на всех трёх полотнах, повесил эти холсты в приличном месте и хвалюсь: – *Смотрите! Это Борисов-Мусатов!*

Научный сотрудник Радищевского музея Ирина Пятницына: – *...синий благородный, сложный – но в самом рисунке... душа сопротивляется. Мне будет грустно, если эти три картины окажутся работами Борисова-Мусатова... почему, не знаю. Ощущение – не хочется думать, что это Мусатов, что он может быть другой, чем я его знаю.*

Художник Женя Яли убеждает, будь подлинник Рембрандт, так его сразу видно, даже на мусорке. Но если на помойке окажется Рембрандт, то, ясное дело, не будет он в золотой раме с бронзовой этикеткой. Как в таком виде Рембрандта узнать? А холст без подрамника, потёрт, грязный? Кто его подберёт? Музейные правила не позволяют неизвестный холст в плохом состоянии брать на инвентарный учёт: хранилища переполнены, своих «лежащих больных» экспонатов девать некуда. Я возражал музейным правилам один раз, другой, а на третий раз меня и исключили из ФЭК – фондо-закупочной комиссии Радищевского музея.

Из моих «мусатовских» картин доброжелательное отношение к натюрморту, однако в авторстве люди сомневаются – Мусатов – и что, вот так в уголке висит?

Художник Александр Санников боготворит Мусатова. Ещё и пострадались мы, – в Саратовском художественном училище на Борисова-Мусатова было официальное гонение. Когда ди-

<sup>1</sup> Гофман Ида Михайловна, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела живописи конца XIX – начала XX вв. в ГТГ.

<sup>2</sup> Герчук Ю.Я., искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ (Москва).

<sup>3</sup> О находке холстов см.: Вячеслав Лопатин. Борисов-Мусатов–2010: ступенчатый колорит // Волга. 2010. № 9-10 (428).



ректор Просянкин углядел влияние Мусатова на живопись студентки Людмилы Перерезовой, поставил вопрос об отчислении её из училища. Смилоствовался директор, однако со стипендии Людмила слетела до конца учёбы.

Санников, и смотрит хитро: – *Догадался! Женская рука!* – У Санникова тонкое восприятие, углядел в живописи натюрморта с цветами руку Людмилы Перерезовой, нашей соученицы, моей жены. Почувствовал Санников женскую «подноготную» натюрморта: весной 1896 года в Париже прошла посмертная выставка импрессионистки Берты Моризо, по воспоминаниям Мусатова, разбередившая его. Натюрморт с цветами исполнен Мусатовым под непосредственным впечатлением посмертной выставки Берты Моризо, подписан 1896 годом.

Негодует Санников от приписывания Мусатову холста с женщиной в синем платье! – *Как смеешь порочить светлое имя Борисова-Мусатова! Ты кому приписываешь безграмотную мазню дилетанта?* – Обращаюсь к Солянову Владимиру Алексеевичу, моему старшему товарищу, реставратору масляной живописи: – *Что молчишь?* – А он? Солянов окончил Саратовское художественное училище и художественный институт в Тарту (Эстония): – *Не мог Борисов-Мусатов себе позволить руки так нарисовать!*

Близко к сердцу принимает авторство Мусатова, ревнует художник Чудин: – *...не подпись «ВМ 96», а цифры – не буква М, а номер – №... Да мы на втором курсе натюрморты лучше писали! Ко мне смотреть всё училище приходило – потом украли... Что ты вталкиваешь? Какой это Мусатов? Слушай анекдот! Продаёт баба поросёнка. Два мужика сговариваются: – Давай пошутим. – Один подходит: – Петух сколько стоит? – Какой петух! Поросёнок это! – Другой подходит: – Баба! За сколько петуха продаёшь? – Слепли все! Это поросёнок! – Покупатель подходит: – Почём поросёнок? – Она: – Какой поросёнок? Петух это!.. Так и ты со своим Мусатовым!* –

**1980 год.** Особое мнение Дмитрия Капитоновича Севастьянова – *Только Мусатов! Да никто в целом мире так синее не возьмёт!* – Севастьянов в 20-е годы учился у Петра Уткина, ученика и последователя Мусатова. В те годы ещё знали Виктора Эльпидифоровича «из первых рук» – живы были ученики и последователи, ценили. В 1918 году художники Саратова хотели организовать «Музей нового искусства имени В.И. Борисова-Мусатова». Тогда считалось, что городу Саратову недостаточно одного-единственного художественного музея им. А.Н. Радищева.

**1963 год.** Виктор Владимирович Леонтьев рассказывал мне, что если бы вышла из печати монография о Мусатове в издательстве Кнебель с текстом Тугендхольда, то вся русская живопись пошла бы другим путём. Книга была подготовлена к изданию, но из-за начавшейся Первой мировой войны прошли немецкие погромы, и типография Кнебеля была разгромлена.

Текст Тугендхольда к монографии о Борисове-Мусатове отыскался в конце XX века в архиве ГТГ – и кто это знает, и кому это надо?

**1990 год.** Солянов: – *Натюрморт с цветами можно было бы рассматривать в ряду других картин Мусатова.*

**2000 год.** Гофман и Герчук: единственный раз, когда понадобилось смотреть обороты картин: – *Кто же так картины смотрит?* – говорит Герчук. – *Снимайте со стены, показывайте обороты!* –

Снимаю, перво-наперво показываю подпись в правом нижнем углу: – «ВМ 96» – «Виктор Мусатов 1896 год» – До моего сведения доводится, что подпись при атрибуции принимается в последнюю очередь. Также известно из искусствоведения, что весь первый год пребывания в Париже, а это как раз 1896 год, Мусатов не писал, а только рисовал.

А вот холст с женщиной в синем платье? Нижележащий красочный слой – изображение женщины над цветочной кадкой – не этюд к «Гобелену»? Мало ли что мерещится: нужен рентген, нужен ультрафиолет, инфракрасный свет. Известно искусствоведам, что Мусатов не делал предварительных этюдов к «Гобелену» или они не сохранились.

Внимание – натюрморт с цветами имеет на обороте несколько многозначных рукописных номеров и печать «ИАХ». Герчук поясняет: – *...ИАХ означает Императорская Академия Художеств.*

Недолгое время, но внимательно, Гофман и Герчук смотрели «моего Мусатова». Герчук о натюрморте с цветами: – *Слабая постановка первокурсника Академии Художеств!* – И смотрит на меня, ждёт продолжения разговора? А я выговорился, мне слушать бы!

Гофман – *...лучший в мире специалист по Мусатову* – ничего не говорила.

Герчук признал, с молчаливого согласия Гофман, все три картины «моего Мусатова» работой трёх разных художников<sup>1</sup>.

### **Идентификация манеры письма трёх холстов, приписываемых разным художникам**

Наше зрение позволяет видеть разными способами, в зависимости от того, что нужно рассмотреть. Одно дело, когда на дерево смотрит лесоруб, другое смотрение у лесника, совсем иначе видение у художника Шишкина.

Если говорить о картине, то предпочтительно видеть подлинник. Та же картина на репродукции – иное видение. Коллекционеру репродукций необходимо учитывать качество печати.

А как определить качества картины? Почему некоторые картины могут долго останавливать на себе внимание зрителя? Человек стоит, возвращается, опять смотрит. Восприятие картины продолжается, но почему? Оказывается, сюжет не исчерпывает содержания картины. Продолжающееся восприятия – это усвоение несюжетного содержания картины. Это осуществляющаяся способность воспринимать содержание картины, кроме сюжета, ещё и на уровне красочного слоя. У зрителя в музее эта способность проявляется подсознательно.

Когда картина попадает на стол реставратора – уже сознательное внимание её красочному слою. Реставратору поневоле приходится уделять внимание не сюжету, а материальным качествам, – картина в глазах реставратора преобразилась, стала «вещью». Я помню, прежний главный хранитель Радищевского музея, Наталия Ивановна Оболенская, о картине говорила «вещь».

Картина без рамы лежит на столе реставратора. Она, чтобы можно было её рассматривать, достаточно освещена, в отличие от музейной экспозиции – там соблюдаются нормы освещённости, там она застеклена.

Вот холст – нити, их плетение, узелки – целый неведомый, незнакомый мир – основа картины, так и называется: основа. Основа покрыта грунтом. Художник может использовать негрунтованную основу, основой может быть картон, бумага, дерево – зрителю зачем знать, а реставратору видеть надо.

<sup>1</sup>Я ждал, что Герчук уделит особое внимание холсту с женщиной в синем платье, исполненной в «наивной» манере. Почему? Герчук мне известен с 1972 года, когда в Москве проходила Всесоюзная двухдневная конференция по проблемам самодеятельного изобразительного искусства. Герчук вёл конференцию, а я, методист по ИЗО-искусству Саратовского областного дома народного творчества, был её участником. Тогда в самодеятельном изобразительном искусстве были реабилитированы «наивные» художники (термин был неприличным, как прежде «кибернетика» или «генетика»). Доходило до скандалов, когда неучёных художников выставкомы не пускали на выставки самодеятельных художников. По этому проблемному поводу пришлось проводить конференцию, устроить одновременно выставку «примитивов». Этот термин считалось неприличным применять в официальном искусствознании. Как и термин «изобразительный фольклор» – стал было употребляться в искусствоведческих статьях. Это вызвало гнев в инстанциях. В Академии художеств, оказывается, знали английский язык (в переводе на русский язык «фольклор» означает «устное народное творчество»): – А у вас «изобразительный фольклор»! Цыц! – Также не состоялось, по типу журналов «Искусство», «Художник», предполагавшееся издание журнала «Народное творчество». Событием стало издание сборника статей «Примитив и его место в художественной культуре нового и новейшего времени», о котором Герчук писал в рецензии: – ...предельно актуальной проблеме примитива делают характерные особенности художественного развития XX века, когда обращение к опыту и ценностям «наивного» творчества стало программным для ряда крупнейших мастеров и для целых направлений современного искусства. Именно с этой особой ролью «нижних» слоёв художественной культуры в формировании целого ряда художественных течений сперва 1910-1920-х, а затем и 1970-х годов в отечественном искусстве были связаны открытия в области примитива, осознание его художественной полноценности, начало собирательства (Ю.Я. Герчук. Рец. на: Примитив и его место в художественной культуре нового и новейшего времени. М.: Наука, 1983 // Сб.: Советское искусствознание. 1985. Вып. 19. С. 363–367).



Красочный слой – осознаётся посредством зрения ещё один уровень восприятия биографии картины. Поверхностные загрязнения и следы их устранения налицо! – первая, основная причина катастрофического состояния произведения искусства. Мыть-то картину можно, на то она и «вещь», да не та эта вещь, чтобы на кухне висеть. Радует хозяйка – к празднику картина вот как посветлела. А как сразу сократился срок жизни у этой «вещи», ей и невдомёк. Сразу сказывается и неизбежное повреждение защитного покрытия, моющие средства с проникшей влагой разрушающе воздействуют на структуру живописи.

Реставратор имеет дело с выкрошами, потёртостями, расслоениями красочного слоя. Но вот он устранил «недомогания» «больного» экспоната – вот опять красота-то какая, лучше прежнего!

То же самое, как заболевшему и вылечившемуся человеку сокращён срок жизни, применимо и к картине, прошедшей реставрацию. Чем кардинальнее вмешательство человека с благой целью сказывается на картине более разрушительно, чем естественное старение и природное воздействие. Реставратору опасно увлекаться и реставрировать по максимуму, надо делать только самое необходимое – выбирая из возможных способов видения ситуации самый целесообразный.

О видении! Разные способы смотрения имеют свои преимущества и свои недостатки, но каждый видит своё – непредвзятого смотрения не бывает.

Пример. Персональную выставку Фалька глядели втроём: Виктор Чудин – художник, Владимир Солянов и Глеб Карлсен – художники-реставраторы. Жалуется Чудин: – *Смотреть не дают!* – «А вот тут у Фалька осыпи красочного слоя – по сухому писал». – «А вот тут пожухания!» – «А вот тут не так смешивал краски, а со временем это сказалося изменением цветности. Добился чего хотел – и куда это всё теперь делось?»

Мне тоже удалось видеть Фалька в «Музее Востока» на выставке старейших советских художников, писавших Среднюю Азию. Живопись Фалька представлена была маслом и гуашью. Одно-разовая гуашь осталась такой же цветной, какой и должна быть работа живописца, а масляные работы, долго писавшиеся, стали смотреться по сравнению с гуашью того же времени серыми, невзрачными.

Вот так рассуждаем о разнообразии видения картин и окружающего мира с Соляновым и Альбиной Симоновой – следующим главным хранителем Радищевского музея.

– *А возможно ли, несмотря на сюжет, узнать автора картины только по особенностям красочного слоя, на уровне красочного слоя?*

– *Теоретически это допустимо, – говорит Симонова.*

– *Возможно!* – говорит Солянов.

Это теория! А вот практика – смотрят они три холста с разными сюжетами, и всегда лезет в глаза особенность «Женщины в синем платье» – *самодетельность!* – *Авторство Мусатова отторгают.*

Было подобное отторжение Радищевским музеем подписной картины Айвазовского! Сказывается Айвазовским, а сюжет «Обоз чумаков» – лето в степи. А где же море, моря не видно. Пришлось вернуть картину – я отнёс, откуда брал. Хозяева прежде жили в достатке. Показали мне иконы, поздние, но в дорогих окладах, салфетками увязаны, – в сундуке лежат.

А через год в журнале «Советское искусство» репродукция Радищевским музеем отвергнутой картины и статья из ГТГ о вновь открытом, до того неизвестном периоде в творчестве Айвазовского. Значит, тогда мы недоглядели, не усмотрели?

А вот я на красочный слой посмотрелся, увидел руку одного автора на трёх холстах. Я увидел – а как другим показать?

А вот статья путеводная: зигзагообразный мазок, выявленный у Айвазовского на морских картинах, выявил его авторство на других, считавшихся подделками<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Е.Н. Седова. Принципы экспертизы произведений, приписываемых И.К. Айвазовскому // Вопросы исследования, консервации и реставрации произведений искусства. Сборник научных трудов. М., 1984. С. 65–76.

Исходные предпосылки.

Личность художника отпечатывается в каждом движении кисти – мазке. Мазок материален и насыщен разнообразием технических приёмов – варьируется плотность красочных слоёв и сила звучания цвета.

Мазки не могут быть небрежными и хаотичными, так как они подчинены воле художника. Манера наложения мазков характерная, индивидуальная для каждого художника. Художники работают техническими штампами, живописными приёмами, которые были найдены ими в самом начале творчества. Принципы осуществления манеры письма остаются неизменными для ранних и поздних произведений у каждого художника.

Простая чёрно-белая фотография, сделанная при косом свете, способна раскрыть главные характеристики мазка художника, его технику и индивидуальность.

### **Практика Радищевского музея**

Выявление почерковых особенностей трёх наших картин, приписываемых одному художнику, проведено фотографом Ефимкиным в 1911 году макросъёмкой живописной фактуры в косых лучах света с небольшим увеличением. Для фотографирования следа движения кисти – мазка – на трёх холстах, написанных бегло, местами пастозно, выбраны идентичные фрагменты первоначальной прописки, не перекрытые красочным слоем в ходе дальнейшей работы. Один и тот же участок фотографируется дважды – свет слева и свет сверху.

Составляющие мазок основополагающие движения кисти – слева направо, справа налево и сверху вниз. Контрастность и неожиданность сопоставления фактур идентичны на всех трёх картинах, первоначально приписываемых трём художникам. Сопоставление фрагментов структуры живописи – мазков красочного слоя трёх холстов, изображающих самые различные композиционные элементы, – приводит к выводу, что фотографии фиксируют однотипные движения кисти.

Сделанная в условиях Радищевского музея экспертиза показывает, что приёмы написания наших трёх картин разных сюжетов принадлежат одному автору. Следующий этап – но нет минутной возможности сопоставить письмо этих трёх холстов с подлинными вещами Борисова-Мусатова из собрания Радищевского музея. В перспективе желательно продолжение работы, необходимость статьи «Почерк живописи Борисова-Мусатова».

### **Почему авторство трёх холстов разных сюжетов приписывается именно Борисову-Мусатову?**

Исследование «Натюрморта с цветами» начинаем с основы – холст среднезернистый квадратного плетения, с грунтом машинной прокатки. Холсты с грунтом машинной прокатки изготавливались с начала XIX века. Наполнитель грунта мог быть меловым или гипсовым. Натюрморт с цветами имеет белый меловой грунт – я сам определил химическим способом. Выдавались такие холсты студентам Петербургской Академии художеств, свидетельствует печать оборота «ИАХ» – Императорская Академия художеств.

У Мусатова холст остался от Петербургской Академии художеств, где он учился в 1891-1892 годах. В походных условиях писать этюды удобно на холстах без подрамников. При постоянной нужде Мусатов был бережлив, и в 1896 году со своим художественным инвентарём ему сподручно было везти этот холст без подрамника в Париж.

О психологическом состоянии Мусатова по итогам первого года пребывания в Париже имеется его собственное признание. В письме он пишет, что забросил живопись на шесть месяцев и теперь жалеет об утраченных тропках. Приехал в Париж в октябре 1895 года – отсчитываем шесть месяцев, получаем месяц март. В это время и поставил Мусатов натюрморт – сирень и ирисы в стеклянной посуде. Возвратившись в Саратов, Мусатов сирень не успевал написать, она здесь отцветает в конце мая. Ещё и задержался – Мусатов по дороге из Парижа в Саратов заезжал в Мюнхен. Навещал друзей по Петербургской Академии художеств – Кардовского, Явленского, Веревкину, теперь учившихся у Ашбе. Там он познакомился с Грабарём и впервые получил представление о работе темперой.

Летом 1896 года Мусатов чувствует себя неуверенным в живописи – *утерял найденные тропки*. – Герчук отозвался о его натюрморте с цветами: – *Слабая постановка первокурсника Академии художеств!* – мнение оттого, что изображённые предметы сдвинуты влево, им не хватает фона. Холст оказался у меня со срезанными левой и нижней сторонами, натянутым на подрамник, авторская живопись завернута на кромки – в таком виде попал на глаза Герчуку.

Но и Русакова видит в летних работах 1896 года черты, несвойственные самой природе Мусатова. При том, что эти работы – *были целиком посвящены живописи, упорному, порой даже яростному труду без отдыха, без каких бы то ни было отвлечений*. – О портрете Елены, сестры художника летом 1896 года: – *Слишком сдерживает, ограничивает себя художник, и поэтому портрет, задуманный как поэтический весенний сонет, не стал им, а оказался просто добросовестным, в меру живописным произведением, фиксирующим, но не поэтизирующим окружающее, как хотел того Мусатов*. – Алла Александровна Русакова. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. 1870–1905. Москва, Ленинград: Искусство, 1966. С. 20.

О подписи «ВМ 96» – она сделана сразу по непросохшему, сырому красочному слою, значит авторская. Насколько она отличается от принятых считаться достоверными подписей Борисова-Мусатова? В нашем случае она вписывается в ряд подписей на небольших работах и личной переписке. Написание «Борисов-Мусатов» утвердилось в 1891 году при поступлении в Академию художеств на официальных бумагах и позднее на картинах большого размера.

Натюрмору с сиренью и ирисами находится достоверное место в творчестве Мусатова.

О другой вещи Мусатова – копии «Жёны-мироносицы» Башкирцевой. Эта картина очевидец личных переживаний художника. Виктор Эльпидифорович, ушедший из жизни рано, своими недугами примерял к себе её судьбу – Башкирцева умерла в 1884 году двадцати четырёх лет.

Во времени пребывания Мусатова во Франции картины Башкирцевой экспонируются в Лувре и в музее Орсе – других русских художников там было не сыскать. Картины Башкирцевой разошлись по европейским музеям и частным собраниям. На всех европейских языках был издан её дневник, получивший сногшибательную известность. Улица в Ницце, где она жила, получила её имя.

В Саратове для Мусатова новость – мать Башкирцевой после её смерти передала Боголюбову в архив Радищевского музея картину дочери «Жёны-мироносицы», её фотографии, дневник, письма. На руки из музейного архива эти реликвии не выдаются, и Мусатов, чтобы ознакомиться с ними, просит в музее мастерскую в 1899 году на летние каникулы Боголюбовского рисовального училища.

Нельзя без оговорок утверждать, что у Мусатова не было нужды в большой мастерской. В Радищевском музее на втором этаже в «зелёном зале» (Леонтьев В.В.) Мусатов работает над первым вариантом «Гармонии», впоследствии уничтоженным автором. Судя по размерам сохранившегося второго варианта «Гармонии» (1900. Х., темпера, масло, 160x89), можно подумать, что у него действительно не было особой нужды в большой мастерской. Более крупная вещь – «Водоём» (1902. Х., темпера, 177x216. ГТГ), была написана в его доме, в той комнате, где жил и спал.

Пытаемся осмыслить причину неудачи в работе над первым, уничтоженным вариантом «Гармонии».

Мусатов делает необходимые для картины этюды во дворике Радищевского музея. Простой деревянный частокол огораживает небольшой участок с хозяйственной постройкой возле рабочего выхода из музея. В роли служанки позировала жена музейного сторожа. Старший товарищ Мусатова художник Корнеев позировал в позе кавалера, читающего стихи. Он одет в костюм, стилизованный под восемнадцатый век.

По замыслу «Гармонии», действие происходит в сумерки, в старинной дворянской усадьбе. Замысел «Гармонии» восходит к 1894 году, связан с пребыванием Мусатова в Слепцовке. Это первое знакомство со старинной дворянской усадьбой имело значительные последствия, первоначальное впечатление сберегается Мусатовым годами. Известен эскиз «Гармонии» 1897 года, сделанный во Франции.

Оказалось, этюд кавалера, читающего стихи, не соответствовал замыслу Мусатова – лиловый костюм кавалера в сумерках вобрал красные рефлексы кирпичного здания Радищевского музея.

Мусатову нужны именно слепцовские сумерки, а не сумерки с красными рефlekсами от кирпичных стен Радищевского музея.

А что такое сумерки в глазах Мусатова? Об этом даёт представление его этюд 1895 года. То лето он провёл на юге у Черного моря. Изображён южный городок: из открытой двери на улицу падает сноп света, и всё окружающее представляется совсем иначе, чем днём. Настолько иначе, что этюд в Радищевский музей поступил под названием «Снег в городе».

Этюды, исполнявшиеся во двореке Радищевского музея, не соответствовали замыслу «мусатовских сумерек». Этот сюжет Мусатов лелеял с 1894 года, и его несоответствие воле художника – причина его недовольства первым вариантом «Гармонии».

В 1899 году, работая над «Гармонией», Мусатов сделал копию с «Жён-мироносиц» Башкирцевой. Так как оригинал имеет не белый фон, а коричневый подмалёвок, Мусатов сделал такой подмалёвок. На месте подмалёвок оказался более темным, пришлось делать копию на обороте подготовленного холста на новом предварительном подмалёвке, более соответствующем оригиналу.

Мне пришлось на копии укреплять красочный слой с грунтом, удалять поверхностные загрязнения. Уже без грязи, сравнивая копию «Жён-мироносиц» Башкирцевой с оригиналом, стало возможным говорить о цветовом преимуществе копии перед оригиналом. А иначе – иначе быть не может, Башкирцева хороший живописец, но копировал её колорист Мусатов!

Этим не умаляется достоинство Башкирцевой, достаточно сказать о её первенстве – образное монументальное решение фигур в её картине «Жёны-мироносицы» превосходит на десять лет достижения Врубеля.

Знакомство с материалами о жизни Башкирцевой оказало влияние на становление личности Мусатова. Дневник Башкирцевой затронул Мусатова – в письмах интимным друзьям сказывается интонационное родство, встречается прямое заимствование из её дневниковых записей.

В тексте дневника уделяется внимание большому значению, которое придаёт художница своим рукам. Постановочные фотографии, где активное участие принимают её руки – как приём усвоен Мусатовым, и образ Башкирцевой на фотографиях Радищевского музея стал прообразом известной «мусатовской девушки».

Не мумифицировать произведения искусства, а сохранять их живыми со всей естественностью их окружения – увлекательное занятие. Это показатель к выпадающему на поверхностный взгляд из известного творчества Мусатова холсту с женщиной в синем платье. Картина смотрится обиняком, как и сам Мусатов своей нестандартной внешностью. И, соответственно, только ему свойственно так дерзко нарушать каноны.

Об особенностях личности Мусатова.

Уже перед Парижем определяется одно из основных свойств его натуры – *...ненависть к проторённым путям, ...постоянное творческое беспокойство...* – Мусатов – *... превратился в человека с определенным складом ума, собственными вкусами, взглядами, суждениями. Но мечтательность мальчика, почти бессознательно искавшего красоту природы в уединении Зелёного острова и в цветущих зарослях своего сада, не исчезла. Она приобрела новые оттенки, перешла в душевную тонкость, осознанное стремление к поэзии. Эти качества сочетаются в повзрослевшем Мусатове с решительностью в поступках и твёрдостью, доходящей до дерзости, в отстаивании своих взглядов.* – Русакова. С. 20.

– У Кормона уже учились его товарищи по Академии и Училищу – Альбицкий, Лушиков, Холявин, Шеравидзе... Вместе с последним Мусатов снял квартиру на Монмартре. – Русакова. С. 35.

Товарищи усердно работают в пределах школьной программы, а Мусатов уже в 1896 году пишет: – *...не хотел поддаться влиянию патрона... т.е. гарантировать себя от его советов.* – Мастера искусства об искусстве. М.: Искусство, 1967. Т. 7. С. 307.

– *Работаю от восьми до двенадцати. Остальное время работаю дома или брожу по картинным галереям и по Парижу.* – Письмо Владимиру Станюковичу. С. 38.

В галерее Дюран-Рюэля посмертная выставка Берты Моризо. Через полтора года, в Саратове Мусатов пишет: – *Передо мной каталог Берты Моризо... Дорогой Моризо, я о ней вспоминаю, как о*

*своей давно прошедшей любви.* – Константин Шилов. В.Э. Борисов-Мусатов. М.: Молодая гвардия, 2000. С 163.

Не только для Мусатова меняются приоритеты. Пришло официальное признание импрессионистов. В 1895 году состоялась выставка постимпрессиониста Сезанна, появились на публике вещи Гогена, Ван-Гога.

1896 год. Салон Независимых. Виктор Эльпидифорович видит картины Анри Руссо. Разве противоречит сути Мусатова характеристика Руссо? – *...интеллектуализм был не в чести. Руссо представлялся своего рода эталоном Ощущения в его первоизданном виде. Таможенник воплощал то, на что был способен чистый инстинкт. Он сам был этим чистым Инстинктом – великим примитивом, чудом, возникшим посреди современной цивилизации.* – Анри Перрюшо. Таможенник Руссо. М.: Радуга, 2001. С. 63.

Интересы Мусатова его соучениками не разделяются, их незрелым сознанием ему присвоена обидная детская кличка «Гога-Магога» из-за пристрастия к Гогену и Ван-Гогу.

Совсем иные отношения с молодыми соратниками, общение с ними давало поддержку самому Мусатову – *...летом в 1896 году... Мусатов проводит очень много времени с Кузнецовым, Уткиным и их друзьями. Молодые студенты собирались в саду около дома Мусатова на Вольской улице и писали пейзажи или моделей, например, татарчонка, которого Кузнецов приводил из бедного района, в котором он жил. Молодые люди жадно вслушивались в рассказы о Москве, Санкт-Петербурге, прежде всего о Париже, о последних идеях в мире искусства. Мусатов мог поделиться с ними некоторыми техническими знаниями, что способствовало увеличению объёма знаний, полученных от Коновалова и Баракки. И, действительно, к концу 1896 года молодые художники поняли, что в Саратовской школе им больше нечему учиться.* – Peter Stuppes. Pavel Kuznetsov. Cambridge University Press, 1989. С. 12-13. Перевод: Марина Сергеевна Савенкова, Валентина Сергеевна Палькова.

1899 год, июль. Саратов. Мусатов. – *Передо мной широкие горизонты, и мне хочется унести в эту даль. ...готов идти наперекор общему течению, так же готов возмущать этот застой и презирать всю рутину, с которой приходится сталкиваться. Пусть не нравится, пусть не соглашаются, пусть ругаются. Мне всё это смешно и мелко.* – Письмо Л.П. Захаровой // Мастера искусства об искусстве... Т. 7. С. 309.

1902 год. Отец Павла Кузнецова, иконописец, получил заказ исполнить роспись летнего придела саратовской церкви во имя Казанской божьей матери. По просьбе Павла, отец отдал заказ сыну с друзьями – Петром Уткиным и Кузьмой Петровым-Водкиным. Они до сих пор не имели опыта работы с водными красками. Но после работы над церковной росписью надолго перешли на темперу с иной организацией красочной поверхности.

– *Переломными, определившими дальнейший путь были 1902-1903 годы не только для Павла Кузнецова, но и для его друзей-единомышленников.* – Русакова. С. 39.

Последней крупной работой маслом у Павла Кузнецова был северный пейзаж с оленями, сделанный весной 1902 года в поездке на Север.

У Петра Уткина – замечательная картина 1901 года «Весна на Волге».

Петров-Водкин продолжал писать маслом, но изменил характер живописи. Мне пришлось в Хвалынске реставрировать его работы. Если «Автопортрет с беретом» на фоне набережной в Хвалынске 1901 года исполнен в обычной учебной манере корпусного письма, то уже волжский этюд 1903 года отличается тонкослойным красочным слоём, присущим водным техникам.

Опыт работы темперой был у Борисова-Мусатова, и общение с молодёжью одними разговорами не ограничилось – преподан практический урок.

Подвернулся под руку холст с натурным этюдом к «Гобелену». Виктор Эльпидифорович натянул его на подрамник, оказавшийся больше размером, и наглядно показал приёмы работы темперой – исполнил вольную копию (западный способ копирования) своего сюжета «Дама на балконе».

Живопись производит впечатление начала работы – «раскрышки»: взяты общие отношения, не прописаны лицо и руки. На обороте подрамника Мусатов счёл необходимым сделать дважды карандашную запись – «оконченъ» и «окончено». Надпись утвердительного характера – «считать законченной». И, конечно, нужна графологическая экспертиза – а рука ли здесь Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова?

Церковная роспись, сделанная под наблюдением Мусатова, не сохранилась – замяли скандал тем, что отец Кузнецова забелил её. – *...были созданы, по словам Мусатова, «вещи страшно талантливые и художественно оригинальные...», а вся роспись в целом оказалась первой неканонической церковной росписью в России... впервые в истории русской живописи XX века проявляется почти инстинктивное пока... обращение художника к искусству примитива, к «варварским» художественным идеалам, к «детскости» и народности. Эта тенденция, характерная для западного искусства конца XIX – начала XX столетия, в русском искусстве выступит отчётливо лишь через несколько лет... – Русакова. С. 42-45.*

Завидное первородство – восхождение русского неопримитива к Виктору Эльпидифоровичу Борисову-Мусатову.

– *...1910 год. ...в Москве открылась выставка «Бубнового валета»... а в Петербурге – «Союза молодёжи», также сыгравшего важную роль в развитии русского искусства, дав таких мастеров, как П.Н. Филонов, М.В. Матюшин, таких теоретиков, как В.И. Матвей (Марков). Большинство бубнововалетцев (П.П. Кончаловский, И.И. Машков, Р.Р. Фальк, А.В. Ленгулов, Д.Д. Бурлюк) начинали своё зрелое творчество с неопримитивизма, находя в народной игрушке, лубке или вывеске импульс для собственных исканий...*

*Ларионов и Гончарова, начавшие вместе с другими бубнововалетовцами, уже в 1911 году вышли из объединения, организовав свои выставки «Ослиный хвост», «Мишень», «4»... Направление, образованное творчеством этих художников, можно было бы назвать неопримитивизмом. Оно захватило художников разных группировок, но наиболее определённо выявилось на перечисленных выше выставках в произведениях М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, А.В. Шевченко, М.М. Ле-Дантю, В.Н. Чекрыгина и других. Через усвоение принципов неопримитивизма прошли также М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.Е. Татлин... Неопримитивизм вырос в мощное направление, сопоставимое с почти одновременным французским фовизмом и немецким экспрессионизмом «Моста» и «Синего всадника»... сам процесс формирования Кандинского, его творчество 1900-х годов дают нам множество примеров близости «Миру искусства» и Борисову-Мусатову. Романтическая идея была перенесена им (как и Борисовым-Мусатовым – **В.Л.**) в сферу чистой формы, а сам художник не без успеха вознамерился управлять этой формой, уподобляя себя музыканту, апеллирующему звуками и их сочетаниями к внутреннему миру человека. – Д. Сарабьянов. Русское и советское искусство. 1900–1930. Москва – Париж. 1900–1930. М.: Советский художник. 1981. С. 24-25.*

– *Явление, зародившееся на рубеже XIX-XX века в Саратове и назвавшееся в 1907 году «Голубой розой»... явилось первым шагом русского искусства за пределы XIX века. Освободив живопись психологически и в большей мере пластически от задач изобразительности, оно открыло путь, по которому вслед за тем пошло развитие русского авангарда. – Гофман И.М. «Голубая роза» как воплощение понятия «саратовская школа» в русском искусстве // Сб.: В.Э. Борисов-Мусатов и «саратовская школа». Материалы седьмых Боголюбовских чтений, посвящённых 130-летию со дня рождения В.Э. Борисова-Мусатова. Саратов, 11–14 апреля 2000 года. Саратов, 2001. С. 30.*



**Контакты:**

**Анна Сафронова** (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

**Алексей Александров** (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

**Алексей Голицын** (*документальные исследования*): agolitzin@yandex.ru

**Олег Рогов** (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

**Алексей Слаповский** (*проза*)

*Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>*

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:

<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 19 августа 2020 г.

Журнал отпечатан в типографии  
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.